Т.Д. СОЛОВЕЙ

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ЭТНОЛОГИИ В ОЧЕРКАХ

XVIII – начало XXI вв.

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ЭТНОЛОГИИ В ОЧЕРКАХ
XVIII – начало XXI вв.

В монографии рассматривается история зарождения российской этнографии (XVIII век), превращения ее в самостоятельную научную дисциплину (XIX век), формирования «советской этнографии» как особого интеллектуального и социокультурного института (XX век); анализируются последствия гибели института советской науки (рубеж XX–XXI веков) и очерчиваются контуры современного состояния российской этнологии/антропологии. Особое внимание уделяется основным моделям взаимоотношений государственной власти и этнографии/этнологии в различные периоды российской истории, а также тому влиянию, которое эта доминантная связь оказывала на теоретико-методологическую и социопрофессиональную рамку науки, а также ее проблематику.

Москва
Этносфера
2022

Т.Д. СОЛОВЕЙ

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ЭТНОЛОГИИ В ОЧЕРКАХ

XVIII – начало XXI вв.

Москва
Этносфера
2022

УДК 930+39
ББК 63.5
С60

Рецензенты:

Парамонова Марина Юрьевна, д.и.н., ведущий научный сотрудник (Институт всеобщей истории РАН)

Шевцова Анна Александровна, д.и.н., профессор кафедры культурологии (МПГУ)

Соловей Т.Д.

С60 История российской этнологии в очерках. XVIII – начало XXI в. – М.: Этносфера, 2022. – 608 с.

ISBN 978–5–93125–174–5

В монографии рассматривается история зарождения российской этнографии (XVIII век), превращения ее в самостоятельную научную дисциплину (XIX век), формирования «советской этнографии» как особого интеллектуального и социокультурного института (XX век); анализируются последствия гибели института советской науки (рубеж XX–XXI веков) и очерчиваются контуры современного состояния российской этнологии/антропологии. Особое внимание уделяется основным моделям взаимоотношений государственной власти и этнографии/этнологии в различные периоды российской истории, а также тому влиянию, которое эта доминантная связь оказывала на теоретико-методологическую и социопрофессиональную рамку науки, а также ее проблематику. Монография предназначена ученым-историкам, этнологам, науковедам.

Монография публикуется в авторской редакции.

**УДК 930+39
ББК 63.5**

ISBN 978–5–93125–174–5

© Соловей Т.Д., 2022
© Издательский дом «Этносфера», 2022
© Художественное оформление.
Издательский дом «Этносфера», 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
ОЧЕРК ПЕРВЫЙ. LUSUS NATURAE. НАРОДЫ В КОНТЕКСТЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЗНАНИЯ	40
Глава 1.1. Между политикой и наукой: этнографическое знание в XVIII веке	40
Глава 1.2. Народы в XVIII веке как другая реальность	53
ОЧЕРК ВТОРОЙ. МЕЖДУ ИНТУИЦИЕЙ И РАЦИО: ДИСКУРС О «НАРОДНОСТИ» В XIX ВЕКЕ	71
Глава 2.1. Дух времени и рождение русской этнографии ...	71
Глава 2.2. Дискурс о «народности» в XIX веке: структура и эволюция.....	102
Глава 2.3. Опередивший эпоху: Н.И. Надеждин	121
ОЧЕРК ТРЕТИЙ. ПОЛЕ ВЫБРАЛО НАС: ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ СТРАТЕГИИ В ЭТНОЛОГИИ	139
Глава 3.1. Советский миф о «культурном герое». Жизнь и труды Н.Н. Миклухо-Маклая	147
Глава 3.2. Д.Н. Анучин и институционализация этнологии как университетской дисциплины. (Опыт научной биографии в контексте эпохи).....	166
Глава 3.3. Организационная структура русской науки (XIX – начало XX вв.): основные тенденции и динамика	214
Глава 3.4. ОЛЕАЭ: ученое общество, созданное чтобы продвигать Россию	227
ОЧЕРК ЧЕТВЕРТЫЙ. ЭТНОГРАФИЯ КАК «ИСКУССТВО ВОЗМОЖНОГО» (ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЭТНОГРАФИЯ НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВВ.)	251

ОЧЕРК ПЯТЫЙ. ГЕНЕЗИС СОВЕТСКОЙ ЭТНОГРАФИИ.	
1917–1920-е ГОДЫ	297
Глава 5.1. «Золотой век» отечественной этнологии.....	298
Глава 5.2. Московский университет – институциональный плацдарм этнологии.....	327
Глава 5.3. Научная проблематика, теории и концепции в отечественной этнологии 1920-х годов.....	357
ОЧЕРК ШЕСТОЙ. ОТ БУРЖУАЗНОЙ ЭТНОЛОГИИ К СОВЕТСКОЙ ЭТНОГРАФИИ	373
Глава 6.1. «Коренной перелом» в отечественной этнографии. (Дискуссия о предмете этнологической науки: конец 1920 – начало 1930-х годов)	373
Глава 6.2. Принципы и правила советской этнографии (1930–1950-е годы)	439
ОЧЕРК СЕДЬМОЙ. НАУКА КАК САМОЦЕЛЬ И СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ	461
Глава 7.1. Наука на поводке: отечественная этнография и политика патернализма (1950–1980-е годы).....	461
Глава 7.2. Высокий модерн и его герои. Ю.В. Кнорозов и Г.Е. Марков: свобода как экзистенциальный стержень	494
ОЧЕРК ВОСЬМОЙ. ЗАКЛИНАТЕЛИ ХАОСА ЭПОХИ ПОСТНАУКИ	520
Глава 8.1. Гибель советской этнографии. Контекст и основные тенденции развития отечественной этнологии в 1990-е годы.....	520
Глава 8.2. Заклинатели хаоса эпохи постнауки или мрачное настоящее не приговор	539
БИБЛИОГРАФИЯ	575
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ	603
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	611

*Моему учителю профессору
Геннадию Евгеньевичу Маркову*

ВВЕДЕНИЕ

Потребность в саморефлексии имманентна научному сообществу. В этом смысле респектабельная историографическая традиция обеспечивает устойчивость научной дисциплины, успешную смену поколений, концептуальную, проблемно-тематическую и культурно-ценностную преемственность.

Хотя знание истории этнологии представляет неотъемлемый элемент профессиональной идентичности, историография как таковая – удел отдельных исследователей, обладающих не только особой оптикой, но и склонностью к систематическому кабинетному (библиотечному и архивному) труду.

Разумеется, презентация нового этнологического источника (архивного, историографического, полевого), публикация результатов экспедиции, биографического очерка, участие в теоретической или методологической дискуссии рано или поздно становятся фактами истории научной дисциплины, а следовательно, вовлекают в историографическую лабораторию широкий круг ученых. Однако создание специализированных трудов по истории науки – плод усилий профессиональных историографов.

Что необходимо для развития историографической мысли, кроме наличия исследователя и (или) группы исследователей, чувствующих вкус к изучению истории науки? Достаточная временная дистанция, отделяющая историографа от описываемых событий. Взгляд ученого в этом

случае направлен не на актуальную динамику как череду разнокалиберных научных фактов, а на восприятие генеральных тенденций и качественных сдвигов.

Историографическая мысль воспроизводит логику развития науки и обобщает ее (науки) эмпирические и теоретические результаты, устанавливает своеобразные хронологические «отсечки» – этапы истории науки. Но историограф, фиксируя степень зрелости профессионального дискурса на том или ином этапе, ведет изложение с позиций сегодняшнего дня, исходя из презумпции знания результата (качественного состояния научной дисциплины здесь и сейчас). Прошлое науки реконструируется таким образом, чтобы обосновать закономерность такого исторического результата, при этом научная традиция видится как непрерывная, а настоящее – как продолжение лучших сторон прошлого и их качественное усовершенствование и развитие.

Так, «История русской этнографии» А.Н. Пыпина (СПб., 1891–1892) не столько исследовала историю становления и функционирования этнографии в России (последняя лишь на рубеже XIX–XX вв. из любительского увлечения превращалась в науку), сколько пыталась осмыслить бытование и динамику в русском образованном обществе идеи «народности». Собственно этнография для Пыпина оказалась лишь частью общественно-политического и профессионального дискурса о «народности». Вместе с тем труд Пыпина, дав развернутое представление об интеллектуальном, идеологическом и культурном контексте зарождения русской этнографии и оплодотворявших ее общественных идеях, фактически участвовал в *изобретении этнографической традиции*.

Пыпин находился в широком и динамичном потоке становящейся (но еще не вставшей на ноги!) этнографии, будучи неспособен выйти из него, что резко ограничивало возможность критического рационального взгляда на происходящее. В отличие от Пыпина С.А. Токарев занимал оп-

тимальную для историографа наблюдательную позицию. Значительная временная дистанция, отделяющая историка науки от объекта исследования, а также высокий уровень зрелости, достигнутый этнографией в среднюю советскую эпоху, позволили Токареву отлить в канонические историографические формулы историю отечественной этнологии досоветского периода («История русской этнографии. Дооктябрьский период» М., 1966).

Токарев способствовал значительному «удревнению» цеховой традиции, положив начало формированию историографического мифа о «многовековом» развитии отечественной этнографии. В серии фундаментальных монографий и статей исследователь развернул величественное историографическое полотно, в оптике которого история досоветской этнографии выглядела как приготовление к рождению советской этнографии – науки об этносах. Неважно, что представить советскую этнографию развитием и закономерным результатом этой «многовековой» истории едва ли было возможно: в 1930-х традиция прервалась, этнография пережила своеобразную «инициатическую смерть», советская и досоветская этнография были качественно различными интеллектуальными и социокультурными феноменами. Впечатляющие достижения советской науки в настоящем питали оптимистическую картину ее прошлого.

Поскольку советская страница истории российской этнографии представляет собой самодостаточный и завершившийся отрезок, от которого нас отделяет без малого 30 лет, то появление масштабного историографического полотна, отражающего специфику феномена «советской науки», не только назрело, но и перезрело. Даже постсоветский период российской этнологии невозможно более рассматривать как несамостоятельный, транзитный. Транзит точно завершился, и настало время осмыслить качественные характеристики современной российской этнологии и антропологии.

Однако появление обобщающего труда по истории советской этнографии в ближайшее время едва ли возможно в силу отсутствия ключевого условия реализации подобного масштабного проекта – наличия концептуальной канвы и конвенционального языка, обеспечивающих целостное восприятие и описание прошлого. Необходимо наличие тех спорных, но единых и твердых оснований, с которых можно было бы, по выражению Л.М. Баткина, войти «в блестящую и необходимую односторонность, в общем-то, любой стоящей методологической позиции»¹.

В среднюю и позднюю советскую эпоху основу концептуального единства составил теоретико-методологический конструкт, за которым в историографии справедливо закрепилось наименование «советской теории этноса». Ее различные интерпретации и классификации базировались на общей системе понятий и жанровых принципов и имели общий методологический исток. Концепт «этнос» служил общим обозначением «всех типов этнических общностей от наиболее древних до современных»². Этнические общности, рассматриваемые как целостность, во всей совокупности их атрибутов и феноменов, составляли страновую специфику отечественной этнологии в советский период и позволили Токареву возвести генезис этнографии ко второй четверти XIX века и деятельности Н.И. Надеждина, а истоки ее разыскивать в эпохи еще более отдаленные в связи с накоплением сведений о народах-этнусах.

¹ Цит. по: Миськова Е.В. А.А. Никишенков. «Двусмысленности нашего ремесла». Грани отечественной историографии в этнологии // А.А. Никишенков. «Изобретая традицию» и создавая «воображаемое сообщество». Сб. статей. М.: Новый хронограф, 2017. С. 41.

² Соловей Т.Д. Власть и наука в России. Очерки университетской этнологии в дисциплинарном контексте (XIX – начало XXI в.). М.: Прометей, 2004. С. 248.

Концептуальное единство позволило сформировать развитое коммуникативное пространство, функционировавшее на базе конвенционального языка в отчетливо очерченных теоретико-методологических и дисциплинарных границах «советской этнографии». А в серии «Труды ИЭ АН СССР» выходил специализированный тематический сборник «Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии», ставший влиятельной коммуникативной площадкой для систематического обсуждения историографических вопросов.

На исходе XX в. концепция «этноса» подверглась уничтожающей критике. Историографический бум 1990-х гг. строился на негативных основаниях, сопровождаясь тотальным отрицанием советского наследства в этнографии, пересмотром ее концептуальных оснований, ниспровержением идолов и кумиров. К началу 2000-х годов нигилизм в отношении советского периода отечественной этнологии был преодолен, сменившись попытками его объективного анализа как самоценного, как неотъемлемой части истории цеховой традиции. Ситуативная социально-экономическая стабильность 2000-х годов обеспечила относительно беспрепятственное развитие научных исследований, в особенности полевых («возможность ездить в экспедиции практически в любую страну мира»³) и расширение их тематики. Открывшиеся перспективы, особенно в области изучения современности, продлили иллюзию «нормализации» научной жизни и успешного перехода этнологии на рельсы рыночной экономики, вытеснив на периферию интерес к прошлому науки.

³ Сирина А.А. От редактора // Три века российской этнографии: страницы истории / отв. ред. А.А. Сирина, сост. А.А. Сирина, А.И. Терюков, М.Ф. Хартанович. М.: Наука – Вост. лит., 2018. С. 9.

Историографические штудии в первое десятилетие XXI века (период «тучных коров») носили спорадический характер, а интерес исследователей фокусировался на отдельных сюжетах истории советской этнографии. Своеобразными реперными точками этого интереса были генезис «советской этнографии» в 1920–1930-е годы и феномен «репрессированной этнографии», взаимоотношения власти и науки и амбивалентные последствия государственного патернализма, эвристический потенциал советской теории этноса. Вместе с тем специализированный периодический тематический сборник по истории науки так и не появился, как не существует постоянной площадки для систематического обсуждения историографических проблем.

Ухудшение финансово-материальных возможностей науки с началом второго десятилетия XXI века негативно повлияло на этнографическое «поле» и сбор эмпирического материала, но парадоксальным образом стимулировало историографические исследования в этнологии. Одним из немногих доступных средств реализации интеллектуальных потребностей для части научного сообщества вновь становятся книга и архивный документ. В ситуации драматического сжатия материальных возможностей продолжение научных исследований все чаще связывается с аккумуляцией и презентацией новых источников по истории российской этнологии различных периодов. Кроме того, можно осторожно предполагать, что в истории цеховой традиции, которая при этом изрядно романтизируется, ученые пытаются отыскать точки опоры для кристаллизации трансформирующейся профессиональной идентичности.

В авторской гипотезе на исходе первого десятилетия XXI века произошел второй в истории отечественной этнологии разрыв цеховой традиции (первый стал итогом «коренного перелома» рубежа 1920–1930-х гг.). События ру-

бежа 1980–1990-х гг. в нашей стране, которые справедливо характеризуют как системную революцию, *для этнографической науки* имели скорее чисто символическое, ритуальное значение, выразившись в смене руководства и названия института как дань политическому моменту. То была интеллектуальная «революция сверху», не подкрепленная значимой динамикой «снизу». Жизнь научного сообщества в целом не изменилась: постмодернистская критика «старого» научного знания для рядовых этнологов представляла собой «парадные ценности», тогда как в повседневных научных практиках руководствовались концептуальным арсеналом и подходами, унаследованными от советской эпохи. Неизменным осталось «поле» – поле этнокультурных реалий и этнической субстанции.

Этого своеобразного запаса прочности или инерции профессиональному сообществу хватило на 10–15 лет постсоветского развития. Пускай с запозданием, но гиперкритический пафос ниспровергателей «этнического» привел к размыванию дисциплинарных границ и спровоцировал кризис профессиональной идентичности.

Стала выдыхаться этническая картина мира, но не потому, что исчезла этническая материя. Во-первых, грандиозные демографические и миграционные сдвиги кардинально поменяли культурно-ценностную рамку глобального мира, породив мощную самоцензуру интеллектуального слоя, что спровоцировало ценностную инфляцию и стигматизацию понятий «этнос»/«этничность». Во-вторых, произошла смена поколений, причем активный горизонт молодых интеллектуалов составляют реалии мультикультуралистского разомкнутого в географическом и информационно-коммуникативном смысле пространства, в оптике которого этничность выглядит трудноуловимой и неактуальной. Наряду с этими внешними мировоззренческими имелись и внутрицеховые (дисциплинарные) основания кризиса профессиональной идентичности и разрыва цеховой традиции.

Дисциплинарную динамику отечественной этнологии последних полутора десятилетий можно описать как «антропологический поворот». Попытки трансформации профессиональной идентичности составляли определяющий вектор развития ИЭА РАН с начала 1990-х. Символическим актом, ознаменовавшим разрыв с «советской наукой», стала терминологическая «рокировка», в ходе которой «этнографию» заменили на «этнологию». Согласно теории «дискурса», слово не отражает, а творит окружающий мир, конституирует новую реальность. Какова была содержательная сторона этой рокировки? Подразумевалось расширение предметной рамки этнографии, в орбиту которой вошло прежде табуированное изучение современности, отказ от этнографического эмпиризма и прежних шатких теоретических построений, жестко маркировавших действительность в «этнических» категориях; приход на смену советскому догматизму теоретического и методологического плюрализма, открытость отечественной науки и ее вписанность в международный контекст.

Однако главным исследовательским результатом отечественной *этнологии* в первое постсоветское десятилетие стало получение *эмпирического* систематизированного знания и обкатка западных концептуальных подходов на российском полигоне, что создало иллюзию теоретического и концептуального многоцветия. Позитивная альтернатива в виде создания и продуцирования нового оригинального теоретического знания так и не была предложена научному сообществу. По иронии судьбы смена самоназвания с «этнографии» на «этнологию» произошла тогда, когда эмпирическая и описательная составляющая основательно потеснила теоретическую науку. В свою очередь, на теоретическом уровне опыт общих теорий (воспринимаемый в негативном ключе как часть советского наследия) был подвергнут критике, а в качестве альтернативы доморощенному теоретизированию предложено комментаторство и внедрение чу-

жих (западных) идей, не всегда пригодных для описания и понимания российской действительности.

Произошла ценностная и содержательная инфляция термина «этнология», альтернативой которому стал термин «антропология». Впрочем, для новой генерации этнологической корпорации терминологическая чехарда не имеет особого значения. Как неважны для нее интеллектуальные выверты и схоластические квазинаучные рассуждения (они остаются уделом историографов и доктринеров преимущественно старших поколений). В постнаучную эпоху, эпоху клипового мышления теоретические дебаты, основывающиеся на текстах, избыточно аргументирующие и апеллирующие к логике и разуму, скорее разъединяют, нежели объединяют. Опознавательным знаком, маркирующим современное атомизированное этнологическое/антропологическое сообщество, выступает «поле» – мифосимволический стержень и предмет цеховой гордости. «Поле» как необходимый минимум для определения границ профессиональной идентичности.

Если антропологический поворот завершился, и контуры новой антропологической идентичности задает поле, то какова структура антропологического поля, в чем состоит специфически антропологический подход к его прочтению? «Великолепная рутинная повседневность», заменившая традиционное этнографическое поле говорящих «народностей», как объект изучения входит в орбиту множества научных дисциплин и не позволяет определить специфику *антропологического* подхода к фиксации и изучению культурных и социальных феноменов. До тех пор пока не схвачена *качественная* антропологическая определенность поля, нет и не может быть уверенности в том, что описываемая таким образом (при помощи поля. – Т.С.) цеховая идентичность является антропологической.

Таким образом, попытка в отсутствие концептуального единства определить антропологическую идентичность

через поле загоняет нас в логическую ловушку. Термин «антропология» превращается в эвфемизм, обозначающий дисциплину без предметных рамок, эдакое искусство беспредметности.

Теоретический минимум, необходимый для нормального функционирования дисциплины, составляет конвенциональная рамка, определяющая *контуры* исследовательского поля и *язык описания* обнаруженных в поле реалий. В отсутствие конвенциональной рамки поле драматически размывается, становится неуловимым и непознаваемым, что вызывает растерянность и дезориентацию.

Старт возможен только «с хорошо освоенной территории собственной традиции с пониманием того, где проходят границы последней»⁴.

В моем понимании именно теория (даже если она представляет собой всего лишь широкое концептуальное единство или ситуативную конвенцию), задавая угол зрения и структурируя наше восприятие действительности, формирует *предметное поле* науки.

Так, в 30–40-х годах XIX века общественно-политический (официальная идеология С.С. Уварова, славянофилы) и научный (Н.И. Надеждин) дискурсы о «народности» фокусировали внимание исследователей на изучении русской народности/этничности и, по сути, создали поле собирательской этнографии. Ничем иным, кроме следования официальной идеологической установке – сконструировать образ «благородного и верноподданнического» русского народа, нельзя объяснить интерес профессора кафедры римских древностей И.М. Снегирева к «простонародной личности» великорусского пахаря, как нельзя объяснить экзальтированный восторг датчанина и протестанта

⁴ Миськова Е.В. А.А. Никишенков. «Двусмысленности нашего ремесла»... С. 41.

В.И. Даля по поводу русскости, реализующей себя в фольклорных формах.

Гуманистические презумпции – желание «вывести Сибирь из положения колонии Российской империи на путь процветания и прогресса» – мотивировали плеяду сибирских «областников» Г.Н. Потанина, Н.М. Ядринцева, А.В. Адрианова, структурировали их взгляд на инородческий вопрос и конструировали поле, где исследователи искали и обнаруживали факты о «вымирании» сибирских народов. Совершенно не важно, как это соотносилось с действительностью. По оценкам крупного советского этнографа-сибироведа Б.О. Долгих, два крупнейших аборигенных народа Сибири – якуты и буряты – возросли в численности с середины XVII по конец XIX в. в десять (!) раз, а все коренное население Сибири за этот период – почти в четыре раза⁵. В картине мира областников поле – это изучение жизни малых сибирских народов, защита их интересов и прав, а русские, которые ассоциировались с «колониализмом» и «империализмом», находились за пределами такого этнографического поля.

Изучающий советскую повседневность эмпирик, в зависимости от мировоззренческой установки и имеющихся теоретических оснований, обнаруживал в ней факты, свидетельствующие об империалистических потугах руссоцентричной империи или, напротив, о гармоничном сожительстве социалистических наций и советской дружбе народов. И лишь исключительно редко он осмеливался аккумулировать факты, рисующие возрастающее тяжелое бремя русских и их жертвенную роль, институциональную неполноцен-

⁵ Статистика приводится по: Крупник И.И. Культурные контакты и их демографические последствия в районе Берингова пролива // Америка после Колумба: взаимодействие двух миров. М.: Наука, 1992. С. 42.

ность РСФСР и проявления «пробивающегося из-под глыб» русского самосознания.

После этой обширной интродукции вернусь к основной линии изложения. Проснувшийся в последние пять-семь лет интерес к истории отечественной этнологии, чем бы он ни был продиктован, пока не удастся подкрепить институционально. Необходимо наличие постоянно действующей коммуникативной площадки для планомерного и систематического обсуждения историографической проблематики. Выделение историографических секций в повестке ежегодных конгрессов антропологов и этнологов носит скорее символический характер (как дань необходимому атрибуту научного дискурса) и происходит по «остаточному принципу» – группирование докладов, не вписавшихся в проблематику «основных» секций. Очень важен регулярный, а не спорадический характер разработки и публикации историографического контента. Важным каналом коммуникации может стать *периодическое* издание историографического профиля, объединяющее заинтересованных специалистов, а также формирующее повестку разысканий в области истории науки. В отсутствие единой повестки историографические сюжеты, будь то научный доклад, статья, тематический сборник или монография, составляют *случайное множество* – фрагменты, из которых целостное мозаичное полотно может и не сложиться.

Между тем в ситуации драматической трансформации профессиональной идентичности и очевидной растерянности антропологического сообщества перед лицом цеховых и социальных проблем историография из периферийного и узкоспециального знания превращается в важнейший элемент внутринаучной нормализации. Создание целостной концепции истории этнографии советского периода, превращение ее в конвенциональное знание и часть историографической традиции – абсолютно необходимое условие осмысле-

ния современных реалий, определения основных линий преемственности и точек разрыва цехового/профессионального континуитета. Последнее, в свою очередь, способно обеспечить принятие настоящего и сформировать активный горизонт будущего отечественной этнологии/антропологии.

Историографический обзор наглядно демонстрирует вялую саморефлексию отечественной этнологии, работы по истории которой сравнительно немногочисленны и чаще всего фрагментарны, причем ранние периоды истории этнографии исследованы лучше поздних, хотя в них все равно остаются зияющие лакуны.

По досоветской этнографии имеются труды обобщающего характера. Это четырехтомник А.Н. Пыпина «История русской этнографии» – первая попытка научной рефлексии феномена «русской этнографии», которая сейчас служит ценным историографическим источником⁶. С точки зрения собранного, систематизированного и проанализированного материала непревзойденной остается монография С.А. Токарева по истории русской этнографии досоветского периода – плод многолетних изысканий ученого в этой области⁷. И хотя некоторые тезисы этого капитального труда небесспорны, работа Токарева создает концептуальную и контекстуальную историографическую рамку, в которую вписываются новые источники и новые интерпретации

⁶ Для меня особый интерес представлял первый том его работы. См.: Пыпин А.Н. История русской этнографии. В 4-х тт. Т. I. Общий обзор изучений народности и этнографии великорусской. СПб., 1890. 424 с.

⁷ Токарев С.А. История русской этнографии (Дооктябрьский период). М., 1966; *Его же*. Основные этапы развития русской до-революционной и советской этнографии (Проблема периодизации) [Доклад, прочитанный на этнографическом совещании в Москве 24 января 1951 г.] // Советская этнография (далее – СЭ). 1951. № 2. С. 160–178.

без угрозы разрушения целостной картины истории досоветской этнографии.

В большинстве историографических интерпретаций XVIII век находится за рамками оформления отечественной этнологии в дисциплинарных границах, иногда характеризуясь как ее предыстория. Вместе с тем имперская территориальная экспансия и начало *систематического* описания территории и населения Российской империи, исходной точкой которых стал XVIII век, составляет периферийную, но устойчивую историографическую линию⁸.

Что касается этнографии XIX – начала XX в., функционирующей уже в дисциплинарных рамках, то традиционные направления историографического интереса представляют исследование культурного, интеллектуального, идеологи-

⁸ См., напр.: *Березницкий С.В.* Караванная торговля России с Китаем и отечественная наука XVIII века: историографический аспект // Радловский сборник: Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2013 г. / отв. ред. Ю.К. Чистов. СПб.: МАЭ РАН, 2014. С. 77–90; *Его же.* Караванная торговля России с Китаем в XVIII веке и этнографическое изучение народов Амура // Три века российской этнографии... С. 14–32; *Головнев А.В., Киссер Т.С.* Этнопортрет империи в трудах П.С. Палласа и И.Г. Георги // Уральский исторический вестник. 2015. № 3 (48). С. 59–69; *Киссер Т.С.* Путешествие И.П. Фалька и И.Г. Георги по Российской империи (по материалам дневников) // Уральский исторический вестник. 2016. № 2 (51). С. 53–60; *Ее же.* Костюмы и рисунки: визуальное народоведение И.Г. Георги // Три века российской этнографии. С. 33–46; *Соловей Т.Д.* Между политикой и наукой: этнографическое знание в XVIII веке // Этнокультурные процессы в прошлом и настоящем / Сб. научн. ст. К юбилею д.и.н., профессора К.И. Козловой. М.: МГУ, 2012. С. 322–336; *Ее же.* *Lusus Naturae.* Народы в контексте естественнонаучного знания. Учебно-методическое пособие. М.: Издательство «Перо», 2016.

ческого и иных контекстов и внешних влияний⁹, биографии крупных ученых-этнографов в контексте эпохи¹⁰, история формирования основных этнографических институций¹¹,

⁹ *Могильнер М.* Homo Imperii. История формирования физической антропологии в России (конец XIX – начало XX в.). М.: НЛЮ, 2008. 512 с.; *Соловей Т.Д.* От интуиции к рацио. Дискурс о народности в XIX веке. Учебно-методическое пособие. М.: Перо, 2016. 308 с.; *Ее же.* Дискурс о «народности» в XIX веке: структура и эволюция // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. № 4. 2016. С. 50–65.

¹⁰ См. напр.: *Гостиева Л.К.* Из истории этнографического осетинovedения: С.В. Кокиев // Три века российской этнографии. С. 80–101; *Керимова М.М.* Вклад В.В. Богданова и Б.М. Соколова в создание и развитие российской этнографической периодики // Три века российской этнографии. С. 102–139; *Ее же.* Жизнь, отданная науке. Семья этнографов Харузиных. М.: Вост. лит., 2011; *Панченко А.Б.* От народничества к народоведению: становление Д.А. Клеменца как этнографа // Три века российской этнографии. С. 60–79; *Его же.* Д.А. Клеменц и производство знания о народах в Российской империи // Этнографическое обозрение (далее – ЭО). 2018. № 2. С. 122–136; Решетов А.М. Неизвестные страницы из жизни Д.К. Зеленина (об участии Зеленина в конкурсе в Казанском университете) // ЭО. 2005. № 4. С. 130–136; *Слободин С.Б.* Выдающийся исследователь северных народов (к 150-летию со дня рождения В.И. Иохельсона) // ЭО. 2005. № 5. С. 96–115; *Соловей Т.Д.* Советский миф о «культурном герое». Труды и дни Н.Н. Миклухо-Маклая // Родина. 2011. № 8. С. 125–129; *Цаллагова З.Б.* В.Ф. Миллер и его осетинovedческие штудии // ЭО. 2014. № 2. С. 90–98; *Шенталинская Т.С.* Софья Богораз – автор записей русского фольклора на Чукотке // ЭО. 2012. № 1. С. 110–120.

¹¹ *Баранов Д.А.* К истории классификаций в Этнографическом отделе Русского музея («великорусы», «русские», «иностранцы») // Музей, Традиции, Этничность. 2012. № 1. С. 28–37; *Калашникова Н.М.* Первая этнографическая выставка России // Славяне Европы и народы России. СПб.: Славия, 2008. С. 12–45; *Кери-*

концептуальный арсенал и истоки теории этноса¹². Все эти сюжеты естественным образом инкорпорируются в разработанную Токаревым историографическую канву досоветской этнографии.

В случае с историей советской этнографии (в отличие от досоветской) отсутствие обобщающего труда и целостной историографической концепции создает угрозу *фрагментации* и *деконтекстуализации* материала.

Одним из фокусов историографического интереса остается раннесоветский период истории, когда происходило становление советской этнографии как особого интеллектуального и социокультурного института. Это вполне объяснимо: генезис научной дисциплины традиционно вызывает повышенный интерес историков науки. Тем более что речь идет об эпохе, которую (по крайней мере до конца 1920-х) отличали бешеная интеллектуальная и культурная пульсация, высокий уровень социального оптимизма и массовый энтузиазм, всеобщая тяга к эксперименту, институциональный и теоретический плюрализм.

Можно предположить, что устойчивую «моду» на исследование истории этнографии 1920-х – начала 1930-х годов питает не только академический интерес, но и бессознательное стремление в нынешних условиях утраты интеллектуальных ориентиров и отсутствия горизонта будущего, заря-

мова М.М. Императорское Общество любителей естествознания антропологии и этнографии и судьба его архива // *ЭО*. 2007. № 1. С. 137–141; *Турьинская Х.М.* Этнографическое музееведение в России в конце XIX – начале XX в. М.: ИЭА РАН, 2008. 313 с.; *Ее же*. Н.А. Янчук: у истоков «Этнографического обозрения» // *ЭО*. 2009. № 4. С. 102–109.

¹² *Алымов С.С.* У истоков теории этноса: Н.М. Могилянский и петербургская антропология конца XIX – начала XX века // *Три века российской этнографии*. С. 140–160; *Его же*. Украинские корни теории этноса // *ЭО*. 2017. № 5. С. 67–84.

диться энергетикой той неоднозначной эпохи, подпитаться ее антропологическим оптимизмом и проникнуться пафосом созидания качественно новой интеллектуальной и культурной ткани.

Раннесоветская история вскрывается через биографии ученых¹³, через историю отдельных институций¹⁴, через

¹³ *Алымов С.С.* П.И. Кушнер и развитие советской этнографии в 1920–1950-е годы. М.: ИЭА РАН, 2006. 256 с.; *Его же*. На пути к «древней истории народов СССР»: малоизвестные страницы научной биографии С.П. Толстова // *ЭО*. 2007. № 5. С. 125–144; *Анчабадзе Ю.Д.* С.А. Токарев: начало пути // *ЭО*. 2010. № 3. С. 120–133; Лев Штернберг – ученый, гражданин и человек (к 150-летию со дня рождения) / под ред. Е.А. Резвана. СПб.: МАЭ РАН, 2012. С. 240–247; *Малинов А.В.* Экспедиция Д.К. Зеленина на Алтай в 1927 г. // *ЭО*. 2016. № 3. С. 57–70; *Михайлова Е.А.* Владимир Германович Богораз: ученый, писатель, общественный деятель // *Выдающиеся этнологи и антропологи XX в.* / под ред. В.А. Тишкова, Д.Д. Тумаркина. М., 2004. С. 95–136; *Некрылова А.Ф.* Вера Николаевна Харузина и этнография ее времени (1866–1931) // Харузина В.Н. *Этнография*. Лекции / подг. текстов, вст. ст., коммент., справ. аппарат А.Ф. Некрыловой. СПб.: Тропа Троянова, 2007. С. 3–27; *Ревуненкова Е.В.* Из истории отечественной этнографии: Нина Ивановна Гаген-Торн (1900–1986) // *ЭО*. 2012. № 6. С. 99–122; *Савоскул С.С.* Этнограф Красноярского музея – Б.О. Долгих в 1937–1944 годах // *ЭО*. 2009. № 1. С. 100–118; *Шангина И.И., Аксянова Г.А.* Давид Алексеевич Золотарев – этнограф, антрополог, организатор науки в России начала XX века // *Три века российской этнографии*. С. 221–245.

¹⁴ *Керимова М.М.* Вклад В.В. Богданова и Б.М. Соколова в создание и развитие российской этнографической периодики // *Три века российской этнографии: страницы истории*. С. 102–140; *Ее же*. Журнал «Этнографическое обозрение» на переломе эпох (1889–1930) // *ЭО*. 2017. № 1. С. 12–29; *Решетов А.М.* Институт антропологии и этнографии – Институт этнографии АН СССР. 1933–1943 гг. // *ЭО*, 2003. № 5. С. 24–42; *Ипполитова А.Б.*

презентацию и комментирование архивных или историографических источников¹⁵, через анализ контекстуальных (идеологических и интеллектуальных) влияний¹⁶. Крайне редко авторы публикаций покушаются на широкие обобще-

История Музея народов СССР в Москве // ЭО. 2001. № 2. С. 144–160; *Kan. S. Evolutionism and Historical Particularism at the St. Petersburg Museum of Anthropology and Ethnography* // *Museum Anthropology*. 2008. Vol. 31. № 1. P. 28–46.

¹⁵ От классиков к марксизму: совещание этнографов Москвы и Ленинграда (5–11 апреля 1929 г.) / под ред. Д.В. Арзютова, С.С. Алымова, Д.Дж. Андерсона. СПб.: МАЭ РАН, 2014; *Сирина А.А. «Я ... чувствую себя в обществе наблюдателем»: письма С.М. Широкогорова к Л.Я. Штернбергу (1912–1924)* // ЭО. 2015. № 6. С. 152–172.

¹⁶ *Алымов С.С. Три этюда о марризме в советской этнографии* // ЭО. 2008. № 6. С. 79–93; *Его же. Космополитизм, марризм и прочие «грехи»: отечественные этнографы и археологи на рубеже 1940–1950-х годов* // Новое литературное обозрение (далее – НЛО). 2009. № 3 (97). С. 7–36; *Дмитриев А. «Академический марксизм» 1920–1930-х годов: западный контекст и советские обстоятельства* // НЛО. 2007. № 88. С. 10–38; *Кан С. «Мой друг в тупике эмпиризма и скепсиса»: Владимир Богораз, Франц Боас и политический контекст советской этнологии в конце 1920-х – начале 1930-х годов* // Антропологический форум (далее – АФ). 2007. № 7. С. 191–230; *Alymov S. Ethnography, Marxism, and Soviet Ideology* // *An Empire of Others. Creating Ethnographic Knowledge in Imperial Russia and the USSR* / Ed. By R. Cvetkovsky, A. Hofmeister / Central European University Press, 2014. P. 121–144; *Hirsch F. Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union*. Ithaca: Cornell University Press, 2005; *Соловей Т.Д. От «буржуазной» этнологии к «марксистской» этнографии: стратегии продвижения марксистской ортодоксии в раннесоветский период* // Исторические исследования. Журнал исторического факультета МГУ. 2018. № 11. С. 160–178.

ния и концептуализацию¹⁷, передоверив право «говорить» непосредственным участникам описываемых событий, стенограммам и архивным документам. Очевидно, в этом видится научная добросовестность и интеллектуальная скромность. Но не только.

Это продолжение вечного антропологического спора, что важнее – «детали и крупные планы» или «убедительные объяснения»¹⁸. Применительно к историографическому жанру обе стратегии неразрывно связаны. Но конечная цель историка науки – создание целостной историографической концепции, историографического континуума, который обеспечивает возможность «поместить настоящее в исторический контекст». В ином случае событийный калейдоскоп и многоголосие (полифония) советской этнографии первой половины XX века, даже будучи предельно точно воспроизведены, представляют собой фрагменты, которые едва ли складываются в цельный пазл.

Если первая треть XX века это уже основательно «вспаханное» историографическое поле, то в части изучения

¹⁷ Примеры плодотворной аналитической работы имеются. См., напр.: *Алымов С.С., Арзютов Д.В. Марксистская этнография за семь дней: Совещание этнографов Москвы и Ленинграда и дискуссии в советских социальных науках в 1920–1930-е годы* // От классиков к марксизму: совещание этнографов Москвы и Ленинграда (5–11 апреля 1929 г.). С. 21–90; «Провинциальная» наука: этнография в Иркутске в 1920-е годы / Избр. ст. / сост., автор вст. ст. и библиогр. словаря А.А. Сирина. М. – Иркутск, 2013; *Соловей Т.Д. Этнографическое совещание 1929 года как коммуникативное и пропагандистское пространство* // Современная коммуникативистика. 2018. № 4. С. 9–16.

¹⁸ *Эриксен Т.Х. Что такое антропология? Учеб. пособие* / пер. с англ. А.И. Карасевой; под науч. ред. Ж.В. Корминой; предисл. Ж.В. Корминой. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. С. 84.

средней и поздней советской эпохи исследования продвинулись незначительно. Приращение знания произошло за счет введения в научный оборот новых источников (архивно-эпистолярных)¹⁹, за счет публикаций в жанре персоналии²⁰.

В целом биобиблиографический жанр оказался самым плодотворным направлением историографического интереса последних полутора десятилетий. Книга «Выдающиеся этнологи и антропологи XX века»²¹ не только демонстрировала высокий профессиональный стандарт, но и задавала логику понимания истории отечественной этнологии не через концептуально-оценочные суждения, а через биографии ученых, в которых социополитические и интеллектуальные коллизии прошлого столетия улавливались выпукло и до-

¹⁹ См. напр.: *Наумова О.Б.* Среднеазиатская этнография 1960–1970-х годов в письмах А.К. Писарчик к О.А. Сухаревой // Три века российской этнографии. С. 246–277; *Ватьянова Е.П., Коренько В.А.* Письма из домашнего архива С.И. Вайнштейна как источник по истории науки // Три века российской этнографии. С. 311–332.

²⁰ См. напр.: *Иванова Е.В.* О Н.А. Бутинове // АФ. 2005. № 2. С. 416–420; *Ревуненкова Е.В.* Из истории отечественной этнографии, Нина Ивановна Гаген-Торн // ЭО. 2012. № 6. С. 99–122; *Ее же.* Николай Александрович Бутинов в истории российской этнографии // Три века российской этнографии. С. 278–310; *Решетов А.М.* Материалы к биобиблиографическому словарю российских этнографов и антропологов. XX век. СПб., 2012; см. также рецензию *С.С. Алымова* на книгу Решетова А.М. // ЭО. 2013. № 4. С. 188–189.

²¹ Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи XX в. / под ред. В.А. Тишкова, Д.Д. Тумаркина. М.: Наука, 2004. 716 с. См. также: *Савоскул С.С.* Несколько заметок об истории и современном развитии отечественной этнологии и антропологии (по поводу выхода в свет книги «Выдающиеся этнологи и антропологи XX века». М.: Наука, 2004. 716 с.) // Отечественная история. 2006. № 1. С. 179–186.

стоверно. При этом исследователь мог полагать себя беспристрастным и неангажированным (в культурно-ценностном и идеологическом отношении) наблюдателем исторических реалий. Но подобный историографический «нейтралитет» не более чем иллюзия. Во-первых, выбор того или иного интеллектуального кумира выступает проекцией академической предрасположенности и бессознательного психоэмоционального тяготения к подобному научному, гражданскому и человеческому стилю. То есть этот выбор субъективен, а в прошлом, как и в настоящем, мы ищем и находим психологическое и интеллектуальное гетто. Во-вторых, чтобы осмыслить настоящее и двигаться вперед, необходимо *принять* прошлое, а принятие – это объяснение и интерпретация. Не сформулировав в конвенциональных, приемлемых для большинства формулах нашего отношения к советскому прошлому и российскому настоящему, мы не сможем определить горизонты будущего.

После этого небольшого отступления вернусь к характеристике историографической продукции последних 15 лет. Если исходить из того, что «Этнографическое обозрение» – главный орган цеховой коммуникации – не только аккумулирует, отражает исследовательские приоритеты, но и во многом задает научную повестку, определяет цеховой стандарт и даже особенности интеллектуального стиля и интеллектуальную моду, то рассмотрение его контента позволит уловить тропы историографических разысканий.

Бросается в глаза спорадический характер публикаций по истории отечественной этнологии, чаще всего в жанре персоналии, привязанной к круглым датам и юбилеям. То есть историографические материалы имеют функциональное (как придаток историографического календаря или историографического пантеона), а не самоценное значение. Буквально в соответствии с максимой «чтобы стать героем, надо умереть» мемориальный жанр составляет стержень

историографической повестки на страницах «Этнографического обозрения»²².

Жанр персоналии как таковой не содержит встроенных ограничений, которые способны принципиально заблокировать возможность серьезных концептуализаций, проливающих свет на логику и динамику отечественной этнологии в разные исторические периоды²³. Но чаще всего юбилейный/мемориальный характер публикации диктует ее специфически некритический и благостный оттенок.

Более продуктивным форматом, нежели рубрика In Memoriam, с точки зрения историографического поиска

²² Аксянова Г.А., Пестряков А.П. Вклад Н.Н. Чебоксарова в антропологию: 100-летний юбилей ученого // ЭО. 2009. № 6. С. 100–114; Алымов С.С. На пути к «древней истории народов СССР»: малоизвестные страницы научной биографии С.П. Толстова. К 100-летию со дня рождения С.П. Толстова // ЭО. 2007. № 5. С. 124–144; Калиновская К.П., Турьинская Х.М. Н.Н. Чебоксаров у истоков музейного дела в ИЭА РАН // ЭО. 2009. № 6. С. 114–119; Карлов В.В. Ученый и его время (к научной биографии профессора К.И. Козловой) // ЭО. 2013. № 4. С. 118–128; Ревуненкова Е.В. Н.А. Бутинов: портрет на фоне века (к 100-летию со дня рождения) // ЭО. 2016. № 3. С. 96–111; Соколова З.П. Воспоминания о В.Н. Чернецове. (К 100-летию со дня рождения, 17 марта 1905 г. – 29 марта 1970 г.) // ЭО. 2006. № 3. С. 149–157; Специальная тема номера: К 130-летию со дня рождения С.М. Широкогорова (отв. ред. А.А. Сирина, В.Н. Давыдов) // ЭО. 2017. № 5. С. 5–66; Специальная тема: Изобретение этноса: неизвестная история известной теории (отв. ред. С.С. Алымов) // Там же. С. 67–141.

²³ См., напр.: Специальная тема номера. Уроки Л.Н. Гумилева: блеск и нищета теории этногенеза (отв. ред. В.А. Шнирельман) // ЭО. 2006. № 3. С. 3–53; Дискуссия номера. Истоки теории этноса: С.М. Широкогорова и другие (отв. ред. А.М. Кузнецов) // ЭО. 2006. № 3. С. 54–93; Кузнецов А.М. Теория этноса С.М. Широкогорова // ЭО. 2006. № 3. С. 57–71.

представляется интервью²⁴, где срабатывает эффект «личного свидетельства» непосредственного участника или очевидца исторических событий, а также автобиография (воспоминания, заметки). Но историк науки должен принимать в расчет следующее обстоятельство. В подобном типе историографического источника вопрос об объективности или субъективности интервьюируемого, а также достоверности или недостоверности созданной им картины исторической действительности отходит на второй план. В конце концов, правда – это то, с чем мы согласны. Если следовать этой максиме, то единственным надежным критерием отношения к любой форме (само)рефлексии выступает ее способность вызвать эмоциональный отклик. Картина мира «по Вайнштейну, Тумаркину, Гаген-Торн или Пименову» – это сотканный ими миф о времени, этнологии и о себе в этнологии.

Наибольший историографический интерес представляют публикации, стимулирующие дискуссию по тем или иным сюжетам истории отечественной этнологии или выступающие проявлением такой дискуссии²⁵.

²⁴ См., напр.: А.А. Сирина. Чувствовать движение науки (интервью с Даниилом Давидовичем Тумаркиным) // ЭО. 2012. № 4. С. 140–165; Тишков В.А. Наука и жизнь. Разговоры с этнографами. СПб.: Алетейя, 2008. 176 с.; Тишков В.А. Размышления об итогах жизни: беседа с Севьяном Израилевичем Вайнштейном // ЭО. 2008. № 2. С. 70–86.

²⁵ См., напр.: [С.В. Соколовский] От редакции. Преемственность или разрыв? (О дате основания журнала Этнографическое обозрение) // ЭО. 2017. № 1. С. 5–11; Керимова М.М. Журнал «Этнографическое обозрение» на переломе эпох (1889–1930) // ЭО. 2017. № 1. С. 12–29; Специальная тема номера. Дисциплина и общество: национальные традиции (отв. ред. А.А. Елфимов) // ЭО. 2005. № 2. С. 3–5; Тишков В.А. Об антропологии как дисциплине в российской традиции // ЭО. 2005. № 2. С. 6–7;

Коль скоро «Этнографическое обозрение» представляет собой своеобразный микрокосм отечественной этнологии с точки зрения господствующей проблематики, исследовательских практик и интеллектуального стиля, то выводы по итогам анализа содержания этого журнала вполне можно экстраполировать на науку в целом.

Историография выглядит слабой и маловлиятельной частью современного этнологического/антропологического дискурса. Разовые публикации, разрозненные в проблемно-тематическом смысле, принадлежащие разным исследовательским стилям и несущие отпечаток личностных пристрастий²⁶, в отсутствие историографического вектора едва ли могут способствовать кристаллизации целостной картины истории цеховой традиции – неперменного элемента профессиональной идентичности.

Разумеется, историографическая мысль не останавливается. Постепенно заполняются лакуны в нашем знании истории отечественной этнологии как научной и учебной дисциплины. Но знание, даже детальное, не равносильно пониманию ее логики и динамики. Чтобы вписать настоя-

Чешко С.В. От советской этнографии к российской этнологии // ЭО. 2005. № 2. С. 8–10.

²⁶ См.: напр.: Козьмин В.А. Из истории этнографического образования в Ленинградском / Санкт-Петербургском университете // ЭО. 2009. № 4. С. 109–117; Его же. Кафедра этнографии и антропологии // Исторический факультет Санкт-Петербургского Университета. 1934–2004; Очерк истории. СПб., 2004. С. 317–339; Соловей Т.Д. Государственный патернализм и советская этнографическая наука (1950–1980-е годы) // Больше чем этнограф / Сб. науч. статей памяти профессора В.В. Пименова / Ред. Т.С. Гузенкова, В.В. Карлов. М.: МГУ, 2015. С. 143–157; Её же. С надеждой на прекрасную науку будущего: кафедре этнологии исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова – 80 лет // Культурное наследие России. 2019. № 4. С. 3–17.

щее в исторический контекст, представить его как продолжение и развитие историографической традиции и одновременно как площадку для проектирования контуров будущего антропологии/этнологии в России, абсолютно необходимо создать обобщающий труд по истории советской этнографии, что позволит обнаружить в современном состоянии науки линии преемственности и точки разрыва, зафиксировать отказ от «старого» знания и кристаллизацию нового теоретического качества или элиминирование теоретического уровня этнологии в пользу «цветущего» эмпиризма.

Постсоветская история российской науки насчитывает тридцать лет – срок более чем достаточный для оценок (уже не предварительных и поверхностных, а серьезных и концептуализирующих) результатов ее деятельности. Все множество существующих на этот счет точек зрения тяготеет к трем основным позициям. Первая, «оптимистическая», полагает, что отечественная этнология движется в правильном направлении, а актуальные трудности рассматривает как временные и преодолимые. Оптимизм представителей этой позиции питают такие позитивные черты современного периода развития науки «как открытость мировому научному сообществу, возможность ездить в экспедиции практически в любую страну мира, обмен научными и культурными ценностями, расширение тематики и методологии исследований, а также круга этнологов/антропологов за счет смежных дисциплин и непрофессионалов»²⁷.

Другая, «пессимистическая», утверждает, что современное состояние науки и общества сущностно «неправильное». В оптике нищих интеллектуалов, вне зависимости от их по-

²⁷ Сирина А.А. От редактора // Три века российской этнографии. С. 9.

литико-идеологических и ценностных убеждений, российская наука одинаково неуспешна – не способна интегрироваться в западную науку в качестве равноправного партнера и лишь удаляется от Запада, в одном случае; не способна реализовать свой потенциал по причине отсутствия государственной поддержки и внутренних источников легитимации, а также в силу деформирующего воздействия рыночной экономики, в другом случае.

Наконец, в последнее время набирает силу «реалистическая» позиция, которая исходит из того, что нынешнее постнаучное, или постдисциплинарное²⁸ состояние этнологии / антропологии – это и есть новая нормальность, которая пришла всерьез и надолго, а иного нам не дано в силу страновой специфики, историко-культурного багажа и особенностей национального менталитета.

В предложенном «реализме» меня как историка науки и человека смущает его крайний фатализм, отказывающий людям в свободе воли и возможности изменить судьбы науки и общества.

Что касается первых двух позиций – «оптимистической» и «пессимистической», то им как раз не хватает трезвого реализма. Они основываются на общих культурных и психологических посылах и имплицитно исходят из аксиоматики прогресса и идеи антропологического оптимизма, что предполагает веру в обязательное улучшение ситуации в науке. Даже пессимисты (а, возможно, именно они), оценивая статус-кво как временное отступление от магистральной линии развития науки, в глубине души убеждены, что ситуация поправима и все упирается в дефицит добрых намерений, недостаточность усилий, слабость научных инсти-

²⁸ Соколовский С.В. Будущее антропологии: кросс-, интер-, мульти-, транс-, а- или постдисциплинарность? // Сибирские исторические исследования. 2016. № 4. С. 12–29.

туций. Словом, ожидание неизбежного прихода «цивилизованного» капитализма или реанимации «государственного патернализма» советского извода, которые вот-вот прольют «золотой дождь» на ученых и науку.

Вера в лучшее и культурное обаяние построенных на этой вере схем серьезно искажает восприятие действительности. История человечества – это отнюдь не только непрерывное улучшение, социальный и культурный прогресс. Упадок, деградация и регресс такие же равноценные формы человеческого развития, как прогресс и эволюция.

Оптимальной для историографа позицией представляется признание самостоятельности переживаемого нами исторического момента и принятие настоящего как *самоценной реальности*. Описание и анализ динамики отечественной этнологии в последние 15–20 лет блистательно отсутствуют, представляя собой историографическую лакуну. Но признание самоценности современного состояния отечественной этнологии/антропологии не исключает его оценки как переходного и даже переломного. Вектор перехода не предрешен. От нас и наших усилий зависят контуры прекрасной науки будущего.

Авторский замысел состоит в попытке реконструировать общую логику и историческую динамику отечественной этнографической/этнологической традиции на протяжении XVIII – начала XXI века. Этот замысел возник еще в начале 2000-х годов и был частично реализован в монографии «Власть и наука в России. Очерки университетской этнографии в дисциплинарном контексте» (М., 2004). В ходе написания монографии произошло расширение и фактическое видоизменение первоначальной цели исследования: ею оказался не анализ отдельно взятой университетской этнографии, а реконструкция логики развития этнографии как научной дисциплины. Ограниченный импульс изучения университетской этнологии трансформировался в амбициозную попытку концептуализации истории отечественной

этнографии в целом, в намерение расшифровать смысл и предназначение этой науки.

Столь масштабная исследовательская заявка не могла быть реализована одним человеком в рамках одной монографии. Поэтому книга носила теоретический и синтетический, а не описательный и аналитический характер. Ее сверхзадачей стала выработка целостной концепции становления и развития отечественной этнографии на всем протяжении ее исторического пути, а не описание, систематизация и анализ всех основных составляющих этнографической науки последних двух столетий.

В фокусе монографии оказались доминантное для отечественной этнографии отношение власть – наука и его главные проекции в теоретико-методологическую и тематическую сферу. Одновременно работа не претендовала на исчерпывающую полноту в анализе внутренних тенденций науки, не ставила целью систематизированное изложение ее основных фактов и абстрагировалась от специфики историографического процесса на периферии.

С момента выхода книги прошло более пятнадцати лет, и хотя концептуально она сохраняет свое значение, а основные выводы не вызывают внутреннего отторжения, авторская оптика изменилась в силу изменения историографического контекста. Книга 2004 г. описывала реалии 1990-х, имея в виду транзитный, переходный характер происходящего в стране, обществе и науке. Наряду с анализом последствий гибели института советской науки для этнографии она содержала определенные прогностические наметки в отношении перспектив развития этнологии (и вообще социогуманитарного знания) в современной России. Транзит, очевидно, завершился, и мы без малого 20 лет находимся в новой самостоятельной реальности. Настало время верифицировать точность авторского прогноза, представив характеристику современного состояния этнологии/антропологии в России.

В свою очередь, образ настоящего неизбежно влияет на восприятие прошлого. Взгляд на историю, в том числе историю науки, вернее всего характеризовать как ретроспективно-телеологический, то есть исходящий из презумпции знания итога, результата исторического события или процесса. Прошлое реконструируется таким образом, чтобы обосновать закономерность и неизбежность настоящего.

Нынешняя книга в концептуальном и содержательном отношении является одновременно преемственной (в нее вошли значительные фрагменты монографии «Наука и власть», переработанные и дополненные) и новаторской. Наличие отрефлексированной картины современной ситуации в этнологии/антропологии (в ситуации завершившегося транзита) внесло определенные коррективы в авторское понимание исторической динамики отечественной этнологии. Коррективы, не взламывающие стержень историографической концепции, сложившейся в начале «нулевых», но дополняющие и углубляющие это понимание.

Не отказываясь от концептуального положения об оформлении этнографии в дисциплинарных рамках в середине XIX в., а полновесной ее институционализации не ранее последней четверти XIX в., вместе с тем автор полагает, что период так называемого «накопления этнографических знаний» (*преддисциплинарный*) нельзя выносить за скобки. По крайней мере XVIII в. представляет определенный историографический интерес. Во-первых, тогда закладывались контуры взаимоотношений науки и власти, ставшие доминантой в судьбах отечественной науки (в том числе этнографии). Во-вторых, под влиянием иностранных ученых формировались принципы классификации, описания и изучения народов (пусть даже последние имели функциональное значение как часть исследования пространства). В-третьих, кристаллизовались константы русского восприятия Запада и под их влиянием формулировались основные направления национального дискурса и национальной

идентичности (позитивного образа «мы»). Национальный дискурс, в свою очередь, стал одной из ключевых предпосылок становления этнологии как научной дисциплины.

Очерк, посвященный рождению системы этнологической науки из вненаучных предпосылок, в новой книге смещает акценты в пользу углубленного анализа дискурса о «народности» и его общественно-политических и научных интерпретаций, а также эволюции понимания концепта «народность» в середине – второй половине XIX столетия. «Народность» определила вектор собирательской этнографии, сфокусировав ее на изучении народной жизни (в первую очередь фольклора) и способствовала кристаллизации предметного поля этнографии.

В последней трети XIX в. этнография не только обрела прочные мировоззренческие основания в виде эволюционизма/теории развития и профессиональную оснастку (институциональная структура, проблемно-тематическое пространство, начало историографической рефлексии истоков этнографии), но и стала персонифицироваться в смысле формирования профессиональных исследовательских стратегий. Очерк институционального состояния этнографии в последней трети XIX – начале XX в. дополняет авторская концепция формирования исследовательских стратегий в этнологии не как акта сознательного рационального выбора и/или стечения объективных обстоятельств (биографических, контекстуальных, дисциплинарных), но как реализации бессознательного тяготения и психоэмоциональной предрасположенности к определенному научному стилю.

В новой книге в отличие от монографии «Власть и наука» пунктирно затронута специфика историографического процесса на периферии. В нее включены авторские размышления о феномене «провинциального» развития отечественной этнологии. Они выросли из локального историографического сюжета, посвященного адаптации ученых «старой школы» к новой постреволюционной действительности

в первое десятилетие советской власти. Одним из способов этой адаптации стал «исход» научной интеллигенции из центра в провинцию, в частности в Иркутск, что, наряду с местными обстоятельствами, обеспечило яркий взлет этнологических исследований в Восточной Сибири. Вытекающие из анализа этого хронологически ограниченного эпизода выводы отчасти могут быть экстраполированы на среднюю и позднюю советскую, а также постсоветскую эпоху. Однако институциональная децентрализация и диверсификация научных исследований в России, разрушающие дихотомию «центр – провинция», представляют скорее образ желаемого, «должного» развития этнологической науки, а не картину «сущего», действительного ее состояния.

Заметную тенденцию первой трети XX в. составило формирование массового общества, что было неразрывно связано с выстраиванием системы массовых коммуникаций и резким ростом значения коммуникации вообще. Характеристика организационной структуры, теоретического состояния и эвристического потенциала русской этнографии, ее кардинальных проблем и противоречий на рубеже XIX–XX столетий дается в новом ракурсе – с точки зрения оценки уровня развития профессиональной коммуникации (каналы коммуникации, повестка, конвенциональный язык) и его соответствия институциональному состоянию данной дисциплины.

Ответ имперской России с ее элитарным образованием, геттоизированной профессиональной культурой и социокультурным отчуждением масс от правящего слоя и интеллигенции на революционные сдвиги в области развития массовых коммуникаций трудно назвать артикулированным: диалог с обществом оставался исключительной прерогативой власти (государства) и носил односторонний характер.

Большевики адекватно оценивали критическую важность пропаганды и потенциал системы массовых коммуникаций. Применительно к науке в советской России это ставило ряд

задач: наладить коммуникацию с обществом и новую коммуникацию внутри науки. Диалог науки и общества был скорее делом политической инстанции. Ближайшей задачей гуманитарной интеллигенции, в том числе этнологов, стало строительство коммуникации *внутри* научного сообщества: диалог различных возрастных и социальных генераций ученых на новых основаниях, выработка нового научного языка, адаптация его к политико-идеологической рамке. Тот, кто владел искусством убеждения и коммуникации, получал неоспоримое преимущество в формировании дисциплинарной рамки и контуров «советской этнографии», а также в определении ее роли и места в советском обществе.

Своеобразным «полигоном» обкатки тезиса о критической важности пропаганды и искусства коммуникации, особенно в период генезиса «советской этнографии», стал локальный и одновременно поворотный пункт «коренного перелома» рубежа 1920–1930-х гг. – апрельское 1929 года совещание этнографов Москвы и Ленинграда. Ход, содержание и итоги дискуссии, развернувшейся на совещании, препарируются специфическим образом: через сравнительный анализ стратегий коммуникации/убеждения главных акторов форума, через характеристику конкретных приемов влияния и манипулятивных техник. Использование подобного ракурса исходит из предположения, что через призму подобной оптики причины скатывания отечественной этнологии в штопор политико-идеологического интеллектуального и морального безумия обнаруживаются более выпукло, а мотивы современников и участников тех событий предельно обнажаются. Так ли это на самом деле, судить читателю.

Наконец, за годы, прошедшие после публикации монографии «Наука и власть», произошла окончательная кристаллизация мысли о том, что связать историю отечественной этнографической традиции в *непрерывную линию* едва ли возможно. Разрыв континуитета происходил дважды: в 1930-х гг., когда «буржуазная» этнология пережила сим-

волическую смерть и произошло рождение «советской» этнографии – особого интеллектуального и социокультурного института, а также на исходе 2000-х годов, когда завершилась деконструкция теоретических оснований «этнологии», а проект под ярлыком «социокультурная антропология», эпатажно прокламировавший отказ от теоретического уровня этнологии и де-факто продвигавший превалирование интуиции над рацией, маркировал рождение новой постдисциплинарной реальности.

И если «коренной перелом» рубежа 1920–1930-х годов и его последствия достаточно хорошо описаны и отрефлексированы, то разрыв цеховой традиции нулевых годов еще предстоит осознать, а интеллектуальные результаты «антропологического поворота» осмыслить и отлить в историографические формы. Заключительный раздел «Очерков» под метафоричным названием «Заклинатели хаоса эпохи постнауки» содержит авторский взгляд на современную ситуацию в отечественной этнологии/антропологии. Специфику этого взгляда составляет оптимизм в отношении перспектив цеховой дисциплины – оптимизм как умонастроение и оптимизм как исследовательская стратегия.

Предложенная читателю монография, как следует из ее названия, в структурном отношении представляет собой серию очерков, связанных хронологической последовательностью и несколькими главенствующими идеями.

Первый очерк (две главы) под названием «*Lusus Naturae*. Народы в контексте естественнонаучного знания» повествует об истоках этнографии и специфической оптике восприятия «народов» в рациональном XVIII столетии. Здесь же анализируются политико-идеологический и культурный контексты становления научного этоса и нормативистских характеристик ученого в России.

Во втором очерке (три главы) «Между интуицией и рацией: дискурс о “народности” в XIX веке» рассматривается рождение этнологии в России как системы из вненаучных

предпосылок, с акцентом на концепт «народности», сформировавший предметное поле этнографии. Эволюция дискурса о народности, его общественно-политические и научные интерпретации, соотношение понятий «народ» и «народность» составили смысловой стержень данного очерка.

В третьем очерке (четыре главы) «Поле выбрало нас: исследовательские стратегии в этнологии» на примере научных биографий Н.Н. Миклухо-Маклая и Д.Н. Анучина проводится мысль о различных версиях профессиональной самореализации не как акте сознательного «выбора», но как проявлении инстинктивного (бессознательного) тяготения и психоэмоциональной предрасположенности. «Сакрализация» поля, с одной стороны, и институционализация этнологии как проявление процесса дифференциации и специализации наук, с другой – составляли *неразрывное единство* и в равной степени участвовали в формировании основ профессиональной идентичности этнолога. В этом очерке также дана общая характеристика формирования организационной структуры российской науки, а также места этнографии в этой структуре. Ключевое внимание уделено ОЛЕАЭ – ученому обществу нового типа, созданному «чтобы продвигать Россию».

Четвертый очерк «Этнография как “искусство возможного”» рассматривает уровень развития, кардинальные проблемы и противоречия русской этнографии начала XX в. как порождение и проекцию политической и социокультурной рамки самодержавной империи (института эпохи до модерна).

В пятом очерке (три главы) «Генезис советской этнографии. 1917–1920-е годы» характеризуется уникальная – партнерская – парадигма взаимоотношений власти и этнологии, позволившая реализовать экспертный потенциал последней, а также стимулированные новой парадигмой институционально-кадровые, проблемно-тематические и теоретические достижения этнологии раннесоветского периода.

В шестом очерке (две главы) «От буржуазной этнологии к советской этнографии» анализ генезиса советской этнографии как специфического социокультурного и интеллектуального института выглядит рамкой или фоном для прописки социодемографического, интеллектуального и культурного облика научного сообщества – «добровольной» жертвы большевистской пропаганды и искупительной жертвы «марксизации» этнологии.

Седьмой очерк (две главы) «Наука как самоцель и способ существования» дает обзор теоретико-методологической и тематической рамки, а также социопрофессионального качества советской этнографии в ее апогее (1950–1980-е годы).

Восьмой очерк (две главы) – «Заклинатели хаоса эпохи постнауки» – интерпретирует последствия гибели института советской науки для этнографии и рождение новой постнаучной «нормальности» в РФ.

Очерковый жанр представляется оптимальным при реализации усилиями одного человека столь масштабного хронологически и содержательно замысла. Для создания систематического и всеобъемлющего историографического полотна необходимы усилия коллектива специалистов по истории науки. Тем более советский и постсоветский периоды истории отличают высочайшая событийная плотность, интенсивность теоретической мысли и проблемно-тематическая насыщенность.

Автор не претендовала на обобщающий характер работы и систематический стиль описания *всех* основных составляющих этнографической науки последних двух с лишним столетий. Книга носит синтетический и теоретический характер. Ее сверхзадача – в развитии и усовершенствовании авторской концепции становления и развития отечественной этнографии *на всем протяжении* ее исторического пути. Эта концепция в основном была разработана в начале 2000-х годов, но не стала застывшим памятником интеллектуального самолюбования.

ОЧЕРК ПЕРВЫЙ

LUSUS NATURAE. НАРОДЫ В КОНТЕКСТЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЗНАНИЯ

Отправная точка данного очерка – попытка определить место и роль XVIII столетия отечественной истории в процессе превращения антропологического (этнографического) знания в науку. Отечественная историография предлагает различные конфигурации: включает интеллектуальную традицию XVIII в. в историю русской этнографии как неотъемлемую ее часть или отводит ей более скромную роль «предыстории» антропологии (этнологии), а то и оставляет ее далеко «за бортом» генезиса данной научной дисциплины. Резервируя за собой право не присоединяться изначально ни к одной из намеченных позиций, автор предлагает уделить внимание интеллектуальному, культурному, социополитическому контекстам XVIII века и их связи (или отсутствию таковой) с рождением отечественной этнографии как науки.

Глава 1.1.

МЕЖДУ ПОЛИТИКОЙ И НАУКОЙ: ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ В XVIII ВЕКЕ

Решающую роль в формировании русской этнографии (и европейской тоже) сыграли колониальная экспансия и геополитические интересы, а также находящееся в тесной связи с экспансией и освоением мира самопознание, формирование артикулированного национального сознания. Эта

связь предзадана структурой человеческой психики: рефлексия образа «мы» тем интенсивнее, чем плотнее контакт с «другими», что, впрочем, не означает отсутствия собственного позитивного содержания «мы» вне отношений с «другими». Рефлексия образа «мы» как стимул и предпосылка генезиса этнологической науки особенно важна, поскольку дуальная оппозиция «мы – они» занимала и занимает одно из центральных мест в культурной антропологии и этнологии, служа тем стержнем, вокруг которого выстраивается концептуальный каркас этих наук.

Хотя в развернутом и систематизированном виде русский национальный дискурс оформился лишь в 30–40-х годах XIX века, конституировав рождение этнографии как науки о «народности», некоторые важные его линии были намечены в XVIII в. Именно к этому времени (эпоха Петра I) относится начало плотного фронтального взаимодействия России с Западом.

Интенсивный процесс складывания нового (преимущественно светского) образа «мы», начавшийся в петровскую эпоху, был стимулирован *Западом* и с момента своего становления тематизирован *Западом*.

Это, впрочем, не означает, что Запад всегда был нашим конституирующим «другим». В первой половине второго тысячелетия от Рождества Христова эту роль для русских играли Византия и Степь. В то же время их значение для России (по отдельности и даже в совокупности) существенно уступало значению Запада.

Царствование Петра открыло принципиально новый период русской истории в политическом, экономическом и социокультурном отношении. «Перед страной были поставлены огромные новые задачи – достижение исторически необходимых рубежей, закрепление объединенных земель, проведение ряда реформ. Новые задачи требовали и новых средств. Форсированный рост культуры, обучение молодых

дворян, создание Академии наук – все это стояло в связи с вновь поставленными задачами внешней и внутренней политики»²⁹, – пишет С.А. Токарев.

Решение этих задач едва ли было возможно без приглашения европейских, главным образом немецких ученых в Петербургскую Академию наук. С европейскими (немецкими) учеными в Россию проникло само понятие «науки», и были привнесены методы исторической критики; они провели важную для национальной историографии работу по сбору исторических источников, взяли на себя руководство экспедициями для изучения России в естественноисторическом отношении; с ними связана «первая строго научная разработка русской истории – могущественное орудие национального самосознания»³⁰. Норманнская теория (вопрос о ее тенденциозности является в этом контексте второстепенным) стала отправной точкой формирующейся национальной историографии, становящейся национальной идентичности. Научный этос, нормативистские характеристики науки и ученого как типа, задавались западными интеллектуалами.

Альтернативы усвоению западного опыта (в том числе в части науки и общественных идей) попросту не существовало. Дискутировать можно о масштабах и интенсивности влияния Запада, но не о его необходимости. «Законность» этого влияния, по словам А.Н. Пыпина, признавалась даже обскурантами: «Русский народ, если не во имя человеческого достоинства, то во имя собственной практической пользы должен был столько же, сколько всякий другой, знакомиться с науками, развивавшими его мысль, дававшими правильное понятие о природе и т.п.»³¹.

²⁹ Токарев С.А. Основные этапы развития русской дореволюционной и советской этнографии. (Проблема периодизации) // Советская этнография. 1951. № 2. С. 164.

³⁰ Пыпин А.Н. История русской этнографии. С. 19.

³¹ Там же.

В то же время свойственная русско-западным отношениям амбивалентность – признание первенства Запада в практических вопросах, с одной стороны, и попытки утверждать нравственное превосходство России, с другой – неизбежно переносилась и в науку. Интеллектуальное кредо XVIII столетия – «научная истина и вместе практическая польза» – порою ставило русского ученого перед тяжелым выбором: как примирить научную истину и национальный интерес, совместить чаяния объективности и гражданскую позицию (патриотизм). Два самых высоких для М.В. Ломоносова понятия – «Истина» и «Россия» – оказались не всегда совместимыми. Торжество научной истины не обязательно означало благо для России. В части географического и естественнонаучного изучения России эта дилемма стояла не столь обнаженно. Историография стала подлинным ристалищем человеческих страстей и самолюбий, где соображения научной объективности подчас вдребезги разбивались о подводные камни уязвленного национального чувства. Идеал историка отчеканил Г.Ф. Миллер: «Он (историк. – Т.С.) должен казаться без отечества, без веры, без государя». Формула эта, выглядела безукоризненной с интеллектуальной точки зрения, но содержала серьезные риски с точки зрения морали и идеала гражданственности.

В историографических дискуссиях второй четверти – середины XVIII столетия вопрос о принципиальной возможности совмещения чаяния научной истины (объективности) и следования национальному интересу (благу) России стоял особенно остро. История более других наук связана с идеей государственности и с реальной жизнью государства, так что политика неизбежно «редактировала» историю. Политика довлела в той или иной степени над всеми участниками историографического дискурса.

Скажем, успех статьи Г.З. Байера «О варягах» (1735 г.), где впервые была изложена теория норманнского происхождения русской государственности, зачастую объясня-

ется «благоприятной» идейно-политической рамкой 30-х гг. XVIII в. Но не только. Надо учитывать, что норманнская теория вообще оказалась *первой* версией национальной истории, а в отсутствие других версий и *единственной*. А злоключения «Истории Российской» В.Н. Татищева, представленной в Академию в 1739 г. и увидевшей свет через тридцать лет, нельзя свести исключительно к гнетущей атмосфере бироновщины. Подобное объяснение грешит неполнотой, ведь одной из причин проволочек с публикацией труда Татищева стало вольнодумие самого историка, который в ней («Истории Российской». – Т.С.) «православную веру и закон опровергал»³². Действительно, В.Н. Татищев остро критиковал современную ему практику крещения инородцев, в частности деятельность архиепископа Сибирского Филофея, и противопоставлял ей практики Швеции по христианизации «лапланцев»³³.

В содержательном плане историческая концепция Г.З. Байера (и его продолжателей Г.Ф. Миллера и А.Л. Шлецера) имела своей отправной точкой представление о государстве/власти как субъекте исторического процесса. В такой оптике история Руси отсчитывалась с призвания варягов, игнорируя предшествующую историю восточных славян. Однако признание такой концептуализации (особенно постфактум) «откровенно и оскорбительно антирусской» может вызвать лишь иронию. В этой логике труды *русских* историков разных поколений точно так же можно квалифицировать как «антирусские», поскольку «народ» присутствует в таких историях не более чем объектом приложения усилий этих операторов или риторической фигурой.

³² Цит. по: Лебедев Е.Н. Ломоносов. М.: Молодая гвардия. 1990. С. 453.

³³ Об этом подробнее см.: Степанов Н.Н. В.Н. Татищев и русская этнография // СЭ. 1951. № 1. С.158–159.

М.В. Ломоносов, для которого «история России – это в первую очередь история *русского народа* (курсив мой. – Т.С.), начавшаяся задолго до возникновения феодальной государственности»³⁴, попытавшись ввести в историографию этническое измерение, предложил *новую* версию исторического процесса и отечественной истории. Постфактум можно констатировать версию, так и не возобладавшую в отечественной историографической традиции.

В то же время конфликт «норманистов» и «антинорманистов» имел еще одно важное измерение: множественность интерпретаций истории vs. национальная (директивная) ее версия. Причем Ломоносов стремился именно к последнему – формированию *единственно* верной и патриотической концепции отечественной истории. Это стремление оправданно, если иметь в виду *воспитательную* функцию истории, которая «дает государям примеры правления, поданным повиновения, военным мужества, судиям правосудия, младым старых разум, престарелым сугубую твердость в советах, каждому незлобивое увеселение с несказанною пользою соединенное»³⁵. Другими словами, та версия национальной истории, которая участвует в процессе социализации, может и обязана быть патриотичной и назидательной и очищенной от «пустоши досадительной и для России предосудительной».

В дискуссиях «норманистов» и «антинорманистов» формировался стиль взаимоотношений немецких академиков и адъюнктов с их российскими коллегами, и закладывался этос научной полемики, впоследствии транслированный в другие научные сферы. И не всем участникам этого научного дискурса удалось избежать соблазна использовать апелляции к политике как аргументу спора. Идейная

³⁴ Лебедев Е.Н. Указ. соч. С. 463.

³⁵ Цит. по: Лебедев Е.Н. Указ соч. С. 463.

и эмоциональная ангажированность обеих сторон особенно ярко окрасила отношения Г.Ф. Миллера и М.В. Ломоносова. Эмоции русских участников дискуссии (особенно Ломоносова) по поводу «скарденных» выкладок Миллера возобладали над их рациональной оценкой в ходе обсуждения диссертации Миллера «О происхождении народа и имени российского» в Академическом собрании в 1749 г.³⁶ Не всегда эти эмоции можно было списать на молодость и неопытность сторон. Критика «Сибирской истории» Миллера академическим советником Ломоносовым в 60-х гг. XVIII в. внешне мало отличалась от злокозненных действий «тепловых» и «шумахеров». «Обвинения» против Миллера, собранные Ломоносовым в статье «Для известия о нынешних академических обстоятельствах», были отправлены им не только президенту Академии наук, но и в правительственные инстанции. После этого, говоря без обиняков, политического доноса Миллер получил «жестокый выговор» от высшего правительства за «некоторые в его сочинениях о российской истории находящиеся непристойности»³⁷.

Трудно здесь не согласиться с оценкой А.Н. Пыпина: «Последний (Миллер. – Т.С.) был уже старый заслуженный человек, множеством трудов доказавший свою ревность к изучению России, принявший, наконец, русское подданство, – но все это не спасало его от самых ожесточенных нападков, и между прочим не со стороны каких-нибудь легко-

³⁶ Чего стоит, например, критика Ломоносовым лингвистической аргументации Миллера, основанной на этимологии географических названий (сплошь скандинавского происхождения). Резко критикуя этимологические манипуляции Байера и Миллера, Ломоносов прощал тем не менее В.К. Тредиаковскому, яростно извлекавшему русские корни из скандинавских слов, его домогательскую этимологию. Подробнее об этом см., напр.: *Лебедев Е.Н.* Указ. соч. С. 452–468.

³⁷ Цит. по: *Пыпин А.Н.* История русской этнографии. С. 145.

мысленных невежд, но самих ученых, как Ломоносова»³⁸. И еще: «Воспитанный в немецкой школе, Миллер выносил из нее строгое представление о научной и нравственной обязанности историка и, если сам Ломоносов этого не понимал, это указывает, что с ним и масса общества еще не разумела науки и грубо понимала самые требования национального достоинства, которое вовсе не увеличивалось скрыванием неприятных исторических фактов или их закрасиванием»³⁹.

Насколько типичны были такие отношения для XVIII века? Имела ли подобная защитная реакция русских ученых реальные основания? Какова психологическая подоплека такого стиля взаимоотношений? Преобладающая тональность оценок отечественной историографии сводится к хлесткой фразе историка М.А. Алпатова, определившего психологическую подоплеку действий первых «норманистов» как «идейный реванш за Полтаву». Более осторожна оценка А.Н. Пыпина: «Усвоение науки, видимо, не сопровождалось у ее молодых адептов никаким страданием их национального чувства: нет факта на какое-нибудь ненормальное “отрывание” их от народа»⁴⁰.

Даже если научные устремления немецких академиков и адъюнктов объективно не содержали никаких антирусских мотивов, но воспринимались русскими как унижение патриотических чувств «россиян верных», то это унижение необходимо рассматривать как реальность. (Одним словом, яркая иллюстрация к знаменитой социологической теореме А. Томаса: если люди оценивают ситуации как реальные, то они реальны по своим последствиям). Немецкие учителя являлись одновременно объектом восхищения и источником мучительных комплексов для их талантливых русских

³⁸ Там же. С. 144.

³⁹ Там же. С. 145–146.

⁴⁰ Там же. С. 88.

адептов. Признание превосходства и безальтернативности немецкого стиля в науке порождало сомнения в собственной профессиональной компетентности, а также спектр эмоций, характеризующийся понятием *ressentiment*. А формой компенсации становились (увы!) не только научные достижения русских ученых, но и безосновательные моральные и политические инвективы в адрес немецких «злопыхателей».

Подобная амбивалентность окрашивала отношения русских и иностранных ученых во всех научных сферах, включая естественноисторическое изучение России. Дилемма «научная истина и вместе практическая польза» здесь тоже присутствовала, порождая культурную-идеологическую ангажированность и эмоциональную захваченность сторон, хотя острота реакций была ниже.

Для начала представим обобщенный (социологический) портрет ученого-натуралиста, иностранца, из числа определявших интеллектуальный климат и нормативистские характеристики ученого во второй четверти – середине XVIII в., Иностранцы, оказавшиеся в России благодаря петровским реформам, за редкими исключениями составляли довольно целостную группу. Большинство обладало высокой научной квалификацией, причем это в равной мере относится как к представителям естественнонаучных специальностей – географам, астрономам, медикам, ботаникам, зоологам, так и к гуманитариям – историкам и лингвистам. Ученые-иностранцы, прибывшие в Россию во второй четверти XVIII в., чаще всего были наняты Петербургской Академией наук по контракту для решения конкретных задач. Например, Георг-Вильгельм Стеллер (1709–1746) в 1737 г. был причислен к Камчатской экспедиции, а его соотечественники Иоганн-Георг Гмелин-старший (1709–1755) и Герард Фридрих Миллер (1705–1784) в 1733 г. назначены в Сибирскую экспедицию (1733–1743 гг.).

Контрактный стиль взаимоотношений с иностранными учеными стал определяющим в середине – второй половине

XVIII столетия. На контрактной основе были приглашены участники Большой Академической экспедиции (1768–1774) академики и адъюнкты Петр-Симон Паллас (1741–1811), Самуил-Георг Гмелин-младший (1744–1774), Иоганн-Петр Фальк (1732–1774); Иоганн-Готлиб Георги (1729–1802). Миллер и Георги приняли российское подданство. Этих ученых отличали ясная мотивация, сочетавшая прагматический (прагматизм и рационализм составляли дух времени) и идеальный императивы, а также исключительные морально-волевые качества. Есть серьезные основания полагать, что идеальная мотивация преобладала, иначе невозможно было бы объяснить поразительную стойкость, проявленную немцами в экспедиционной деятельности и последовательность в отстаивании научной истины.

Тяготы и лишения, которые претерпели в ходе своих путешествий немецкие натуралисты и историки, были поистине чудовищными. И если бы речь шла лишь о суровости российской природы и климата и скудости быта! К их преодолению ученые были готовы. Вот характерная зарисовка. Соратник Стеллера по экспедиции Гмелин-старший отмечал его поразительную скромность: «Если бы он, Гмелин, взялся за это предприятие, т. е. путешествие в Камчатку, то экспедиция обошлась бы ее величеству гораздо дороже»⁴¹.

Куда как опаснее был властный произвол, особенно на местах. Так, Стеллер «подвергся кляузному доносу, вследствие которого уже на возвратном пути в Россию был арестован в Соликамске для отправки под конвоем обратно в Иркутск для допроса; на пути догнало его оправдание, и, предприняв снова обратную дорогу в Петербург, он умер в Тюмени после девятилетнего путешествия (1737–1746)»⁴². Миллер в ходе Сибирской экспедиции претерпел «разные

⁴¹ Цит. по: *Пыпин А.Н.* Указ. соч. С. 101.

⁴² Там же. С.100.

каверзы от сибирских начальств». К счастью, они не помешали историографу собрать колоссальный исторический материал в сибирских архивах.

Деятельность ученых зачастую выходила за рамки, предусмотренные контрактом. Гмелин-старший сочетал исследовательскую деятельность с педагогической, не жалея времени и сил на своих русских учеников. В «Истории академической канцелярии» М.В. Ломоносова содержатся воспоминания русского участника Камчатской экспедиции С.П. Крашенинникова, который «о Гмелинове добром сердце и склонности к российским студентам Ломоносову сказывал, что де он давал им в Сибири лекции, таясь от Миллера, который в том ему запрещал»⁴³. Стеллер, находясь на Камчатке, в порядке добровольного эксперимента на себе проверил способы местного питания «одною рыбою, корнем растения сарана, без хлеба»⁴⁴.

Властный произвол негативно сказался и на судьбах научных трудов участников экспедиции. По свидетельству Ломоносова, Гмелину «Шумахер чинил многие препятствия в сочинении российской флоры, на что он жаловался»⁴⁵. Тем не менее, его классический труд «Флора Сибири» будет опубликован в Петербурге в 1747–1769 гг. А «Путешествие по Сибири», которое Пыпин называл замечательным «по богатству сведений о местном быте, по внимательности и точности разнообразных наблюдений»⁴⁶, Гмелин предпочел опубликовать за границей. Вместе с тем опубликованная книга вызвала в России осуждение, а в Академии даже была подвер-

⁴³ Цит. по: *Окладников А.П.* Рец. на: Крашенинников С.П. Описание земли Камчатки. С приложением рапортов, донесений и других неопубликованных материалов. М.–Л.: Изд-во Главсевморпути, 1949 // Советская этнография. 1951. № 2. С. 240.

⁴⁴ *Пыпин А.Н.* Указ. соч. С. 103.

⁴⁵ Цит. по: *Лебедев Е.Н.* Ломоносов. С. 200.

⁴⁶ *Пыпин А.Н.* Указ. соч. С. 105.

гнута строгому разбору с целью выявить, что в ней «излишнего, непристойного и сомнительного находится»⁴⁷. В порядке гипотезы можно предполагать, что Гмелин делал свои наблюдения в тот период, когда воспоминания о первом (отнюдь не вегетарианском) завоевании Сибири еще не изгладились, и была заметна враждебность между русскими и туземцами. Что касается Стеллера, то в России будет опубликовано лишь его «Путешествие с Камчатки в Америку с Берингом» (1793).

Однако преданность иностранцев науке и чаяние научных открытий преодолевали все препятствия. Тем более что Россия представляла собой поле обширнейшее и неизведанное – «наполненный цветами вертоград», страну, где «прежде нас еще никто не бывал», страну, предоставившую блестящие возможности для осуществления «новых испытаний и изобретений в науках»⁴⁸. Эта подлинная страсть заражала и русских участников экспедиции, оказавшихся достойными своих учителей.

Степан Петрович Крашенинников (1712–1755), будучи студентом Академии, отправился в Сибирскую экспедицию, а оттуда в 1736 г. на Камчатку и вернулся в Петербург в 1743 г. триумфатором. Признанием его научных заслуг стало производство в 1745 г. (одновременно с Ломоносовым!) из студентов в адъюнкты натуральной истории. Главный труд его жизни «Описание земли Камчатки» был опубликован в 1755 г. при содействии Миллера и с его предисловием. Очень оперативно – уже в 60–70-х гг. XVIII в. – появились английский, немецкий, французский и голландский переводы его книги. Не менее важно заметить, что труд Крашенинникова успешно конкурировал с книгой Стеллера «Описание земли Камчатки», которая так и не будет опубликована в России. Отметим попутно, что, хотя имя Крашенинникова

⁴⁷ Цит. по: *Пыпин А.Н.* Указ. соч. С. 105.

⁴⁸ Цит. по: Там же. С. 104.

прочно ассоциируется с «Описанием земли Камчатки», это далеко не единственный его обобщающий труд: в 1761 г. вышла его книга «Флора Ингрии», содержащая фундаментальное описание растений окрестностей Петербурга (506 названий).

Весьма нелегкой оказалась судьба участников Академической экспедиции 1768–1774 гг. Трудности пути отягощались социальной нестабильностью и войнами. Племянник И.-Г. Гмелина Самуил Георг Гмелин-младший, возвращаясь из своего путешествия по юго-востоку России и Персии, был захвачен татарами и умер в плену. Участник той же экспедиции астроном Ловиц был схвачен и убит пугачевцами в 1774 г., а его спутник и сотрудник П.Б. Иноходцев спасся лишь чудом.

Из русских участников Академической экспедиции лишь Иван Иванович Лепехин (1740–1802) имел степень доктора медицины и уже состоялся как ученый-исследователь. Остальные – Петр Борисович Иноходцев (1742–1806), Никита Петрович Соколов (1748–1795), Николай Яковлевич Озерецковский (1750–1827) попали в экспедицию, будучи студентами Академии. Интеллектуальную и моральную рамку все еще задавали немцы, заражавшие своим подлинным энтузиазмом. «*Блаженство видеть натуру* в самом ее бытии, где человек весьма мало от нея отшибся, и ей учиться служило мне за утраченную при том юность и здоровье изряднейшим награждением, которого от меня никакая зависть не отымет!»⁴⁹ – писал Петр Симон Паллас. Это слова не карьериста, но ученого.

Соотношение сил постепенно менялось. Влияние Лепехина на молодых участников экспедиции было вполне сопоставимо с влиянием ее руководителя П.С. Палласа. При внешней схожести их научного стиля – «рационалистиче-

ского и утилитарного» и при общем стремлении к научной истине Лепехин имел важное преимущество в виде национального чувства, прочно соединявшего его с собственным народом. Это точно подметил Пыпин в связи с характеристикой «Дневных записок» Лепехина: «Предмет его изучений, между прочим, и народ; он часто видит несовершенства его понятий и быта, но всегда это для него *свой* народ...»⁵⁰.

Наступила новая эпоха. Ломоносова уже не было. Екатерина II заказала историю России Шлецеру. Немцы все еще продолжали задавать теоретико-методологическую рамку науки. Но первый интеллектуальный голод был утолен, а национальные комплексы компенсированы лишь отчасти. Отныне «потребность исторического самосознания» уже было не остановить.

Глава 1.2.

НАРОДЫ В XVIII ВЕКЕ КАК ДРУГАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Что касается собственно научных результатов, полученных в XVIII в., то наибольший интерес представляет не их оценка в содержательном и количественном отношении. Такого рода оценки представлены в отечественной историографической традиции. Важнее получить ответы на следующие вопросы. Во-первых, можно ли говорить об *этнографическом* знании в строгом смысле применительно к рассматриваемому времени (не говоря уже о поиске истоков этнографии в эпохи более отдаленные), или же качественная атрибуция этого знания должна быть иной?

⁴⁹ Цит. по: Пыпин А.Н. Указ. соч. С. 111.

⁵⁰ Пыпин А.Н. Указ. соч. С. 118.

Во-вторых, какие теоретические (концептуальные) основания лежали в основе научного поиска, и как они адаптировались к изучению народов Российской империи? Влияли ли и как именно существующая концептуализация на отбор и интерпретацию фактов?

Советская историография отдала обильную дань поискам «истоков этнографии», «этнографических материалов и знаний» во времена, предшествующие оформлению этой дисциплины. В историографической концепции С.А. Токарева⁵¹, отправной точкой которой выступает посыл о «многовековом развитии» этнографической науки, XVIII век (без последней трети) образует *третий (!)* период истории русской этнографии.

В подобной исследовательской оптике «Краткое описание о народе остяцком» Григория Новицкого (1715) – это едва ли не первая в мире *этнографическая* монография; анкета В.Н. Татищева (1734), появившаяся в связи с подготовкой к очередной ревизии, – самая ранняя в мировой науке *этнографическая* программа; участники Великой Северной (1733–1743) и Большой Академической (1768–1774) экспедиций добыли среди прочего обширный *этнографический* материал; классический труд С.П. Крашенинникова «Описание земли Камчатки» (1755) представляет собой крупный вклад в мировую *этнографическую* литературу; наконец, «Описание всех в Российском государстве обитающих народов» (1776) И.Г. Георги – это первая *этнографическая* сводная работа о народах нашей страны⁵². И все это относится ко времени, когда не только не были сформулированы

⁵¹ Токарев С.А. Основные этапы развития русской дореволюционной и советской этнографии. Проблема периодизации. (Доклад, прочитанный на этнографическом совещании в Москве 24 января 1951 г.) // Советская этнография. 1951. № 2. С. 160–178.

⁵² Там же. С. 164–165.

принципы этнографического исследования, но даже сам термин «этнография» не появился.

В данном случае вопреки прокламировавшемуся советской историографией принципу историзма людям предшествующих эпох приписывались несвойственный и нехарактерный образ мыслей и стиль теоретизирования. То есть фактически происходила «колонизация» прошлого. Хотя реальность, изучением которой занимается этнография, – назовем ее обобщенно «народы», – безусловно, существовала до появления самой дисциплины, она виделась, структурировалась и описывалась совершенно иначе и поэтому воспринималась как *другая* реальность. Речь идет о различии (говоря современным языком) между проблемной и дисциплинарной (предметной) организацией знания.

Так, в рациональном XVIII в. знание о народах в России чаще всего оказывалось неотъемлемой частью триединого описания *пространства* – природы, территории и населения. Это знание не было дифференцировано, поскольку его организация носила проблемный характер, будучи нацелена на познание, описание и освоение российского *пространства как целостности*, причем целостности, воспринимаемой не метафизически, а рационально. В этой интеллектуальной перспективе описывавшиеся народы воспринимались скорее как *атрибут* пространства, *элемент природного ландшафта*, то есть их исследование было частью изучения и освоения пространства, а не самостоятельной научной задачей.

Позиция А.Н. Пыпина в отношении истоков этнографии выглядит более осторожной и сбалансированной: «История русской этнографии должна быть начата с первых десятилетий XVIII века, с Петровской реформы и с первых изучений русской территории и населения»⁵³. Обоснование указанной

⁵³ Пыпин А.Н. Указ. соч. С. III.

позиции литературовед и историограф формулирует следующим образом: хотя русская этнография только в 40-х гг. XIX в. «получила характер настоящей научной дисциплины», история формирования «*стремления* (курсив мой. – Т.С.) к изучению народности» должна составить «необходимое начало истории самой науки»⁵⁴. То есть речь фактически идет о включении XVIII столетия не в историю, а в *предысторию* русской этнографии – период, когда никаких «этнографических знаний» не было и в помине, а существовал организованный по проблемному принципу недифференцированный комплекс естественнонаучных и географических знаний, и применение к нему возникшей гораздо позже понятийно-терминологической системы выглядит неоправданным осовремениванием истории.

С какой же концептуальной оснасткой ученые XVIII в. подошли к исследованию территории, природы и населения Российской империи?

Основой классификации наук являлся критерий «*полезности*». Ее принципы (классификации. – Т.С.) были сформулированы немецкой школой и в основном восприняты русскими учеными. В.Н. Татищев в вопросах не только исторических (известно, что он активно использовал материалы Байера, в частности его переводы византийских и скандинавских хроник), но и методологически находился в русле немецкой школы. В классификации Татищева в разряд *полезных* наук помимо истории, безусловно, входило «землеписание или география». Географию он дифференцировал на математическую, физическую и политическую (историческую). Предмет последней определял следующим образом: «География гисторическая, или политическая, описует пределы и положения, имя, границы, *народы* (курсив мой. – Т.С.), переселения, строения, или селения, прав-

ления, силу, довольство, недостатки, и она разделяется на древнюю, среднюю и новую, или настоящую»⁵⁵. Из определения следовала теснейшая связь истории и географии. Эта связь, в свою очередь, должна была подчеркнуть государственное значение не только истории (что сомнений не вызывало), но и географии: «Географ – это человек, который от государя определен ... сочиняет обстоятельное всея земли или государству, иногда же коего предела описание, должен быть довольно искусен в астрономии, геодезии и истории, дабы не токмо все обстоятельно описать, но правительные чертежи сочинять, к чему служителю геодезисты»⁵⁶.

Задаче создания «Российской географии» В.Н. Татищев придавал не меньшее значение, чем «Российской истории», что неоднократно обосновывал в своих «доношениях» в Академию наук и Сенат. Но его апелляции к власти по поводу *государственной* важности указанных проектов, кажется, преследовали еще одну цель – отсеять конкурентов в лице иностранных ученых и путешественников, чьи труды и по истории, и по географии «частью неполны, частью неправдами и поношениями наполнены». Из чего вытекало, что создание объективных трудов по русской географии и русской истории есть исключительная прерогатива российских ученых, чьи естественные преимущества составляет знание русского языка, российских реалий и патриотическое чувство.

Вместе с тем, резко критикуя «многие лжи и злобные поношения и клеветы» на русское государство, содержащиеся в трудах немецких исследователей, Татищев и его компатриоты опирались на внесенные немцами в русскую образовательную и культурную среду основания, навыки

⁵⁵ Цит. по: Степанов Н.Н. В.Н. Татищев и русская этнография. С. 151.

⁵⁶ Там же.

⁵⁴ Там же.

и приемы подлинно *научного* изучения не только истории и географии, но и населения Российской империи.

Немецкая парадигма описания народов лежала в основе разработанной Татищевым в 1734 г. в связи с подготовкой второй ревизии (1742) анкеты.

Ознакомимся с этим научным проектом и его результатами чуть подробнее. Профессора Академии наук Л. Делиль Делакойер (астроном), И.Г. Гмелин (ботаник) и Г.Ф. Миллер (историк и географ) вместе со студентами и геодезистами в 1733 г. были отправлены в Сибирь для собирания естественноисторических, географических, лингвистических и исторических материалов о ней. По некоторым городам Сибири экспедицией в 1734–1736 гг. были разосланы «вопросные пункты», ответы на которые составлялись воеводскими канцеляриями. Они предписывали сбор сведений по ботанике, зоологии, геологии Сибири, но также по географии, истории, «этнографии», языкам ее народов.

Очевидно копируя научный стиль западных коллег, в 1735 г. Татищев разослал по сибирским городам свои «вопросные пункты», состоявшие из 92 вопросов. Ответы стал получать в 1736 г., но «по тем пунктам многие ответствовали не в той силе», и как казалось ему, «знатно, что от краткости тех пунктов» ответы были неудовлетворительными⁵⁷. Это и побудило Татищева в 1736 г. составить более подробный вариант анкеты (198 пунктов).

Интересна структура новой версии анкеты: первый раздел «принадлежит общему до всех губерний и народов»; второй раздел «только до Архангелогородской, Казанской, Астраханской, Сибирской и частию Нижегородской губер-

⁵⁷ Татищев В.Н. Предложение о сочинении истории и географии российской // Избранные труды по географии России / Под ред. А.И. Андреева. М., 1950. С. 78.

ней, где многие разные идолопоклоннические народы находятся»; а третий – «только для одних татар магометанского закона»⁵⁸. Такая структура отражала не только (и даже не столько) научные, сколько геополитические приоритеты формирующейся империи в ее азиатских владениях, где ключевое место занимали татары. (Татары долгое время служили конституирующим «другим», а Казань – «внутренним Востоком» русского сознания.)

В первом разделе анкеты из 107 пунктов две трети (59) носили естественноисторический характер – «о званиях», «о границах», «о свойстве и действии воздуха», «о водах», «о природном состоянии земли», «о подземностях». Получается, что сведения о народах (они маркированы названиями «о жителях» и «о жилищах») были важны только в этом широко понятом пространственно-географическом контексте.

Во втором разделе «О народах идолопоклоннических какое известие о оных требуется» (пункты 108–164) немецкая академическая традиция изучения инонаселения была реализована максимально полно. Здесь содержались вопросы о названии и самоназвании народа, этимологии географических названий (топонимов), о расселении, происхождении, связях с другими народами, а также о религии и суевериях, обрядах и мифологии, языке и фольклоре языческих народов. Все это рекомендовалось спрашивать «без принуждения, но паче ласкою и чрез разных искусных людей, знающих силу сих вопросов и язык их основательно. К тому же не одна, но чрез несколько времени спрашивать от других»⁵⁹. Таким образом, не только круг вопросов, но и методические приемы были заимствованы из концептуального арсенала европейской науки.

⁵⁸ Там же.

⁵⁹ Там же. С. 95.

Пункты 165–175 «О магометанах» третьего раздела анкеты включали вопросы о магометанском духовенстве, магометанских обрядах и письменной традиции.

Наконец, последний фрагмент анкеты (пункты 176–198) «Обще паки до всех народов» акцентировал важность языкового критерия в описании народов: «Наипаче всего нужно каждого народа язык знать, дабы чрез то знать, коего они отродья суть»⁶⁰. Этот пункт анкеты (198-й) оказался исчерпывающе подробным.

Последнее обстоятельство не противоречило намерению Татищева придать анкете характер *комплексного* изучения народов. В частности, предписывалось: «При описании каждого народа состояние телес общественное нужно описать»⁶¹.

А вот попытка ученого придать анкете *государственно значимый* характер потерпела фиаско. По замыслу Татищева эти «вопросные пункты» должны были исходить от Академии наук, имея в виду прежде всего ее научный авторитет, но также и социально-политический статус. Однако Академия не только не внесла никаких исправлений в «Предложения» (т.е. проект ученого), но и никак не способствовала их публикации и распространению. Рассылка анкеты в отдельные сибирские города оказалась плодом личной инициативы Татищева. Без государственной поддержки такая инициатива в России была обречена. Ответов было получено немного; некоторые были составлены довольно подробно, но до Татищева не дошли. Известно, что Татищев так и не воспользовался полученными материалами в своих последующих трудах.

Основу этих трудов составил *личный* «полевой» опыт историка и государственного деятеля. Большой материал о восточных тюрко-монгольских народах, основанный

⁶⁰ Там же. С. 94.

⁶¹ Там же. С. 95.

на личных наблюдениях и беседах с представителями этих народов, был помещен Татищевым в I томе «Российской истории». Его «Краткая география Российская» содержала материал о сорока двух «иноземных подданных» народах «Великороссийской империи». Несмотря на краткость сведений, «это была первая попытка дать полный перечень народностей на территории Российской империи с указанием на их исторические судьбы»⁶².

В отличие от этого перечня, акцентировавшего исторический аспект, труд Татищева «Руссия, или Как ныне зовут, Россия» был посвящен «настоящей (современной. – Т.С.) России». Материал здесь компоновался в духе соображений «практической пользы», включая такие разделы, как воды, границы, подземные богатства, фабрики, «о довольстве от животных», «о житах и овощах», «горы знатные», степи или пустыни, но одновременно давал представление об административном делении империи с перечислением народностей и их «вер».

Важнейшим критерием классификации народностей и племен в XVIII столетии считался язык. Хотя ясная и развернутая характеристика языка как основы «этнографической» классификации была дана лишь в третьей четверти XVIII в. А.Л. Шлецером, лингвистическая аргументация широко применялась в исследовательском арсенале и ранее, в частности ярко окрасив полемику «норманистов» и «анти-норманистов». Классификация народов Российской империи в «Истории Российской» В.Н. Татищева на три большие группы – *скифы*, *сарматы* и *славяне* – несмотря на отвлеченность понятий «скифы» и «сарматы», основывалась на данных языка и в основном охватывала близкие в этом отношении народы – тюрко-монгольские («скифы») и финно-угорские («сарматы»). Язык рассматривался как

⁶² Степанов Н.Н. Указ соч. С. 160.

важнейший источник в реконструкции древних «преселений» народов и также их «происшествия».

Впрочем, важность языка для «изъяснения русской древности» была для Татищева интересной, но несколько отвлеченной проблемой. Он видел в изучении языков «иноземных подданных» прежде всего практическую пользу. Рассуждения на эту тему составляют ценный аспект философского трактата В.Н. Татищева «Разговор дву[х] приятелей о пользе науки и училищах».

Вот содержательная выписка из него: «73. Понеже сии народы никаких полезных наук, а особливо, кроме татар и калмык, и письма не имеют, то многих и обучать, а для многого числа школы устроить убыток бесполезный. **Ответ.** [...] не токмо от татар и калмык, которые свои древности написаны имеют, в них же весьма нужное и гистории полезное находим, но от оных сарматских языков, у которых преданиями из древности где прежние их обиталища были, причины, для чего из оных переходили, хранятся. Не меньше же когда звание городов, рек, озер их языка в тех местах остались, то наипаче оное утверждается. Да сия польза еще не так велика, как нужда в научении их закону христианскому, о котором наши духовные должны попечение иметь. А хотя и крестят, как то Филофей, архиепископ сибирской, по сказанию его, многия тысячи вотяков крестил, но когда посмотрим, то видим, что он не более сделал, как их перекупал да белые рубахи надевал и оное в крещение причел»⁶³.

Важнейшим условием освоения и интериоризации (психологического природнения) Сибири, сближения сибирских народов с русскими, Татищев считал крещение. Сове-

⁶³ Татищев В.Н. Разговор дву[х] приятелей о пользе науки и училищах // Избранные труды. Сост. А.Б. Каменский. М., 2010. С. 117.

менную практику христианизации резко критиковал за то, что крещаемые русского языка не знали, а «крестьяне их, языка не зная, учили их чрез толмачей, и как те крестители с тою честью в дома возвратились, так крещенные скоро все забыли и, что верят, не знают»⁶⁴. Так что изучение языков и составление словарей языческих народов принесло бы «немалую пользу» проповедникам.

Огромное значение Татищев придавал переводам с восточных языков. Им была организована в Самаре специальная школа для татар и калмыков, где по его указанию начали заниматься и переводами. Характерно, что работавший в этой школе филолог К. Кондратович весьма оперативно составил «лексикон или дикционер» татарско-русский, тогда как работа над словарями вотяcko-русским, чувашско-русским, черемисско-русским, остяcko-русским и вогулицко-русским порядком затянулась (эти языческие народы ввиду своей малочисленности и не вполне артикулированной этничности угрозы стабильности империи не представляли).

Татищев работал и над составлением лексикона славяно-русского, куда включил в том числе иноязычные слова, вошедшие в русский язык (кстати, методические указания о записи иноязычных слов аналогичны указаниям в анкете 1737 г.), но лексикон его был погребен в стенах Академии наук. Разворот в направлении изучения славяно-русского населения империи произошел лишь в последней трети XVIII столетия. А во времена Татищева придать государственный характер изучению «всех (курсив мой. – Т.С.) подвластных России языков» и составлению соответствующих словарей не удалось.

Если В.Н. Татищев адаптировал концептуальный арсенал немецкой науки к российским реалиям как государ-

⁶⁴ Там же.

ственный деятель, то примером обкатки этих концептуализаций в полевых условиях стало «Описание земли Камчатки» (1755) С.П. Крашенинникова. Формально у Крашенинникова имелись предшественники в деле описания этого региона, например, сводка о Камчатке, написанная Г.Ф. Миллером по данным, собранным им в Якутске в 1737 г. Однако сводка эта «получилась добросовестная, но вместе с тем краткая и далеко не полная. Дать исчерпывающую работу о Камчатке можно было только, собрав материалы на самой Камчатке»⁶⁵. Весной 1733 г. Крашенинников в качестве «ученика» был включен в академический отряд Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга (1733–1743) под начало профессоров-академиков Г.Ф. Миллера и И.Г. Гмелина. С осени 1736 г. осел в Якутске, где помогал Миллеру выявлять различные архивные документы. Миллер и Гмелин должны были лично организовать первые серьезные исследования на Камчатке. Но их пугала «дикость Камчатки» и трудности быта. Решено было послать Крашенинникова для «учинения некоторых приготовлений». В 1737 г. он выехал из Якутска в Охотск, где в ожидании отправки на Камчатку изучал морские приливы и отливы, вел метеорологические наблюдения и собирал сведения по ихтиологии.

Уже в первый (1737–1738) год пребывания на Камчатке в Большерецком остроге Крашенинников составил достаточно подробные «реестры» камчатской флоры и фауны с русскими и ительменскими названиями. *Попутно* (не значит, случайно) собрал множество ценных сведений об образе жизни трех главных народностей, населявших полуостров, – ительменов, коряков и курильцев (айнов). С декабря 1738 г. по январь 1739 г. он жил в Верхнекамчатском

остроге, где вел исторические изыскания. В январе – марте 1739 г. в Нижнекамчатском остроге производил метеорологические наблюдения. Дважды побывал на реке Камчатке и существенно уточнил карту реки. В 1740 г. совершил поездку на север к устью реки Караги в «земли коряков» и в числе прочего собрал сведения о жителях Карагинского острова, которые составляли особую этническую группу – «окоряквившихся» ительменов.

В конечном итоге Крашенинников состоялся как *профессор натуральной истории и ботаник*, а его диссертации «Описание рыбы корюхи и растения левкоя» и еще одна – «О ряпухе» – ясно отражали баланс его интересов в рамках естественнонаучного комплекса знаний. И баланс этот был не в пользу изучения народов, населявших Камчатку.

А что касается ценнейших камчатских материалов, то их публикация могла и не состояться. Сказывались административная и педагогическая занятость, помешавшая Крашенинникову приступить к обработке материалов. Кроме того, в декабре 1747 г. в Кунсткамере произошел пожар, во время которого погибло большинство экспонатов, собранных Крашенинниковым на Камчатке.

Судьбу издания продиктовали соображения не научные, а геополитические. Правительство опасалось публиковать материалы Второй Камчатской экспедиции на том основании, что геополитические конкуренты России могут воспользоваться ее результатами и занять земли, открытые В. Берингом и А. Чириковым. Поворотным пунктом в судьбе научного наследия камчатской экспедиции стал отъезд в Германию в 1748 г. академика Гмелина, утратившего надежду на оперативную публикацию в России своих трудов. Это встревожило академическую Канцелярию, а Крашенинникову дано указание срочно готовить к печати большую книгу о Камчатке.

Основная часть труда была готова к лету 1752 г. Но не хватало исторических данных, за которыми исследо-

⁶⁵ Цит. по: Окладников А.П. Рецензия на: Крашенинников С.П. Описание земли Камчатки. М.-Л.: изд-во Главсевморпути, 1949 // СЭ. 1951. № 2. С. 239–240.

ватель обратился к Г.Ф. Миллеру. Тем временем в Париже была издана карта Ж.Н. Делиля с изображением маршрута плавания Беринга и Чирикова к берегам Америки. Правительственные инстанции России стали форсировать публикацию книги Крашенинникова, но из-за ряда серьезных замечаний, сделанных Миллером, публикация задержалась. Крашенинникову так и не довелось увидеть книгу в готовом виде (он провел лишь ее первую корректуру).

Биографические коллизии Крашенинникова и судьба его базового труда лишь подтверждают максимум о государстве (власти) как главном субъекте российской действительности, без санкции которого никакая интеллектуальная или общественная инициатива в XVIII в., да и позднее, не могли осуществиться.

Труд Крашенинникова стал, безусловно, новаторским уже потому, что обобщил результаты исследовательской деятельности, развернутой в полевых условиях. Кроме того, исследование Крашенинникова имело преимущество в виде естественного патриотического чувства и осознания государственной важности производимой работы: знать Россию «всякому, уповаю, небесполезно», «а наипаче нужно великим людям, которые по высочайшей власти имеют попечение о благополучном правлении государства и о приращении государственной пользы»⁶⁶.

Правда, если в части описания и изучения *земли* Камчатки акцент на «приращении государственной пользы» не сказывался на качестве и адекватности получаемого знания, а, напротив, снабжал исследователя дополнительной мотивацией, то предельный утилитаризм в части изучения *населения* Камчатки оказывался не достоинством, а родовой слабостью такого интеллектуального стиля. Оптика, в которой народы этого региона имели лишь функциональ-

ное значение как элемент описания малоизученного пространства и не обладали самостоятельной ценностью, диктовала специфический характер отбора фактов и серьезно влияла на их интерпретацию.

Крашенинников в целом успешно применял теоретико-методологический арсенал своих учителей И.Г. Гмелина и Г.Ф. Миллера. В основу классификации камчатских народов он положил язык, считая, что лингвистические различия между ними более значительны, чем различия в мифах, обрядах, плясках и песнях. Вопросу о языковых особенностях посвятил особую главу «О различных наречиях камчатского народа». «Природных тамошних жителей считается три – Камчадалы, Коряки и Курилы», – указывал Крашенинников. О коряках он писал: «Главная разность сего народа от Камчадалов состоит в языке». Поместил отдельную главу о курилах, так как, хотя «курильский народ житием своим сходен с Камчадалами», он все же имеет особенности «в телесном виде» и «в языке». Полагал, что «Камчадалов по разности языка можно разделить на два народа: Северный и Южный»⁶⁷. Составил лингвистические таблицы со сравнительным материалом по различным наречиям населения Камчатки.

В описании народов Камчатки исследователь не ограничился фиксацией физиогномических и лингвистических особенностей, но основательно описал их быт и нравы, включая суеверия, обряды и фольклор. Здесь рационализм как стержень исследовательской стратегии и продемонстрировал свою уязвимость. Исследование обрядов и фольклора не имело самостоятельного значения, а напрямую подчинялось задаче характеристики естественных ресурсов этого

⁶⁶ Цит. по: Окладников А.П. Указ. соч. С. 240.

⁶⁷ Цит. по: Боиштейн Г. Фольклорные материалы в работе С.П. Крашенинникова «Описание земли Камчатки» // СЭ. 1950. № 2. С. 154.

региона, включая человеческий ресурс. Фольклор для Крашенинникова не форма искусства, а ценный источник по истории региона, его географии и геологии, по охотничьим промыслам (особенно соболиному). Весьма подробно описаны различные виды промыслового фольклора, включая профилактическую магию, охотничьи суеверия и приметы. Скрупулезно фиксируется фольклор, реконструирующий геологическую историю региона: «Басни Камчадалские сколь ни глупы, однако их по моему мнению вовсе презирать нельзя: по тому, что в них без сумнения заключается некоторое известие о древней перемене сих мест...»⁶⁸.

Точно так же мифология, обряды, музыкальное и песенное искусство жителей Камчатки представляли для Крашенинникова не эстетическую ценность, но ценность практическую. Описывая обряд, исследователь акцентировал практически-магическое его назначение; мифы приводил те, которые непосредственно отражали материальную культуру камчадалов XVIII в., характер их производственной жизни, их социальную дифференциацию; заговорам уделял внимание лишь потому, что они «...лечат болезни, ... отвращают несчастье и будущая предвозвещают»⁶⁹. Понимание научной, исторической ценности мифологии и обрядов тоже присутствовало: автор считал необходимым зафиксировать уходящие обычаи и взгляды, так как был убежден в том, что их игнорирование будет «некоторым ущербом» для истории.

Но стремление к точной полной научно-добросовестной фиксации фактов едва ли могло компенсировать презумпцию утилитаризма в отношении такой реальности как народы. Утилитарный подход, как западные модели и концепты вообще, удалось, более или менее, применить к изучению инородческого населения Российской империи.

⁶⁸ Цит. по: *Бомштейн Г.* Указ. соч. С. 145.

⁶⁹ Там же. С. 148.

Но на русской почве они наполнялись новым содержанием, приобретали смысл далекий от аутентичного и нормативистского или даже противоположный ему.

Последняя треть XVIII в. выходит за рамки «рационального» XVIII столетия как целостности. Суть культурно-ценностного и интеллектуального сдвига, начинающегося в это время, можно метафорически определить как «разворот в русском направлении». Сдвиг этот легко прослеживается содержательно при сравнении первого (1776–1780) и второго (1799) изданий большой сводной работы И.Г. Георги «Описание всех в Российском государстве обитающих народов, также их житейских обрядов, вер, обыкновений, жилищ, одежд и прочих достопамятностей».

Первое издание вышло в четырех частях (на немецком языке) и в трех частях (на русском языке). Система группировки описываемых народов – лингвистическая (историко-лингвистическая), что отчасти комбинируется с принципом географическим. Первая часть была посвящена «народам финского племени»; вторая – «народам татарского племени», но сюда же включены и кавказские (т. е. не тюркоязычные) народы; в третьей части говорилось о «самоедских» и «маньчжурских» народах и о «восточных сибирских народах» (имеются в виду палеоазиаты северо-востока, включая «курильцев» и «восточных островских жителей», т. е. незадолго до этого открытых алеутов и кадьякцев). В четвертой части (не переведенной на русский язык) описывались монгольские народы и прочие, а также русские. То есть сведения о русских (!) в русскоязычную версию первого издания включены не были. Руководство Академии и, возможно, правительственные инстанции, полагали, что описание русского народа может представлять интерес (и то не наверняка) лишь для иностранцев, но не для русского читателя.

В 1799 г. вышло второе издание «Описания всех народов...». Немецкий текст его почти не отличается от первого издания. Русский текст первых трех частей тоже очень мало

отличается от тех же частей в первом издании. Существенно новым было во втором русском издании, во-первых, то, что оно включало все четыре части; во-вторых, четвертая часть, где даны сведения о русском народе, по объему превысила первые три, вместе взятые. При этом большая его часть – 306 страниц из 385 – посвящена описанию *«владычествующих Россиян»* и отдельных групп русских и украинских казаков. Более того, эти главы не перевод с немецкого: они написаны специально для русского издания М.И. Антоновским, историком и публицистом малороссийского происхождения.

Что же изменилось за годы, разделяющие оба издания? Смещение вектора общественного интереса в направлении изучения русских было вызвано рядом факторов – внешних и внутренних. Французская революционная динамика стимулировала формирование национальных государств, что подразумевало опору на автохтонную традицию, а это, в свою очередь, диктовало необходимость ее изучения. Россия не могла остаться в стороне. Гротескное «европейничанье» екатерининской эпохи имело ответной реакцией движение маятника в «русском» направлении. Наконец, немецкая академическая традиция, заложившая в предшествующие десятилетия научный бэкграунд в деле изучения инородцев Российской империи, неумолимо диктовала перенос акцента на изучение собственно русского населения – «владычествующих Россиян».

Новая политическая и социокультурная реальность радикально меняли фокус исследовательского взгляда. В новой оптике народы приобретали самоценный, а не функциональный характер.

ОЧЕРК ВТОРОЙ

МЕЖДУ ИНТУИЦИЕЙ И РАЦИО: ДИСКУРС О «НАРОДНОСТИ» В XIX ВЕКЕ

Глава 2.1.

ДУХ ВРЕМЕНИ И РОЖДЕНИЕ РУССКОЙ ЭТНОГРАФИИ

Из социологической абстракции – взгляда на науку как систему следует конкретный важный вывод, относящийся к генезису отечественной этнографии. С легкой руки С.А. Токарева принято считать, что этнография в России окончательно выделилась в самостоятельную науку в 40-е годы XIX столетия. Так маститый ученый утверждал в своем капитальном, беспрецедентном по охвату и систематизации историографического материала труде «История русской этнографии»⁷⁰. Парадоксальным образом содержание книги Токарева ставит под сомнение вывод, который служит несут опорой его историографической концепции. Произшедшее в Новое время превращение науки в социокультурный и интеллектуальный институт – систему производства знания – предполагало наличие, во-первых, *организации* производства этого знания, во-вторых, обеспечение *воспроизводства* самого этого института. Проще говоря, современ-

⁷⁰ Токарев С.А. История русской этнографии (Дюктябрьский период). С. 266–267.

ная (в смысле восходящая к модерну) наука не может существовать без институциональной структуры и без постоянной подготовки профессиональных кадров – это ее *sine qua non*. Но в российской этнографии, как следует из монографии Токарева, вплоть до последнего десятилетия XIX в. невозможно обнаружить ни одно из этих непереносимых условий.

В то время как, скажем, в Германии, служившей устойчивым и наиболее влиятельным научным и интеллектуальным образцом для русской общественности XVIII–XIX вв., уже в первой половине XIX в. не только присутствовали все основные элементы этнологии как науки (институциональная структура, профессиональное образование, государственная поддержка, общие философско-культурные основания), но они еще и носили весьма развитой для того времени характер. При этом блестящий знаток немецкой этнологии Г.Е. Марков осторожно отмечал, что «окончательное утверждение этнологии (германской. – Т.С.) в качестве самостоятельной науки пришлось на начало второй половины XIX века», увязывая обособление этнологии, ее окончательную дифференциацию с формированием первой профессиональной теоретической парадигмы, получившей в Германии наименование «теории развития», а в остальном мире более известной как эволюционизм⁷¹.

Сам термин «этнография» вошел в отечественный общественный дискурс с 20-х годов позапрошлого века, в то время как в Германии термин «этнология» получил право гражданства сорока годами раньше⁷². Дело, конечно, не в терминологическом приоритете. Появление нового тер-

мина свидетельствует об оформлении понятия и тем самым служит важным конституирующим моментом в выделении новой предметной области, определении дисциплинарных границ новой науки. Ведь слово не только отражает, но и творит социальную реальность. Как демонстрирует теория дискурса, люди используют язык для конструирования различных версий социального мира. В этом смысле можно сказать, что организация нового знания в дисциплинарных границах началась в Германии существенно раньше, чем в России и шла гораздо интенсивнее и успешнее. (Второе не обязательно следует из первого.)

Распространенные в советской историографической традиции поиски «истоков этнографии», «этнографических материалов и знаний» (чему обильную дань отдал Токарев) во времена, предшествующие оформлению этой дисциплины и даже появлению самого термина «этнография/этнология», выглядят недвусмысленной колонизацией прошлого⁷³. Вопреки прокламировавшемуся советской историографией принципу историзма людям предшествующих эпох приписывалась несвойственная и нехарактерная им концептуализация.

Свойственное С.А. Токареву «удревнение» отечественной этнографии никак нельзя объяснить патриотическим куражом, стремлением поставить русскую науку вровень с бывшими в то время законодателями научной моды германцами. Даже в разгар борьбы за «русское первенство» он осмелился публично возражать «против стремления найти обязательно везде “приоритет” русской науки»⁷⁴. Однако

⁷¹ См. первый параграф I главы книги: Марков Г.Е. Очерки истории немецкой науки о народах. В двух частях. М.: ИЭА РАН, 1993. Ч. I. Немецкая этнография.

⁷² Ср.: Токарев С.А. Указ. соч. С. 185 и Марков Г.Е. Указ соч. С. 27.

⁷³ Чего стоит название статьи М.О. Косвена «Из истории ранней русской этнографии» (СЭ. 1952. № 4), рассматривающей источники XII–XVI вв.

⁷⁴ Цитата из дневниковых записей С.А. Токарева. См.: Благодарим судьбу за встречу с ним. (О Сергее Александровиче Токареве – ученом и человеке). М., 1995. С. 203.

приведенное им обоснование позиции, составившей краеугольный камень историографической концепции, выглядит довольно неубедительно. Доказательства Токарева в пользу оформления русской этнографии как самостоятельной дисциплины в середине XIX в. сводятся к трем основным пунктам: основанию в 1845 г. Русского географического общества (РГО; позже – И (императорского) РГО) с отделением статистики и этнографии; учреждению славянских кафедр в четырех российских университетах в соответствии с Уставом 1835 г.; к теоретической и практической деятельности Н.И. Надеждина, который, по уверениям Токарева, «первым (в России. – Т.С.) сумел обосновать право этнографии на роль самостоятельной науки и место ее в системе человеческого знания»⁷⁵.

Главными аргументами в пользу выделения специального отделения этнографии в структуре ИРГО послужили: существование «особых этнографических обществ в Германии, Франции и Англии», то есть влияние западного опыта организации науки, а также признание слабой изученности народов России. Вот что говорилось на сей счет в специальной докладной записке (автором которой, скорее всего, был знаменитый лексикограф В.И. Даль) о создании Географического общества: «Между тем как сведения об этом (России. – Т.С.) государстве в географическом, физическом, статистическом и других отношениях со времени императрицы Екатерины II чрезвычайно много подвинулись вперед, напротив, к изысканиям Палласа, Лепехина и Георги относительно туземных племен прибыло весьма немного»⁷⁶. В этом обосновании обращают на себя внимание два обстоятельства: во-первых, начальная стадия дифференциации этнографии рассматривается в предметных рамках географии

или в тесной с ней увязке; во-вторых, сфокусированность на нерусских народах России. Это исследовательское направление ставил во главу угла деятельности отделения его первый «управляющий» (руководитель), выдающийся антрополог, академик К.М. Бэр.

В институциональном отношении первостепенную важность представлял государственный статус общества, вскоре после своего учреждения получившего наименование императорского. Хотя инициативу его создания можно отнести на счет усилий русской общественности, оно никогда не появилось бы без разрешения государя, а для успеха деятельности новой институции государственная поддержка вообще имела решающий (особенно на первых порах) характер: Николай I отпустил ИРГО ежегодную субсидию в 10 тыс. рублей (немалая по тем временам сумма); «вся последующая деятельность РГО протекала по большей части в контакте с правительственными учреждениями. Во главе Общества официально стоял один из великих князей»⁷⁷. Тем не менее, ИРГО не превратилось в казенное учреждение, сохранило статус общества, пользовалось авторитетом и доверием у отечественной публики.

ИРГО оказалось площадкой небезуспешного сотрудничества власти и общества, оказавшегося возможным вследствие пересечения их интересов и устремлений. Государство при этом преследовало собственные и вполне практические – военно-стратегические и геополитические – цели, а наука была способом их достижения. Ее поддержка оказалась объективным, хотя и побочным результатом активности самого влиятельного субъекта российской жизни – власти.

При всем архикритическом отношении последующих поколений российской интеллигенции к режиму Николая I, либеральный публицист и первый историограф русской

⁷⁵ Токарев С.А. История русской этнографии. С. 269.

⁷⁶ Цит. по.: Там же. С. 215.

⁷⁷ Там же. С. 214.

этнографии А.Н. Пыпин отмечал безусловное и значительное позитивное воздействие теории «официальной народности» на культуру и науку, в первую очередь историю и этнографию, где к числу первостепенных заслуг правительства Николая I, «как ни сурово вообще оно относилось к умственной жизни общества», причислял учреждение ИРГО, Археологической комиссии и открытие славянских кафедр в университетах⁷⁸. (Думается, правда, интерес к славистике был не столько проекцией официального идеологического дискурса, сколько следствием внешнеполитических интересов империи.)

Так или иначе первостепенна и неоспорима заслуга государства в формировании научных институций, которые включали в том числе этнографию, начинавшую выделяться из комплекса научных знаний. Однако число этих учреждений было ничтожно, этнографические курсы в учебных учреждениях не читались, а процесс дифференциации дисциплины находился в начальной стадии. К этому стоит добавить, что в отечественном интеллектуальном сообществе отсутствовало сколько-нибудь внятное представление о предмете и задачах этнографии.

Опровержение точки зрения С.А. Токарева о формировании русской этнографии в 40-е годы – середине XIX в. не самоцель, а необходимое условие утверждения авторской позиции. Полагаю, формирование отечественной этнографии как самостоятельной дисциплины произошло лишь в последнее десятилетие XIX в. Только на исходе позапрошлого века проявились (с различной степенью зрелости и законченности) *все* основные элементы этнографической науки и можно говорить о формировании *системы* науки.

⁷⁸ Пыпин А.Н. История русской этнографии. В 4-х тт. Т. I. Общий обзор изучений народности и этнографии великорусской. С. 31, 234.

В предельно обобщенном виде рождение этнографии можно представить как результат взаимодействия духа экспансии, духа национализма, духа просвещения. В сущности, это тримодальная характеристика XIX века: колониальная экспансия и капиталистическое освоение мира, рождение национализма и становление национальных дискурсов, формирование сциентистского стиля мышления. В нашем случае рассматривается проявление этих метатенденций в российском контексте и их влияние на генезис этнографии.

Дух экспансии

Хотя отмеченные тенденции находились в неразрывной связи и взаимопереплетении, в научном анализе лучше их дифференцировать и рассматривать по отдельности. Явление, метафорично определенное как «дух экспансии», в России нашло выражение не только в колониальной политике, геополитических устремлениях и интересах, сыгравших, вероятно, решающую роль в формировании европейской этнографии, но и в таком крайне интересном феномене, как *интериоризация* пространства, то есть включение его в социокультурную и ментальную (а не только политико-географическую) карту.

Интериоризация пространства имела принципиальное значение для формирования и успеха России как *огромной* страны и *континентальной* империи. Ее территориальное продвижение и существование в постоянно расширявшихся границах критически зависели от способности русских не только освоить новые земли в хозяйственном отношении, но и психологически «природнить» их. Тем более что в континентальной империи не существовало естественных преград, четко отграничивающих материнскую территорию от колонизируемой; границы скорее проходили в умах, что способствовало их подвижности.

Трансформация Сибири из колонии в часть России

Нашему современнику покажется неожиданным, что 250 лет тому назад (не такой уж значительный срок для истории) неотъемлемая часть России и залог ее могущества – Сибирь – считалась азиатской *колонией* русской европейской метрополии, граница между которыми проводилась по Уралу. Эта точка зрения была сформулирована в первой половине XVIII в. известным историком В.Н. Татищевым, хотя к тому времени освоение Сибири русскими шло уже около сотни лет, и они составляли около двух третей населения этого громадного региона. Только в XIX в. образ Сибири – азиатской *колонии России* – стал замещаться ее образом как *части России*. Инкорпорирование Сибири в собственно Россию (в ментальном и социокультурном, а не политико-административном смысле) не было завершено при царском режиме: в народном сознании Сибирь – место ссылки – считалась «чужим краем», которому противопоставлялся образ «родной стороны»; в свою очередь, потомственные сибиряки остро переживали собственное отличие от жителей европейской части России.

Окончательная интериоризация Сибири произошла уже при Советах, став результатом проводившейся ими политики общей индустриальной и социальной модернизации страны, а также целенаправленной интеграции зауральских территорий⁷⁹. Но даже после этих, поистине титанических усилий на Сибири оставалась печать неполноценности: в глазах большинства населения страны она была скорее сырьевым дополнением к европейской России, функциональным, а не самоценным регионом. Отказ от любых форм государственной стратегии в отношении Сибири с начала 1990-х гг. кардинально усугубил впечатление ее неполно-

ценности, создавая Сибири репутацию «брошенной», «ненужной» земли.

Хорошо прослеживается связь между социокультурной ассимиляцией региона и его этнографическим изучением, которое отчасти было следствием целенаправленной государственной политики, отчасти – результатом самостоятельной инициативы на местах, отчасти – сочетанием государственного и общественного интереса.

Главным предметом интереса официальных экспедиций и обследований служили окраинные и пограничные, недавно освоенные или осваиваемые области. Хотя эти акции преследовали прежде всего административные цели, участие в них ученых придавало им до некоторой степени научный характер. Научная значимость экспедиций была тем выше, чем плотнее и интенсивнее участвовали в них ИРГО, Академия наук и другие научные учреждения. Благодаря государственной поддержке ИРГО не только могло организовывать собственные экспедиции, но и активно участвовало в экспедициях других научных учреждений (например, Академии наук) и правительственных ведомств.

С точки зрения этнографии явственным признаком интенсивной территориальной и культурной интеграции Сибири в Россию было начало стационарного ее изучения, вряд ли случайно почти совпавшее с хронологическим началом XIX в. Традицию систематического краеведческого изучения Сибири С.А. Токарев возводил к 1818 г., когда начал издаваться журнал «Сибирский вестник». В это же время (1819–1822) по приказу сибирского генерал-губернатора М.М. Сперанского был проведен широкомасштабный сбор сведений об обычном праве народов Сибири, предоставивший науке важнейшие сведения⁸⁰. Предполагавшаяся

⁷⁹ См.: Tolz V. Russia. L., N.Y., 2001. P. 157–158, 163, 179–181.

⁸⁰ Токарев С.А. История русской этнографии (Доктябрьский период). С. 171–174.

унификация административной системы в Сибири означала, что, по мнению имперского правительства, эта территория утрачивала свой прежний полуколониальный статус и все более сближалась с Россией.

На протяжении последующего столетия в исследовании Сибири можно выделить три линии: этнографическо-краеведческую, исследования политических ссыльных и административную этнографию. Причем доля стационарных наблюдений постоянно увеличивалась, хотя экспедиционная работа по-прежнему сохраняла высокую значимость⁸¹. Но в любом случае этнографическое изучение Сибири было одновременно важной составной частью процесса интериоризации и стимулом для нее.

Дрейф «внутреннего Востока»

Если остававшаяся географически Азией Сибирь все плотнее входила в русское сознание и становилась русской землей, то вряд ли это можно было сказать о Средней Азии и Кавказе, оказавшихся в XIX в. объектами классической колониально-аннексионистской политики.

В русском национальном дискурсе они воплощали «внутренний Восток» – элемент динамичной конфигурации «Запад – Россия – Восток», в рамках которой происходило формирование артикулированной русской идентичности. У русской элиты существовала устойчивая психологическая и социокультурная потребность во «внутреннем Востоке», образ которого более или менее совпадал с Востоком западного колониального дискурса.

Однако в отличие от Запада конкретная локализация «русского Востока» на географической карте была скользящей: как правило, в этой роли оказывалась очередная ми-

⁸¹ Об этнографическом изучении Сибири также см.: *Токарев С.А.* История русской этнографии.

шень имперской экспансии, но не всякая, а лишь обладающая потенциалом конституирующего «другого» по отношению к русским. Скажем, сибирские и дальневосточные народы в этом качестве явно не котиrowались, и конституирующей «Азией» для русского общества XVIII в. была не (все еще не интериоризованная) Сибирь, а татары, прежде всего казанские. Во второй трети XIX в. «внутренним Востоком» оказался Кавказ, где империя вела длительную и ожесточенную войну, в 1870–1880-е гг. – Средняя Азия и, наконец, в последней четверти века – Дальний Восток (не как продолжение интериоризуемой Сибири, а как возможность внешней экспансии в Корею и Маньчжурию)⁸².

«Востоком» в глазах русских оказывалась не просто непривычная, экзотическая этнокультурная традиция, а традиция, за которой стояла сила, во-первых, биологически ощутимая, во-вторых, способная сопротивляться экспансии, имеющая опыт более или менее развитой социальной организации и государственных структур. Другими словами, в глазах русских «Восток» должен был представлять цивилизацию, развитую в той степени, чтобы выдерживать сравнение с Россией, и в то же время уступающую ей в техническом, материальном и военном отношении настолько, чтобы выглядеть второсортно, неполноценно по сравнению с русскими. В этой сравнительной перспективе не находилось места сибирским народам и языческим народам Поволжья – черемисам, чувашам, мордве и т. д., поскольку они казались *слишком* отсталыми и были *не опасны*⁸³.

⁸² См.: *Tolz V.* Op. cit. P. 134–140.

⁸³ О русской концептуализации Востока в XIX в. см.: *Беккер Сеймур.* Россия между Востоком и Западом: интеллигенция, национальное русское самосознание и азиатские окраины // *Ab Imperio.* 2002. № 1. С. 443–465.

Отличие в освоении Сибири и «внутреннего Востока» можно представить также в виде различной концептуализации имперской экспансии. Как известно, два ее наиболее распространенных мифа⁸⁴ – это миф об *органическом* характере экспансии, которая направлена к естественным географическим рубежам и миф *terra nullius* – подлежащей освоению и заселению «пустой», *ничейной земли*. В России к ним добавлялся миф *безопасности*: защита от (реальных или мифических) врагов, недопущение вакуума силы и власти, которым могли воспользоваться геополитические конкуренты. Связка мифов *безопасности* и *органического* территориального расширения была равно применима ко всем азимутам русской экспансии: пространство захватывалось превентивно, дабы помешать вторжению конкурентов и это движение продолжалось, пока не упиралось в естественные (Тихий океан, горные цепи) рубежи. Но концепция *ничейной земли* могла работать только в крайне разреженном демографическом пространстве Сибири.

Низкая плотность туземного населения послужила одной из главных предпосылок успешной интериоризации русскими Сибири. Подобная задача, видимо, никогда не стояла применительно к Средней Азии: в царской России этот регион в наибольшей мере подходил под статус колонии. Впрочем, даже Кавказ – один из фокусов русской культуры XIX в. – оставался в значительной части «чужой» землей. Существовали отчетливые линии размежевания – административные и ментальные – между интериоризованным (русским) и «диким» (туземным) Кавказом.

В порядке гипотезы предположу, что интенсивность и, не исключено, сама возможность интериоризации про-

⁸⁴ В данном случае «миф» трактуется не в обыденном (ложное или фальсифицированное утверждение или рассказ), а в научном (рассказ или утверждение, которые, вне зависимости от своего содержания, обладают мобилизующей силой) смысле.

странства русскими связана с его ландшафтным и природно-климатическим наполнением: в этих отношениях Сибирь выглядела продолжением Великороссии (тайга, начинающаяся к востоку от Москвы, тянется до Тихого океана), в то время как кавказские горы и среднеазиатские пески – ее противоположностью. К сожалению, в отечественной этнографии эта интереснейшая проблема затрагивалась лишь вскользь, в рамках экологической этнографии.

Этнографическое изучение Кавказа и Средней Азии следовало в обозах русских военных экспедиций и поначалу преследовало разведывательные и рекогносцировочные цели. По мере замирения этих территорий, их политико-административной интеграции и освоения центр тяжести исследований смещался: на первое место выходила проблема управления покоренными народами, а исследования переходили, преимущественно, в гражданские руки. Вот как описывал эту динамику С.А. Токарев: «...научные экспедиции шли... буквально по следам военных походов или даже сливались с ними: либо офицеры производили научные наблюдения – в том числе и этнографические, – либо ученые прикомандировывались к отрядам. После замирения той или иной области научные исследования производились там более свободно. ...Собирателями этнографического материала были по преимуществу военные. К ним в дальнейшем присоединились гражданские чиновники...»⁸⁵.

С конца XIX в. в изучении Кавказа и Средней Азии превалировал краеведческий акцент, означавший смещение баланса от функционального изучения в сторону научной любознательности. Организационными центрами этнографическо-краеведческой активности служили местные отделения ИРГО. Вовлечение в эту деятельность местной интеллигенции, более выраженное на Кавказе, было частью

⁸⁵ Токарев С.А. История русской этнографии. С. 312.

формирования национальных дискурсов, важным элементом становления национального самосознания⁸⁶.

Специального упоминания заслуживают кавказоведные штудии выдающегося языковеда и фольклориста, профессора Московского университета В.Ф. Миллера. Итогом его научных поездок на Кавказ стала трехтомная работа «Осетинские этюды» (1881–1887), которая по сей день остается классическим трудом по осетиноведению. В ней исследовался этногенез осетин, их язык, религиозные верования и нартский эпос. Также перу Миллера принадлежал ряд очерков и статей о других народах Кавказа, преимущественно об их фольклоре.

Отношения Миллера с этнографией носили не случайный и попутный, а долговременный и целенаправленный характер. Выдающийся ученый, пользовавшийся любовью и уважением студентов преподаватель (читал в Московском университете, Лазаревском институте восточных языков, где в 1897–1911 гг. был директором, на Высших женских курсах Герье), он был еще и крупным организатором этнографической науки. В 1881 г. Миллера избрали председателем этнографического отдела Императорского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (далее – ОЛЕАЭ), в течение года (1889–1890) он был председателем Общества. С его именем связано создание первого профессионального русского этнографического журнала: Миллер подписал к печати первый номер «Этнографического обозрения», а с 1901 г. выступал в качестве соредактора издания (наряду с Н.А. Янчуком; в 1905 г. к ним присоединился В.В. Богданов). В 1902 г. по инициативе Миллера в этнографическом отделе ОЛЕАЭ была учреждена специальная музыкальная этнографическая комиссия. Миллеру также

⁸⁶ Подробнее об этнографическом изучении Средней Азии и Кавказа см.: *Токарев С.А.* История русской этнографии.

принадлежит заслуга приведения в систематический порядок коллекций Дашковского этнографического музея, что сделало их доступными для научного использования; пост хранителя музея он занимал с 1884 по 1897 год.

Вся эта обширная и интенсивная организационная деятельность пришлась на последние десятилетия XIX в. и начало XX в. – время, когда русская этнография формировалась как самостоятельная дисциплина. Вклад Миллера в этот процесс состоял не только в мощном импульсе отечественному кавказоведению, но и в заметном положительном влиянии на институционализацию науки – становление и развертывание профессиональной инфраструктуры⁸⁷.

В.Ф. Миллер приохотил к кавказоведению М.М. Ковалевского, автора фундаментальных исследований общественного строя и обычного права кавказских народов. Выпускник Харьковского университета, получивший доцентуру, а затем профессию по истории государственного права в Московском университете (1877–1887), Ковалевский питал устойчивый научный интерес к эволюции родового строя, обширный материал для изучения которого он собрал в ходе нескольких своих поездок на Кавказ (первую из них совершил совместно с Миллером). Итогом кавказских экспедиций Ковалевского стали два двухтомника: об обычном праве осетин (1886) и о пережитках первобытнообщинных отношений у других народов Кавказа (1890). Последняя работа и обобщающий труд Ковалевского «Родовой быт» (1906) увидели свет уже после его вынужденной, по политическим мотивам, эмиграции в 1887 году.

⁸⁷ Также о Миллере см.: *Токарев С.А.* История русской этнографии.; *Калоев Б.А.* В.Ф. Миллер-кавказовед (Исследования и материалы). Орджоникидзе: Северо-Осетинское кн. изд-во, 1963. 203 с.

Еще до эмиграции Ковалевский составил себе международную научную репутацию, которая впоследствии упрочилась: почти все его крупные работы оперативно переводились на основные западные языки, Ковалевский читал лекции в Оксфорде, Стокгольмском и других университетах и научных центрах Европы и Америки.

В историю отечественного общественно-научного знания он вошел одним из первых проводников историко-социологического метода, в его изложении выступавшего реализацией позитивистского подхода, проекцией позитивистской философии⁸⁸. В то же время тесная связь Ковалевского с западными и русскими марксистами подтверждает мнение о генетическом родстве позитивизма и марксизма: оба этих направления оказались модусами присущего XIX в. сциентистского стиля мышления.

Геополитика и стратегия как стимул этнографии

Поскольку решающим фактором экспедиционной этнографической активности было имперское государство, задававшее целеполагание, обеспечивавшее финансовую и материально-техническую сторону, то направления и масштаб активности зависели от государственной политики. В самом общем виде эту зависимость можно представить в виде концентрических кругов: государственная заинтересованность (и, соответственно, участие правительства в этнографии) снижалась по мере удаления от границ империи и минимизации ее геополитических интересов.

Безусловными приоритетами официальной административной этнографии были Кавказ и Средняя Азия – крупней-

шие территориальные приобретения Российской империи XIX в., включение которых в имперское тело сопровождалось вооруженной борьбой, особенно ожесточенной на Кавказе. В противоположной части империи объектом первостепенного внимания правительственной этнографии стал мятежный Западный край – польское восстание 1863 г. продемонстрировало растущий взрывоопасный потенциал этой территории.

Практически все экспедиции в Западном крае носили этнографическо-статистический характер, имея целью выяснение этнического состава территории и ее этнографическое картографирование⁸⁹. Сам характер интереса показывает, что царское правительство в общем верно усматривало первопричину польского сепаратизма в широко понятом этническом факторе и искало возможности его нейтрализации.

С точки зрения официального Петербурга обрусительская политика выглядела наиболее очевидным ответом на вызов польского сепаратизма, и в этом смысле объективное знание об этнической чересполосице на западных рубежах империи было совершенно необходимо. Другое дело, что движущим мотивом этой политики, временами крайне жестокой, был вовсе не русский национализм или стремление модернизировать империю, превратив ее в национальное государство западного типа, как порою предполагают.

Имперский принцип организации России не ставился под сомнение ее правителями, в то же время под их постоянным подозрением находился любой национализм, не исключая русского (и даже в первую очередь русский, потенциально более опасный, чем другие национализмы.) Императив государственного единства и сохранения самодержавной власти лежал в основе принципиально надэтнической имперской национальной политики, предопределяя ее колебания между уступками этническим группам и же-

⁸⁸ Также о Ковалевском как этнографе см.: Токарев С.А. Указ. соч.; Косвен М.О. М.М. Ковалевский как этнограф-кавказовед К 100-летию со дня рождения (1851–1951) // СЭ. 1951. № 4. С. 116–135 и др.

⁸⁹ См.: Токарев С.А. История русской этнографии. С. 314–317.

стоким подавлением местных культур и языков, грубой русификацией. Но и первое, и второе были лишь *средствами* обеспечения единства и стабильности империи и никогда – самодостаточными *целями*. В этом смысле поиск (и обнаружение) в государственной политике царской России целей строительства гражданского общества или национального государства выглядят неадекватным прочтением русской истории, неправомерной экстраполяцией на нее теоретических моделей и концепций, выросших на иной исторической традиции и социокультурной почве.

Западный край как зона перманентной нестабильности, Кавказ и Средняя Азия как цели имперской экспансии составляли предмет первостепенной озабоченности царского правительства – они входят во «внутренний» круг описываемой классификации. «Средний» круг составили геополитические интересы в «ближнем зарубежье» России: славянство и Балканы (что отчасти совпадало), а также Центральная Азия.

Хотя современному наблюдателю интерес к славянству покажется имманентным России ввиду языкового, этнокультурного и (отчасти) религиозного родства, в действительности зарубежные славянские народы к началу XIX в. «были известны русским образованным людям едва ли больше, чем индейские племена Южной Америки. Освободительное движение среди южных славян и наполеоновские войны *впервые* (курсив мой. – Т.С.) столкнули русских людей с этими братскими по языку и происхождению народами»⁹⁰.

Толчок к научному изучению зарубежного славянства был дан геополитическими и политическими интересами правительства Николая I: восточным направлением русской политики, балканским узлом и польской проблемой. Создание кафедр «истории и литературы славянских наречий» предусматривалось университетским уставом 1835 г., во всех дру-

гих отношениях заслужившего репутацию крайне реакционного. Среди ученых, первыми занявших эти кафедры в различных университетах страны, был О.М. Бодянский, в течение почти тридцати лет (1842–1870) преподававший в Московском университете. С полным основанием его можно отнести к числу основателей славянской этнографии в отечественной науке. Хотя основные интересы Бодянского лежали в области славянского языкознания, он также читал студентам курс славянской этнографии и археологии; этнографический характер (в том смысле, как понимался предмет этнографии в течение большей части XIX в.) носила его магистерская диссертация, посвященная сравнительному анализу фольклора различных славянских народов. Кроме того Бодянский перевел на русский язык очень важные для славянской этнографии работы П.И. Шафарика «Славянские древности» и «Славянское народописание», служившие учебными пособиями для студентов-славистов.

В свою очередь, становление славяноведения дало заметный импульс развитию русской этнографии вообще, открыв перед ней принципиальную возможность широких сравнительных исследований, в том числе в области этногенеза. Как справедливо указывал А.Н. Пыпин: «Изучение славянства чрезвычайно благоприятно подействовало и на разработку самой русской этнографии, – собственно говоря, оно впервые дало ей настоящее основание, указав для древнейшей поры народности ее общеславянскую основу. Явилась возможность сравнения языка, сравнения мифов, преданий, поэзии, сравнения бытовых учреждений и обычаев и, в конце концов, определения общеславянских свойств русской народности и ее исключительных особенностей»⁹¹. В более широком смысле общеславянская проблематика

⁹⁰ Токарев С.А. Основные этапы развития русской дореволюционной и советской этнографии (Проблема периодизации). С. 167–168.

⁹¹ Пыпин А.Н. История русской этнографии. Т. I. Общий обзор изучения народности и этнографии великорусской. С. 32.

была интегрирована в русский национальный дискурс, став одной из его ведущих тем.

Заметное усиление общественного интереса к зарубежному славянству и балканской проблематике в России начиная с 60-х годов XIX в. было вызвано рядом обстоятельств внутренней и международной жизни. Их результирующей стало настойчивое осмысление русской этнокультурной, государственной и геополитической идентичности после катастрофической Крымской войны и в ходе великих реформ. В это время в русском национальном дискурсе конкурировало несколько культурных и политико-идеологических альтернатив, одну из которых – неофициальную, но весьма влиятельную – составлял панславизм. Это течение было весьма многоликим, в нем присутствовали культурная составляющая – идея этнокультурной и языковой общности славян, религиозно-мессианская цель – освобождение «православных братьев» и возвращение «Константинова града», геополитический аспект – удар по Османской и Габсбургской империям, противодействие объединенной Германии.

Панславизм никогда не был официальной доктриной и порою встречал заметное противодействие власти, но сам факт существования этого политико-идеологического и культурного течения указывал на наличие общего славянско-балканского вектора в устремлениях власти и общества. Рельефным выражением этой общности интересов, в том числе интереса к славянству, стала Всероссийская этнографическая выставка в апреле – июне 1867 г. Хотя ее инициатива исходила от ИОЛЕАЭ – организации общественной, подготовка и проведение мероприятия проходили при самом активном участии официальных властей, желавших таким образом продемонстрировать необъятные размеры, многолюдность и мощь империи. Достаточно упомянуть, что выставку посетил Александр II, а почет-

ным председателем ее комитета стал великий князь Владимир Александрович.

Помимо этнографических коллекций из разных областей империи, на выставке были обширно представлены экспонаты зарубежных славянских земель, что подчеркивало покровительство России славянскому миру. Одновременно с выставкой проходил славянский съезд – первый панславистский форум общеевропейского масштаба⁹².

В целом на славянском направлении наука шла вслед за политикой или во всяком случае была ею тематизирована. Эта закономерность, уходящая корнями в 30–40-е и выкристаллизовавшаяся в 60–70-е годы XIX в., сохраняла свою силу и в последующем, что рельефно проявилось в связи славянских исследований с внешнеполитической стратегией СССР.

Хотя к Китаю русские издавна питали устойчивый интерес, интенсивность и масштабы этого интереса увеличивались по мере продвижения русской экспансии в Среднюю Азию и на Дальний Восток, а также в связи с прогрессирующим ослаблением «Поднебесной империи», поставившим на повестку дня ее раздел между мировыми державами. В последнее тридцатилетие XIX и в начале XX в. была организована серия масштабных русских экспедиций в Центральную Азию – Монголию, северный Китай, Северный Тибет, Восточный Туркестан и т.д. (Все эти регионы рассматривались как зона потенциальной и актуальной стратегической конкуренции с Великобританией.) Хотя инициатором этих путешествий обычно выступало ИРГО, отвечавшее также за их географическую и этнографическую сторону, фактически они носили полувойенный и правительственный характер, что отражалось не только в источниках финанси-

⁹² Подробнее о развитии славянской этнографии в досоветской России см.: *Токарев С.А.* История русской этнографии.

рования и целях экспедиций, но и в том, что их возглавляли офицеры. Экспедиции во главе со штатскими снаряжались заметно реже⁹³.

Участие России в мировой капиталистической экспансии

Обобщая и упрощая, «дальний» круг русской этнографии составили территории, не входившие непосредственно в состав Российской империи или зоны ее актуальных геополитических интересов.

Пожалуй, наиболее интенсивной и целенаправленной экспедиционной активностью вдали от империи отмечена первая половина XIX в., когда Россией было организовано до 40 (!) кругосветных экспедиций. Как правило, их движущим мотивом называют практическую потребность в установлении прямой связи с российскими владениями в северо-западной Америке и организации снабжения основанных там колоний (а также прокладывание морского торгового пути в Китай и Японию), при этом одновременно обращая внимание на широкий спектр исследований, ведущихся в ходе плаваний⁹⁴. (Сюда следует присовокупить и обследование внутренних областей Аляски усилиями основанной в 1799 г. Российско-американской компании.) Это объяснение выглядит довольно резонным в свете того обстоятельства, что русские кругосветные плавания вообще и активность на Аляске в частности сошли на нет с середины XIX в., особенно после утраты русско-американских владений.

Резонным, но поверхностным и неполным. Общесоциологический смысл экспедиционной активности России может быть понят лишь в более широком контексте.

⁹³ Подробнее об этом см.: Токарев С.А. История русской этнографии.

⁹⁴ См., например: Токарев С.А. История русской этнографии. С. 143.

По И.М. Валлерстайну, 1830–1860-е гг. стали временем превращения европейской мирэкономике в капиталистическую мировую экономику, временем расширения капиталистического рынка до масштабов всего мира, что означало кардинальное расширение рыночно-капиталистической ойкумены – в первую очередь за счет включения в нее той части мира, которая сейчас называется Азиатско-тихоокеанским регионом (АТР). В середине XIX в. Европа заново переживала эпоху великих географических открытий: их количество и масштаб превзошли все, что было достигнуто со времен Колумба и Магеллана⁹⁵.

Объективно (то есть вне зависимости от ситуативной логики и тактических целей) Россия основательно поучаствовала в освоении мира и включении АТР в капиталистическую ойкумену – как раз в этом регионе находилась конечная цель русских кругосветных маршрутов. Но воспользоваться плодами собственных достижений она не могла: ограниченность ресурсов не позволяла вести имперскую экспансию одновременно в двух направлениях – условно, внутриконтинентальном и внешнем, океанском. Не говоря уже о том, что в океане Россия сталкивалась с имевшей безусловное преимущество Великобританией.

Произошло своеобразное разделение труда: в то время как капиталистический Запад осваивал одну часть мира, Россия – другую. Российская сфера влияния находилась в непосредственном соприкосновении с континентальной империей, не давая в этом смысле государственных стимулов развитию тех разделов этнографии, которые занимались наиболее отдаленными от России, экзотическими

⁹⁵ Этой концептуализацией я обязана статье: Фурсов А.И. «Биг Чарли», или О Марксе и марксизме: эпоха, идеология, теория (к 180-летию со дня рождения К. Маркса) // Русский исторический журнал (далее: РИЖ). 1998. Весна. Т. I. № 2. С. 347–348.

странами и регионами. Экспедиционная активность в «дальнем» круге русской этнографии носила эпизодический и в общем-то случайный характер, а ее результаты, как правило, оставались втуне⁹⁶.

Осознание «духа нации»

Пунктирно уже обращалось внимание на связь экспансии, освоения мира с самопознанием, формированием артикулированного национального сознания. Если исходить из весьма влиятельного оппозиционалистского взгляда на природу этнической идентичности, то эта связь предзадана структурой человеческой психики: рефлексия образа «мы» тем интенсивнее, чем плотнее контакт с «другими», которые выступают своеобразным зеркалом, в котором социальные группы наблюдают собственную самость и благодаря которому осознают, рационализируют свои отличия (этнодифференцирующие черты). Впрочем, это не означает отсутствия собственного позитивного содержания «мы» вне отношений с «другими», на чем настаивает постмодернистская этнология, абсолютизирующая именно границу как конституирующий фактор этничности.

Ведя речь о становлении русского национального дискурса в его связи с развитием отечественной этнографии, я имею в виду верхние, *внешние слои* идентичности, поддающиеся рефлексии, рационализации и вербализации. В то же время существует сверхустойчивое *ядро* этнической идентичности, которое составляют нерелефлексивные этнические архетипы (не этнокультурные стереотипы и национальные ценности, а мыслеформы – архетипы в юнговском понимании), локализованные в человеческом коллективном бессознательном, в его этническом слое. Таков в самом общем виде мой (сразу признаю – весьма неор-

тодоксальный) взгляд на природу и структуру этнической идентичности.

С этой наблюдательной позиции формирование русского национального дискурса есть трансформация внешних слоев идентичности, их адаптация к новым условиям при неизменности глубинного этнического ядра. Другими словами, и в Московской Руси, и в Петербургской империи, и в Советском Союзе русские оставались все теми же русскими, хотя их осознание самих себя и имеющийся у них образ страны претерпевали радикальные изменения.

Интенсивный процесс складывания нового образа русскости и России происходил в (после)петровскую эпоху: на смену доминировавшей прежде религиозной (православной) идентификации и религиозному взгляду на мир шел новый, преимущественно светский образ самого себя и светская идеология. У этой трансформации были не только внутренние источники, но и внешний стимул – необходимость дать ответ на вставший перед Россией исторический вызов: радикально обновиться или оказаться на обочине Европы Нового времени и в перспективе – колонией европейских держав. Сильнее всего изменения затронули (или даже перепахали) высшие и образованные группы русского общества, которые артикулировали происходящее в виде новых идеологических моделей, культурных и образовательных институтов, социальных форм и образцов поведения, постепенно внедрявшихся в низшие, массовые социальные слои. (Такова общая социологическая логика адаптации заимствований и внедрения новых культурных образцов – сверху вниз.)

В элитных слоях формировался и русский национальный дискурс, который в самом общем виде можно определить как развивающуюся в культурно-историческом контексте совокупность устных и письменных высказываний о смысле, содержании, цели русскости и России. (Концепт «дискурс», предполагающий развивающуюся и динамич-

⁹⁶ Подробно об этом см.: Токарев С.А. История русской этнографии.

ную рефлексию о русских и России, кажется несравненно более удачным специфически отечественного термина «русская идея», подразумевающего метафизическую, а потому неизменную, формулу русскости.)

С момента своего становления русский дискурс был тематизирован Западом, послужившим очень важным и в определенной мере конституирующим элементом трансформировавшегося русского сознания. Довольно упомянуть, что отправным пунктом русской национальной историографии, ее гоголевской «шинелью» стала сформулированная находившимися на службе в Петербурге германскими учеными норманнская теория, в отношении которой самоопределялись поколения отечественных историков. А история, образ прошлого составляет квинтэссенцию такого с трудом поддающегося рационализации феномена, как национальный дух, выступает несущей конструкцией национального самосознания. В этом смысле можно сказать, что норманнская теория дала импульс русскому патриотизму от обратного, как антимodelь.

Те же немцы впервые внесли в русскую культурную и образовательную среду основания, навыки и приемы подлинно *научного* изучения истории. Таким образом, их противники из числа патриотически настроенных русских, вождем которых был М.В. Ломоносов (кстати, имевший в этом противостоянии правительственную поддержку), полемизировали с концепциями, рожденными немецкими учеными, оружием, выкованным этими же учеными.

Этот исторический эпизод содержал зародыш развившегося позже парадоксально амбивалентного отношения русских к Западу: стремление пользоваться достижениями Запада и оценка России как части Европы сочетались (причем нередко в одних и тех же устах!) с утверждением кардинального отличия и преимущества (скорее потенциального, чем актуального) России над Западом. (С точки зрения фрейдовского психоанализа это комплекс неполноценности, про-

воцирующий комплекс превосходства – идея, стимулировавшая создание Л. Гринфельд концепта *ressentiment* (чувство досады, экзистенциальной зависти), используемого для объяснения специфики ряда национализмов, включая русский⁹⁷). Причем в русском дискурсе Запад и Россия изначально соотносились как произвольно выстроенные философско-культурные конструкции – идеальные типы, – а не как реальные этно-историко-культурные образования.

Тематизация русского национального дискурса Западом означает не врожденную ущербность русской национальной мысли, а критическое влияние Запада на круг обсуждавшихся в России вопросов и характер предлагавшихся решений. Но при этом сами западные концепты и модели в процессе адаптации к русской почве наполнялись новым содержанием и приобретали смысл, далекий от аутентичного и нормативного или даже противоположный ему.

Парадоксальная амбивалентность русского отношения к Западу нашла свое выражение, в частности, в том, что начало изучения «этнографической старины» (выражение А.Н. Пыпина) в последние десятилетия XVIII в. пришлось на время правления Екатерины II, когда российское «европейничанье» приняло размеры поистине гомерические и характер откровенно гротескный. Робкий разворот в русском направлении отчасти был интеллектуальной и психологической реакцией на неумеренное «европейничанье»: чем четче и категоричнее сформулирован тезис, тем неумолимее он требует антитезиса. Отчасти формой саморефлексии, реализацией имманентной человеческой потребности в самосознании. Но в значительной мере – следствием политиче-

⁹⁷ Подробнее о концепции Л. Гринфельд см.: *Коротеева В.В.* Теории национализма в зарубежных социальных науках. М.: РГГУ, 1999. С. 94–104.

ской потребности в формировании образа России как первоклассной европейской державы, имеющей самостоятельную традицию.

Хотя некоторые важные линии русского национального дискурса были намечены еще в XVIII в., в развернутом и систематизированном виде он оформился лишь в 30–40-е годы XIX в., что было связано с мощными внешними импульсами, полученными русским национальным самосознанием. Французская революционная динамика вызвала к жизни взрыв национализма в Европе, нашедший свое максимальное выражение в формировании национальных государств. На смену Европе абсолютистских монархий шла новая политическая реальность – Европа национальных государств и демократических изменений. Национализм был связан с наступлением капитализма, формировавшим новую социальную и экономическую реальность – Европу «язв пролетарства» и буржуазных нуворишей. Драматическое изменение конституирующего «другого» русской идентичности бросало России новые вызовы, поиск ответов на которые должен был носить в том числе интеллектуальный характер. Возможно, даже прежде всего интеллектуальный, поскольку попытка декабристов разрешить актуальные русские проблемы военно-политическим путем оказалась неудачной.

Наконец, вполне заслуженная репутация спасительницы Европы и патриотический подъем в России в годы наполеоновских войн также неизбежно обостряли интерес к русской проблематике.

Хотя один из первых развернутых идеологических ответов на новые вызовы и изменение Европы – теория «официальной народности» – носил подчеркнуто полемический характер, будучи намеренной антитезой знаменитой французской революционной формулы «свобода, равенство, братство», он отвергал не идентификацию России с Европой, а идентификацию с «ложной» Европой революции, на-

ционализма и демократии, противопоставляя ей Россию как оплот «подлинного» европеизма, носительницу «старых» ценностей легитимизма, религиозности и «народности». (Последний концепт был наименее понятным и самым расплывчатым, особенно в сравнении с понятиями «православие» и «самодержавие».)

Несмотря на официальный характер этой идеологической конструкции (определение «официальная народность» было отчеканено А.Н. Пыпиным в 1870 г.), она пользовалась общественной поддержкой, хотя и уступала в популярности славянофильству и западничеству. Два последних течения вместе с «официальной народностью» составили спектр ключевых альтернатив русского национального дискурса, тематизирующих отечественную общественную мысль вплоть до наших дней.

Утверждение духа сциентизма

Выделение этнологии (культурной/социальной антропологии) в качестве самостоятельной дисциплины на Западе и в России было связано с подведением под нее теоретического основания в виде эволюционизма. В свою очередь, эволюционистская метатеория была порождена культурной и научно-интеллектуальной ситуацией, сложившейся в Европе середины – второй половины XIX века.

Эволюционизм в этнологии служил проекцией сциентизма – восторжествовавшего в западном мире стиля мышления, основополагающие характеристики которого следующие. Во-первых, вера в существование *объективных* и *универсальных* закономерностей развития человечества, которые можно познать и, познав, использовать в управлении социальными процессами. Поскольку наибольших успехов в то время добились науки, изучавшие природу, то они не только внушали научный и социальный оптимизм, но и брались за образец познания. (В этом смысле причисление этнографии к естествознанию во второй поло-

вине XIX в. было следствием доминирующего влияния сциентизма на интеллектуальную жизнь Европы.) Их экстраполизирование на человеческую историю и социальную сферу порождало амбицию проникновения в смысл истории и открытия *естественно-исторических* законов, вело к появлению претенциозных теорий наподобие стадияльной теории О. Конта или учения К. Маркса об общественно-экономических формациях.

Во-вторых, восходившая к Просвещению вера в то, что экспансия научного и технологического знания трансформирует культурный и социальный порядок, что научно-технологическое освоение мира *непосредственно* приведет к его совершенствованию.

Это убеждение питалось (и это, в-третьих) верой в прогресс человечества, который понимался исключительно как линейное, эволюционное, постепенное (не скачкообразное, не революционное) развитие, улучшение и совершенствование человеческих нравов, культуры и социальных институтов. Один из наиболее видных и влиятельных сторонников эволюционизма в русской этнографии конца XIX – начала XX в. Л.Я. Штернберг писал: «...философия эволюции... доказала с поразительной очевидностью, что все существующее в области физической или психической есть результат *постепенного* роста, развития, *последовательного перехода* от простого к сложнейшему (курсив мой. – Т.С.)»⁹⁸.

Наконец, в-четвертых, сциентизм ориентировал на получение социально полезных знаний и накопление фактов, на изучение частных вопросов и отказ от спекулятивной философии. Некоторое парадоксальное противоречие с пунктом первым характеристики сциентизма находило свое разрешение в следующей позиции: если цель человечества – прогресс, а направление и общие ступени движения к нему

указаны общей теорией, то задача «рядовых тружеников» науки сводилась к созданию фактологического фундамента, позволяющего применить метатеорию к обществу, конвертировав естественно-научные закономерности в естественно-исторические. Но сама возможность подобного экстраполирования под сомнение не ставилась, а решение профессиональных вопросов и разработка частных концепций были направлены на достижение основополагающей цели.

В этом *идеальнотипическом* построении три первых пункта суть оценочные суждения, а последний – характеризует научную стратегию. Как известно, по критерию верификации/фальсификации сциентизм не выдержал проверки временем, и вообще он был культурно-идеологической конструкцией, а не научной теорией. Однако позитивистская научная стратегия оказалась чрезвычайно устойчивой. Она доминировала в отечественной этнографии в советскую эпоху, преобладает и в постсоветскую, хотя в настоящее время эта стратегия более не легитимизируется метарассказом – идеей прогресса и вообще лишилась легитимации, восходящей к трансцендентному источнику (прогрессу, благу человечества, освобождению пролетариата и т. д.).

По-прежнему сохраняют значительную инерционную силу в интерпретации человеческой истории критерий и идея прогресса, хотя культурно-идеологическая природа этого концепта неоднократно вскрывалась в социальных науках⁹⁹.

Таким образом, сциентизм парадоксально оказался ненаучным явлением, но в этом качестве он дал мощный толчок мировой этнологии. Только обретя в эволюционизме адекват

⁹⁸ Цит. по: Токарев С.А. История русской этнографии. С. 426.

⁹⁹ См., например, убедительную деконструкцию концепта «прогресс» в: Фурсов А. Операция «Прогресс» // Космополис. 2003/2004. Зима. № 4 (6). С. 23–43.

ватное самой себе теоретическое основание, она смогла завершить формирование в качестве самостоятельной науки. Эволюционизм указал этнологии перспективные направления исследований, снабдил ее методологией научного исследования, заложил теоретический фундамент новой научной дисциплины.

Глава 2.2.

ДИСКУРС О «НАРОДНОСТИ» В XIX ВЕКЕ: СТРУКТУРА И ЭВОЛЮЦИЯ

Понятие «народность» стало одним из ключевых в российском культурном и интеллектуальном пространстве XIX века. Его появление напрямую связано с формированием во второй четверти XIX столетия русского национального дискурса. Проблема народности разрабатывалась одновременно в общественно-политическом и научном контекстах.

Слово «народность», по сведениям М.К. Азадовского, впервые использовано в 1819 г. в переписке П.А. Вяземского с А.И. Тургеневым как русское соответствие французского *nationalite*. Однако отождествление «национальности» и «народности» в российском интеллектуальном контексте второй четверти – середины XIX в. едва ли возможно. В авторской гипотезе понимание «народности» изначально дуалистично: народность как выражение народной личности, как особый тип нравственности, воплощаемый крестьянством, vs. народность как национальная/этническая принадлежность, как возможность достижения народного единства, «братского союза между разными сословиями».

Эволюция понимания «народности» в середине – второй половине XIX века (преимущественно в фольклористике и собирательской этнографии) составляет содержание главы.

«Народность» в общественно-политической мысли

Все три течения русского национального дискурса – бюрократический национализм, консервативная утопия славянофилов, либеральная утопия западников – использовали концепт «народность». В идеологической формуле С.С. Уварова «народность» выглядела наименее понятной и расплывчатой, особенно в сравнении с понятиями «православие» и «самодержавие». Член «народность» мог интерпретироваться и как «национальность», и как «простонародность», но акцент делался на «простонародности», выражая «прежде всего стремление самодержавия расширить свою социальную базу, получить непосредственную опору в «народе» (в широком смысле слова)¹⁰⁰. Если французская «национальность» потенциально включала в себя всех живущих во Франции, то «народность» С.С. Уварова подразумевала «верные престолу» простые слои русского народа, в противовес фрондирующему и оппозиционному дворянству.

При этом вариант С.С. Уварова, оставлявшего за бортом великорусской народности оппозиционное дворянство, был еще довольно мягким в сравнении со славянофильством, провозглашавшим наивысшим воплощением народности крестьянство и тем самым имплицитно исключавшим из этой общности *городские слои* населения, подозревавшиеся в моральной и культурной коррумпированности запад-

¹⁰⁰ Славянофильство и западничество: консервативная и либеральная утопия в работах Анджея Валицкого. Реферативный сборник. Сост. К.В. Душенко. Отв. ред. Р.А. Гальцева. Вып. I. М.: ИНИОН, 1991. 191 с.

ным образом жизни. В этом смысле славянофильская интерпретация народности, питавшаяся концепцией *Volkish* немецких романтиков, оказалась гораздо радикальнее, чем у немецких учителей: те никогда не исключали образованные слои немцев из германского народа. Более того, и в самой русской культурной традиции первоначально (в конце XVIII в.) концепт «народа» не подразумевал исключений по социальному признаку.

Именно с подачи славянофилов крестьянство стало представляться квинтэссенцией русскости. Закреплению и популяризации этой точки зрения способствовала великая русская литература, где со второй половины 40-х годов XIX в. важное место заняли фигуры олицетворявших «народ» крестьянина и «маленького человека», противопоставлявшиеся вестернизированной элите¹⁰¹.

В формуле С.С. Уварова конституирующая роль принадлежала «самодержавию», а «православие» и «народность» носили второстепенный характер. У славянофилов же «народность» не всегда явно, но весьма последовательно противопоставлялась «самодержавию», а «православие» выглядело равноценным «народности».

Конституирующая роль «народности» особенно хорошо прослеживается в славянофильской концепции отечественной истории. «Предмет истории России они (славянофилы. — Т.С.) видели не в государстве, а в народе, величие России не в материальной мощи, но в нравственных началах, хранящихся в крестьянской общине»¹⁰².

В основе славянофильской «народофилии» и даже «народомании» (в случае с К.С. Аксаковым) лежал антрополо-

¹⁰¹ Соловей Т.Д. Власть и наука в России. Очерки университетской этнографии в дисциплинарном контексте (XIX – начало XXI вв.). С. 73.

¹⁰² Славянофильство и западничество. Вып. 1. С. 34.

гический оптимизм, то есть вера в особое предназначение (мессианизм) русского народа. Причем этот оптимизм касался не только исторических перспектив, но и актуального положения русской народности. Однако сконструированный славянофилами идеальный образ России и русскости имел отдаленное отношение к реальности.

В этом смысле рупор официальной народности, из социальных низов поднявшийся до статуса профессора Московского университета, М.П. Погодин был куда реалистичнее в своем знании и оценке автохтонной массы. Если он прославлял народ, то лишь как «материал» для целей самодержавия. Если и питал оптимизм, то только в отношении будущего русских, а в отношении настоящего испытывал скорее пессимизм: «Удивителен русский народ, но удивителен только еще в возможности. В действительности он низок, ужасен, скотен»¹⁰³. Хотя Погодин рассуждал о том, что со смертью Александра I окончился начатый Петром «европейский» период истории России, а с Николая I начинается период «национальный»¹⁰⁴, «национальное» в концепции М.П. Погодина не означало обращения к народным корням и не содержало ни тени народофилии. Квинтэссенцию русской самобытности он видел в самодержавии. Облик русского народа (малопривлекательный) сводил к смирению и пассивному безразличию, вытекающим из климатических условий, что и стало основой развития России без антагонизмов и конфликтов. (Так в вывернутой наизнанку логике историка «недостатки» превращались в «конкурентные преимущества»).

Оппонент Погодина, славянофил, этнограф-собираатель П.В. Киреевский, попытался обратить его внимание на то, что подобные характеристики «национального характера» русских не соответствуют исторической действительности.

¹⁰³ Цит. по: Там же. С. 34.

¹⁰⁴ Там же. С. 32.

Но рациональные аргументы в той полемике имели невысокую цену. Отвечая Киреевскому, Погодин прибег к идеологической инвективе: «Отнимая у нас терпение и смирение, две высочайшие христианские добродетели, коими украшается наша история, вы служите Западу»¹⁰⁵. (Странное обвинение из уст человека, который своей карьерой обязан европеизации и петровской «Табели о рангах»).

Западники-гегельянцы уповали на нацию, принявшую форму государства, а народ, не организованный в государство, полагали «бесформенной массой»¹⁰⁶.

Диссертация К.Д. Кавелина «Взгляд на юридический быт древней России» (1847), выражавшая общую позицию западников, представляла русский исторический процесс как постепенную эмансипацию личности, которой сопутствовало разложение «физической» (внешней) национальности. Вместе с тем Кавелин акцентировал складывание «духовной» национальности как «выражения особенности нравственного» (курсив мой. — Т.С.), а не внешнего физического существования народа»¹⁰⁷.

Таким образом, в общественно-политическом контексте второй четверти XIX в. русская «народность» означала прежде всего «простонародность», эмоционально сближаясь с немецким Volkstum¹⁰⁸.

Научный дискурс о «народности»: Н.И. Надеждин

Славянофильские штудии, вдохновлявшиеся немецкой романтической философией, особенно идеями Ф. Шел-

линга, имели главной целью обнаружение уникального русского духа, расшифровку воплощенной в русской нации идеи Бога и относятся скорее к метафизическому, чем собственно научному стилю мышления. Славянофильская реконструкция русской истории основывалась на крайне сомнительных и произвольно выбранных посылах; в смутной и расплывчатой славянофильской историософии поэзия, интуитивный подход превалировали над рациональным и аналитическим началом.

Славянофилы не столько узнавали и изучали Россию и русских, сколько занимались культурно-философским и идеологическим конструированием этих феноменов. Выражаясь в духе постмодернистской историографии, они «изобретали» автохтонную традицию или, их собственным слогом, «помысливали Россию».

Если славянофилы всецело принадлежали романтически-метафизическому стилю мышления, то Надеждин, прокламировавший задачу получения объективного и рационального знания о русских, предвосхищал переход к позитивизму, однако не порывая бесповоротно с романтизмом.

Переходный характер мировоззрения Надеждина стал основанием амбивалентности в его понимании «народности», как *моральной* (эстетической) и *этнической* категории.

В ранний период биографии до 1836 г. (профессорско-преподавательский и журналистский) проблема «народности» попала в сферу внимания Надеждина и разрабатывалась им в двух направлениях: в контексте философии истории — как выяснение специфики отечественной истории, в контексте эстетики — как проблема народности искусства. Надеждин-философ определял народность как «великое человеческое семейство», объединенное «внутренним духом», в силу чего «раздробленные в многочисленных и многообразных звеньях» черты «характеристи-

¹⁰⁵ Цит. по: Славянофильство и западничество. Вып. 1. С. 38.

¹⁰⁶ Славянофильство и западничество: консервативная и либеральная утопия в работах Анджее Валицкого. Вып. 2. М.: ИНИОН, 1992. С. 134–135.

¹⁰⁷ Цит по: Там же. С. 104–105.

¹⁰⁸ Там же. С. 168

ческой физиономии» народа «представляют одно полное целое»¹⁰⁹. Надеждин-критик интерпретировал «народность» литературы как эстетическую категорию (литература – «глас народа»).

Развивая мысль о том, что народность есть выражение духа народа, «живописание отечественных обычаев и нравов», «народного характера», он оперировал критерием народности в своих оценках литературных произведений, критикуя подражательность и чрезмерное «стремление к европеизму» в ущерб вниманию к тому, «что именно русское, народное»¹¹⁰. Вместе с тем, будучи рационалистом, именно у Европы Надеждин призывал учиться, как «уважать себя, дорожить своей народной личностью»¹¹¹.

Надеждин ставил вопрос о формировании русской народности и пытался реконструировать ее историческую динамику (указать ее «исторические пласты»). Однако, определив народность в самом общем виде как «сложность народных свойств и особенностей», он затруднялся с их характеристикой.

«Народность» осталась его главным интересом и после 1836 г., по возвращении из ссылки, в период профессиональной деятельности на поприще этнографии. Понятия «народ» и «народность» (в очень близком соответствии с современными понятиями «этнос» и «этничность»), составили стержень его концептуализации предмета этнографии.

Им был инициирован (и отчасти осуществлен) проект по комплексному изучению русского народа, ставший

¹⁰⁹ Соловей Т.Д. Николай Иванович Надеждин. У истоков отечественной этнологической науки // Этнографическое обозрение. 1994. № 1. С. 104.

¹¹⁰ Пыпин А.Н. История русской этнографии. Т. I. С. 261.

¹¹¹ Там же. С. 262.

отправной точкой формирования такого раздела этнографической науки, как этнография русских. Речь идет о масштабной акции отделения этнографии ИРГО (главой которого с 1848 г. стал Надеждин) – рассылке инструкции/«циркуляра» по сбору этнографических материалов¹¹².

«Народность» в деятельности этнографов-собираателей

С точки зрения этнографии трудно переоценить появление концепта «народность», который, несмотря на свою крайнюю неопределенность (а возможно, и благодаря ей), указал потенциальное направление научного изучения – народную жизнь и, что не менее важно, обеспечил ему властную легитимацию. Вместе с тем «этнографические изучения», следуя за официальной линией и общественными настроениями, отчасти сами питали эти настроения, предоставляя материал для описания народного быта. В 1830–1840-е годы началось собственно этнографическое изучение русского народа, хотя и отмеченное на первых порах явной печатью дилетантизма. В фокусе исследования находился фольклор, что было связано с преобладающим влиянием точки зрения об устном народном творчестве как наиболее ярком и полном выражении национального духа.

Первым из этой плеяды этнографов-любителей был И.М. Снегирев, профессор кафедры латинского языка и римских древностей в Московском университете. Изучение «этнографической старины» Снегирев предпринимал в порядке любительства, заслужив репутацию лучшего знатока старой Москвы. Им были опубликованы три крупные работы этнографического характера: о русских пословицах

¹¹² Подробнее об этом см.: Соловей Т.Д. Власть и наука в России. С. 71–72.

(1831–1834), о русских народных праздниках и суеверных обрядах (1837–1839), о русских лубочных картинках (1844). Составляя безусловную ценность в качестве свода материала, источника, эти труды были весьма слабы в научном отношении. Поэтому монаршьё благословение штудий Снегирева скорее служило поощрением их идеологической установки – сконструировать образ верноподданнического и «благословенного» русского народа¹¹³. Тогда как его представления о «народе» и «народности» отвечали «официальной программе»¹¹⁴, а взгляд на отечественную историю был «вполне карамзинский»¹¹⁵. «Народность» в его глазах представляла ценность не как таковая, а лишь как способность народа испытывать «чувство веры и благочестия, любовь к государю и отечеству»¹¹⁶.

Однако в данном случае официальная линия и образованная публика совпадали в своем интересе к русскости, о чем свидетельствует громкий общественный успех дилетантских и отчасти фальсифицированных работ И.П. Сахарова, в тени которых оказались труды Снегирева. Он тоже был верен официальной линии, провозглашавшей «народность». Однако в его (сына священника из Тулы) любви к «народности» была своя «демократическая жилка, ненависть к барству с его иностранным образованием, пренебрегавшему народом»¹¹⁷. «Его ненависть к барству, воспитанному на иноземный лад и забывшему о народе и старине, была без сомнения искренняя, могла иметь свои достаточные основания и внушать сочув-

¹¹³ Подробнее об этом см.: *Пыпин А.Н.* История русской этнографии. Т. I. С. 316–329; *Токарев С.А.* История русской этнографии (Дооктябрьский период). С. 192–197.

¹¹⁴ *Пыпин А.Н.* Указ. соч. С. 329.

¹¹⁵ Там же.

¹¹⁶ *Токарев С.А.* История русской этнографии. С. 194.

¹¹⁷ *Пыпин А.Н.* Указ. соч. С. 312.

ствие, как протест против грубого и пошлого забвения национальных интересов литературы и общественности; – но в этом было и народничанье, себе на уме»¹¹⁸.

Главное детище Сахарова «Сказания русского народа о семейной жизни своих предков» (по плану – семь томов в составе тридцати (!) книг), издание которого началось в 1836 г., поразило читающую публику грандиозностью замысла и разнообразием материала. За скобками остались «ненаучные странности» плана и исполнения, беспорядок расположения и то, что многие из обозначенных тем ни в каком смысле не подходили своим содержанием под понятие «сказаний русского народа». Однако это и другие сомнительные сочинения предприимчивого фальсификатора оказались, что называется, на злобу дня, удовлетворив новый культурный и интеллектуальный запрос: «Они поражали обилием материала, частью совсем нового, неизвестного; содержание их отвечало уже ясно ощущавшейся в образованном обществе потребности в познании своего народа»¹¹⁹. Эта, данная Токаревым, оценка работ Сахарова в значительной мере применима и к творчеству Снегирева.

Что касается понимания «народности», то оно у Сахарова, как и других его современников (И.М. Снегирева, В.И. Даля, А.В. Терещенко), было аморфным и отнесенным в прошлое. Он усматривал «источники чистой народности в народном быте, старине, поэзии и предании»¹²⁰. Его проповеди народности составляло «голословное восхваление старины, сожаления об утрате понятий и нравов доброго старого времени, и призывы к их возвращению»¹²¹. Именно

¹¹⁸ Там же. С. 289.

¹¹⁹ *Токарев С.А.* История русской этнографии. С. 199.

¹²⁰ *Пыпин А.Н.* История русской этнографии. Т. I. С. 282.

¹²¹ Там же. С. 283.

и только (!) народная *старина* рассматривалась им как «палладиум истинной национальности»¹²².

Постепенно процесс собирания этнографического материала удалось перевести с кустарно-любительских методов на более или менее научные рельсы.

Середина XIX века стала временем складывания *научной* школы русской фольклористики, где основополагающая роль принадлежала профессору Московского университета Ф.И. Буслаеву, впервые сделавшему устное народное творчество предметом *научного* анализа. Его основной труд «Исторические очерки русской народной словесности и искусства» (1861) имел твердую теоретико-методологическую опору в виде идей мифологической школы, в мировоззренческом и культурном плане связанной с консервативным романтизмом.

Магистральной идеей мифологического направления служила идея деградации. Сторонники мифологической теории исходили из того, что современная им духовная культура была итогом не эволюционного развития, а ровно наоборот – результатом деградации изначального (примордиального, сказали бы мы сейчас) возвышенного мировоззрения, которое они пытались реконструировать¹²³.

Если теоретические взгляды Надеждина содержали перспективу расширения представлений о «народности» и эволюции этой расплывчатой абстрактной категории в рациональном русле движения к пониманию ее как «национальности» (этничности), то мифологи законсервировали понимание народности как категории моральной, обнаруживая «золотой век» народной нравственности в прошлом.

Исключение составлял А.А. Григорьев. Ключом философских воззрений «последнего романтика» являлся «про-

цесс формирования *рационализированного самосознания личностей* (курсив мой. – Т.С.), отчужденных от гомогенной, нерефлексивно принимаемой системы норм и коллективных представлений»¹²⁴. Главный теоретик «Москвитянина» (1850–1856), считавшегося наряду с «Русской беседой» оплотом славянофильской мысли, он вместе с тем оказался суровым критиком славянофилов: «Славянофильство верило слепо, фанатически в неведомую ему самому сущность народной жизни, и вера вменена ему в заслугу»¹²⁵. В противоречии со славянофилами и в духе новоевропейского понимания народности как нации А.А. Григорьев полагал, что «залог будущего России» хранится не в крестьянстве, «а в классе среднем, промышленном, купеческом по преимуществу». Но эти новаторские мысли не воплотились в законченную теорию. А попытки Григорьева сочетать славянофильские идеи с идеями рефлексии и эмансипации личности выражали стремление к недостижимому синтезу славянофильства и западничества.

Понимание «народности» как особого типа нравственности, свойственной «маленькому человеку» (человеку из народа), было канонизировано русской литературой в середине – второй половине XIX в. Ф.М. Достоевский называл «народностью» духовную сущность народа, его гений, его творческую личность и призывал к «смирению перед правдой народной» (читай простонародной). Носителей народности видел в «серых зипунах», которые не утратили связь с исторически-народной правдой. Его понимание «народности» роднит его со славянофилами. Общим было сознание глубокого разрыва интеллигенции (шире – элиты) с народом. Отправной точкой воззрений славянофилов и русского писателя была идея антропологического оптимизма, то есть

¹²² Там же. С. 276.

¹²³ Подробнее об этом см.: Токарев С.А. Указ. соч. С. 273–275.

¹²⁴ Славянофильство и западничество. Вып. 2. М., 1992. С. 158.

¹²⁵ Там же. С. 169–170.

высокая оценка потенциальных и актуальных качеств русского народа. Но поскольку их представление о народе было ограниченным (у Достоевского чуть более реалистичным в понимании этой ограниченности), то в одном из своих дневников он вкладывает в уста народа слова «полюби не меня, а мое», то есть призывает полюбить не конкретных людей, из которых состоит народ, но «полюбить в народе его народность»¹²⁶.

От «народности» к «национальности»

Выход за узкие рамки трактовки «народности» как метафизической категории оказался возможен в первую очередь благодаря идейно-политической и культурно-мировоззренческой динамике российского общества, которая ускорилась в 1860–1870-х годах.

Все идейные и культурнические течения отечественной мысли *изначально* были тематизированы «народностью», и в орбите идеологической конфронтации неизбежно оказывались концепции «народа» и «народности». Именно в народе искали критерий для оценки политических явлений, признавая верховенство прав народа. Оценки и выводы расходились подчас радикально.

Славянофилы и западники, имея общую отправную точку в виде представления о народе как главной опоре иррациональной традиции, а о «просвещенных классах» – главном носителе общечеловеческих ценностей делали диаметрально противоположные выводы: «славянофилы провозглашали необходимость «возвращения» интеллигенции в народ, придания консерватизму «народного» характера, западники ставили задачу преобразовать народ в «нацию»,

т. е. в народ, достигший «эпохи сознания», народ, «индивидуализированный мыслью»¹²⁷.

Обе группировки, несмотря на утопичность доктрин, претендовали на право выступать от имени «русского народа»; не избежали позднее подобного соблазна народники и марксисты. Как иронично заметил П.Б. Струве, всегда находились люди, «которые уверили себя и других, что им удалось узреть национальный дух и снять с него даже не одну фотографию в разных позах... Эти изображения они предлагают всем и каждому, по ним они желают лепить (или коверкать?) живое лицо народа»¹²⁸.

Углубляющаяся (особенно заметно в 1860–1870-х годах) идейно-политическая дифференциация неизбежно разрушала любые претензии на монопольное обладание единственно верной формулой «национального духа» и «народности».

Однако никакая идейно-политическая классификация российского общества второй половины XIX столетия *per se* не может считаться бесспорной, когда речь заходит об отношении к «народу» и «народности». Она чаще всего не схватывает существа расхождений. Пожалуй, более точным описанием возникшей внутри образованного слоя России дифференциации представляется противостояние *антропологических оптимистов*, исходивших из высокой оценки потенциальных и актуальных качеств русского народа и *антропологических пессимистов* (реалистов в более мягкой формулировке), испытывавших серьезный скепсис в отношении актуального состояния русской народности. Реализм последних зачастую (хотя и не всегда) основывался на лучшем знании собственного народа. Еще одну линию разлома составил конфликт мировоззренческих позиций, в оптике

¹²⁶ Муретов Д.Д. О понятии народности // Нация и империя в русской мысли начала XX века. М.: Скименъ, Пренса, 2004. С. 193.

¹²⁷ Славянофильство и западничество. Вып. 2. С. 184–185.

¹²⁸ Цит. по: Сергеев С.М. Пришествие нации? Книга статей. М.: Скименъ, С. 14.

одной из которых русскость обладала самостоятельной ценностью, тогда как в оптике другой – русскость имела лишь функциональное значение как оппозиция действующей власти.

Эта дифференциация выпукло проявилась внутри фольклористики и собирательской этнографии 1860–1870-х гг., что привело к появлению новых интерпретационных схем и вызвало сдвиг в содержании термина «народность».

Общественно-политическая динамика сопровождалась динамикой интеллектуальной и научной. Магистральным направлением развития научного знания во второй половине XIX века были специализация и институционализация наук.

На смену мифологической школе, в мировоззренческом плане связанной с консерватизмом, пришел эволюционизм (проекция сциентизма) – ее теоретическая антитеза. В сравнении с эволюционизмом мифологическое направление было теорией среднего ранга, выросшей из изучения фольклора и неплохо работавшей при анализе фольклора и мифологии, но вряд ли применимой за этими рамками. Тогда как эволюционизм с его колоссальным эвристическим потенциалом составил мировоззренческое основание этнологии и конвертировался в широкое общественное краеведческое движение, в котором сциентистский стиль соединился с *народническим пафосом сочувствия и помощи низшим слоям общества*.

Устойчиво сильными оставались позиции этнографов и собирателей фольклора *консервативного (славянофильского в иных классификациях)* направления, исходивших из презумпции *самоценности* «русской народности». Некоторый утопизм по части знания реального положения народа не обесценивает их деятельности, тем более что и они неизбежно двигались в направлении позитивистской оценки фактов народной жизни, усовершенствовали кон-

цептуальные подходы и расширяли сферу исследовательских интересов.

Во-первых, хотя основным интересом собирательской этнографии оставался фольклор, на смену «историко-поэтическим фантазиям о *прошедших веках*» приходило внимание к *современным* формам его бытования.

Во-вторых, интерес этот становился все менее отвлеченно-романтическим и все более *научным*. Идеализированное представление о «народности» середины XIX века, устраняло все индивидуальное и личностное как нечто «случайное», «простонародное» в отличие от подлинно «народного». Тогда как для А.Н. Афанасьева – народная сказка важный *исторический источник*. В первом издании «Народных русских сказок» (выпуски 1–8; 1855–1864) Афанасьева тексты сказок точно передают специфику речи и стиля рассказчика, особенности говора данной местности без литературной обработки, что и составляет документальную научную ценность сборника.

В-третьих, в орбиту интереса входили (хотя и очень медленно) наряду с фольклором и *другие стороны жизни народа* (быт, календарные обряды, обычаи). Что приводило к мысли о необходимости систематически собирать сведения о народе и собирать их стационарным методом (смотри, например, А.В. Терещенко «Быт русского народа», 1848). Вместе с тем возникало понимание, что народность не сводится к набору культурных черт или местных обычаев, а представляет собой некое высшее единство, стоящее над местными особенностями: «Разве народность в том состоит, чтобы носить свои одежды, питаться своей пищею, жить в своих старинных хоромах, поступать по обычаю своей страны? – О, тогда бы каждый город, – что говорю, – каждый уголок деревни должен искать своей народности»¹²⁹.

¹²⁹ Цит. по: Токарев С.А. История русской этнографии. С. 204.

Зарождалось новое – *демократическое* – направление в фольклористике и собирательской этнографии, для деятелей которого русская народность представляла ценность не как таковая, а благодаря своей потенциальной и актуальной оппозиционности российскому статус-кво. Институциональной опорой этого направления в 1860-х годах стал журнал «Русское слово», штатный идеолог которого Варфоломей Зайцев прославился едкими высказываниями о русской народной сказке.

Наиболее последовательно новая интерпретация «народности» была представлена в трудах И.А. Худякова и И.Г. Прыжова. Фокус их интереса переместился с «высокой» орбиты воспевания лубочного и религиозно-мифологического пласта народной жизни на «низменный» уровень изучения социального быта русского народа, включая такие его проявления, как крепостное право, нищенство и кликушество, ереси и раскол, кабаки и «пьяные житья», грубые предрассудки и суеверия, изуверские обряды.

Что и говорить, представление «революционеров-шестидесятников» о «народной личине» и положении русских было реалистичнее, чем у их предшественников и оппонентов народофилов. Однако выводы слишком радикальны и нигилистичны. В их понимании *такая* «народность» подлежала искоренению или коренной переделке. Нигилизм в отношении российской действительности оборачивался тотальным отвержением позитивного начала в прошлом и настоящем русского народа.

Научно-исследовательские планы И.Г. Прыжова включали три тематических блока: «Поп и монах как первые враги культуры человека», «История крепостного права, преимущественно по свидетельству народа», «История свободы в России». Реализация этого замысла предполагала шесть томов сочинений: народные верования (в первые дни культуры, в средних веках и теперь), социальный быт (хлеб и вино, община и братство, поэзия, музыка и драма), исто-

рия русской женщины, история нищенства в России, секты, ереси, расколы, Малороссия.

Большинство материалов так и осталось рукописями, значительная часть которых была уничтожена самим этнографом-собирателем в ожидании ареста.

Представления Прыжова о «народности» ближе к «национальности». Во всяком случае народ это не метафизическая категория, а «граждане», что предполагало изучение сословной, культурной, региональной и иной специфики населения России. Крестьянство, по Прыжову, это уже не аморфная масса, а весьма разнородная с точки зрения имущественной и социокультурной, и включает, например, «кулаков, завладевших народом, вместо господ». Помимо крестьян, в «русский народ» входят мещане, духовенство, сектанты и еретики, сибирские староверы, женщины (в том числе женщины-сибирячки), маргинальные элементы (кликуши, юродивые, нищие), интеллигенция (исключая «придворную клику»).

Взгляды и идеи Прыжова не сложились в ясную концепцию нации/национальности. Его основной труд, создававшийся в течение 20 лет, «Граждане на Руси» (более ранний вариант заглавия – «Русский народ») содержит лишь зародыш такой концептуализации, так и оставшийся не развернутым. Основание его исторической концепции составлял крайне негативный взгляд на историческое прошлое России (смотри, например, его «Записки по истории русского народа» с примечательным названием одной из глав «Москва – царство византизма и татарщины»). Взгляд его на настоящее России полемически заострен: правильному пониманию гражданственности передовыми людьми противопоставляется ретроградное «правительственной клики» и «халдеющей секты славянофилов»¹³⁰.

¹³⁰ Пушкирев Л.Н. Рукописный фонд И.Г. Прыжова, считавшийся утерянным // СЭ. 1950. № 1. С. 186.

Последнюю группу работ Прыжова составили небольшие по объему очерки, написанные им на поселении в Сибири, которые он собирался объединить под общим заголовком «Записки о Сибири». Здесь антропологический пессимизм интеллигента, затравленного тупым сибирским мещанством и самодурами-администраторами доходит до крайности, разрушая идею «гражданственности». Он разражается гневными филиппиками по поводу сибирского общества, ставит его во всех отношениях ниже тунгусов, якутов и монголов, предрекает ему скорое вырождение¹⁸¹.

В 1880–1890-х годах политическая мысль – и либеральная (Вл.С. Соловьев, С.Н. Трубецкой, П.Н. Милюков), и консервативная (Л.А. Тихомиров, М.О. Меньшиков) – предпочла заменить «народность» термином «национальность». Использование термина «народность» (А.С. Суворин) носило инерционный характер как дань автохтонной традиции, но содержательно речь шла уже о народности в смысле национальности (этничности), а не как об особом типе нравственности. Подобное понимание вошло и в научный (этнографический) дискурс: А.Н. Пыпин в этнографии видел «развитие идеи народности как *национально-демократического мировоззрения*» (курсив мой. – Т. С.). Представление о «народности» как нравственной категории на рубеже XIX–XX вв. сохранилось главным образом в культуре, где мода на «народность» захватила буржуазные слои и часть обуржуазившейся аристократии и где основа народности – крестьянский быт – воспринималась через призму утонченного эстетства (стилизиция народного искусства художниками из кружка Саввы Мамонтова).

¹⁸¹ Пушкирев Л.Н. Указ. соч. С. 187.

Глава 2.3.

ОПЕРЕДИВШИЙ ЭПОХУ: Н.И. НАДЕЖДИН

Первая попытка выработки понимания предмета и задач этнологии, принадлежавшая Н.И. Надеждину, заслуживает специального анализа не только потому, что она была первой, но и в силу того, что Надеждин значительно опередил науку своего времени, которая доросла до предложенной им концептуализации лишь несколькими десятилетиями позже.

«Народность» как фокус этнографии

Надеждин отводил этнографии роль, безусловно, самостоятельной науки. Эта позиция наиболее отчетливо выражена в его знаменитом докладе «Об этнографическом изучении народности русской» на первом годовом заседании ИРГО в ноябре 1846 г. Хотя за десятилетие до этого, в теоретических статьях «Об исторической истине и достоверности» и «Об исторических трудах в России» (обе в 1837), Надеждин вообще не поднимал вопроса о самостоятельном статусе этнографии, подчеркивая в то же время ее важную роль в исторической реконструкции.

В этом смысле он делит с выдающимся зоологом и антропологом, академиком К.М. Бэр (которого сменил на посту руководителя отделения этнографии ИРГО) приоритет в отнесении этнографии к комплексу исторических наук. «Между этнографией и историей, – писал Надеждин, – существует постоянное непрерывное соотношение и взаимодействие: если история в своем развитии неизбежно определяется положительной этнографической наличностью, то и этнография в складе своего наличного содержания всегда более или менее руководствуется исторической

памятливостью»¹³². Насколько можно понять этот туманный пассаж, этнография предоставляет материал для исторической науки, что подразумевало за ней статус *вспомогательной* дисциплины.

В докладе 1846 г. этнография прокламировалась уже дисциплиной вполне самостоятельной и входящей скорее в гуманитарный, чем в естественнонаучный комплекс знаний. Хотя Надеждин не был чужд устоявшейся точки зрения («общее, издавна утвердившееся употребление», по его словам) о генетическом родстве этнографии и географии («этнография обыкновенно ставится об руку с географией, как наука ровная, близкая и соответственная»), фактически он подверг ее решительной ревизии. Принципиальное различие между географией и этнографией состояло, на взгляд Надеждина, в том, что если «география должна описывать “землю” или правильнее – “земной шар”, нами обитаемый», то «этнография должна заниматься “человеком” или точнее “родом человеческим”, в котором отвлеченное понятие “человека” является действительной бытностью». То есть предметы географии и этнографии различны: несколько упрощая, первая занимается ландшафтом, средой обитания, вторая – обитающим в ней человеком.

Радикальная для своего времени новизна взглядов Надеждина начинает выглядеть поистине провидческой, когда узнаешь, что главным объектом этнографического исследования он считал народ: «Таким образом, “народы” составляют предмет, которым ближайше занимается, а описание “народностей” есть содержание, из которого собственно складывается этнография». Или: «Этнография во всем видит лишь

¹³² Цит. по: *Пыпин А.Н.* История русской этнографии. Т. I. С. 274 (сноска 2).

народ, и в нем смотрит только на его значение и место в роде человеческом»¹³³.

Обращает на себя внимание, что речь здесь идет не об изучении «диких», «туземных», «неисторических», «первобытных», «стоящих на низших степенях культуры» народов – так виделась цель этнографии многим ее российским adeptам еще в начале XX в., а о народах *вообще*, включая те, которые в прогрессистской (и имплицитно колониалистской) классификации занимали место «высокоразвитых», «передовых». Этот *универсалистский* (и кардинально новый) подход содержался в самом заголовке доклада: «этнографическое изучение народности русской» не могло основываться на презумпции русской «дикости» и культурной неполноценности.

Не менее важно, что, как следует из объяснений Надеждина, изучение народа предполагало исследование всего комплекса его жизнедеятельности во всех проявлениях. Этот комплексный подход, который, по мнению Г.Е. Маркова, служит отличительной чертой российской и немецкой этнологии¹³⁴, в отечественном контексте впервые был сформулирован Надеждиным. И это в то время, когда не только его современники, но и отчасти последующая генерация русских ученых относилась к ведению этнографии почти исключительно фольклор¹³⁵.

Благоразумно отказавшись от развернутого определения концептов «народ» и «народность» (здесь непроизвольно напрашивается аналогия с остро дискуссионными и неуловимыми понятиями «этнос» и «этничность»), Надеждин беглыми, но сочными мазками описал содержание предмета

¹³³ *Надеждин Н.И.* Об этнографическом изучении народности русской (Часть I) // ЭО. 1994. № 1. С. 109–110, 115.

¹³⁴ *Марков Г.Е.* Указ соч. С. 37.

¹³⁵ См., например: *Пыпин А.Н.* Указ соч. С. 15.

этнографии, выделив три ее стороны, три части единой «народоописательной науки». Первую он назвал «этнографической лингвистикой», или «лингвистической этнографией», отнеся к ней изучение языка и литературы и специально подчеркивая, что речь идет о «народных» языке и литературе: «Слово “устное”, язык “живой”, в своем “всенародном”, или скажу еще точнее – “простонародном” употреблении: вот собственно дело этнографии...»¹³⁶. Думается, эту «лингвистическую этнографию» можно смело отождествить с фольклористикой.

Далее следовала «физическая этнография» – «глава зоологии, имеющая предметом “животное в человеке”». Тут берется в рассмотрение исключительно «*телесная*» сторона человеческой природы...»¹³⁷. Пользуясь современным языком, это физическая антропология.

Наконец, «этнография психическая». Вопреки названию, которое сам Надеждин не считал удачным, эта область этнографии в его трактовке выходила далеко за пределы изучения «народного ума» и «народной нравственности». В ее компетенцию входил «весь быт народный»: собственно «народная психология»; «*семейное* устройство народа со всеми его особенностями; *домохозяйство* и вообще промышленность; жизнь и образованность *общественная*...; *религия*, как народ ее себе придумал или присвоил»¹³⁸. Именно эта последняя область этнографии в описании Надеждина наиболее близко подходит к современной трактовке предмета этнографии. С точки зрения современных классификационных подходов для Надеждина этнография была дисциплиной интегральной, включающей в свой предмет различные

¹³⁶ Надеждин Н.И. Об этнографическом изучении народности русской (Ч. I). С. 111.

¹³⁷ Там же. С. 112.

¹³⁸ Там же. С. 114–115.

области знания, фокусом которых служил народ во всех проявлениях и сторонах его жизнедеятельности.

Уже одного представленного Надеждиным новаторского теоретического эскиза предмета этнографии достаточно для того, чтобы навсегда запечатлеть имя ученого в истории дисциплины. Его взгляды отличались радикальной новизной не только для отечественной науки, но и, в некоторых отношениях, опережали западную.

В то же время стремление С.А. Токарева приписать Н.И. Надеждину такие теоретические достижения, как постановка вопросов о правильной организации сбора и систематизации этнографических материалов, о необходимости научной критики оставляет двусмысленное впечатление: то, что в русском интеллектуальном контексте выглядело новациями, никак не могло считаться таковыми для западной науки. Более того, сами эти идеи, скорее всего, были почерпнуты Надеждиным из западных источников, что следует из его воспоминаний о своем профессиональном становлении¹³⁹, и что косвенно признал Токарев, отметив гегельянский дух данного Надеждиным определения сущности этнографии¹⁴⁰.

А такая, по мнению Надеждина, важная задача этнографической критики, как выделение подлинно русских, органических, врожденных, самобытных черт народа из-под пластов иноэтничных и инокультурных заимствований – выглядела предприятием, которые мы сейчас назвали бы настолько же увлекательным, насколько бесплодным и вряд ли имеющим удовлетворительное научное разрешение.

¹³⁹ Пыпин А.Н. История русской этнографии. Т. I. С. 272–273.

¹⁴⁰ См.: Токарев С.А. История русской этнографии. С. 268–272.

*От общественно-политического
к научному дискурсу о русскости*

Предпринятая Надеждиным концептуализация этнографии, его методологическая вылазка в эту область были неразрывно связаны с такой важной, поистине выдающейся частью научного наследия ученого, как постановка вопроса о комплексном, целостном изучении русского народа: «...Главным предметом внимания нашего должно быть то, что именно делает Россию Россиею; т. е. – “человек Русский”!»¹⁴¹. Фундаментальная заслуга Надеждина состояла в том, что нараставший общественный интерес к русскому народу, к феномену, который довольно неуклюже можно назвать «русскостью», он направил в русло рационального научного исследования, поставив «изучение русской народности, вместо прежней дилетантской и сентиментальной точки зрения, на почву общеисторического и этнографического исследования, освещаемого критикой»¹⁴².

Если *общественно-политический* дискурс о русскости развивался со второй половины XVIII в., получив в 1830–1840-е гг. систематизированное и развернутое выражение в теории «официальной народности» и славянофильско-западнических спорах, то честь постановки *профессионального, научного* дискурса о русскости принадлежала именно Надеждину.

Славянофильские штудии, вдохновлявшиеся немецкой романтической философией, особенно идеями Ф. Шеллинга, имели главной целью обнаружение уникального русского духа, расшифровку воплощенной в русской нации идеи Бога и относятся скорее к метафизическому, чем собственно научному (в том понимании науки, которое восхо-

дит к картезианской традиции) стилю мышления. Славянофильская реконструкция русской истории основывалась на крайне сомнительных и произвольно выбранных посылах; в смутной и расплывчатой славянофильской историософии поэзия, интуитивный подход превалировали над рациональным и аналитическим началом. Наконец, поскольку сама эта историософия возникла как полемика с П.Я. Чаадаевым (более широко: идеей ущербности, неполноценности России в сравнении с Западом), то она изначально была пропитана гиперболизированным полемическим пафосом. В сущности, славянофильская теория – фигура спора, метаргумент, противопоставленный негативистской (чаадаевской) и универсалистской (западнической) интерпретациям русской истории. Славянофильство вообще может быть понято лишь в контексте этой полемики, в то время как его самостоятельная *научная, теоретическая* ценность вряд ли значительна.

Утверждение новой исследовательской стратегии проходило в острой борьбе, где собственно научная сторона была неразрывно переплетена с этническим, материальным (контролем над ресурсами) и возрастным измерением. В рамках ИРГО столкнулись два научных сообщества, две «партии», конкурировавшие за право определять программу деятельности отделения этнографии: объединявшая ученых старшей возрастной генерации «немецкая» во главе с К.М. Бэром и молодая «русская», которую составляли В.И. Даль, И.И. Срезневский, П.С. Савельев, В.В. Григорьев и чьим признанным вождем был Н.И. Надеждин. Если первая группа ставила акцент на изучении нерусских народов, то вторая требовала направить основные усилия на научное исследование великорусской народности. Победа «великорусского» направления в каком-то смысле была предопределена общей *идеологической* ориентацией ИРГО, манифестировавшего себя институцией патриотической и даже националистической: «...Общество наше называется не про-

¹⁴¹ Надеждин Н.И. Об этнографическом изучении народности русской (Ч. I). С. 107.

¹⁴² Пыпин А.Н. История русской этнографии. Т. I. С. 272.

сто только Географическим, а *Русским* Географическим обществом», – говорилось в отчете ИРГО за 1850 год. Имя *Русского...* обязывает его к *особому ее* [деятельности общества] *направлению*. ...Куда бы ни обращалось наше внимание, где бы ни устанавливались наши работы ... *всегда и везде* это должно быть *для России*, имея в виду *Россию*»¹⁴³.

Внутренняя парадоксальность этой борьбы за гегемонию в науке состояла в том, что именно усилиями немецких ученых была открыта принципиальная возможность постановки проблемы об изучении русского народа. Я имею в виду отнюдь не только неоспоримую конституирующую роль западной науки в становлении российской науки и высшего образования.

Изучение в ходе обширных экспедиций нерусских народов России с неизбежностью подводило к необходимости исследования самих русских. Внедренная германскими же учеными система классификации народов России наряду с религией, которая в московской Руси была главным этнодифференцирующим признаком, включала и другие критерии: язык, нравы и обычаи и др.¹⁴⁴ Многоаспектность классификации одновременно предполагала и стимулировала всесторонний подход к изучению народов. Так что, борясь с немцами, Надеждин в некотором смысле питался их идеями.

Благодаря Н.И. Надеждину произошел переход от дилетантизма к профессионализму в изучении русского народа. Обратимся к краткой характеристике инициированного (и отчасти осуществленного) им проекта по комплексному изучению русского народа, ставшего отправной точкой формирования такого раздела этнографической науки, как этнография русских. Причем идеи, заложенные в проект,

оказались в полной мере воплощены в жизнь только несколько десятилетий спустя, на исходе XIX века

По своему научному замыслу и масштабности проект Надеждина носил беспрецедентный для середины позапрошлого века характер. Еще в 1847 г., то есть за год до победы «русской партии» в ИРГО, увенчавшей свой успех приходом Надеждина на пост главы отделения этнографии общества, была составлена и разослана инструкция (циркуляр) по сбору этнографического материала. Впоследствии она была значительно доработана, расширена и включала шесть пунктов: 1) относительно наружности; 2) о языке; 3) о домашнем быте; 4) об особенностях общественного быта; 5) об умственных и нравственных способностях и образовании; 6) о народных преданиях и памятниках. То есть в соответствии с магистральной идеей Надеждина предполагалось изучение русского народа во всей полноте его жизнедеятельности.

Однако в понимании того, что есть русский народ, из кого он состоит, наблюдалась парадоксальность, характеризующая русский национальный дискурс вплоть до сегодняшнего дня. С одной стороны, за содействием в реализации своей программы ИРГО обращалось ко всем русским *образованным* людям, т. е. к протоинтеллигенции и дворянству. С другой – во вступительном слове к анкете Надеждин применительно к русскому народу рекомендовал собирать сведения о «тех классах населения, в коих народные особенности сохраняются наиболее: таковы в племени Русском весь так названный простой сельский народ, а также и средние классы горожан – мещане, купцы, разночинцы; одним словом, все те, о которых говорится, что они живут еще попросту, по-Русски!»¹⁴⁵. Другими словами, подразумевалось, что элитные слои в русский народ не входят.

¹⁴³ Цит. по: Токарев С.А. История русской этнографии. С. 216.

¹⁴⁴ Tolz Vera. Russia. L., N.Y., 2001. P. 192–193.

¹⁴⁵ Цит. по: Соловей Т.Д. Николай Иванович Надеждин. У истоков отечественной этнологической науки // ЭО. 1994. № 1. С. 105.

Пользуясь современным академическим языком, Надеждин выступил протагонистом узкой, *исключающей* концепции нации. Правда, на первый взгляд, критерий для исключения был не этнический, а социальный – принадлежность к высшей социальной страте империи. Однако фактически это социальное разграничение имело этнокультурную подоплеку: *нерусский* (в данном случае – вестернизированный, космополитический) *образ жизни* имперской элиты вообще накладывался на значительную представленность в ней *не русских по крови*.

При этом вариант Надеждина, оставлявшего за бортом великорусской народности одну лишь *элисту*, был еще довольно мягким в сравнении со славянофильством, провозглашавшим наивысшим воплощением народности крестьянство и тем самым исключавшим из этой общности *городские слои* населения, подозревавшиеся в моральной и культурной коррумпированности западным образом жизни.

Именно с подачи славянофилов крестьянство стало представляться квинтэссенцией русскости. Закреплению и популяризации этой точки зрения способствовала великая русская литература, где со второй половины 40-х годов XIX в. важное место заняли фигуры олицетворявших «народ» крестьянина и «маленького человека», противопоставлявшиеся вестернизированной элите¹⁴⁶. Эта культурная конструкция имела своей реальной подоплекой социокультурный раскол русского общества, истоки которого славянофилы возводили к петровским реформам, а некоторые авторы на полвека раньше – к церковному расколу.

Впоследствии в русских радикальных политических кругах «исключающая» концепция нации славянофилов (в основе которой лежало *культурное* размежевание) была совмещена с восходящей ко временам революционного

террора во Франции конца XVIII в. тенденции исключения из нации *политических* оппонентов. Вследствие чего в отечественном революционном дискурсе человек *элитарной* культуры автоматически оказывался под политическим подозрением, что послужило *культурным* основанием массовой практики «спецедействия» и чисток «буржуазных специалистов» в советской России 1920–1930-х годов.

Таким образом, знаменитое ленинское определение о двух культурах в русской культуре, выступившее в советскую эпоху официальной призмой культурологического анализа досоветской России, питалось основательной традицией славянофильско-народнического, а не только марксистского толка. Лишь большевикам удалось добиться (вопрос о цене и методах я не обсуждаю) относительной культурной (и политической) гомогенности отечественного общества, сняв раздиравший его социокультурный антагонизм. Но это был лишь временный успех: скорость восстановления состояния социокультурного раскола в России последних трех десятков лет позволяет предположить, что это характерологическая черта отечественной истории, проекция глубоких ментальных состояний русского народа, его коллективного бессознательного. Иначе говоря, *русский раскол предзадан*, чему служит косвенным подтверждением тематизированность русского национального дискурса идеями социокультурного и социального раскола и разрыва культурно-исторических эпох.

Возвращаясь после этого небольшого историософского отступления к главной нити повествования, отмечу, что подготовленная Надеждиным программа этнографического обследования России была разослана во все края Российской империи в количестве 7 тыс. (!) экземпляров. Не менее фантастично выглядит цифра поступивших в ответ на этот призыв этнографических описаний местностей и административных единиц, по существу небольших монографий: к 1850 году их было около 600, а еще через

¹⁴⁶ Tolz V. Op. cit. P. 85–87.

несколько лет это число выросло до 2 тысяч (!). Разумеется, эти описания заметно отличались по своему качеству, полноте и обширности.

Разбор и обработка накопленного материала, подготовка его к печати были поручены Н.И. Надеждину и К.Д. Кавелину. Сведения об инородцах предполагалось издать отдельно; из описаний, относящихся к русским, издавались только те, которые подробно и полно отвечали на все или большую часть пунктов программы; из разрозненных сведений было решено составить систематические своды или сборники. В первых трех томах «Этнографического сборника» (1853–1858) было помещено 24 местных описания из русских, украинских, белорусских, а также литовских губерний. В последующих трех томах (1858–1864) группировка материала производилась не по локальному признаку, а по этническим группам и отдельным проблемам.

Накопленный в ходе осуществления проекта фактический материал стал источниковой базой сборника русских народных сказок А.Н. Афанасьева, в чье распоряжение было передано скопившееся в ИРГО собрание народных сказок, а также послужил ценным подспорьем для знаменитого «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И. Даля¹⁴⁷.

В то же время остался невостребованным огромный массив материала нефольклорного характера, что было связано с крайне узким пониманием предмета этнографии, фактически отождествлявшейся с фольклористикой; это понимание сохранялось в силе даже после новаторской и расширительной трактовки этнографии, предложенной Надежди-

¹⁴⁷ Также об этом проекте ИРГО см.: Токарев С.А. История русской этнографии. С. 216–217; Соловей Т.Д. Николай Иванович Надеждин. У истоков отечественной этнологической науки. С. 104–105.

ным. Однако сам процесс собирания этнографического материала все же удалось перевести с кустарно-любительских методов на более или менее научные рельсы.

Середина XIX в. стала временем складывания научной школы русской фольклористики, где основополагающая роль принадлежала профессору Московского университета Ф.И. Буслаеву, впервые сделавшему предметом научного анализа устное народное творчество. В теоретическом отношении взгляды Буслаева были вторичны, он принадлежал к адептам мифологического направления, в мировоззренческом и культурном плане связанного с консервативным романтизмом.

В историко-хронологическом отношении мифологическая школа предшествовала эволюционизму, бывшему ее теоретической антитезой. Если магистральной идеей мифологического направления служила идея деградации, то эволюционизма – прогресса. Сторонники мифологической теории исходили из того, что современная им духовная культура была не итогом эволюционного развития, а ровно наоборот – результатом деградации изначального (примордиального) возвышенного мировоззрения, которое они пытались реконструировать¹⁴⁸.

Этот подход неплохо работал при анализе фольклора – мифологическая школа и выросла из изучения фольклорного материала, но вряд ли был применим за рамками фольклористики. В сравнении с эволюционизмом это была профессиональная теория среднего ранга, но она стимулировала интерес к такой стороне жизни народа, как устное народное творчество и духовная культура, а Буслаев стал учителем ряда видных русских этнографов и фольклористов, в число которых входил упоминавшийся В.Ф. Миллер.

¹⁴⁸ Подробнее см.: Токарев С.А. История русской этнографии. С. 273–275.

*Наследие Н.И. Надеждина
и перспективы русской этнографии*

Вернусь к центральному вопросу: когда же возникла русская этнография? Экскурс в этнографическое наследие Н.И. Надеждина не оставляет сомнений, что его идеи в этой области *могли бы* составить методологическое основание новой дисциплины, тем самым решительно способствуя ее дифференциации и оформлению в качестве самостоятельной науки.

Однако этого не произошло, Надеждину не удалось вызвать серьезной интеллектуальной динамики. По словам Токарева, «Взгляды Надеждина и Кавелина представляют собой необычайные попытки теоретических построений в этнографической науке около середины XIX в. Но эти взгляды составляли при всей их теоретической значительности лишь индивидуальные воззрения отдельных мыслителей. Последователей у них не нашлось»¹⁴⁹.

Здесь необходимо некоторое пояснение: известный историк К.Д. Кавелин, считающийся основоположником «юридической школы» русской историографии, был сотоварищем и единомышленником Н.И. Надеждина по отделению этнографии ИРГО и принимал активное участие в его деятельности. Хотя в отличие от Надеждина Кавелин не занимался специально разработкой методологических аспектов этнографии, в его исторических работах высказывались гипотезы и выдвигались теории, связывавшие воедино историческую и этнографическую тематику. К числу таковых можно отнести точку зрения Кавелина на патриархально-родовое происхождение русского государства – в мировой этнографической науке этот взгляд господствовал вплоть до открытий И. Бахофена и Л.Г. Моргана. По мнению Токарева, Кавелин предвосхитил «теорию пережитков» основа-

теля британской социальной антропологии Э. Тайлора, изложив почти тот же взгляд более чем 20 годами раньше английского ученого¹⁵⁰.

Правда, если у Тайлора метод анализа пережитков сочетался со сравнительно-эволюционным, составляя в совокупности с другими методами и приемами целостную и завершенную *этнологическую* теорию, то для Кавелина это был не более чем элемент его *исторического* метода, ценная, но попутная находка. Не говоря уже о несравнимости масштабов влияния на *этнологию* этих ученых.

Нелишне отметить некоторую, скорее пунктирную, связь Н.И. Надеждина и К.Д. Кавелина с Московским университетом. Оба недолгое время преподавали в нем: Надеждин с 1831 по 1835 г. в звании ординарного профессора читал курсы теории изящных искусств, археологии (так назывался курс истории искусств) и логики, Кавелин в 1844–1848 гг. занимал кафедру истории государственного права на юридическом факультете. Хотя в их учебные курсы были имплантированы фрагменты этнографических знаний, крайняя неразвитость самой этой дисциплины (ее преподавание отсутствовало), а также кратковременность пребывания Надеждина и Кавелина в университетских стенах не позволяет связывать их имена со становлением отдельно взятой университетской этнографии.

Что касается влияния на этнографию вообще, то незаурядные теоретические достижения Надеждина в этой области остались втуне, как в разработке им методологических оснований новой науки, так и в части формулирования профессионального дискурса о русском народе. Заявленный Надеждиным комплексный подход к этому объекту исследования долгое время оставался нереализованным – вплоть до конца 1860-х гг. преобладающим предметом

¹⁴⁹ Токарев С.А. История русской этнографии. С. 273.

¹⁵⁰ Там же. С. 272–273.

интереса для исследователей русского народа оставался фольклор¹⁵¹.

Сам ученый пытался реализовать идею всестороннего исследования народа (в первую очередь русского, но не только) в ходе инициированной и координировавшей им беспримерной для середины XIX в. этнографической акции по изучению населения империи, проводившейся под эгидой ИРГО. И хотя ее результаты публиковались в течение нескольких лет, дух комплексного целостного исследования после смерти Надеждина оказался утрачен. У него не оказалось ни учеников, ни последователей, способных продолжить и развить намеченное дело, а методологические достижения Надеждина оказались не востребованными его современниками.

Почему же так получилось? Отчасти потому, что Надеждину был отпущен недолгий век (1804–1856), причем четыре последних года отняла тяжелая болезнь. Последнее публичное выступление ученого состоялось в 1852 г., когда он поделился замыслом и некоторыми идеями готовившегося им капитального труда о русских народных сказках и сказаниях. Это несостоявшееся исследование основывалось на идеях немецкой мифологической школы, которая в то время лишь начинала входить в научное употребление в России. В свою очередь, мифологическая школа была тесно связана с романтической историографией. Таким образом, если в части *методологии науки* и формулирования основ профессионального дискурса о русскости Надеждин значительно опередил время, то в том, что касается *теорий в науке*, он оставался на уровне своей эпохи.

Вероятно, проживи Надеждин дольше, занимаясь он больше и интенсивнее преподаванием в университете, открылась бы возможность формирования вокруг этой незау-

рядной личности научной школы или группы единомышленников, способных, в отличие от трагически одинокой фигуры Надеждина, определить пути развития этнографии в России.

С большой вероятностью можно предположить, что влиянию Надеждина мешала также пугающая новизна его воззрений, открывавших перед этнографией масштабную перспективу, в то время как современники отводили ей гораздо более скромное место, ограничивавшееся изучением фольклора.

Наконец, восприятию идей Надеждина образованной прослойкой русского общества со всей очевидностью препятствовала его идеологическая репутация и служба в министерстве внутренних дел. Вот как резюмировал это предубеждение А.Н. Пыпин: «...Надеждин – искренно или неискренно – повторял обычную фразеологию тогдашней официальной народности и услужливо развивал бюрократические взгляды на народность, мало подобающие мыслящему ученому...»¹⁵². Не отвлекаясь на анализ политико-идеологических взглядов Надеждина, не премину, однако, отметить неоднозначность его идеологической биографии: редактор прогрессистского журнала «Телескоп» в 1836 г. Надеждин был сослан на Север, а журнал закрыт за публикацию первого из «Философических писем» Чаадаева. Это событие составило переворот, как во взглядах, так и в профессиональной деятельности молодого (ему было в то время лишь 32 года) ученого. (Подобные пертурбации не редкость в истории русской общественно-политической мысли: революционеры и радикалы, полагая, вследствие пережитых экзистенциальных кризисов, превращались в консерваторов и защитников престола. Ф.М. Достоевский – наиболее известный, но далеко не единичный случай).

¹⁵¹ Токарев С.А. История русской этнографии. С. 234.

¹⁵² Пыпин А.Н. История русской этнографии. Т. I. С. 272.

Интеллигентское предубеждение против Надеждина не было совершенно безосновательным: проведенное им по заданию министерства исследование русских раскольников за границей носило амбивалентный характер – глубокое проникновение в тему и сочувственные слова в адрес людей, сохранивших русскую традицию в чистоте и целостности, парадоксально сочетались с враждебным и нетерпимым в целом взглядом на раскол. В последнем случае Надеждин выражал официальную позицию, которая, с точки зрения интересов России, выглядела контрпродуктивной – жестокой и неразумной.

Так, Н.И. Надеждин с его новаторским взглядом на предмет этнографии не совершил переворота в науке, как не смог воплотить в жизнь другую свою магистральную идею – комплексное и целостное изучение русского народа.

ОЧЕРК ТРЕТИЙ

ПОЛЕ ВЫБРАЛО НАС: ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ СТРАТЕГИИ В ЭТНОЛОГИИ

Представление об этнографическом поле и эмпирике как «хлебе науки» имманентно профессиональному сообществу. Пускай даже традиционное этнографическое поле этнокультурных реалий и говорящих «народностей» заменила «великолепная рутинная повседневность», оно по-прежнему составляет мифосимволический стержень современной этнологии (поле как доступное немногим сокровенное знание) и предмет цеховой гордости.

Для большинства представителей этнологического цеха это отнюдь не подразумевает жесткого противопоставления эмпирики теоретическим обобщениям. Вместе с тем предполагается, что прежде чем заняться теоретизированием, необходимо поработать в поле. Более того, в этом видится исследовательская и человеческая скромность. В такой логике, исследователь может состояться как теоретик или историограф лишь в зрелые годы, пройдя длинный путь эмпирических исследований в выбранной им научной области. Владимир Пименов характеризует это как издавна сложившуюся приверженность ведущих этнологов к изучению более или менее определенных регионов и (или) народов: «Каждый обосновывался в своем “научном уделе” и изучал его в течение более или менее длительного срока, достигая, как правило, весьма существенных результатов»¹⁵³.

¹⁵³ Пименов В.В. Понятие «этнос» в теоретической концепции Ю.В. Бромлея // Академик Ю.В. Бромлей и отечественная этнология. 1960–1990-е годы / Отв. ред. С.Я. Козлов. М.: Наука, 2003. С. 13.

Отдельные исключения, выламывающиеся из цеховой традиции, например в лице мэтра советской этнографии Ю.В. Бромлея, отказавшегося в свое время от выбора «научного домена» (региона для эмпирических исследований) в пользу развития теоретических идей, лишь подтверждают генеральную закономерность.

Закономерность, которую формулирует Валерий Тишков, утверждая стратегию этнолога-полевого как безальтернативную: «Лично для меня лучшая теория добывается на полях полевых дневников, а не через автономное достраивание научных конструкций на кирпичиках частных исследований»¹⁵⁴. В устах директора (ныне президента) профильного института формулировка приобретает характер почти директивный, с соответствующими оценочными суждениями и выводами. В интерпретации Тишкова этнолог может достичь серьезных научных результатов, только добывая первичное этнографическое знание в поле. Эта модель ученого жестко противопоставляется «теоретику-схоластику и компилятору».

Данная Тишковым комплиментарная оценка Юлиану Бромлею как «книжному этнографу» и при этом «прекрасному обобщающему аналитику» не более чем ситуативная уступка монументальным заслугам советского академика, который своими концептуализациями «этноса» помог «придать гораздо больше весомости предмету и тематике тогдашней этнографии», загнанной репрессиями 1930-х годов в «этнографический кафтан XIX века». Вместе с тем историографические обобщения и теоретические конструкции Бромлея не состоялись бы без фактологического материала, собранного этнографами-полевыми¹⁵⁵.

¹⁵⁴ Тишков В.А. О Ю.В. Бромлее // Академик Ю.В. Бромлей и отечественная этнография. С. 7.

¹⁵⁵ Там же.

Стратегию этнолога-теоретика в чистом виде формулирует и одновременно воплощает своей научной биографией Юрий Иванович Семенов, философ и историк первобытности. Историк по базовому образованию, не имевший не только полевого опыта, но и основательной подготовки в области этнологии («На историческом факультете КГПИ этнография не только не изучалась, но по сути даже не упоминалась»¹⁵⁶), все свои знания в области этой науки приобретший путем самообразования, он тем не менее вполне состоялся как профессиональный этнограф.

Не отрицая важности сбора и накопления фактического материала, абсолютно необходимого условия существования науки, Семенов полагает, что эмпирический материал – это еще не сама наука в точном смысле слова. «Для того чтобы та или иная область знания стала настоящей наукой, настоятельно нужна теория. А теория не представляет собой ни простого индуктивного обобщения фактических данных, ни даже простой первичной их систематизации. Индукция относится к эмпирическому уровню научного познания. И не всякая систематизация представляет собой выход за пределы эмпирии»¹⁵⁷, – пишет Семенов. В этом смысле «теоретические (курсив мой. – Т. С.) заметки на полях собственных полевых дневников» – это не более чем обобщающего характера соображения исследователя.

И главное, сбор материала и его теоретическое осмысление представляют собой не разные этапы (уровни), а «качественно отличные формы (курсив мой. – Т. С.) исследования, требующие далеко неодинаковых качеств. Поэтому прекрасный полевик вполне может оказаться совершенно неспособным к теоретическим конструкциям, а человек, никогда не работавший в поле, стать хорошим теоретиком»¹⁵⁸.

¹⁵⁶ Семенов Ю.И. О моем «пути в первобытность» // Академик Ю.В. Бромлей и отечественная этнография. С 182.

¹⁵⁷ Там же. С. 207–208.

¹⁵⁸ Там же. С. 208.

Прошлые и настоящее этнологии подтверждает, скорее, множественность исследовательских стратегий (в том числе различных их комбинаций), нежели доминирование какой-то одной. Эффективность той или иной стратегии определяется научной результативностью. Даже если поле в новейших интерпретациях представляет собой «великолепную рутинную повседневность» (проще говоря, что вижу, о том пою), то от чего зависит результативность полевой работы?

От остроты взгляда, способности добросовестно фиксировать факты и объективности исследователя, скажут девять из десяти представителей профессионального цеха. *Sine qua non* представляется тезис о том, что факт предшествует теории, а эмпирика – концептуализации. Однако в действительности это не более чем расхожее заблуждение. Факты вовсе не предшествуют теории, ученый приходит к фактам, уже имея теорию или гипотезу, которая может формулироваться открыто и последовательно, а может лишь подразумеваться. Именно теория направляет взгляд исследователя и вводит критерии того, что считать научными фактами, а что нет. В ином случае, то есть без предварительной теории, отбор фактов носит произвольный характер, и исследователь оказывается перед двойной опасностью: быть погребенным под Монбланом фактов, не имеющих отношения к предмету исследования, или же упустить из виду факты, относящиеся к делу. Научных фактов вне теории вообще не существует.

Теория важна не только на этапе сбора эмпирического материала, но и на этапе его осмысления. Факты, не подвергшиеся теоретическому осмыслению, потеряны для науки. Из мозаики фактов и событий, как бы скрупулезно они ни фиксировались, вне концептуализации целостная картина может и не сложиться. И уж, конечно, никакая сумма частных решений или монографических описаний не породила еще теории даже среднего ранга.

В то же время любое научное решение частного вопроса предпринимается с определенной – эксплицитной или имплицитной – методологической позиции. Отправной точкой любого, даже самого узкого исследования оказывается интеллектуальный конструкт – гипотеза или общая методологическая посылка. Подобно человеческому эмбриону этот конструкт в свернутом виде содержит все элементы будущей теории, и разовьется ли он в полноценную теорию, зависит от итогов операции верификации/фальсификации гипотезы, полноты источниковой базы, мастерства ученого и т. д. Хотя утверждение теоретической парадигмы есть результат коллективных усилий, у ее истоков стоят исследователи-одиночки, в лучшем случае, небольшие коллективы.

Но ведь и сама теория имеет отправной точкой индивидуальный дотеоретический опыт исследователя. Наши идейно-политические убеждения, наш культурный багаж и даже наш индивидуальный психологический профиль и личностный темперамент если не определяют жестко, то предрасполагают к выбору определенной исследовательской позиции. А уже, в свою очередь, эта позиция определяет отбор фактов и формирование комплексов анализируемых фактов. Не только изначальный импульс, движущий ученым в его познавательном акте, субъективен, но и оптика исследовательского взгляда глубоко субъективна¹⁵⁹.

По существу, это означает, что теория, задавая угол зрения и структурируя наше восприятие действительности, формирует предметное поле науки.

Так, рациональный XVIII в. сфокусировал внимание исследователей на функциональном изучении пространства Российской империи. В такой оптике знание о народах оказывалось неотъемлемой частью триединого описания пространства: при-

¹⁵⁹ Соловей Т.Д. Объективность исторической науки как культурный миф // Может ли история быть объективной? Материалы международной научной конференции / Под ред. С.П. Карпова. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2012. С. 182.

роды, территории и населения. В фокусе изучения находились нерусские народы (их классификация и описание), тогда как сами русские стали объектом подобного изучения значительно позже.

Во второй четверти XIX в. общественно-политический (идеология С.С. Уварова, славянофилы) и научный (Н.И. Надеждин) дискурс о «народности» направил внимание исследователей на изучение русской народности и, по сути, создал поле собирательской этнографии.

Индивидуальный дотеоретический опыт и гуманистические презумпции – желание «вывести Сибирь из положения Российской империи на путь процветания и прогресса» – структурировали взгляд сибирских «областников» на инородческий вопрос и конструировали их поле – изучение жизни малых сибирских народов. Не потому ли сибиреведы ругательски ругали «русский империализм» и превозносили инородцев, что утратили всякую связь с собственным народом, который находился за пределами их этнографического поля.

Эмпирик, изучающий советскую повседневность, в зависимости от мировоззренческой установки и имеющихся теоретических оснований, обнаруживал в ней факты, свидетельствующие об «империализме» руссоцентричной империи или, напротив, о «позитивной дискриминации» в пользу национальных меньшинств империи аффирмативных акций.

Если вопрос о единственности/множественности исследовательских стратегий и их результативности в этнологии время от времени дискутируется профессиональным сообществом, то за кадром неизменно остается вопрос о мотивах выбора той или иной стратегии. Этот выбор чаще всего относят за счет влияния внешних объективных обстоятельств, включая уровень развития науки, тип образования и социализации, господствующие общественно-политические и культурно-ценностные презумпции. Так обосновывается закономерность и неизбежность того или иного выбора. Вот и Владимир Пименов, характеризующий теоретический крен в биографии Юлиана Бромлея, интерпрети-

рует это не как свободный волевой импульс исследователя или проявление его исследовательских предпочтений, а как выражение «закономерной тенденции имманентного развития науки»¹⁶⁰.

Историограф, зная результат (состоявшуюся научную биографию великого предшественника, будь то этнограф-полевик или «книжный этнограф»), реконструирует причины, приведшие к такому закономерному результату.

В действительности конstellляция внешних обстоятельств мало что объясняет. Например, Н.Н. Миклухо-Маклай и Д.Н. Анучин при поразительной схожести этих обстоятельств, включая даже некоторые личностные коллизии, реализовали себя в принципиально различных исследовательских стратегиях. Представители одного поколения (Анучин всего тремя годами старше), схожего происхождения, по совпадению рано осиротевшие, одного типа социализации и образования (медицинского, естественнонаучного), общего типа мировоззрения (прогрессистского, эволюционистского), а жизненные векторы так разошлись. Анучин – классический кабинетный ученый – стал крупным организатором науки, способствовавшим институционализации антропологии, этнологии, географии и археологии, введя их в круг университетских и академических дисциплин. Миклухо-Маклай целиком ушел в полевую работу, причем его стратегия исследователя-одиночки, вживающегося в туземную среду на крайней периферии «цивилизованных» обществ, показалась бы избыточной даже фанатам этнографического поля.

Решающая роль Анучина в формировании современного облика ряда научных дисциплин заставляет с особым тщанием всматриваться в биографию ученого, пытаться обнаружить в ин-

¹⁶⁰ Пименов В.В. Понятие «этнос» в теоретической концепции Ю.В. Бромлея // Академик Ю.В. Бромлей и отечественная этнология. С. 14.

дивидуальных мотивах и действиях проявление более широких закономерностей, влияние интеллектуального и духовного климата эпохи. Судьба Д.Н. Анучина испещрена знаками времени. Вместе с тем его научная и человеческая биография в существенной степени стала реализацией его индивидуальных склонностей, особенностей психотипа, личностного темперамента, проекцией бессознательного тяготения к определенным формам деятельности. О каких индивидуальных склонностях идет речь? В каких именно формах деятельности Анучин реализовал себя особенно успешно?

Обобщая, можно сказать, что глубинное основание личности исследователя составил мощный гражданский (социальный) инстинкт. А его успешная реализация была обеспечена базовыми психологическими характеристиками Д.Н. Анучина, к коим можно отнести гибкость, пластичность (не значит беспринципность и еще менее бесхребетность), высокую адаптивность, способность к коммуникации.

Благодаря чему на каждом повороте жизненного пути, будучи поставлен в принципиально новые обстоятельства (а исследователю приходилось не раз менять сферы научной деятельности, подчас, радикально), он неизменно проявлял себя эффективным организатором, талантливым педагогом и успешным популяризатором науки.

Что касается современника Анучина Н.Н. Миклухо-Маклая, то его выбор в пользу полевой исследовательской стратегии, по всей вероятности, определялся не столько миссией защиты туземцев или устойчивым научным интересом, сколько культурно-психологическим профилем Миклухо-Маклая (бессознательная тяга к одиночеству, низкий уровень социальной адаптации, инстинкт «бродяжничества»). В его случае можно явственно проследить, как личностный темперамент и индивидуальные психологические особенности предопределили исследовательские интересы и научный стиль. Тогда как традиционное перечисление биографических вех способно лишь дать намек на эту важную связь, но не раскрывает ее в полной мере.

Глава 3.1.

СОВЕТСКИЙ МИФ О «КУЛЬТУРНОМ ГЕРОЕ». (ЖИЗНЬ И ТРУДЫ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА МИКЛУХО-МАКЛАЯ)

Николай Николаевич Миклухо-Маклай был известен каждому советскому школьнику, ибо рассказ о нем и его экспедициях на Новую Гвинею включался в школьную программу. Институт этнологии и антропологии Российской академии наук до сих пор носит имя Миклухо-Маклая, присвоенное ему в советское время.

За что же ученый удостоился от Советской власти столь выдающихся отличий? Ведь его заслуги никогда не выглядели впечатляющими. Он не оставил монументальных трудов или влиятельных теорий, его многочисленные экспедиции не составляли продуманной научной программы, их результатом не стало открытие или присоединение к России новых земель, а самого Маклая при всем желании невозможно было назвать революционером. Да и отношение современников – русского общества 1870–1880-х годов – к Миклухо-Маклаю нередко было довольно скептическим.

Превращение путешественника по экзотическим местам в фигуру ученого-подвижника и героя-первооткрывателя произошло по причинам скорее идеологическим и культурным, чем научным. Советская биография Миклухо-Маклая структурно воспроизвела миф о «культурном герое»¹⁶¹.

¹⁶¹ См. напр.: *Бутинов Н.А.* Миклухо-Маклай – великий русский ученый-гуманист. К 100-летию его первой экспедиции на Новую Гвинею. *Л., 1971*; *Вальская Б.А.* Борьба Н.Н. Миклухо-Маклая за права папуасов Берега Маклая // *Страны и народы Востока*. Вып. 1. М.: ИВЛ, 1959. С. 130–147; *Тумаркин Д.Д.*

Маклая аттестовали как выдающегося ученого, как личность, познакомившую папуасов с достижениями цивилизации, а также как «неутомимого борца за равноправие народов против колониального гнета». Однако приписываемые Маклаю заслуги выглядят явным преувеличением.

Путешествия в Океанию, которые и воздвигли Миклухо-Маклая на пьедестал героя, при всем желании невозможно назвать продуманной и последовательной исследовательской программой. Даже комплиментарные советские биографы отмечали случайность и необъяснимость поездок Маклая, его склонность скоропалительно менять планы ради более интересных (читай: более экзотических) маршрутов¹⁶². Хотя в наибольшей степени путешественника действительно привлекала Новая Гвинея, этот выбор, по всей вероятности, определялся не столько миссией защиты туземцев или устойчивым научным интересом, сколько культурно-психологическим профилем Миклухо-Маклая. В его случае можно явственно проследить, как личностный темперамент и индивидуальные психологические особенности предопределили исследовательские интересы и научный стиль.

Традиционное перечисление биографических вех способно лишь дать намек на эту важную связь, но не раскрывает ее в полной мере. Николай Миклухо-Маклай родился в 1846 г. в Новгородской губернии, впоследствии семья переехала в Петербург. В 11 лет юный Коля потерял отца, что оказало сильное влияние на психику мальчика. В восемнадцатилетнем возрасте Маклай был исключен (по-видимому, за участие в студенческих волнениях) из Петербургского

университета, куда поступил на естественное отделение физико-математического факультета в качестве вольнослушателя в 1863 г. Перебравшись за границу, в Германию, Маклай последовательно учился на философском факультете Гейдельбергского университета, медицинском факультете Лейпцигского университета и медицинском факультете Иенского университета, который и окончил в 1868 году.

Вплоть до этого места биография Маклая носила вполне типический характер: выбор медицинского профиля образования был данью духу времени (вспомним знаменитого Базарова из тургеневских «Отцов и детей»), германские университеты считались одними из лучших в мире в этой области. Точно так же данью интеллектуальной моде было «обращение» в дарвинистскую веру. По оценке известного советского зоолога и биогеографа И.И. Пузанова Миклухо-Маклай был «убежденным дарвинистом», «эволюционистом до мозга костей»¹⁶³. Участвовать в экспедициях он начал еще на студенческой скамье: исследовал Канарские острова в зоологическом отношении, совершил поездки в Скандинавию и Францию для работы в зоологических музеях. По окончании учебы ездил в Мессину (Италия) для сравнительных анатомических работ и путешествовал на берега Красного моря для исследования морской фауны. Таким образом, вполне традиционно выглядели и маршруты первых путешествий. Однако все это служило не более чем приготовлением для броска в экзотическом направлении.

Великий русский ученый-гуманист (к 75-летию со дня смерти Н.Н. Миклухо-Маклая) // СЭ. 1963. № 6. С. 3–15.

¹⁶² Путилов Б.Н. Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Страницы биографии. М.: Наука, 1981. С. 10.

¹⁶³ Пузанов И.И. Н.Н. Миклухо-Маклай как натуралист и путешественник // Миклухо-Маклай Н.Н. Собр. соч. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1952. Т. 3. С. 410, 416. Приводится по: Тумаркин Д.Д. Анучин и Миклухо-Маклай. (Из истории изучения и публикации научного наследия Н.Н. Миклухо-Маклая) // Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии. Вып. X. М., 1988. С. 5–6.

План поездки в Океанию Миклухо-Маклай разработал в 1869 г., то есть в возрасте 23 лет. С ноября 1870 г. значительная часть его жизни прошла в путешествиях по самым затерянными и диким уголкам земли. Помимо шести экспедиций на Новую Гвинею, где было прожито в общей сложности свыше двух с половиной лет, русский ученый путешествовал по островам Нидерландской Индии, Западной Микронезии и Северной Меланезии, по Малаккскому полуострову и Австралии. Когда после многих лет скитаний Маклай вернулся к оседлому образу жизни в цивилизованном мире, его здоровье уже было безвозвратно подорвано. Он скончался на родине, в Петербурге, в 1888 г. в 41 год.

Биографы Маклая, в том числе знавшие его лично, выделяли в качестве конституирующих черт его личности тягу к одиночеству, энергию и независимость. Трудно сказать, что именно дало толчок их развитию и превращению в доминирующие качества характера. Возможно, первопричиной послужила ранняя потеря отца. По крайней мере француз Г. Моно, лично знавший Миклухо-Маклая и посвятивший ему пространный и комплиментарный очерк, прямо утверждал: «Смерть отца значительно способствовала тому, что в нем развились наклонность к одиночеству и вместе с тем энергия и независимость характера»¹⁶⁴. Вероятно, в жизни Миклухо-Маклая были и другие обстоятельства, усугубившие последствия детской травмы. В любом случае очень похоже, что именно тяга к одиночеству, доходившая до антропологического пессимизма, составляла экзистенциальный стержень Маклая.

Неслучайно его любимым автором был мрачный Артур Шопенгауэр, что было отнюдь не только данью культурной

¹⁶⁴ См.: Моно Г. О Миклухе-Маклае (По отзывам иностранцев) // Век. 1883. Март. Приводится по: Путилов Б.Н. Указ. соч. С.104.

моде. По словам биографа, психологическое сродство с Шопенгауэром «Миклухо-Маклай обнаруживал и в предпочтении одиночества, в особенной нервной раздражительности, не терпевшей шума и резких воздействий»¹⁶⁵. Это характерное Маклая психическое состояние можно охарактеризовать как болезненное, хотя и нельзя назвать болезнью в медицинском смысле.

Доминантная психологическая черта – тяга к одиночеству – решительно повлияла на жизнь и исследовательскую деятельность Маклая. Складывается впечатление, что избранная им научная стратегия – жизнь в одиночестве среди дикарей, вращение в их среде – была не столько сознательным выбором ученого, сколько бессознательно предопределялась его психологическим профилем. Вот характерная дневниковая запись Маклая, относящаяся ко времени его первого пребывания на Новой Гвинее: «Я так доволен в своем одиночестве! Встреча с людьми для меня хотя не в тягость, но они для меня почти что лишние... Мне кажется, что если бы не болезнь, я здесь не прочь был бы остаться навсегда, т. е. не возвращаться никогда в Европу»¹⁶⁶.

В культурно-психологическом плане приход Маклая к папуасам был его бегством, возможно, не до конца осознаваемым им самим, от западной цивилизации. Он выбрал папуасов в качестве объекта изучения именно потому, что усматривал в них наиболее полную антитезу современной ему цивилизации – самое дикое, самое первобытное племя. В письме матери Маклай писал о выпавшем на его долю «счастье... наблюдать и жить посреди самого первобытного из человеческих племен»¹⁶⁷. Другими словами, научные интересы Маклая вытекали не из науки *per se*, а из его личного

¹⁶⁵ Путилов Б.Н. Указ. соч. С. 96.

¹⁶⁶ Цит. по: Там же. С.14.

¹⁶⁷ Цит. по: Там же. С.13.

культурного опыта и психологического профиля, которые не просто предшествовали акту научного выбора, но и предопределили этот выбор.

Ведь ученый хотел не просто изучать папуасов, живя среди них. Он в полном смысле слова жаждал стать таким же, как они, стать частью изучаемого мира. Более того, это вживание в первобытную среду было для Маклая ничуть не менее важно, чем ее исследование. Как тонко подметил один из биографов Маклая: «Как это ни покажется странным, у Миклухо-Маклая по отношению к папуасам не было никаких практических целей... В отличие от других белых – миссионеров, откровенных колонизаторов, торговцев и работоторговцев, добровольных врачей и просветителей, любопытствующих туристов Миклухо-Маклай просто жил среди папуасов. Если он при этом лечил и просвещал их, открыл им металлические орудия, новые культурные растения, впервые познакомился со многими достижениями цивилизации, то делал он это попутно»¹⁶⁸.

Миклухо-Маклай не ставил своей сознательной задачей приобщение туземцев к цивилизации. Наоборот, он пытался защитить их от ее влияния, по возможности сохранив папуасов в состоянии изоляции. Вот что ученый писал, обращаясь к российской публике: «Я решил... положительно ничем, ни прямо, ни косвенно не способствовать водворению сношений между белыми и папуасами»¹⁶⁹. Хотя Маклай понимал неизбежность проникновения белых в ставший близким ему мир туземцев, в потенциальном конфликте его симпатии всецело находились на стороне последних.

Это произошло потому, что в результате стратегии вживания у Маклая сформировалась двойственная культурная идентичность. Осознавая свою принадлежность к белой ци-

вилизации, он в то же самое время так глубоко сроднился с папуасами, что даже претендовал на выражение и представительство их интересов перед лицом белого мира. Этот культурный парадокс с удивлением наблюдали современники Н.Н. Миклухо-Маклая.

Что касается собственно исследовательских целей экспедиций Маклая на Новую Гвинею, то здесь для него на первом месте стояла этнографическая сторона дела. Он видел своей главной научной задачей описание и изучение не флоры и фауны, а именно жизни папуасов, справедливо полагая, что таковая в скором будущем, по мере массированного проникновения в регион белых, радикально изменится. «Те же райские птицы и бабочки, даже и в далеком будущем будут не менее восхищать зоолога, те же насекомые наполнять тысячами его коллекции, между тем как почти наверное при повторенных сношениях с белыми... нравы и обычаи теперешних папуасов исказятся и забудутся...»¹⁷⁰. Профессиональная подготовка в области медицины, анатомии и зоогеографии была поставлена Маклаем на службу этнографии.

Научная стратегия ученого – стационарный метод, одиночество среди папуасов, многомесячное вживание в туземную среду – была в подлинном смысле слова подвижнической и даже героической. Редко кто из его современников дерзал совершать столь сложные и длительные экспедиции в одиночку. Например, в тибетской экспедиции Н. Пржевальского (1879–1880) участвовало двенадцать человек. Все морские путешествия носили характер комплексных экспедиций и насчитывали изрядное число участников. Однако для Маклая подобные коллективные предприятия были ис-

¹⁶⁸ Путилов Б.Н. Указ. соч. С. 23.

¹⁶⁹ Голос. 1880. 22 мая. Цит. по: Путилов Б.Н. Указ. соч. С. 73.

¹⁷⁰ Миклухо-Маклай Н.Н. Собрание сочинений. Т.2. Дневники путешествий (1873–1887). М.; Л., 1950. С. 408–409. Цит. по: Путилов Б.Н. Указ. соч. С. 12–13.

ключены по причинам в первую очередь психологическим. Корабли служили для него лишь средством доставки к цели, но члены экипажей в собственно полевой работе не участвовали. После высадки на берег Маклай на долгие месяцы оставался один на один с совершенно чужой ему средой, не имея даже малейшего шанса получить помощь извне.

Наиболее серьезной угрозой для одинокого экспедиционера были вовсе не природа и климат Новой Гвинеи, которая и по сию пору слывет «могилой белого человека». Главную проблему составляли люди, в среду которых Маклай намеревался вжиться. Эмигрируя из цивилизованного мира в первобытный, он не питал иллюзий насчет последнего. Маклай ясно отдавал себе отчет в том, что ему предстоит иметь дело отнюдь не с «благородными дикарями» Жан-Жака Руссо. К тому времени папуасы заслужили в глазах белых репутацию кровожадных и опасных дикарей, вряд ли вообще относившихся к человеческому виду.

К счастью для Миклухо-Маклая, подобная inferнальная репутация папуасов оказалась большей частью вымышленной. Тем не менее ему пришлось столкнуться с колоссальными трудностями и опасностями. В материальном отношении экспедиция оказалась плохо подготовленной: дом Маклая быстро обветшал, запасы провизии истощились, вещи пришли в негодность, а сам ученый заболел малярией. Стойкость и мужество русского путешественника перед лицом этих невзгод и испытаний вызывают искреннее восхищение. Однако надо признать, что одной из причин столь мизерабельного положения дел послужила доходившая до упрямства независимость ученого: в разработке планов путешествий и экспедиций он предпочитал полнейшую самостоятельность, что далеко не всегда шло на пользу его же собственному делу.

Да и папуасы поначалу вовсе не испытывали желания сблизиться с белым чужаком, а порою даже угрожали ему. «Им очень не нравились мои визиты... Неохотно и лениво

отвечали на мои вопросы... Делались все нахальнее и требовательнее... Не раз потешались они, пуская стрелы так, что последние очень близко пролетали около моего лица и груди... и даже подчас без церемоний совали острие копий мне в рот или разжимали им зубы»¹⁷¹. Впрочем, стратегия Маклая изначально была «длинной», он не рассчитывал на быструю адаптацию в туземную среду и был готов к первоначальному непониманию и неприятию со стороны аборигенов.

Взаимное привыкание Маклая и папуасов длилось не менее полугода, в течение которого русский путешественник учил язык и приучал туземцев к самому факту своего существования. Лишь после этого начался процесс его многосторонней адаптации к первобытной среде, который прошел вполне успешно.

В повседневной жизни Маклай стал настолько своим, что его присутствие нередко перестали замечать. Он был включен в туземную систему отношений и традиционного быта, причем занял в ней важную позицию «тамо боро-боро» — человека, пользующегося в иерархии общинно-родового коллектива особым авторитетом. Если сам Маклай в дневниковых записях упоминал о том, чтобы остаться на облюбованном им берегу Папуа-Новой Гвинеи, скорее в качестве туманного пожелания, то аборигены всерьез изыскивали возможность оставить его у себя навсегда.

Вот запись из дневника путешественника, относящаяся к августу 1872 г. (первое пребывание на берегу Маклая): «Пришло очень большое число жителей окрестных деревень... с весьма странной просьбой: они хотят, чтобы я навсегда остался с ними, взял одну, двух, трех или, сколько

¹⁷¹ Миклухо-Маклай Н.Н. Собрание сочинений. Т. 1. Дневники путешествий (1870–1872). М.; Л., 1950. С. 316–318. Цит. по: Путилов Б.Н. Указ. соч. С. 31.

пожелаю, жен и не думал уехать снова в Россию или куда-нибудь в другое место. Они говорил так серьезно, один после другого, повторяя то же самое, что видно было, что они пришли с этим предположением после долгих общих совещаний»¹⁷². Эта просьба была не первой и не единственной, аналогичные предложения на протяжении нескольких месяцев исходили от нескольких общин. Более того, Маклая даже предлагали стать межобщинным «тамо боро» – своеобразным гражданином племени, чьим авторитетом и вниманием по очереди пользовались бы все общины племени¹⁷³.

За пятнадцать месяцев первой экспедиции Маклай заслужил в том районе, где он осел, всеобщее уважение папуасских общин, отношения между которыми во всех других отношениях были далеко не идиллическими. Русский путешественник составил себе в глазах туземцев репутацию, сочетавшую черты сакрально-мифологические и земные. Папуасы считали, что Маклай принадлежит астральному миру (происходит с Луны) и наделен сверхъестественными способностями: может летать, излечивать больных или насылать болезнь взглядом, менять направление ветра, прекращать и вызывать дождь, землетрясение, обеспечивать успех в военных действиях и т. д. В то же время Маклая приписывались и заслуги культурного героя: принес папуасам железные орудия взамен каменных и научил их обрабатывать землю. Неудивительно, что аборигены так настойчиво предлагали Маклая остаться с ними. Вместе с тем по мере того как папуасы лучше его узнавали, в их восприятии образа Маклая усиливались собственно человеческие черты.

¹⁷² Миклухо-Маклай Н.Н. Собрание сочинений. Т. 1. Дневники путешествий (1870–1872). С. 283. Цит. по: Путилов Б.Н. Указ. соч. С. 48.

¹⁷³ См.: Там же. С. 326. Приводится по.: Путилов Б.Н. Указ. соч. С. 48.

Подытоживая, можно сказать, что Маклая удалось успешно адаптироваться к папуасской среде и заручиться в ней высоким авторитетом, что само по себе было незаурядным достижением. Однако вживание в туземную среду, как выяснилось, вовсе не вело автоматически к успеху собственно научного исследования.

Исследовательское кредо Маклая составлял позитивизм. Он основывался преимущественно на наблюдении туземной жизни, подкрепляемом расспросами, и старался всячески избегать предзаданных схем и теоретизирования. «Расспросы у туземцев об их обычаях вследствие многих причин мало помогают, так как приводят к ошибкам или к воображаемому разрешению вопросов. Единственный надежный путь – видеть все собственными глазами, а затем, отдавая себе отчет о виденном, надо быть настороже, чтобы полную картину обычая или обряда дало не воображение, а действительное впечатление наблюдения. Мне даже кажется полезным быть еще осторожнее: следует удержаться при этом описании виденного от всякого рода гипотез, объяснений и т.п.»¹⁷⁴.

Чтобы быть успешным, такой подход предполагал не просто многомесячное, а даже многолетнее наблюдение со стороны интегрированного в туземную среду наблюдателя. И Миклухо-Маклай ясно отдавал себе в этом отчет: «Сегодня исполнился ровно год, как я вступил на берег Новой Гвинеи. В этот год я подготовил себе почву для многих лет исследования этого интересного острова, достигнув полного доверия туземцев, и в случае нужды я могу быть уверенным в их помощи. Я готов и рад буду остаться несколько лет на этом берегу»¹⁷⁵.

¹⁷⁴ Миклухо-Маклай Н.Н. Собрание сочинений. Т. 2. С. 390. Цит. по: Путилов Б.Н. Указ. соч. С. 18.

¹⁷⁵ Миклухо-Маклай Н.Н. Собрание сочинений. Т. 1. С. 299. Цит. по: Путилов Б.Н. Указ. соч. С. 19.

Однако научный метод, приверженцем которого был Маклай, при всей кажущейся привлекательности и объективности не был столь уж результативен. Вопреки расхожему убеждению, проникшему даже в научную среду, факты во все не предшествуют теории, а ровно наоборот: ученый подходит к фактам, *уже* имея теорию или гипотезу, которая может быть выражена открыто и последовательно, а может лишь подразумеваться. Теория направляет взгляд исследователя и вводит критерии того, что считать научными фактами, а что нет. Научных фактов вне теории вообще не существует. Резюмируя, даже самая плохая теория лучше ее отсутствия.

Поскольку же отказ от всякой теории вообще составлял последовательную позицию Маклая, то это во многом обесценило его интересные и обширные наблюдения, несмотря даже на то, что взгляд русского путешественника был острым и натренированным. Разумеется, отдельные теоретические моменты подразумевались в его наблюдениях, в противном случае Маклай вообще не смог бы их наладить и систематизировать.

Тем не менее наиболее интересная и важная проблематика – социальная организация и система родства папуасов, их мифология, фольклор и ментальность, ритуальная семантика и символика – оказалась, за небольшими исключениями, бедно и явно недостаточно представлена в наблюдениях Маклая. И понятно почему: ведь изучение подобных вопросов предполагало теоретизирование, чего Маклай всячески избегал. «Я мог бы на основании собранного материала написать целый трактат о религиозных представлениях и церемониях и изложить суеверия папуасов, высказав ряд гипотез об их мирозерцании. Я мог бы это сделать, если бы рядом с моими личными наблюдениями и заметками я поставил то, чего не видел и не наблюдал, и прикрыл бы все это предположениями

и комбинациями... Такой образ действий, однако, мне противен...»¹⁷⁶.

Парадоксальность ситуации в том, что во время второй поездки к папуасам сам Н.Н. Миклухо-Маклай выдвигал на первый план именно изучение «общественной стороны» быта папуасов, чему посвятил семнадцать месяцев. Однако если теория отбрасывается, то игнорируются и факты, приобретающие статус научных фактов именно в контексте этой теории. Поскольку у Маклая в руках не оказалось исследовательской оптики в виде теории, то многие (возможно даже, большинство) существенные факты социальной организации и ментальности папуасов им были попросту не замечены. Отказ от теории в пользу фактов оказался и отказом от значительной части важных фактов. Пример Маклая наглядно показывает врожденную слабость научной позиции фактологического детерминизма, благоговения перед фактами.

Свою подчеркнутую атеоретичность русский ученый объяснял еще и тем, что он явно недостаточно прожил на берегу Маклая, «для того чтобы составить несомненно правильное представление о религии и мирозерцании папуасов»¹⁷⁷. И это он писал, прожив среди папуасов уже пятнадцать месяцев. Зададимся риторическим вопросом: а сколько в таком случае надо лет, чтобы перейти от наблюдений к теоретическим обобщениям?

То, что на первый взгляд выглядит научной и человеческой скромностью, в действительности представляет собой еще одно весьма распространенное в ученой среде заблужде-

¹⁷⁶ Миклухо-Маклай Н.Н. Собрание сочинений. Т. 3. Ч. 1. Статьи по антропологии и этнографии. М.; Л., 1951. С. 88–89. Цит. по: Путилов Б.Н. Указ. соч. С. 20.

¹⁷⁷ Там же.

ние. Мол, прежде чем заниматься теорией, следует поработать в поле. Однако способность и вкус к теоретической работе не зависят от стажа эмпирических исследований и даже вообще от наличия подобного опыта. В противном случае надо требовать, чтобы физики-теоретики сначала поработали инженерами, математики – бухгалтерами и статистиками и т. д. Выбор в пользу теоретизирования или эмпирических исследований решающим образом зависит от личности ученого, хотя имеется немало исследователей, удачно сочетающих оба этих направления. К сожалению, судьба не предоставила Маклаю шанса проверить, относится ли он к числу таких синтезаторов.

Библиография его работ, посвященных океанийским путешествиям, насчитывает более восьмидесяти названий на русском и иностранных (немецком, английском, французском и голландском) языках. Это статьи и заметки по этнографии и антропологии, языкознанию и искусству, и даже по метеорологии. Особенно удавался Маклаю жанр путевых заметок, объединявших научные наблюдения с непосредственными впечатлениями.

Но в целом корпус научных работ Маклая не выглядит впечатляющим. В пятитомном собрании его сочинений статьи по антропологии и этнографии заняли лишь один том; двухтомные дневники и том рисунков и этнографических коллекций, несмотря на безусловное научное значение, не были исследованием в прямом смысле слова, составляя лишь почву для него. Еще один том составила переписка Н.Н. Миклухо-Маклая.

Накопленному обширному материалу и многочисленным наблюдениям не суждено было вылиться в *opus magnum* – обобщающую работу, о которой Маклай мечтал последние годы своей жизни. В письме 1882 г. он упоминал о замысле подготовить к печати главные результаты своих двенадцатилетних странствий в строго научной форме: «Рядом

с кратким историческим очерком (изложением обстановки и события путешествия) будут следовать специально-научные отделы по антропологии, сравнительной анатомии, этнологии, метеорологии и т. п. Мое старание будет дать как можно более научных выводов и исследований в как можно более сжатой (но не сокращенной) форме»¹⁷⁸.

Хотя Маклая с присущей ему «охотой к перемене мест» вряд ли можно было назвать кабинетным ученым, он довольно целеустремленно работал над своим издательским замыслом, претерпевшим в ходе реализации существенную трансформацию. Речь шла уже о отдельной публикации двух частей – описания путешествий и собственно исследований по анатомии и антропологии. В 1887 г. Маклай уверенно сообщал, что двухтомное описание его путешествий в скором времени будет сдано в печать¹⁷⁹.

Этому плану не суждено было осуществиться по причине смерти путешественника, едва вступившего в средний возраст. (Первая публикация дневников Н.Н. Миклухо-Маклая была осуществлена уже в советское время усилиями Д.Н. Анучина¹⁸⁰.) Из своих стационарных экспедиций на Новой Гвинее он вернулся тяжело больным человеком.

¹⁷⁸ Миклухо-Маклай Н.Н. Собрание сочинений. Т. 4. Переписка и другие материалы. М.; Л., 1953. С. 211. Цит. по: Тумаркин Д.Д. Анучин и Миклухо-Маклай. (Из истории изучения и публикации научного наследия Н.Н. Миклухо-Маклая) // Очерки русской этнографии, фольклористики и антропологии. Вып. 10. М., 1988. С. 5–37.

¹⁷⁹ Миклухо-Маклай Н.Н. Собрание сочинений. Т. 4. С. 325. Цит. по: Там же. С. 11–12.

¹⁸⁰ Миклухо-Маклай Н.Н. Путешествия. Т. 1. Путешествия в Новую Гвинее в 1871, 1872, 1874, 1876, 1877, 1880, 1883 гг. / Со вст. ст. Д.Н. Анучина. М.: Новая Москва, 1923. Подробнее об истории публикации см.: Тумаркин Д.Д. Анучин и Миклухо-Маклай.

Вот какое впечатление Маклай производил на современников: «...молодой годами, но рано состарившийся, разбитый болезнью организм», его лицо «носило на себе отпечаток испытанного горя, страданий и других неудач жизни»; «...Это был бодрый мужчина с огненным взглядом и твердой верой в людей. Теперь он похудел... походка и взгляд усталый»; «пожилой человек... голос... принял оттенок дряхлости»¹⁸¹. Эти наблюдения со стороны корреспондировали самооценке Маклая. «Нездоровье мое начинает казаться мне совершенно бесконечным», – мрачно констатировал он в одном из своих писем¹⁸². Но даже в разбитом состоянии Маклай продолжал изо всех сил печься о столь полюбившихся ему туземцах. Он открыто и недвусмысленно отвергал антропологическую минимизацию папуасов, взгляд на них как на переходную ступень между животным и человеком. Маклай утверждал, что папуасы составляют одно из расовых подразделений человечества, и что деление на расы не ставит под сомнение видовое единство человечества.

Более того, самоидентификация Маклая с папуасами привела его к идеализации туземного образа жизни, который он противопоставлял образу жизни белого человечества: «Папуасы... самый тихий и добрый народ, у них нет ни ссор, ни драк, ни краж, ни убийств; они не завидуют друг другу, не враждуют, напротив, приветливы, обходительны, хорошие отцы и жены.

У папуасов нет ни богатых, ни бедных, ни дворян, ни мещан, ни начальников, ни подчиненных. Зато среди них замечено почтение к старшим, и случаи жестокости... следует отнести к исключениям, вызываемым особыми условиями»¹⁸³.

¹⁸¹ Цит. по: Путилов Б.Н. Указ. соч. С. 103, 125.

¹⁸² Миклухо-Маклай Н.Н. Собрание сочинений. Т. 4. С. 332. Цит. по: Путилов Б.Н. Указ. соч. С. 139.

¹⁸³ Цит. по: Там же. С. 124.

Вне зависимости от того, насколько реалистична была нарисованная Маклаем картина, сам он относился к ней более чем серьезно и изо всех своих сил пытался изыскать способы сохранения этого идиллического мирка, его защиты от белой цивилизации. Планы, лелеявшиеся на сей счет Маклаем, носили фантазмагорический характер. Первоначально он носился с идеей Папуасского союза – сплочения разрозненных этнических единиц в протогосударственную организацию¹⁸⁴. В своей практической деятельности на берегу Маклая экспедиционер пытался преодолеть разъединенность общин и племен.

Поскольку же папуасы, несмотря даже на благоговение перед русским путешественником, явно не были готовы к подобному объединению, Маклай выдвинул идею еще более фантастическую: образовать на Новой Гвинее (или в любом другом месте Океании) русскую колонию¹⁸⁵. Принципы, на которых она должна была строиться, носили вполне утопический характер: отсутствие правительственного надзора и самоуправления, свободный труд и равенство, включая равенство прав и интересов аборигенов. Проект этот был вполне в духе времени: идея создания альтернативы капиталистической цивилизации в виде самоуправляющихся общин на новых землях, что называется, носилась в воздухе и в ряде случаев была даже реализована. Правда, результат всегда и везде оказывался негативным.

¹⁸⁴ Об этом подробнее см.: Тумаркин Д.Д. Папуасский союз (из истории борьбы Н.Н. Миклухо-Маклая за права папуасов Новой Гвинеи) // Расы и народы. Ежегодник. № 7. М., 1977. С. 103–127.

¹⁸⁵ Об этом подробнее см.: Вальская Б.А. Проект Н.Н. Миклухо-Маклая о создании на островах Тихого океана русской вольной колонии // Австралия и Океания (история и современность). М., 1970. С. 35–52.

Мысль создать русское поселение на островах Тихого океана выглядела слишком экзотической даже для немалой части образованной русской публики. Лишенный ораторских способностей и напористости, он не был способен подать товар лицом, провоцируя скепсис как в собственный адрес, так и в отношении своих идей. Характерна дневниковая запись писателя И.С. Тургенева после встречи с Миклухо-Маклаем: «Черт знает почему, мне кажется, что ведь этот господин – пух и никакой такой работы после себя не оставит»¹⁸⁶. Правда, Л.Н. Толстой относился к Маклаю не в пример более заинтересованно и сочувственно: он писал ему и читал его статьи, причем отголоски рассказов Маклая о жизни среди папуасов прослеживаются в знаменитом трактате писателя «В чем моя вера?».

Поскольку защитить папуасов от проникновения цивилизации было абсолютно нереалистично, то деятельность Маклая в этом направлении оказалась чистой воды донкихотством.

В исследовательском отношении Маклай был классическим эмпириком и полевым исследователем. Однако в силу индивидуальных психологических особенностей он явил миру и науке весьма редкий образец полевого исследователя-одиночки. Вряд ли можно утверждать, что стратегия полевика-одиночки оказалась более плодотворной, чем работа в команде. И уж совершенно точно, она безвозвратно разрушила здоровье Маклая. Из-за подорванного здоровья он не успел издать и обобщающий научный труд. Хотя в силу методологических самоограничений Маклая теоретическая цена подобной работы вряд ли была бы высокой,

¹⁸⁶ Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем в двадцати восьми томах – Сочинения. Т. 15. М.; Л., 1968. С. 212–213. Цит по: Путилов Б.Н. Указ. соч. С. 94.

из-под его пера тем не менее мог выйти достойный фактографический труд. Но в итоге так и не вышел. Блистательное отсутствие серьезных научных исследований не позволяет назвать Маклая выдающимся ученым в точном смысле этого слова. Каковы же в таком случае были итоги его трудов и дней?

Посвятив себя служению одному из наиболее отсталых племен мировой периферии, Маклай проявил редкое самопожертвование. Его гуманное отношение к папуасам оставило глубокий след в их коллективной памяти и в какой-то степени (хотя вряд ли столь уж существенно) повлияло на современников.

Правда, при этом не следует забывать, что тяга к папуасам составляла оборотную сторону отвращения Н.Н. Миклухо-Маклая к современной ему западной цивилизации. В психологическом плане его экспедиция к первобытным племенам была в первую очередь формой эскапизма, а не цивилизаторской миссией.

Советский культурный миф о Маклае, превозносивший его гуманистическую и цивилизаторскую миссию, был вызван к жизни внешнеполитическими амбициями коммунистической системы и ее претензией выступать глобальной гуманистической альтернативой капитализму. Бескорыстный попечитель дикарей, гуманист и борец с расизмом, Маклай явно или подразумеваемо противопоставлялся западным путешественникам, движимым духом капиталистической наживы и исповедовавшим расизм.

Миф о Миклухо-Маклае выполнял двоякую культурную функцию. С одной стороны, он легитимировал самоотверженное и бескорыстное служение науке, с другой – обосновывал неотъемлемое право Советского Союза выступать оплотом и надеждой «малых сил» за пределами цивилизованного мира.

Глава 3.2.

Д.Н. АНУЧИН И ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЭТНОЛОГИИ КАК УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. (ОПЫТ НАУЧНОЙ БИОГРАФИИ В КОНТЕКСТЕ ЭПОХИ)

В переломные моменты развития науки в ней нередко появляются личности, воплощающие пафос перемен и открывающие новые исследовательские горизонты. Особенно важной оказывается их роль в ситуации институционализации науки, формирования ее предметных и теоретических оснований, то есть учреждения науки в ее современном виде. Обращаясь к истории, замечаешь, что у истоков мощных институтов и организаций, влиятельных парадигм и теоретических направлений нередко оказываются талантливые и самоотверженные одиночки: по пути, открытому ими, затем начинает двигаться наука.

Эта науковедческая закономерность в полной мере применима к этнографии. Титул «отца-основателя» британской социальной антропологии в историографии закрепился за Э. Тайлором, основоположником американской культурной антропологии считается Л.Г. Морган, появление во Франции этнологии как отдельной дисциплины связано с именем М. Мосса, «отцом немецкой этнологии» называют А. Бастиана. Для всех этих ученых, как правило, было характерно сочетание значительных теоретических достижений и прорывов с организаторской деятельностью, с созданием научных школ и направлений.

Можно ли найти аналог этим незаурядным личностям в истории отечественной этнографии? Была ли в ней такая судьбоносная фигура, которая произвела переворот, превра-

тив полулюбительское увлечение этнографией в науку в подлинном смысле?

Несмотря на натянутость исторических аналогий, в отечественной этнографии действительно можно обнаружить такую основополагающую личность, хотя создателем русской этнографии этого человека никогда не называли, что связано не с неблагодарностью потомков, а с некоторой односторонностью его вклада в этнографию, спецификой его научных интересов и определенной парадоксальностью научного пути. Речь идет о Дмитрие Николаевиче Анучине, который считал «царицей наук» антропологию, всю жизнь стремился к созданию в Московском университете соответствующей кафедры, а попутно (что не значит случайно!) наладил в университете относительно систематическое преподавание этнографии и географии и немало поспособствовал становлению археологии. Тем самым ему принадлежит основополагающий вклад в институционализацию четырех научных дисциплин, организационно-кадровой площадкой для которых выступил Московский университет.

Почти невозможно представить себе ученого, который столь масштабную деятельность на организаторском и преподавательском поприще умудрился бы сочетать еще и с теоретическими прорывами в каждой из тех четырех дисциплин, которыми занимался. Время титанов Возрождения прошло, да и сам Д.Н. Анучин не питал особого интереса к теоретизированию, оставаясь преимущественно человеком фактов – этого «хлеба науки».

«Занимаясь и разрабатывая новые в России научные отрасли, Дмитрий Николаевич отнюдь не был в них пионером или новатором, творцом новых систем или автором открытий...»¹⁸⁷. Эта оценка весьма скромного теоретиче-

¹⁸⁷ Бунак В.В. Деятельность Д.Н. Анучина в области антропологии // Русский антропологический журнал. 1924. Т. 13. Вып. 3–4. С. 5.

ского вклада Д.Н. Анучина в науку представляется тем более заслуживающей внимания, что, во-первых, принадлежит перу его ученика в области антропологии В.В. Бунака, во-вторых, позаимствована из мемориальной статьи, написанной к первой годовщине кончины ученого, а для этого жанра, как известно, характерно преувеличение достоинств и заслуг усопших.

Будучи хорошо осведомленным в современных ему научных теориях, Анучин никогда не был крупным теоретиком в одной из тех дисциплин – антропологии, археологии, географии и этнографии, которыми увлеченно и плодотворно занимался многие годы. Более того, на подобную роль он никогда и не претендовал, поскольку к любым масштабным теоретическим построениям относился скептически, предпочитая им строго фактологические исследования, где в полной мере проявлялась его феноменальная память, так поражавшая современников. По словам того же Бунака, «теоретические построения играли крайне малую роль в ... научной деятельности» Анучина, зато он «обладал исключительной способностью отчетливого восприятия единичных конкретностей, которые, благодаря его выдающейся памяти, существовали для него независимо от каких-либо теоретических систем»¹⁸⁸.

Эта индивидуальная черта ученого, интеллектуальная позиция которого имела методологическое основание в позитивизме, сделала Анучина автором ряда превосходных для своего времени монографических работ. Его магистерская диссертация по зоологии «О некоторых аномалиях человеческого черепа и преимущественно об их распространении по расам», защищенная в начале 1881 г. в Московском университете, по количеству материала (более 15 тыс. черепов) и сравнительно-анатомическому подходу

¹⁸⁸ Там же. С. 5.

считалась классической работой мировой антропологической литературы.

Широта научных интересов и работоспособность Анучина были поистине феноменальными: за свою жизнь, а ученый лишь немного не дожил до своего восьмидесятилетнего юбилея, сохраняя творческую форму вплоть до последних дней: он написал более 120 работ по антропологии, около 90 по этноархеологии, более 150 по географии, около 90 по зоологии и естествознанию¹⁸⁹. Исследовательскую работу Анучин сочетал с обширной преподавательской и методической нагрузкой (число читавшихся им курсов достигало двух десятков, причем многие из них были пионерными), активной экспедиционной деятельностью, колоссальной организационной, редакционно-издательской и популяризаторско-просветительской работой.

Для своего времени работы Д.Н. Анучина были незаурядными научными достижениями, получившими в том числе международное признание: публикации русского исследователя переводились на разные языки либо реферировались в иностранных журналах. Но с высоты сегодняшнего дня им отведено место преимущественно в истории науки. Ретроспективно фундаментальной заслугой Анучина выглядят не его исследования, чье значение исторически преходяще, а исключительная роль ученого в *институционализации* антропологии, археологии, географии и этнографии. Если антропология до Анучина имела своих академических предшественников в лице К.М. Бэра и А.П. Богданова, то этнография и археология, которые в 80-е и 90-е годы XIX века были занятием любительским или факультативным (что не обязательно синонимично низкому научному

¹⁸⁹ Бунак В.В. Дмитрий Николаевич Анучин (некролог) // Отчет I Московского Государственного Университета за 1923 г. М., 1924. С. 243.

качеству), обязаны своим вхождением в круг академических дисциплин именно Анучину. Он заложил устойчивые организационные формы археологических и этнографических исследований, положил начало университетскому преподаванию этнографии (в 1888 г. Дмитрий Николаевич приступил к чтению первого систематического курса этнографии России).

По отношению к географии Анучин вообще выступил основоположником академической традиции. До января 1885 г., когда он начал читать курс географии, она не преподавалась в Московском университете уже без малого сорок лет, с 1847 г. Помимо исследований в области географии и чтения соответствующих учебных курсов Дмитрий Николаевич учредил географический кабинет и музей в Московском университете, создал в 1892 г. географическое отделение в Императорском обществе любителей естествознания, антропологии и этнографии (ОЛЕАЭ), основал и более тридцати лет руководил журналом «Землеведение», разработал методику преподавания географии в высшей и средней школе.

Можно уверенно утверждать, что Анучин сделал решающий шаг для превращения *любительского увлечения*, в роли которого бытовали археология, география и этнография, а также в значительной степени антропология в *науку* в полном смысле этого слова. Его первостепенная заслуга состояла в формировании организационной основы и подготовке профессиональных кадров – тех базовых условий, без которых ни одна научная дисциплина не может устойчиво существовать и развиваться, и без которых наука как таковая не существует.

Сочетание дисциплин, оказавшихся в фокусе научных интересов Анучина, было далеко не случайностью. Хотя здесь не обошлось без влияния той черты его характера, которую он в сердцах называл «разбросанностью», а младшие современники и ученики предпочитали характеризовать

как «разносторонность», в намеченной Анучиным интеллектуальной перспективе антропология, этнография и археология находились в неразрывной связи, представляя собой «интегральные части триединой науки»¹⁹⁰. Методологическое основание этого междисциплинарного единства составило стремление Анучина к синтезу естествознания и общественных наук, воплощение чего он усматривал в географии – науке, одновременно занимающейся природой и человеком. То есть в своих научных штудиях Анучин сознательно и целеустремленно пытался реализовать магистральную идею сциентизма – применить методы естествознания к познанию человека и его истории.

Идя по пути расширения (когда добровольно, а когда и под влиянием обстоятельств) круга своих научных интересов, Анучин нередко проигрывал в исследовательской глубине, свойственной ученым, всю жизнь специализирующимся в одной предметной области или даже по одной теме. «Если бы Дмитрий Николаевич сосредоточил свою деятельность в одной какой-нибудь специальности, он приобрел бы славу одного из крупнейших ученых конца XIX века. Но Дмитрий Николаевич сознательно не пошел по этому пути, так как признавал, что от его деятельности зависит дальнейшее развитие в России трех наук»¹⁹¹, – так характеризовал деятельность Анучина Л.Я. Штернберг. Вместе с тем избранная Анучиным исследовательская стратегия не только создала ему заслуженную славу эрудита, но и обеспечила возможность разностороннего подхода, взгляда на один объект с разных точек зрения, с позиции различных научных дисциплин. Младшие современники ученого отме-

¹⁹⁰ Эта характеристика дана в 1926 г. Л.Я. Штернбергом. Цит. по: Берг Л.С. Очерки по истории русских географических открытий. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. С. 391.

¹⁹¹ Бунак А.А. Дмитрий Николаевич Анучин. С. 255.

чали присущее ему «чувство широкой перспективы, которого зачастую не хватает людям, зарывшимся с головой в отдельные специальные вопросы»¹⁹².

В связи с этим примечательна характеристика Анучина как этнографа, принадлежащая профессиональному этнографу А.Н. Максимова: отмечая, что число собственно этнографических работ Анучина сравнительно невелико, он одновременно назвал его наиболее видным и авторитетным представителем этнографии в России. И этот авторитет, по мнению Максимова, зиждился не столько на собственных исследованиях Анучина, репутации научного патриарха и организационных заслугах, но был обеспечен прежде всего научной разносторонностью ученого, его способностью без труда оперировать материалами одновременно антропологии, этнографии и археологии, а также умением осуществлять общее научное руководство, определять перспективные направления исследований.

Парадокс Анучина заключался в том, что, посвятив практически всю свою жизнь институционализации научных дисциплин, т. е. их выделению и обособлению из нерасчлененного конгломерата гуманитарных и естественнонаучных знаний, он одновременно старался сохранить взаимопроницаемость этих наук, объединенных общим, по его мнению, объектом исследования. Сегодня мы охарактеризовали бы Анучина как сторонника междисциплинарных исследований. Его универсализм не был лишь инерционным следствием прежнего научного синкретизма с его неопределенностью (а потому и взаимоналожением) предметных полей, но последовательной методологической позицией – определяя предметные поля выделяющихся наук, проводя границы между ними, не превращать эти границы в китайскую стену, а до-

бываться междисциплинарного синтеза. Но это уже был синтез на основе дифференциации, а не прежний синкретизм.

В своей научной деятельности Анучину удалось воплотить искомую модель развития науки, что было следствием счастливого сочетания двух факторов: во-первых, в конце XIX в. оформляющиеся научные дисциплины еще не достигли столь высокого уровня специализации, который существенно затруднил бы сотрудничество между ними, во-вторых, феноменальная память и высокая работоспособность ученого позволили ему свободно оперировать материалами, проблематикой и категориями одновременно нескольких наук.

Дмитрий Николаевич олицетворял переходный характер науки, сочетая, с одной стороны, свойственные предшествующей эпохе универсализм и энциклопедизм, с другой – стремление к дифференциации и институционализации наук. Последнее – дифференциация и институционализация – было магистральным направлением развития научного знания во второй половине XIX в. Но решающая роль Анучина в формировании современного облика ряда научных дисциплин заставляет с особым тщанием всматриваться в биографию ученого, пытаясь обнаружить в индивидуальных мотивах и действиях проявление более широких закономерностей, влияние интеллектуального и духовного климата эпохи. Хотя судьба Д.Н. Анучина испещрена знаками времени, отмечая их, нельзя одновременно не указать и на его инаковость, отличие от коллег по университетской корпорации.

Со своей принципиальной внепартийностью и подчеркнутой лояльностью по отношению к власти как таковой – не важно, императорской или большевистской, Анучин явно выпадал из идеологически воспаленного отечественного контекста конца XIX – начала XX в., что вызывало устойчивую неприязнь к нему со стороны его более политизированных коллег и создавало ученому не самую лучшую

¹⁹² Максимов А.Н. «Разбросанность» в науке // Русские ведомости. 1913. № 197. С. 2.

репутацию в тогдашнем образованном обществе. Достаточно упомянуть, что в 1911 г. Анучин не присоединился к своим коллегам по кафедре географии и этнографии, покинувшем Московский университет в знак протеста против политики тогдашнего министра народного просвещения Л.А. Кассо. Тогда на кафедре остались лишь два преподавателя – Д.Н. Анучин и антрополог А.А. Ивановский. Согласимся, что идти против течения – качество, требующее немалого личного мужества. При всем том Дмитрий Николаевич отнюдь не был ученым жрецом, руководствовавшимся девизом «наука ради науки» и не жил в «башне из слоновой кости». Но свой личный вклад в общественный прогресс он видел прежде всего в развитии науки и распространении научных знаний, не связывая прогресс со сменой политического строя. Идеалистическая вера в развитие науки и техники как первостепенное условие превращения России в состоятельное просвещенное и передовое общество вообще была характерна для 60–80-х годов XIX в., получив особенное распространение среди студентов и профессоров факультетов естествознания и технологии.

Социальную позицию, которой Анучин придерживался до конца своей жизни, можно сформулировать следующим образом: честное выполнение профессионального долга есть наилучшее служение России; власть же хороша или плоха настолько, насколько она помогает или мешает науке. Поэтому активное сотрудничество Анучина, уже довольно пожилого (74 года в 1917 г.) человека, с Советами объясняется отнюдь не политическими симпатиями или идейной ангажированностью – насколько известно, он был совсем не в восторге от утвердившегося в России большевистского режима – а тем, что новая власть целенаправленно и активно поддерживала науку, в том числе и те дисциплины, которыми он занимался. В 1919 г. по просьбе Анучина была наконец-то открыта многострадальная кафедра антропологии, создать которую в императорской России фактически не удалось.

Путь в науку

Родился Дмитрий Николаевич Анучин 27 августа (по новому стилю – 7 сентября) 1843 г. в Петербурге. Происхождения он был скорее разночинского, хотя отец Дмитрия, Николай Васильевич Анучин, выслужил офицерский чин и потомственное дворянство за участие в кампании 1813–1814 гг., до поступления на воинскую службу он учился в духовной семинарии в Вятке, откуда ушел, не окончив курса. Мать, Татьяна Фирсовна Захарова, была родом из крестьян Галичского уезда Костромской губернии, но зажиточных, поскольку смогла получить образование в петербургском пансионе. Дмитрий был шестым (и последним) в семье ребенком, причем к моменту его появления на свет в живых оставались лишь два его брата – Михаил и Александр. В 1854 г. Дмитрий поступил во второй класс Ларинской классической гимназии, но, потеряв в течение двух лет (1855–1857) сначала среднего брата Александра, а затем отца и мать, оказался вынужденным перейти в пансионеры. Единственный оставшийся в живых близкий родственник, брат Михаил, к этому времени женился и не смог или не захотел содержать брата-гимназиста.

Гимназия – плод гимназической реформы 1849–1851 гг. – делала акцент на классическом образовании, много времени уделялось изучению иностранных языков как живых, так и мертвых – древнегреческого и латыни. Строгая дисциплина и телесные наказания усугубляли и без того нелегкую жизнь в пансионе. Но с учебой у Дмитрия проблем не было: одноклассники впоследствии единодушно отмечали феноменальную память и умение «Онучки» (такое прозвище он получил от однокашников) систематически работать. Эти качества впоследствии составили одну из главных составляющих успешной научной карьеры Д.Н. Анучина.

Путь выпускника гимназии казался predeterminedным: в 1860 г. молодой Анучин поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, но проу-

чился там недолго. Весной 1861 г. студент заболел, врачи предполагали крайне опасный, чуть ли не фатальный для того времени диагноз – туберкулез, и по совету знаменитого доктора С.П. Боткина Анучин покинул Россию, отправившись для лечения за границу.

По дороге в южные края Анучин провел лето 1861 г. в знаменитом университетском центре в Гейдельберге. Здесь он познакомился и сблизился с рядом русских, среди которых были А.П. Бородин, впоследствии известный композитор и химик, братья А.О. и В.О. Ковалевские – биолог и палеонтолог, последовательные дарвинисты. Но главное, в «Германии туманной» началось его увлечение естественными науками. По-видимому, этому кардинальному обновлению интеллектуальных приоритетов Анучина немало поспособствовало освобождение от системы жестких запретов и ограничений гимназических лет. С избавлением от физического недомогания уходила и моральная усталость от интеллектуальной несвободы. За границей у Анучина появился шанс выйти из колеи, в которую его загнали жизненные обстоятельства.

Для России 1860-х гг. интерес к естествознанию был духом времени и интеллектуальной модой, что так блестяще показал И.С. Тургенев в «Отцах и детях» в образе Базарова. (Впоследствии сам Д.Н. Анучин относил расцвет отечественного естествознания ко времени с конца 50-х годов, приурочивая его к началу царствования Александра II¹⁹³.) Переживавшее моральный подъем русское общество воспринимало науку и социальный прогресс как синонимы. Или, используя более изощренную формулировку, формировалась характерная для модерна система легитимации научного знания через метарассказ (в данном случае – идею прогресса).

¹⁹³ Анучин Д.Н. Русская наука и съезды естествоиспытателей. (Речь председателя Распорядительного комитета XII съезда естествоиспытателей и врачей 28 декабря 1909 г.). Отдельный оттиск. М., 1910. С. 6.

В самой Европе в это время произошло событие, вызвавшее мощную интеллектуальную динамику – первая публикация (1859) знаменитого труда Чарльза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь». Началось победное шествие эволюционизма, вскоре охватившее и Россию. В том же 1859 г. французский хирург, анатом и антрополог Поль Брока основал Парижское антропологическое общество. Эти события вряд ли остались незамеченными молодым и любознательным русским студентом, увлекшимся естествознанием. Но формирование научных взглядов Анучина, обращение его в дарвинистскую «веру» произошли позже, во время учебы в Московском университете.

Тем временем Анучин через Швейцарию отправился в Италию, где изучал итальянскую литературу и искусство. Сказалось полученное им классическое образование: в насыщенной историческими памятниками и произведениями искусства различных эпох Италии оживали книжные знания. Наслаждаясь путешествием и яркими впечатлениями, молодой Анучин был вполне уверен, что его жизненное поприще находится в России. К этому времени относятся его попытки определить общее направление своей дальнейшей профессиональной карьеры: «Я могу только сказать, что я хочу быть честным, образованным русским человеком. А чтобы русским быть, надо знать, что такое эта Русь, и поэтому я употреблю все силы мои, чтобы узнать ее»¹⁹⁴. Формулировка расплывчатая, если не сказать туманная, но в свете дальнейшего жизненного пути Анучина буквально пророческая: его профессиональная деятельность была нацелена именно на познание России – ее природы и русского человека.

¹⁹⁴ Из письма Д.Н. Анучина брату Михаилу. Цит. по: Карпов Г.В. Дмитрий Николаевич Анучин. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1962. С. 6.

Хотя непосредственное интенсивное общение Д.Н. Анучина с западной наукой произошло во время научной командировки 1876–1879 гг., его отношение к европейской науке и к Западу вообще всегда отличалось уважительностью. Анучин признавал колоссальное и положительное влияние Запада на российскую социальную и научную жизнь и полагал заимствование западных форм организации науки, тесное общение с нею исключительно полезным для российской научной корпорации. «История русского естествознания началась одновременно с историей европеизации России, и подобно тому, как в усвоении начал европейского общежития мы следовали за иностранцами, так иностранцы же явились нашими учителями в области чистой и прикладной науки», – указывал он¹⁹⁵.

В более широком плане методологическим основанием западничества Анучина служила идея универсальности прогресса: в XIX и начале XX в. господствовала точка зрения о существовании единого магистрального пути развития человечества, по которому рано или поздно пойдут все народы и страны. И место России Анучин видел в Европе и вместе с Европой, которая первой вступила на этот путь, демонстрируя миру образцы цивилизации. Анучин, бесспорно, тяготел к западническому лагерю отечественной интеллигенции, что в те времена органично сочеталось с русским патриотизмом.

Вернувшись весной 1863 г. в Россию, Дмитрий Анучин был полон сил и желания насаждать ростки просвещения в Отечестве. Из Петербурга он перебрался в Москву, где к тому времени осел его брат Михаил, практикующий врач, и осенью 1863 г. поступил на естественное отделение физико-математического факультета университета. Избрав своей специальностью зоологию, Анучин слушал в числе прочих лекции А.П. Богданова по зоологии беспозвоночных,

¹⁹⁵ Анучин Д.Н. Русская наука и съезды естествоиспытателей. С. 3.

С.А. Усова – по зоологии позвоночных, Я.А. Борзенкова – по сравнительной анатомии. Эти три профессора оказали на юношу наибольшее влияние: Богданов, один из основоположников русской антропологии, впоследствии фактически оказался научным руководителем Анучина; Усову принадлежала решающая роль в формировании последовательно дарвинистских взглядов студента Анучина¹⁹⁶.

Становление Анучина-ученого

В 1867 г. Д.Н. Анучин успешно окончил Московский университет, но при кафедре для подготовки к профессорскому званию оставлен не был. Хотя достоверно не известно, почему это произошло, напрашиваются два объяснения. Первое связано с изменением семейного положения вновь испеченного выпускника университета (вскоре по его окончании Д.Н. Анучин женился на А.А. Ушаковой, родом из крестьян, и, возможно, был занят жизненным обустройством), второе – с тем, что на кафедре не нашлось места для выпускника, желавшего посвятить себя занятиям антропологией – новой для того времени дисциплиной, по которой в России, за единичным исключением, не было квалифицированных специалистов.

Пауза в научной карьере Анучина продлилась до 1871 г., когда по приглашению профессора Усова он занял должность ученого секретаря Общества акклиматизации животных и растений. Деятельность Общества была тесно связана с первым в России московским Зоологическим садом, основанным в 1864 г. и существовавшим на добровольные пожертвования. В этой должности ученый впервые проявил

¹⁹⁶ Соловьев А.И. Дмитрий Николаевич Анучин и основные направления его научной деятельности // Анучин Д.Н. Избранные географические работы / Под ред. Соловьева А.И. и Анучина В.А.; общая ред. акад. Л.С. Берга. М.: Географгиз, 1949. С. 20.

присущий ему организаторский талант, наладив доставку редких животных из Африки, Сибири и Средней Азии, их успешную акклиматизацию и содержание в неволе. В 1873 г. в периодическом сборнике «Природа» увидела свет первая печатная работа Анучина «Очерки африканской фауны», написанная по материалам его наблюдений за животными. К 1876 г. в том же издании им было опубликовано еще несколько статей зоогеографического и этнографического характера и большая работа по проблеме происхождения человека «Антропоморфные обезьяны и низшие типы человечества», находившаяся на стыке зоологии и антропологии. В 1874 г. Анучина избрали членом ОЛЕАЭ, а в 1875 г. – секретарем антропологического отдела Общества.

Публикации Анучина послужили подтверждением научной состоятельности молодого ученого, обосновав его право заниматься антропологией. Еще в 1873 г. он получил предложение держать экзамен на магистра, который с блеском сдал в начале 1875 г. Непосредственно о теме магистерской диссертации Д.Н. Анучин консультировался с А.П. Богдановым. В 1876 г. он опубликовал небольшую монографию «Материалы по антропологии восточной Азии. I. Племя айнов», основу которой составили полученные с Сахалина материалы по антропологии и этнографии. В этой книге проведено остеологическое исследование айнов (проанализировано расовое значение отдельных особенностей айнских скелетов), прослежены их южные связи и выявлены айнские элементы в культуре японцев¹⁹⁷.

Работа Анучина носила не чисто антропологический, а комплексный антрополого-этнографический характер, что вряд ли можно объяснить лишь нехваткой антрополо-

¹⁹⁷ См.: Левин М.Г. Дмитрий Николаевич Анучин (1843–1923) // Труды Института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. Памяти Д.Н. Анучина. М.; Л., 1947. Т. I. С. 5.

гических материалов в Москве. Для исследовательской перспективы Анучина было характерно понимание антропологии как науки, включающей всю совокупность естественноисторических сведений о человеке. Со временем эти взгляды выкристаллизовались и приобрели отчетливую форму, а исток их формирования восходит к начальному этапу научной карьеры, если не к студенческим годам Анучина. Характеризуя несколько десятилетий спустя цели антропологии, он указывал: «Задача ее та же, что и вообще так называемой естественной истории, только в применении к человеку. Объект ее – разновидности рода Номо»¹⁹⁸. Собственно морфологические и биологические вопросы интересовали Анучина в незначительной степени, «он оставался преимущественно этнологом-историком, занимаясь преимущественно расовой и этнологической антропологией, а также вопросом о происхождении человека, главным образом в области палеоонтологии и палеоэтнографии»¹⁹⁹.

Но это уже был вопрос индивидуальных предпочтений, в то время как понимание предмета антропологии Анучиным отличалось чрезвычайной, даже чрезмерной широтой. В своей большой статье «Антропология, ее задачи и методы»²⁰⁰, приуроченной к открытию в 1879 г. антропологической выставки в Москве, он определял ее как «особую отрасль знаний, посвященную изучению видоизменений человечества». (Дефиниция антропологии как «естественной

¹⁹⁸ Анучин Д.Н. О задачах и методах антропологии. (Доклад, сделанный в заседании Антропологического отдела 3 января 1902 г., устроенном по случаю VIII съезда Общества русских врачей в память Н.И. Пирогова) // Русский антропологический журнал. 1902. № 1. Кн. IX. С. 66.

¹⁹⁹ Бунак В.В. Деятельность Д.Н. Анучина в области антропологии. С. 7.

²⁰⁰ Анучин Д.Н. Антропология, ее задачи и методы // Русские ведомости. 1879. № 74, 75, 77–79.

истории ... в применении к человеку», по существу, является парафразом данного определения.) Под эту максималистскую формулировку, не погрешив, можно подверстать изрядное количество гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. По-видимому, намеренная расплывчатость в определении предмета антропологии вытекала из стремления Анучина сохранить синтез естественных и гуманитарных знаний в ситуации выделения и обособления самостоятельных дисциплин из нерасчлененного конгломерата наук.

В то же время императив дифференциации наук вынуждал Анучина к разделению антропологии, «понимаемой в обширном смысле», «на две главные отрасли: собственно антропологию как антропологию физическую и этнологию, распадающуюся, в свою очередь, на лингвистику (изучающую языки), так называемую историю первобытной культуры, собирающую данные о менее развитых стадиях культуры и старающуюся уяснить себе ход культурного развития человечества, и этногению, задача которой – выяснить связь между различными народами и их последовательное сложение и обособление. Предмет первой отрасли – физической антропологии – различные физические типы или расы человечества». Различие между этими двумя направлениями единой, в классификации Анучина, науки было настолько велико, что он признавал: «...это не тождественные объекты изучения, требующие различной подготовки со стороны исследователя, а потому должны существующие по преимуществу изучаться различными группами специалистов»²⁰¹.

Предельное расширение предметных рамок антропологии было не таким уж уникальным явлением в науке второй половины XIX в. Крупный немецкий этнолог Т. Вайц числил антропологию *метананукой* о человеке, исследую-

щей культуру народов, их психологию и физические признаки; составной частью *такой* антропологии он считал этнологию, ограничивая ее содержание исключительно изучением первобытных народов. Сходство со взглядами Анучина – разительное, хотя следы прямого интеллектуального влияния Вайца (его капитальный шеститомный труд «Антропология первобытных народов» был опубликован в 1858–1872 гг.) на русского ученого не прослеживаются. Это сходство было следствием общего методологического устремления сочетать переживающую кризис старую объектную организацию знания, где объектом выступал *человек в его целостности*, с новой предметной организацией, отдающей *исследование отдельных сторон и аспектов человека* на откуп дифференцирующихся и институционализирующихся дисциплин.

Искусство невозможного: борьба за учреждение кафедры антропологии

В 1876 г. в судьбе Анучина произошел серьезный и крайне благоприятный для его научной карьеры поворот. В октябре 1876 г. от Министерства народного просвещения было получено разрешение учредить при физико-математическом факультете Московского университета кафедру антропологии²⁰². Ее инициатору, А.П. Богданову, удалось привлечь и необходимые для создания кафедры значительные финансовые средства: капитал в 25 тысяч рублей был получен ОЛЕАЭ от К.Ф. фон Мекка. Поскольку квалифицированных кадров за исключением и без того перегруженного Богданова для работы на новой кафедре не было, Анучина командировали за границу сроком на два с половиной года

²⁰¹ Анучин Д.Н. О задачах и методах антропологии. С. 66.

²⁰² Центральный исторический архив города Москвы (ЦИАМ). Фонд 418. Оп. 461. Дело 66. Л. 3.

для подготовки к занятию кафедры²⁰³. Эта длительная стажировка оплачивалась из средств, полученных от Карла фон Мекка. За границей Анучин прослушал курсы в Сорбонне, Берлинском университете и в университетах других городов Европы; во Франции он работал в лаборатории классика физической антропологии П. Брока. Все это время молодой исследователь собирал материалы для московской Антропологической выставки, а на парижской Всемирной выставке 1878 г. организовал русскую часть антропологического отдела, получившую высокую оценку мировой научной общественности. Одновременно Анучин вел самостоятельную исследовательскую работу, готовя магистерскую диссертацию. Он сосредоточился на исследовании аномалий черепа, собрав за рубежом огромный краниологический материал (около 4 тыс. черепов).

В Россию Анучин вернулся в январе 1879 г., имея превосходную научную подготовку, и сразу же вовлекся в интенсивную деятельность по организации московской Антропологической выставки. Одновременно он выступил популяризатором новой научной дисциплины, прежде всего дарвиновской теории, на страницах российской прессы (с лета 1881 г. ученый стал постоянным сотрудником влиятельной газеты «Русские ведомости», а с 1887 г. и ее редактором). По завершении выставки ее фонды были переданы Московскому университету, а Анучину было поручено организовать антропологический музей при университете. Поскольку музею отводилась важная роль в постановке систематического курса антропологии, Анучин подготовил «Записку о пособиях, необходимых при преподавании антропологии», разделив их на три отдела: анатомо-морфологический, палеонтолого-археологический и этнологический. Эта классификация органично вытекала из свойственного

Анучину понимания антропологии как метанауки. Однако фактически музея или антропологического кабинета в университете организовать так и не удалось, многочисленные коллекции и экспонаты ютились в четырех комнатах исторического музея.

В начале 1881 г. Д.Н. Анучин защитил магистерскую диссертацию «О некоторых аномалиях человеческого черепа и преимущественно об их распространении по расам»²⁰⁴, ставшую незаурядным событием в науке того времени. Диссертация продемонстрировала последовательный монотенизм Анучина, стоявшего на позиции видового единства человечества.

Наконец, длительная и упорная подготовка Анучина в области антропологии завершилась давно чаемым результатом: в апреле 1881 г. он был утвержден приват-доцентом по кафедре антропологии²⁰⁵ и приступил к чтению первого в России университетского курса антропологии.

Одновременно ученый стал расширять поле своих исследований в направлении палеоэтнографии (синтеза этнографии и археологии), которую, как уже отмечалось, он числил частью антропологии. Будучи командирован Московским университетом для участия в V археологическом съезде (Тифлис, осень 1881 г.), Анучин прочитал там два реферата: «О породах собак каменного периода на побережье Ладожского озера» и «О вариациях форм древних наконечников стрел». Его интерес к палеоэтнографии носил довольно устойчивый характер и вылился в 1887 г. в фундированное исследование «О древнем луке и стрелах», основу которого составил прочитанный в Тифлисе реферат.

Однако уже в 1884 г. недолгое существование кафедры антропологии было прервано. В новом университетском

²⁰³ ЦИАМ. Фонд 418. Оп. 461. Дело 66. Л. 1, 2.

²⁰⁴ Труды антропологического отдела ОЛЕАЭ. М., 1880. Т. 6.

²⁰⁵ ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 461. Д. 68.

Уставе 1884 г. она не упоминалась, но и прямого запрещения или отмены прежних распоряжений об организации кафедры также не последовало. Хотя в имеющихся источниках вопрос о причинах фактического дезавуирования кафедры антропологии (обратим внимание, существовавшей на частные пожертвования) обойден молчанием, можно предположить, что это было связано с общим изменением политико-идеологического климата в 1880-е годы, когда начались так называемые контрреформы Александра III, призванные стабилизировать российское общество и укрепить государственный контроль над ним.

Правительственная политика в отношении высшего образования претерпела существенное ужесточение. Университетский Устав 1884 г. резко ограничил автономию высших учебных заведений: ректоры, деканы и профессора отныне не избирались, а назначались Министерством народного просвещения, расширялись полномочия инспекторов и их власть как над учащимися, так и над преподавателями. Для ограничения приема студентов из низших сословий («кухаркиных детей») была увеличена приемная плата, вводилось обязательное ношение студентами формы, что позволяло легко их распознать в случае уличных беспорядков. Подобная политика преследовала двоякую цель: с одной стороны, ужесточался государственный контроль над высшим образованием, с другой – общество ограждалось от «развращающего» влияния, пожалуй, самого демократического института тогдашней России.

Идеологическая «сомнительность» антропологии, ее потенциально подрывная роль и негативное влияние на молодежь были слишком очевидны, чтобы допустить существование кафедры антропологии, тем более финансово независимой от государства. Но и прямой запрет научной дисциплины пахивал откровенным мракобесием, вызывая мрачные реминисценции из еще не забытой эпохи Николая I. Вероятно, поэтому умудренная русская бюрократия

предпочла фигуру умолчания в отношении кафедры, не запрещая, но и не разрешая ее. Причем прекрасно осознавалось, что отсутствие официального разрешения в России тождественно фактическому запрету.

Двусмысленность создавшейся ситуации Д.Н. Анучин почувствовал на себе практически сразу. С января 1885 г. он перестал получать денежное вознаграждение за чтение курса антропологии на естественном отделении физико-математического факультета Московского университета. Считая своей нравственной обязанностью продолжать начатое дело, Анучин развернул борьбу если не за сохранение кафедры, то хотя бы за сохранение антропологии как учебной дисциплины, благо в циркулярах Министерства народного просвещения отыскалась лазейка в виде упоминания наук и предметов, которые могли дополнительно вноситься в учебные планы. И Анучин обратился с ходатайством к декану физико-математического факультета (а факультет – к министру просвещения), «чтобы при составлении учебных планов по естественному отделению физико-математического факультета не была бы забыта и антропология», а именно, введена в качестве предмета, который может быть рекомендован студентам «как полезное или даже необходимое дополнение их образования». В конечном счете, это ходатайство было удовлетворено: преподавание антропологии в Московском университете сохранялось за Анучиным, ему также было оставлено заведование антропологическими коллекциями²⁰⁶, однако положение факультативной дисциплины заметно снижало статус антропологии. Да и для самого Анучина в это время на первый план выдвинулась новая для него дисциплина – география.

²⁰⁶ Подробнее об этом см.: ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 461. Д. 69, 166.

Дискуссия о месте географии и этнографии в университетском образовании

Уставом 1884 г. предусматривалось создание в рамках историко-филологического факультета новой кафедры – географии и этнографии. Тем самым увенчалась успехом длительная борьба за введение систематического географического образования в российских университетах. Аргументация в пользу постановки новой дисциплины, изложенная в мнении совета Императорского русского географического общества (ИРГО), выглядела не только пафосно, но и вполне убедительно: «Обширное отечество наше, раскинутое на двух материках, отличается замечательным разнообразием почвы, климата и народов. Изучение всех этих разнообразных элементов природы России, несомненно, составляющее задачу русских граждан, приведет... не только к точнейшему выяснению общих законов земледования, но и к изучению производительных сил различных стран и, наконец, к более полному познанию истории развития всех народов вообще и в частности русского народа»²⁰⁷.

С ноября 1884 г. Анучин был назначен экстраординарным профессором по новой кафедре и занимал ее бессменно вплоть до 1919 г., когда произошло разделение на отдельные кафедры географии и антропологии. Экстренная переквалификация состоявшегося антрополога в географо-неофита (из более 60 статей, опубликованных Анучиным к 1884 г., лишь одна – небольшая заметка «Жертвы американской полярной экспедиции “Жанетты”» – каким-то образом относилась к географии) объяснялась почти полным

²⁰⁷ О постановке преподавания географии в императорских российских университетах. Мнение Совета Императорского Русского Географического Общества // Вестник ИРГО. 1887. Т. 23. Вып. 6. С. 718.

отсутствием в тогдашней России кадров профессиональных географов. До середины 1880-х годов в университетах изучались лишь физическая география и метеорология, поэтому после учреждения специализированных кафедр преподавание географии оказалось в руках людей, ранее весьма далеких от этой специализации. В Петербургском университете географию «насаждал» швейцарский антрополог доцент Э.Ю. Петри, в Киевском – метеоролог П.И. Броунов, в Харьковском – ботаник А.Н. Краснов, в Московском – магистр зоологии Анучин²⁰⁸. Ситуация выглядела парадоксальной: в то время как география читалась естественниками, вновь образованная кафедра числилась по историко-филологическому факультету.

Косвенным образом на размещение кафедры географии именно на истфиле повлияла предшествующая практика: «Вероятным основанием включения кафедры географии в состав истфила послужило то, что преподавание географии в средней школе соединялось в лице одного учителя истории (филолога). Такой опыт уже был – истфил в Петербурге имел “разряд истории и географии”. Кончавших по этому разряду назначали преподавателями истории и географии в гимназиях»²⁰⁹. Однако главным аргументом стало согласие министра просвещения с мнением ученого комитета министерства о желательности учреждения кафедры географии на историко-филологическом факультете²¹⁰. Правда, уже в 1889 г. кафедра была передана физико-математическому факультету.

²⁰⁸ См.: Соловьев А. Кафедра физической географии Московского Государственного Университета с 1917 г. // Ученые Записки МГУ. 1940. Вып. LV. География. С. 53.

²⁰⁹ Кадек М.Г. География в Московском университете до Великой Октябрьской социалистической революции // Ученые Записки МГУ. 1940. Вып. LV. География. С. 27.

²¹⁰ См.: ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 461. Д. 165. Л. 5.

Оживленная дискуссия середины 80-х гг. о месте географии в системе наук и содержании ее предмета, активное участие в которой принял Д.Н. Анучин, имела важное значение для этнографии. К концу XIX в. конкурировали два взгляда на ее положение в общенаучной классификации. Восходившая к началу века точка зрения рассматривала этнографию в предметных рамках географии или в тесной связи с ней, что отразилось в названии новой кафедры – кафедра географии и этнографии. С середины века проявилась тенденция сближения этнографии с естественными дисциплинами. Оба этих теоретических подхода получили организационное воплощение: в 1845 г. отделение этнографии было создано в географическом обществе (ИРГО), а в 1860-е гг. в обществе естествознания (ОЛЕАЭ). Но при этом и саму географию во второй половине XIX в. все более отчетливо и настойчиво причисляли к естествознанию. Таким образом, в любом случае этнография оказывалась в содружестве естественных дисциплин.

Точка зрения о принадлежности этнографии к гуманитарному циклу в последней четверти XIX в. была уже сформулирована, но не пользовалась успехом и не выглядела бесспорной даже для профессуры Казанского университета, при котором в 1878 г. было учреждено Общество археологии, истории и этнографии, предвосхитившее современный принцип группировки дисциплин исторического цикла.

Критическая зависимость этнографии от самоопределения географии подчеркивала ее неполноценный и зависимый статус в существовавшей системе научного знания и провоцировала неизбежные коллизии при поиске общего места для двух разнородных дисциплин, кардинальное отличие в предметах которых не только хорошо ощущалось эмпирически, но и осознавалось теоретически. Достаточно привести мнение видного русского антрополога и основоположника ОЛЕАЭ А.П. Богданова, который указывал, что этнография как наука, касающаяся «изучения и исследования челове-

ских племен», не ограничивается «только естественно-исторической областью, но прямо или косвенно стоит в связи со многими важными вопросами наук гуманитарных, социальных и философских»²¹¹. Иначе говоря, в его трактовке предметное поле этнографии, не отделяясь еще от естествонаучного комплекса, оказывалось в пограничной зоне – на стыке естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, будучи связано с последними не менее плотно и интенсивно, чем с естествознанием. Аналогичную позицию занимал и Д.Н. Анучин.

Эта точка зрения сохраняла свою силу вплоть до начала XX в., а в дискуссии о предмете этнографии и месте соответствующей кафедры в системе высшего образования на XII съезде естествоиспытателей и врачей (конец 1909 – начало 1910 г.) защищалась одним из ведущих теоретиков русской этнографии А.Н. Максимовым, называвшим этнографию «связующим звеном между естествознанием и обществоведением»²¹². Его позиция была попыткой компромисса между все еще влиятельным мнением, относившим этнографию к естественным наукам и приобретающей сторонников точкой зрения о ее принадлежности к историко-гуманитарному циклу.

Но эта сугубо этнографическая дискуссия была еще впереди, в то время как в последнее двадцатилетие XIX в. сама постановка вопроса о преподавании этнографии в университетах оказалась возможной лишь в рамках институционализации географии.

Дискуссия о кафедре географии была начата в 1883 г. Новороссийским университетом, особая комиссия которого,

²¹¹ Цит. по: Алексеева Л.Д. Московский университет и становление преподавания этнографии в дореволюционной России // Вестник Московского ун-та. Сер. 8. История. 1983. № 6. С. 54.

²¹² Максимов А.Н. Современное положение этнографии и ее успехи // ЭО. 1909. Кн. LXXXIII. № 4. С. 24.

рассмотрев вопрос об учреждении в университете кафедры географии, предложила создать ее вне факультетов и включить в состав кафедры землеведение, историческую географию и этнографию. В то же время один из членов комиссии высказал мнение о принадлежности кафедры географии к историко-филологическому факультету, поскольку содержание ее составляет «только то, что относится к человеку, а все касающееся земли должно быть отнесено к существующей уже кафедре физической географии»; соответственно на кафедре следовало изучать политическую географию со статистикой, этнографию и историческую географию. Ученый комитет министерства принял сторону отдельного мнения, а согласие министра с этой позицией означало ее легализацию и проведение в жизнь. Но при этом ученый комитет вряд ли исходил из того, что география относится к гуманитарному знанию, им двигали прагматические мотивы: невозможность обеспечить квалифицированное преподавание широкого круга разнообразных и далеко отстоящих друг от друга дисциплин, какие предлагались комиссией Новороссийского университета. Поэтому ученый комитет счел необходимым «ограничиться только группою предметов более или менее сродных, как это сделано в отдельном мнении члена Комиссии. *При таком составе наук, можно надеяться, скорее найдутся молодые люди, способные к занятию кафедры географии* (курсив мой. – Т.С.)»²¹³.

Однако эта точка зрения, за которой, как можно понять, не было принципиальной позиции, настолько противоречила устоявшемуся в научной среде отнесению географии к естествознанию, что встретила немедленный и решительный отпор. В начале 1884 г., то есть уже после причисления кафедры географии к истфилу, комиссия Казанского университета подвергла резкой критике узкое понимание предмета геогра-

фии, которым из прагматических соображений предпочел руководствоваться министерский комитет. По мнению Казанского университета: «Человек не может быть отделен от окружающих его естественно-исторических условий, и никто еще не суживал так пределы географической науки...». Казанская профессура недвусмысленно заявила о принадлежности кафедры к физико-математическому факультету, предложив сделать главный акцент на изучении общего землеведения, а физическую географию рассматривать как дополнительную науку. В таком же положении вспомогательной дисциплины оказывалась и этнография, которая, как указывали казанцы, не входит в состав наук ни физико-математического, ни историко-филологического факультетов. То есть этнография фактически выбрасывалась за борт, что, по мнению физмата Казанского университета, было необходимо для устранения неудобства принадлежности кафедры географии двум факультетам²¹⁴.

Казанский университет выразил доминировавшую в научном сообществе позицию о принадлежности географии к естественнонаучному циклу, и уже в конце 1885 г. Министерство народного просвещения предложило университетам высказаться по вопросу о возможности учреждения на физмате особого географического отделения. В 1886–1887 гг. к дискуссии подключилось ИРГО, поддержавшее эту идею и образовавшее специальную комиссию для изучения вопроса. Его активность, по-видимому, была инициирована министром просвещения И.Д. Деляновым, который сам склонялся к мысли о переносе кафедры географии на физмат. Вокруг важного, но все же частного вопроса о преподавании географии Деляновым вообще была поднята изрядная шумиха, смысл которой можно определить как саморекламу министра просвещения.

²¹³ См.: ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 461. Д. 165. Л. 2–5.

²¹⁴ См.: ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 461. Д. 165. Л. 8–9.

В результате было создано несколько комиссий, в которых одной из главных фигур оказался Анучин. Комиссия ИРГО запросила его мнение, для истфила Московского университета Анучин писал отзыв и вошел также в комиссию физмата. Выступая за перенос кафедры на физмат, поскольку на истфиле она находилась в изолированном положении, Анучин вместе с тем рассматривал географию как возможность синтеза гуманитарных и естественных наук, дисциплину, находящуюся на стыке истории и естествознания. В «Истории развития земледования», своем первом курсе по географии, он говорил студентам: «География, или наука о Земле, собственно о земной поверхности, и еще более этнография, или наука о племенах и народах человечества, являются существенным дополнением к истории, расширяют ее кругозор, разъясняют многие исторические явления и способствуют лучшему пониманию хода развития человеческой культуры»²¹⁵. Поэтому если физическая география должна преподаваться главным образом физикам и специалистам по естествознанию, то сравнительное земледование (*Vergleichende Erdkunde* по Риттеру) в соединении с этнографией может с успехом читаться на истфиле; историческая же география остается уделом специалистов-историков²¹⁶.

Недвусмысленное стремление Анучина развести этнографию и географию по разным дисциплинарным квартирам, хотя и сохранив их тесные связи и взаимодействие, с неизбежностью вытекало из присущего ему ясного понимания кардинальных различий предметов этих наук. При этом он поставил важный вопрос о выделении этнографии как само-

стоятельной дисциплины, входящей в семью исторических наук. Хотя эта позиция высказывалась в научном сообществе и раньше, впервые появился шанс ее реализации в системе университетского образования.

Аргументация Анучина оказалась настолько убедительной, что совет Московского университета счел желательным иметь две отдельные кафедры географии – на истфиле и на физмате. Однако тем же Анучиным была показана невозможность подобного решения ввиду катастрофической нехватки профессиональных кадров. И действительно, после окончательного перевода с 1 января 1889 г. кафедры географии на физмат (фактически это было предreshено еще в 1887 г., когда начались занятия по географии на естественном отделении физмата) более никаких географических курсов студентам-историкам не читалось.

Произошедшее отчасти под давлением организационно-кадровых и материальных обстоятельств, а отчасти вследствие влияния господствующей теоретической парадигмы включение этнографии в состав естественнонаучного цикла имело для нее, в общем, негативные последствия. Фактический отрыв этнографии от других социальных наук лишил студентов, специализирующихся в этнографии, возможности получать общую историческую подготовку. Вкупе с характерным для Анучина сведением предмета этнографии к изучению естественнонаучными методами культуры первобытных народов это неизбежно ограничивало тематическое поле исследований: научные интересы фокусировались на истории первобытного общества, его пережитках в современности и вопросах материальной культуры, изучение общественного строя, семьи и духовной культуры выносилось за скобки. Хотя в творчестве самого Анучина, отличавшегося широкой эрудицией и беспрецедентной научной разносторонностью, это обособление этнографии от исторических наук не было заметно, оно ярко проявилось в работах его учеников, которые, прекрасно освоив разработанную Ану-

²¹⁵ Анучин Д. Курс лекций по истории земледования. М., 1885 (лиотографированное издание). Цит. по: Есаков В. Д.Н. Анучин и создание русской университетской географической школы. М.: АН СССР, 1955. С. 126.

²¹⁶ Кадек М.Г. Указ. соч. С. 32.

чинным методикой изучения материальной культуры, оказались не в состоянии вписать свои исследования в исторический контекст. (Примером могут служить этнографические работы А.И. Колмогорова, Н.А. Янчука.)

В конце XIX в. влияние естественных наук на разработку исследовательских *методик* этнографии оказалось, видимо, единственным (хотя и существенным) плюсом от ее включения в семью естествознания, где она оказалась чужеродным телом. (Другие *потенциальные позитивные* возможности сотрудничества этнографии и естествознания реализовались лишь несколько десятилетий спустя.) Хотя Анучин называл этнографию *равноправной* участницей тройственного союза дисциплин – собственно физической антропологии, доисторической археологии и этнографии (так называемой анучинской триады) – в рамках широко понимаемой антропологии как «естественной истории человека» и отдавал отчет в специфике предмета этнографии, в действительности, как следует из содержания учебного процесса на кафедре, она находилась в подчиненном и зависимом положении.

И все же точка зрения, довольно высоко ставившая *номинальный* статус этнографии, открывала перед ней хотя бы *перспективу* развития, в то время как в Петербургском университете она вообще была низведена до уровня вспомогательной дисциплины, специфической методики сбора и обработки полевого материала, что увековечивало ее научную неполноценность²¹⁷.

Таким образом, ситуация с этнографией в Московском университете напоминала матрешку: она развивалась в контексте институционализации географии. При этом определение места этнографии было лишь теоретическим аспектом проблемы институционализации. Несравненно более тяже-

²¹⁷ См.: Алексеева Л.Д. Указ. соч. С. 59–60.

лым делом оказалась организация учебного процесса в условиях тотального отсутствия педагогических кадров, отечественных учебников, опыта преподавания и методических наработок, материальной базы. В этом смысле отечественная география и этнография представляли собой *tabula rasa*.

Институционализация этнографии в Московском университете

Не удивительно, что Анучину пришлось опереться на опыт германских университетов, позаимствовав программы учебных курсов и литературу – даже география и этнография России изучались по иностранным книгам. И хотя впоследствии Анучин критиковал преподавание географии в немецкой системе образования за склонность к нагромождению изолированных фактов в ущерб установлению каузальных связей, а К. Риттера упрекал за «географическую телеологию» (попытку объяснить развитие человеческой культуры преимущественно влиянием географических условий), понимание русским ученым содержания предмета географии формировалась под явным влиянием идей В. Гумбольдта и К. Риттера. Последние включали в географию общую физическую географию, антропогеографию, курс страноведения, курс отечествоведения и антропологические дисциплины. Анучин же подразделял географию на два больших раздела: 1) общую географию (или общее землеведение), включающую астрономическую географию, физическую географию, биогеографию (географию растений и животных), антропогеографию (географию населения) и 2) частную географию или страноведение²¹⁸. Единственное существенное отличие по сравнению с немецкими авторами состояло в том, что Анучин добавил

²¹⁸ Анучин Д.Н. География // Энциклопедический словарь братьев Гранат. Т. XIII. 1912. С. 236–253. Эту статью см. в книге: Анучин Д.Н. Избранные географические работы. С. 29–39.

биогеографию. Кроме того, он уделял большое внимание истории географии как науки: первым лекционным курсом Анучина по географии был построенный по готовым образцам западноевропейских авторов науковедческий курс «История развития земледования»²¹⁹.

Курс общего земледования Д.Н. Анучин стал впервые читать в 1885/1886 учебном году. В следующем учебном году к нему добавилась «Древняя география» (историческая география), а с осени 1887 г. – курс географии России. Осенью 1888 г. Анучин приступил к курсу общей этнологии, где в качестве основных пособий использовались переводные работы О. Пешеля («Народоведение»), Э. Тайлора («Антропология», «Первобытная культура») и Дж. Леббока («Начало цивилизации»). Полугодом ранее, весной 1888 г., Анучин впервые в отечественных университетах начал читать систематический курс этнографии России, пособиями по которому служили этнографические карты А.Ф. Риттиха, М.И. Венюкова и работы Э. Реклю по европейской и азиатской географии России. Обстоятельных учебников, тем более отечественных, по этнографии и географии России не было, а качество существующих учебных пособий сам Анучин оценивал более чем критически: «По отношению к этнографии России следует указать, что мы не имеем ни удовлетворительного общего сочинения, ни достаточно верной подробной этнографической карты, так как созданная лет двадцать назад карта Риттиха (касающаяся только Европейской России) во многих отношениях неполна, неверна и притом устарела...»²²⁰

Прослеживается несомненная связь между откровенно слабым (в смысле учебников и обобщающих работ) обеспе-

чением университетского преподавания этнографии и общими задачами этой науки, сформулированными Анучиным в программной статье «О задачах русской этнографии» в первом номере «Этнографического обозрения» (1889 г.). Он предостерег против дальнейшего наращивания эмпирических исследований, поскольку накопленных материалов по отечественной этнографии вполне достаточно. Но ввиду разрозненности сведений они нуждались в систематизации, научной организации, анализе и подготовке на этой основе монографических описаний отдельных народов и исследований сравнительного характера.

Весной 1889 г. после перемещения кафедры на естественное отделение физмата Анучин прочитал курс географии Азии – первый страноведческий курс по зарубежным странам в Московском университете, в 1890 г. – курс физической географии; в том же году он стал вести географический семинарий, которым руководил вплоть до 1917 года.

В начале 1890-х годов определился круг курсов, читавшихся на кафедре географии и в основных чертах сохранявшийся до 1917 г. Он включал физическую географию, географию России, географический семинар, географию Азии (позже – некоторых европейских стран), этнографию России, общую этнологию (если этнография считалась конкретно-описательной, то этнология – теоретической и сравнительной дисциплиной), антропологию и антропологию России (включая практические занятия по антропологии). Этнография России – «обзор населяющих Россию народностей» – читалась не каждый учебный год²²¹.

Когда в 1905 г. на кафедре была введена специализация, она получила название «география и антропология». Повышению статуса антропологии немало способствовала интеллектуальная и эмоциональная привязанность Анучина

²¹⁹ Кадек М.Г. Указ. соч. С. 30.

²²⁰ Анучин Д.Н. Земледование в России (несколько слов о развитии русского земледования). 1894 // Анучин Д.Н. Избранные географические работы. С. 77.

²²¹ См.: Кадек М.Г. Указ. соч. С. 36, 38.

к этой науке: антропология была его не единственной, но главной любовью, верность которой он пронес через всю жизнь. Важным фактором послужило и наличие при университете Антропологического музея с богатыми антропологическими, археологическими и этнографическими коллекциями, составившими материальную базу преподавания.

Учебный план специальности «антропология» разработал Анучин, он читал и все основные лекционные курсы. В их число входил обязательный курс общей этнологии, на который отводился один семестр, и факультативный курс этнографии России. Как видим, этнографии уделялось не столь уж значительное внимание, хотя постановка даже *относительно* систематического ее преподавания стала, безусловно, важным шагом в подготовке *профессионалов*, для которых этнология была научной специальностью, а не увлечением или факультативным интересом.

Подытоживая опыт деятельности кафедры географии и этнографии Московского университета в дореволюционный период, можно отметить следующее. Развертывание кафедры совпало со вступлением России в эпоху бурного экономического развития, что, казалось бы, объективно должно было способствовать повышению прикладного значения географии, стимулировать ее развитие и расширение географического образования. Но, хотя позитивная динамика присутствовала, общее состояние географии в университете и за его стенами не внушало оптимизма, а ее социальный статус оставался довольно низким.

К середине 1890-х годов, то есть спустя десятилетие после учреждения кафедры, география читалась уже в половине русских университетов, что было явным достижением при дефиците квалифицированных преподавателей (достаточно упомянуть, что у Анучина на кафедре долгое время не было штатных сотрудников). Однако масштабы подготовки кадров оставались довольно скромными: в 1907–1917 гг. физмат Московского университета выпустил по географиче-

ской специальности около ста человек, причем львиная доля выпускников пришлась на годы Первой мировой войны (1916 г. дал рекордную цифру – 37 человек) – до войны выпуск порою составлял лишь два-три человека. Не лучше обстояло дело и с преподавательским корпусом: в императорской России за сорок лет докторскую степень по географии получили лишь пять человек, причем для троих из них география представляла побочный интерес, лишь немногим более было магистров, которые, в основном, вышли из Московского университета²²².

Что уж тут говорить об этнографии, оказавшейся на кафедре географии если не падчерицей, то точно нелюбимым ребенком. Между тем в Московском университете был представлен альтернативный взгляд на место этнографии в системе наук, предполагавший ее интеграцию в гуманитарный цикл. Его общим методологическим основанием послужило принципиальное разграничение предметов антропологии и этнографии: первая характеризовалась как наука «преимущественно естественно-историческая», этнография – как дисциплина «преимущественно общественная», синтезом выводов этих дисциплин должна была заниматься социология. Эта позиция была близка современной классификации наук.

Напомню, что видевший в антропологии метанауку Анучин не был противником альтернативного взгляда; наоборот, именно ему изначально принадлежала идея создания кафедры этнографии на истфиле. Но неоднократные попытки ее реализации оказались безуспешными. Тем не менее, преподавание этнографии на истфиле удалось сохранить, хотя оно не носило систематического характера, а курсы были факультативными. Их читали В.М. Михайловский (1892–1896), Н.Н. Харузин (1896–1900),

²²² См.: Кадек М.Г. Указ. соч. С. 41, 43.

Р.Ю. Виппер (1910–1911, 1914–1915). Однако отсутствие этнографической специализации, систематичности и непрерывности преподавания, а также кадрового костяка преподавателей-этнографов не дало возможности кристаллизоваться на истфиле, в отличие от физмата, институционального ядра этнографии как учебной дисциплины.

Таким образом, к рубежу XIX и XX вв. наметились две линии этнографического образования в Московском университете: одна интегрировала его в естественнонаучный цикл, другая тяготела к гуманитарному. Причем эти тенденции сложились не спонтанно, а вытекали из различных теоретических обоснований предмета этнографии и ее места в системе наук. Конкуренция двух подходов к этнографическому образованию, в модифицированном виде продолжавшаяся до конца 1920-х гг., распыляла и без того незначительный организационно-кадровый потенциал этнографии, сдерживала ее оформление как самостоятельной науки. Но были в этой конкуренции и позитивные стороны: шла апробация различных моделей этнографического образования, выкристаллизовывались наиболее эффективные формы и методы учебной работы.

В дореволюционной истории кафедры географии Московского университета самым богатым по числу курсов и преподавателей оказался 1910/1911 учебный год. В это время на кафедре помимо Анучина работали состоявшие в должности ассистентов приват-доценты А.А. Ивановский (антрополог, читал на кафедре с 1904 г., получил докторскую степень по географии), А.А. Крубер (в 1907 г. Анучин поручил ему курс географии России), А.И. Колмогоров (этнограф, читал с 1909 г.) и не являвшийся ассистентом С.Г. Григорьев (с 1904 г.). В 1913 г. на кафедру пришли А.А. Борзов и Б.Ф. Добрынин, в 1914 г. – приват-доцент антрополог Е.М. Чепурковский, в 1916 г. – выдержавший магистерский экзамен И.С. Щукин. Однако в связи с уходом ряда преподавателей кафедры по политическим мотивам в на-

чале 1911 г. ее численность восстановилась лишь накануне Октябрьской революции. В 1916 г. преподавателями кафедры географии и этнографии наряду с Анучиным (читал общее землеведение и историю географии), состояли А.А. Борзов (география России), Б.Ф. Добрынин (страноведение), Е.М. Чепурковский (антропология и явления наследственности), географический семинар вели М.С. Боднарский и И.С. Щукин, практическими занятиями по антропологии некоторое время руководил А.И. Колмогоров.

Положение с учебными пособиями улучшалось довольно медленно. К работам Э. Реклю добавились учебник А.А. Баранова для средней школы, «Краткий курс географии России» Лесгафта (с 1905 г.), посвященные России статьи в 54 и 55-м томах энциклопедии Брокгауза и Ефрона, географические атласы А.А. Ильина. Внес свою лепту и Анучин: студентам рекомендовалась его статья о рельефе европейской России, носившая скорее науковедческий характер (журнал «Землеведение», 1895 г.), и изданный в 1904 г. литографированный конспект лекций по физической географии. При изучении этнографии России использовались труды Фр. Ратцеля и «Этнография» (вып. 1–4, СПб., 1901–1905) Н.Н. Харузина²²³.

Работа Харузина стала фактически первым отечественным учебником по этнографии, которым пользовались в Московском университете – как на истфиле, так и на физмате. К сожалению, его автору, оказалось, отпущена недолгая жизнь (1865–1900), но за этот короткий срок он успел оставить яркий след в науке. Представитель известной семьи русских историков и этнографов Николай Николаевич Харузин получил юридическое образование в Москве, а этнографическое – в Юрьеве (Тарту). Его научные интересы характеризовались чрезвычайной разносторонностью (ар-

²²³ Кадек М.Г. Указ. соч. С. 37, 38, 50.

хеология, быт и обычное право народов Северного Кавказа, история, материальный быт и религиозные верования народов Севера и т.д.), а исследовательская деятельность – высокой интенсивностью (опубликовал около 40 научных работ, многие из которых были классическими для своего времени, а монография 1890 г. о русских лопарях получила золотую медаль ОЛЕАЭ). Н.Н. Харузин был одним из создателей и первым техническим редактором «Этнографического обозрения», первые выпуски которого издавались на его личные средства (выходец из богатой московской купеческой семьи, Харузин имел в своем распоряжении свободные финансовые средства). Кроме лекций в Московском университете, Харузин читал курсы по этнографии народов мира и истории первобытного общества в Лазаревском институте восточных языков. Лекции по общей этнографии были изданы посмертно, под редакцией сестры Николая – Веры Николаевны Харузиной.

Последовательный эволюционист, Харузин трактовал этнографию как «науку, которая, изучая быт отдельных племен и народов, стремится отыскать законы, согласно которым шло развитие человечества на низших ступенях культуры» (курсив мой. – Т.С.)²²⁴. То есть в понимании предмета этнографии он следовал линии Тайлора.

В рамках своих занятий географией Анучин предпринял несколько самостоятельных экспедиций – самостоятельных, поскольку полевая практика университетских географов находилась в загоне. И не только по причине отсутствия средств – в полевой работе попросту не усматривали смысла. Показательно, что в марте 1914 г. на заседании студенческого географического кружка Московского университета был заслушан доклад «Работа географа в поле», доказывав-

ший необходимость полевых исследований!²²⁵ Понятно, что отсутствие полноценной полевой практики создавало обширную лакуну в профессиональной подготовке географов, тем более их учителя также чаще всего не имели подобного опыта. Возможно, поэтому некоторые из них считали его необязательным и для студентов.

Несколько парадоксально, что, оставаясь в области этнографии исключительно кабинетным ученым, Анучин оказался не чужд полевой работе в географии. Более того, он даже стал автором небольшого открытия, обнаружив в ходе одной из своих экспедиций, что высшей точкой Валдайских гор является вовсе не Попова гора, как утверждалось во всех тогдашних географических учебниках, а гора Каменник. Возможно, отсутствие в научном багаже Анучина опыта профессиональных этнографических полевых исследований было связано с тем, что *палеоэтнография*, которой он занимался, предполагала кабинетный стиль работы.

Вообще в первые годы существования новой кафедры Анучин был вынужден всецело сконцентрироваться на организации учебного процесса – разработке учебных программ и курсов, подготовке и чтении лекций. На его долю выпала трудная, ответственная и не очень заметная внешне работа по закладке фундамента географической науки в России. Учитывая ограниченность материально-финансовых и кадровых условий, справился он с нею наилучшим образом и, без преувеличения, выступил основателем отечественной географической школы. Но не в плане разработки концепций и теорий, а как организатор географического образования – профессионального и школьного и создатель институционально-кадровой структуры науки.

В 1892 г. по инициативе Анучина было открыто географическое отделение ОЛЕАЭ. В том же году он выступил ор-

²²⁴ Цит. по: Токарев С.А. История русской этнографии. С. 425.

²²⁵ Кадек М.Г. Указ. соч. С. 40.

ганизатором Географической выставки в Москве, составившей позже университетский географический музей (за отсутствием места в университете он размещался в помещениях Исторического музея). Одновременно в 1892 г. Анучин совместно с А.П. Богдановым организовал проведение в Москве XI сессии Международного конгресса по доисторической археологии и антропологии. Двумя годами позже, в 1894 г., Анучин основал журнал «Землеведение», оставаясь его руководителем на протяжении 30 лет.

В рамках географического образования происходила и одновременная институционализация этнография, хотя в ее отношении успехи были не столь значительны. И все же она утвердилась в университетских стенах, получив статус отдельной учебной дисциплины, в чем состоит непреходящая заслуга Анучина перед отечественной этнографией вообще и университетской – в особенности.

*Исследовательская деятельность Анучина
в последней четверти XIX – начале XX века*

Антропология оставалась главной любовью Анучина, благо ее преподавание удалось сохранить в рамках кафедры географии. Во второй половине 1880-х годов все свободное время он отдавал работе над крупным исследованием в основе своей, безусловно, антропологическим, но включавшим также этнографические и географические материалы. Опубликованная Анучиным в 1889 г. работа «О географическом распределении роста мужского населения России» была выдающимся для того времени исследованием и получила золотую медаль ИРГО. В центре внимания автора оказался вопрос о географических факторах роста. Впервые он был поставлен в 60-е годы XIX в. французским антропологом П. Брока, видевшим причину вариаций роста в различном расовом составе населения. Альтернативная точка зрения предлагала искать объяснение в условиях природного рельефа и уровне благосостояния населения.

Основываясь на данных всеобщей воинской повинности за 1874–1883 гг., Анучин установил два главных центра высокорослости – в южных губерниях и в Прибалтике, и два главных центра малорослости – на востоке европейской части России и на крайнем западе. Ему удалось доказать, что картина распределения роста не может быть объяснена исключительно географическими условиями и уровнем благосостояния: «Условия питания и среды скорее способны влиять на ритм роста, чем на его конечную величину»²²⁶. Первопричину географических вариаций роста Анучин усматривал в истории заселения восточной Европы, обусловившей различия в этническом составе населения.

Вопросы этнической и расовой антропологии интересовали Анучина в первую очередь. И хотя здесь он никогда не был крупным теоретиком (да и не претендовал на подобную роль), его безусловной заслугой стало накопление обширного фактического материала по расовому составу населения России (Анучин руководил его сбором) и подготовка первых обобщающих работ по расовой антропологии населения империи, публиковавшихся в энциклопедии Брокгауза и Ефрона. В этом издании Анучиным были последовательно опубликованы статьи «Великороссы», «Евреи в антропологическом отношении», «Малороссы в антропологическом отношении», «Россия в антропологическом отношении», «Славяне (антропология)».

В расовой антропологии Анучин придерживался точки зрения о разграничении «расы» как биологической категории и понятий «племя», «народ», «нация» как категорий исторических. Он полагал, что границы рас не совпадают с границами племен и народностей, этнографические типы не совпадают с антропологическими, а комплекс расовых

²²⁶ Цит. по: Левин М.Г. Указ. соч. С. 10.

признаков представляет подверженную изменениям динамическую систему²²⁷.

1889 г. стал важной вехой в жизни Анучина, принеся признание его заслуг научной корпорацией. В сентябре совет Московского университета присвоил Анучину степень доктора географии *honoris causa* (без представления диссертации) за совокупность научных трудов по антропологии, этнографии и географии. А в следующем, 1890 г., вновь испеченный доктор был избран председателем ОЛЕАЭ (и занимал этот пост до своей смерти в 1923 г.), что означало наряду с высокой аттестацией разносторонних научных достижений признание незаурядных организаторских талантов Анучина. Но и это был не последний лавр в увенчавшем его венке научной славы.

В 1896 г. группа академиков предложила избрать на освободившуюся кафедру зоологии зоолога, занимающегося антропологией, имея в виду конкретно Анучина. На общем собрании Академии наук он был избран ординарным академиком с 25 голосами за и восемью против. Но поскольку для занятия академической кафедры предстояло переехать в Петербург, Анучин, не желая оставлять формирующиеся в Москве научные школы географии и антропологии, а без него они вряд ли смогли бы состояться, отказался от звания ординарного академика. Тогда АН избрала его своим почетным членом.

В 90-е годы XIX и начале XX в. Дмитрий Николаевич Анучин вел исследовательскую работу параллельно в трех направлениях: антропологии, палеоэтнографии и сравнительно новой для него географии. При своей экстраординарной загруженности он нашел время и возможность для самостоятельных исследований во всех этих областях.

Возглавив ОЛЕАЭ, Анучин активизировал работу его антропологического отдела, который стал школой первого

поколения русских антропологов. В 1900 г. на базе антропологического отдела был основан «Русский антропологический журнал», выходивший до 1937 г. В связи с устойчивым интересом к расовой проблематике исследователь принял участие в дискуссии о возможности и пределах применения математических методов в антропологии. Не отвергая их в принципе, Анучин выступил против абсолютизации математического направления как ведущего к чрезмерным абстракциям и фактически элиминирующего исторические и биологические интерпретации. Более корректным и адекватным ему казался биометрический метод²²⁸.

Однако персональные научные предпочтения отнюдь не мешали плодотворному сотрудничеству Анучина с представителями различных направлений в антропологии: на возглавляемой им кафедре географии и этнографии в разное время работали как последователь математической школы в антропологии А.А. Ивановский, так и основатель биометрических методов Е.М. Чепурковский. Говоря современным языком, мы охарактеризовали бы Анучина как сторонника методологического плюрализма, понимающего безусловную важность и плодотворность сосуществования и взаимообогащения различных теоретических подходов.

Большой интерес проявлял Анучин к антропогенезу, считая своим общественным долгом пропагандировать эволюционистский взгляд на эту проблему. Его работы в этой области «Происхождение человека и его ископаемые предки» (1912) и «К вопросу о древнейших людях» (1916) не представляли самостоятельной теоретической ценности, будучи популярным изложением дарвиновской теории.

Вероятно, для современного читателя более интересной оказалась бы начатая Анучиным работа об антропоморфизме черта (!) и «антропологический этюд» о Пушкине.

²²⁷ Левин М.Г. Указ. соч. С. 12.

²²⁸ Там же. С. 13.

Однако они так и не получили завершения, что было неудивительно при свойственной Анучину манере переключаться с одной темы на другую, надолго оставляя предшествующую без внимания. В этом была одновременно его сила – разносторонность научных познаний, и слабость – невозможность одинаково глубоко погрузиться во множество интересовавших его проблем. Как преподавателю это шло Анучину на пользу, но исследовательская сторона скорее страдала.

В 1890-е годы по-прежнему сохранялся интерес Анучина к палеоэтнографии – синтезу этнографии и археологии, где им были выпущены по крайней мере три, заслуживающие упоминания работы: «Сани, лабя и кони как принадлежности похоронного обряда», «К истории ознакомления с Сибирью до Ермака» (обе в 1890) и «К истории искусства и верований приуральской чуди» (1899).

По горячим (в прямом и переносном смысле) следам русско-японской войны, в 1906 г., Анучин выпустил страноведческий очерк о Японии. Также он занимался обработкой рукописного наследия Н.Н. Миклухо-Маклая, первый том которого увидел свет в 1923 г., уже после смерти Анучина²²⁹.

Признанием заслуг Анучина в области этнографии не столько исследовательских, сколько организаторских и учебно-методических стало избрание его председателем этнографического отдела ОЛЕАЭ в 1914 г.²³⁰.

К началу второго десятилетия XX в. Дмитрий Николаевич сосредоточил в Москве в своих руках ключевые административные позиции одновременно в трех дисциплинах – географии, антропологии и этнографии. С одной стороны, это свидетельствовало о ключевой роли Анучина в становле-

нии этих наук, в их институционализации, с другой – подтверждало слабость (организационно-кадровую и материально-техническую) новых дисциплин, самостоятельное существование которых оказалось возможным во многом благодаря феноменальным усилиям и энтузиазму одного лишь человека.

Деятельность Анучина при новой власти

Шанс реализовать свои идеи появился у Анучина только после большевистской революции. Его сотрудничество с Советами вряд ли можно объяснить идеологическими симпатиями, которых никогда не было, скорее наоборот, была сдержанная антипатия. Но именно вследствие революции стала формироваться принципиально новая парадигма отношений между государством и наукой, открывшая для последней небывалые возможности.

Императив модернизации резко повысил социальный статус географии, этнографии и антропологии. Первая стала рассматриваться как непосредственная производительная сила, вторая оказалась в авангарде модернизации, политической и бытовой социализации – «вовлечения в социалистическое строительство» – окраинных народов прежней империи. Антропологии же предстояло сыграть решающую роль в формировании научной картины происхождения человека и опровержении «религиозных предрассудков».

При обзоре деятельности Анучина в постоктябрьский период создается впечатление, что у немолодого уже ученого открылось второе дыхание, настолько он был активен. Эта активность вылилась в научно-организаторскую (прежде всего), учебную и популяризаторскую деятельность; самостоятельных исследований Анучин более не вел.

В 1919 г. в результате разделения кафедры географии на две возникла наконец-то самостоятельная кафедра антропологии, за которую Анучин безуспешно бился несколько десятилетий. Кафедру географии он передал своему

²²⁹ Об этом подробнее см.: *Тумаркин Д.Д.* Анучин и Миклухо-Маклай. С. 5–37.

²³⁰ *Берг Л.С.* Указ. соч. С. 391.

ученику А.А. Крубери, а сам возглавил кафедру антропологии, где предполагалась специализация по антропологии и этнологии, а также доисторической археологии.

В 1918 г. начала осуществляться еще одна давнишняя задумка Анучина: при кафедре географии была создана комиссия по вопросу «об учреждении в России географического института». Институт открылся по окончании гражданской войны, в 1922 г., и Дмитрий Николаевич стал его первым директором. Правда, институт этот находился в составе Московского университета, а не Академии наук, входя в Ассоциацию НИИ физмата университета. Анучин редактировал и рецензировал карты Атласа России, изданного в 1921 г. В 1922 г. Госплан пригласил его работать в секции «Человек как экономический фактор производства». В том же 1922 г. возобновился приостановленный на время выпуск журнала «Землеведение» под редакцией Анучина и Крубера.

Анучин возглавил Московское археологическое общество, географическое отделение Коммунального музея Москвы (ныне Музей истории и реконструкции Москвы) и комиссию по созданию Центрального этнографического музея в Москве. С 1919 г. он сотрудничал с Российской академией истории материальной культуры (РАИМК), которая летом 1920 г. снарядила по его проекту экспедицию в район среднего течения Оки.

В 1921 г. Анучин выступил одним из членов-учредителей Всероссийской научной ассоциации востоковедения при Наркомнаце и вошел в состав комиссии по подготовке экспедиции в Афганистан. В 1923 г., уже после смерти ученого, вышел в свет его страноведческий сборник «Афганцы и Афганистан».

Значительным было участие Анучина в развитии системы высшего и среднего образования. Он вошел в учредительную комиссию по созданию высших учебных заведений, где разрабатывал структуру и подбирал кадры для

Ташкентского и Уральского (в Екатеринбурге) университетов. В Центральном естественно-педагогическом институте (ЦЕПИ) ученый возглавил научно-методическую работу по созданию советской трудовой школы²³¹.

Работоспособность и научную форму он сохранял буквально до последних дней жизни. Еще 24 апреля 1923 г. Анучин председательствовал на 152-м заседании географического отделения ОЛЕАЭ, а уже 4 июня его не стало.

Однако остался главный итог научной жизни Анучина – три вставшие на крыло дисциплины: антропология, география, этнография, которые как самостоятельные науки состоялись во многом, если не исключительно, благодаря его феноменальным усилиям. Осталось множество выпестованных им учеников, определивших лицо этих наук. В географии это Л.С. Берг, А.А. Борзов, М.А. Боголепов, М.С. Боднарский, С.Г. Григорьев, Б.Ф. Добрынин, А.А. Крубери, И.П. Силинич, А.А. Сеницкий, И.С. Щукин и др. В антропологии и этнографии – Б.Ф. Адлер, В.В. Бунак, Б.Н. Вишневский, Б.С. Жуков, А.А. Ивановский, А.И. Колмогоров, Б.А. Куфтин, В.П. Налимов, Н.А. Синельников и другие.

²³¹ Подробнее о послереволюционной деятельности Анучина см.: Карпов Г.В. Указ. соч. С. 30–37.

Глава 3.3.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА РОССИЙСКОЙ НАУКИ (XIX – НАЧАЛО XX В.): ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ДИНАМИКА

Важный аспект истории науки – соответствие между объективно складывающейся системой научных дисциплин и организационным оформлением этой системы. Фиксация возникновения научных ячеек (кафедр, обществ, отделений, комиссий и т.д.) новых профилей свидетельствует об организационном конституировании соответствующих дисциплин. Развертывание этой социологической абстракции на историю этнологии позволит оценить роль и место этой дисциплины в институциональной структуре российской науки XIX столетия.

В самом общем виде организационная структура российской науки к началу XIX в. включала три основных звена – Петербургскую Академию наук (ПАН), университеты и научные общества (общественный сектор).

Крупная реорганизация АН произошла в 1841 г. – теперь академия делилась на три отделения: физико-математических наук (ОФМН), русского языка и словесности (ОРЯС), исторических наук и филологии (сюда входили и экономисты). В 1844 г. в составе последнего была создана дополнительная специальность «этнография и финские и кавказские языки»²³². С конца 50-х гг. XIX века в газетах и журналах и шире – в интеллектуальных кругах – развернулась «анти-академическая кампания». Критика шла по нескольким ли-

ниям. Во-первых, ПАН упрекали в кастовости и закрытости («ареопаг для избранных»), а также в том, что именно Академия и академики являлись высшим авторитетом при решении любых научных вопросов («академическая мандаринизация»). Во-вторых, критике подвергалось засилье немецких и вообще иностранных ученых в стенах данного учреждения («отсутствие связи с родной почвой»). В-третьих, в быстро менявшемся общественно-политическом и культурном контексте явственно проступала неадекватность научной проблематики АН, ее слабая связь с запросами жизни.

Санкт-Петербург – западная столица империи и метафора «вестернизации» – в действительности оказался далек от символической роли «локомотива модернизации». Ученые – члены ПАН оказались заложниками «инерции множества властных институтов и логики конформизма»²³³. Научная проблематика Академии сложилась в додарвиновскую эпоху с ее универсализмом и научным синкретизмом, точно так же научные достижения академиков относились к додарвиновской парадигме. Неслучайно, Академия окажется единственным ученым учреждением, которое не подвергнется реорганизации и обновлению в эпоху «великих реформ». Организационные пертурбации и научная переориентация означали бы для «академиков-мандаринов» подрыв их права держать легитимирующий дискурс в отношении практически всех научных дисциплин, даже тех, которые институционально в структуре ПАН представлены не были. Особая «аристократическая культура», консерватизм и кастовая замкнутость отличали не только Академию, но и петербургские научные общества, например ИРГО.

Соответственно и специализация по этнографии, представленная в структуре Академии наук, принадлежала

²³² Степанский А.Д. История научных учреждений и организаций дореволюционной России. Пособие по спецкурсу / Под ред. профессора Н.П. Ерошкина. М.: МГИАИ, 1987. С. 12.

²³³ Могильнер М. Homo imperii. История физической антропологии в России (конец XIX – начало XX в.). М.: НЛЮ, 2008. С. 28.

додарвиновской предэволюционистской парадигме, что предполагало отождествление этнографии с филологическими науками. Такая этнография питалась славянофильским романтизмом, рассматривала фольклор (язык «простонародности») как решающий критерий «народности» (этничности), не имела аналитического инструментария, а основывалась на чисто описательном языке культуры.

На рубеже 50–60-х гг. XIX в. центр интеллектуального влияния перемещается в Москву, что связано с организационными и научными успехами вузовского сектора имперской науки, в особенности Императорского Московского университета. Университеты оказались в более благоприятном положении, чем Академия. Они давали лучшее в то время образование, только они могли присваивать ученые степени (кандидата, магистра, доктора); на базе университетов постепенно формировались крупные научные центры, причем некоторые важные отрасли знания (медицина, правоведение) вовсе не были представлены в АН, а развивались главным образом усилиями университетских деятелей; университеты подчас становились источником прикладных знаний; наконец, с университетами были связаны общественно-культурные начинания всероссийского масштаба.

Но, несомненно, главным достоинством университетов являлось то, что они смогли избежать академической «мандаринизации»: «...если в Германии подлинным авторитетом в академическом сообществе обладали мандарины со всеми характерными для них “привычками ума”, то в России широкий авторитет был именно у так называемой “прогрессивной профессуры” (университетской. – Т.С.) с их привычками ума и политическими настроениями. Если в Германии профессоров в целом удовлетворял социальный контракт профессионалов с государством, то в России большинство профессоров даже не видели воз-

можности о чем-то договориться с царским правительством. Ту связь с государством и правительством, которую немецкие профессора считали естественной, российские гневно отрицали...»²³⁴.

В приведенной выше цитате речь фактически идет о формировании в России новой идентичности ученого – разночинца, дарвиниста, прогрессиста, с мировоззрением взрывным по отношению к социально-политическому статус-кво. И эта групповая идентичность была институционально связана с университетами.

Согласно уставу 1835 г. в российских университетах полагались три факультета: философский (состоял из двух отделений – историко-филологического и физико-математического и имел двух деканов), юридический и медицинский. В 1850 г. истфилов и физматы выделяются как самостоятельные факультеты. С этого времени главной проблемой становится соотношение преподавания университетских наук в пределах самих факультетов, а также дифференциация и специализация исторического образования. С момента создания истфилов их студенты должны были слушать сложный недифференцированный комплекс исторических и филологических наук, а специализация начиналась лишь в том случае, если окончивший университет избирал для себя «ученую карьеру». Это создавало сложности в деле воспроизводства преподавательского корпуса. Кроме того, универсализм противоречил предметному построению учебного процесса в гимназиях.

В 1856 г. Киевский университет внес проект разделения истфилов на два разряда – исторический и филологический

²³⁴ Александров Д. Фритц Рингер, немецкие мандарины и отечественные ученые // НЛО. 2003. № 3. С. 90–104. Цит. по: Могильнер М. Homo imperii... С. 40.

и тем самым инициировал дискуссию о разделении историко-филологических факультетов (1857–1859)²³⁵. Обозначилось два подхода к проблеме. Радикальный (Киевский и Харьковский университеты) предполагал вычленение самостоятельного исторического отделения уже в начале университетского курса. Умеренный (Московский и Казанский университеты) подразумевал под «разделением» специализацию, начиная с третьего и даже четвертого курса. В ходе обсуждения попечитель Одесского учебного округа Н.И. Пирогов предложил пополнить науки на истфиле археологией, *этнографией*, географией, нумизматикой и славянскими древностями²³⁶.

Отношение власти и даже самих интеллектуалов к углубляющейся – особенно заметно в 1860–1870-х гг. – дифференциации и специализации дисциплин в университетах (вопрос со специализацией исторического образования юридически будет решен лишь в 1881 г.) являлось амбивалентным. С одной стороны, вызов модернизации и позорное поражение в Крымской войне диктовали расширение масштабов подготовки специалистов, с другой – рост научных сил в университетах того времени явно отставал от увеличения объема преподавания и возросших требований к специалистам с высшим образованием. Поэтому не все представители научной общественности воспринимали специализацию как явление научного прогресса. Более того, при острой нехватке вообще лиц с высшим образованием уклон к специализации казался некоторым ученым опасным. Например, специализация врачей могла быть допущена в столицах,

²³⁵ Подробнее об этом см.: *Чесноков В.И.* Движение за «разделение историко-филологического факультета» и начало специализации университетского исторического образования в 50–70-х гг. XIX в. // *Российские университеты в XIX – начале XX века.* Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1993. С. 70–88.

²³⁶ Там же. С. 73.

но не в провинции, где «врач обязан лечить все роды болезней»²³⁷.

На рубеже 1850–1860-х гг. русские университеты переживали процесс глубокой внутренней перестройки. Произошел не только пересмотр структуры факультетов (дифференциация и специализация), а также порядка и стиля управления (расширение автономии). Радикально изменился социально-психологический облик профессуры: «Эпоха формировала новый тип профессора – “шестидесятника” – человека, глубоко преданного науке и вместе с тем страстного общественника, просветителя»²³⁸. Университетская наука в пореформенной России, чем дальше, тем больше, опережала академическую по уровню и значимости исследований. Формально университеты по-прежнему считались главным образом учебными заведениями. Вместе с тем на базе университетов формировались крупные научные центры, чему серьезно поспособствовал устав 1863 г. Характерно, что само понятие «ученый», законодательно оформившееся в России 10 апреля 1862 г., также связывалось с высшей школой. Костяк когорты ученых составляли лица, «получившие от одного из русских университетов ученые степени доктора, магистра или кандидата и звание действительного студента по разным факультетам»²³⁹.

Университеты отстаивали свое право заниматься наукой в сложной идеологической и культурно атмосфере 80-х гг. XIX века («эпоха контрреформ»). Сошлемся на авторитетное мнение историка и правоведа, ординарного профессора

²³⁷ *Щетинина Г.И.* Университеты в России и Устав 1884 г. М.: Наука, 1976. С. 42.

²³⁸ *Эймонтова Р.Г.* Русские университеты на грани двух эпох. От России крепостной к России капиталистической. М.: Наука, 1985. С. 325.

²³⁹ Цит. по: *Соболева Е.В.* Организация науки в пореформенной России. Л.: Наука, 1983. С. 41.

Московского университета П.Г. Виноградова, высказанное им при характеристике деятельности комиссии по подготовке устава 1884 г.: «В университетское преподавание необходимо и существенно входит дух научного исследования, — оно неразрывно связано с самой разработкой науки, чего нет в школьном преподавании, которое направляется лишь к сообщению знания, к решительной цели. Рассуждают так: для государственной службы нужны учителя, юристы, медики, и приготовление молодых людей для этих профессий составляет задачу университета как учреждения государственного, следовательно, университетское преподавание и экзамены должны быть направлены к этой цели. Отсюда вывод, что ...университетское преподавание должно быть со степени научного сведено на степень профессионального преподавания, механической выучки для определенной утилитарной цели. И это, говорят, должно совершаться во имя прогресса, это низведение университетского преподавания с его высоты, это освобождение университета от науки, от обязательной для них, а не дозволительной службы науке, именуется отменой крепостного быта университета»²⁴⁰.

В приведенной обширной цитате обращает на себя внимание акцентирование *государственного* статуса университетов как учреждений. Именно государство (власть) — ключевой субъект российской действительности и источник любых форм активизма — формировало парадигму, определяло контуры и устанавливало границы реформы университетов. Да, устав 1863 г. означал формально-административное «раскрепощение» университетов при сохранявшемся тотальном духе моральной и интеллектуальной несвободы. Уже не откровенное мракобесие, но и от буржуазного (демократического) начала здесь присутствовала только форма,

²⁴⁰ Виноградов П.Г. Учебное дело в наших университетах // Вестник Европы. 1901. № 10. С. 553–554.

тогда как содержание было выхолощено умудренной многоопытной российской бюрократией.

Помимо властного диктата дальнейшее развитие университетской науки сдерживалось нехваткой кадров. До университетской реформы 1863 г. «по существовавшим штатам кафедры располагали, как правило, одним-двумя преподавателями. Один профессор читал всю русскую историю, другой — все отрасли славяноведения. Чтение физической географии Устав возлагал на профессора физики; известный Э.Х. Ленц, преподававший то и другое в столичном университете, не имел даже помощников. Всеобщую историю читали два-три человека. Лишенный возможности тщательно разрабатывать все предметы своей кафедры профессор нередко вынужден был ограничиваться весьма элементарным курсом или сосредоточивал внимание на какой-то его части, оставляя без внимания остальные. Немало кафедр оставалось не замещенными. Преподавание по ним обычно возлагалось на наличных профессоров. Большинство из них были сильно перегружены»²⁴¹. Некоторое расширение количества кафедр в университетах (с 54 по уставу 1863 г. до 57 по уставу 1884 г.²⁴²), а также введение наряду с профессурой должности доцента и приват-доцента смягчали остроту кадровой проблемы, но не решали ее принципиально. Очевидно, имперская власть рассматривала университетскую науку (да и науку в целом) как явно избыточное и финансово обременительное предприятие. Не стоит забывать и о ее опасениях, связанных с чрезмерным демократизмом и излишней интеллектуальной свободой университетской профессуры и студенчества.

²⁴¹ Эймонтова Р.Г. Русские университеты на грани двух эпох. С. 54–55.

²⁴² Степанский А.Д. История научных учреждений и организаций дореволюционной России. С. 32.

Ведущей формой организации научной деятельности во второй половине XIX столетия стали научные общества (бурный рост их сети в несколько раз превосходил по своим темпам рост сети государственных научных центров). Складывающееся впечатление, будто этот рост был обеспечен атмосферой общественного подъема и стал результатом общественной инициативы и самодеятельного энтузиазма, не должно затемнять того первостепенного факта, что решающим образом создание и функционирование научных обществ оказалось возможным благодаря политике государства. Университетский устав 1863 г. предоставил право утверждать уставы ученых обществ при университетах министру народного просвещения (вместо императора), что упрощало и ускоряло процедуру. Правительство стимулировало общественный сектор науки, поскольку это, во-первых, позволяло переложить заботы о процветании науки на плечи общественности, а, во-вторых, как казалось поначалу, отвлекало часть интеллигенции от политической активности.

Идеологический и культурный контексты, а также общая моральная атмосфера 60-х XIX в. предопределили характер и специфику создававшихся научных обществ, ставших антитезой старым институциям (Русскому минералогическому обществу в Петербурге, Обществу испытателей природы в Москве). Старейшее общество русских естествоиспытателей (МОИП) подвергалось жесткой критике за научный универсализм, замкнутость, отрыв от практики и отсутствие интереса к пропаганде знаний. В противоположность МОИП созданное в 1963 г. Общество любителей естествознания (ОЛЕАЭ) считало своими основными задачами «развивать и пропагандировать в широких массах успехи естествознания и на основах естествознания – успехи изучения человека и народов в науках антропологических и этнографических», а также внести «новые положительные идеи

в университетское преподавание»²⁴³. Обществу были свойственны внутренняя специализация, широкая автономия отделов и отделений в организации научной деятельности, а также децентрализация, позволявшая увеличить количество докладов и публикаций, специализировать проблематику и привлечь максимально широкий круг энтузиастов.

Отмеченные черты Общества любителей в сочетании с его акцентацией организации широких выставочных инициатив, популяризацией научных знаний и открытостью составляли его сильные стороны. Но эти же черты делали Общество уязвимым для критики ученых «мандаринов». Вот выдержка из воспоминаний одного из старейших членов ОЛЕАЭ И.А. Каблукова: «Все основатели (Общества. – Т.С.) были очень молодые, почти юноши, и между ними несколько студентов: ни одного из них не считали специалистом и называли не любителями, а губителями естествознания. Этим людям приписывали желание фигурировать в области какой-то несуществующей по тогдашним воззрениям русской науки, потому что им не по силам была общечеловеческая европейская наука, считающаяся у нас издавна привилегией иностранцев, почти исключительно. Мотивы основания нового общества выставлялись самые антипатичные: желание нанести вред, через разделение работающих, уже существующим ученым центрам в Москве, собрать вокруг себя партию вовсе не с научными, а с житейско-практическими целями и устроить центр влияния на студентов»²⁴⁴.

²⁴³ Цит. по: *Богданов В.В.* ОЛЕАЭ в совместной работе с государственным Политехническим музеем за последние 10 лет. 1917–1928. М.: Гос. Политехн. музей, 1928. С. 3.

²⁴⁴ Речь почетного члена Императорского ОЛЕАЭ И.А. Каблукова // 50-летие Императорского ОЛЕАЭ. 1863–1913. Торжественное заседание 15 октября 1913 г., произнесенные на нем речи, полученные к этому дню приветствия и происходившее одновре-

Идеологически сомнительным мог показаться круг научных дисциплин, входивших в орбиту деятельности ОЛЕАЭ, хотя прямой их запрет в меняющемся культурно-идеологическом контексте уже был невозможен. В 1860 г. шеф III отделения князь В.А. Долгоруков представил императору записку о воскресных школах. Им ставился в вину факт преподавания предметов, выходивших за предписанные рамки (богословие, грамота, письмо и счет), – естествознания, истории, географии, *этнографии*, политэкономии, иностранных языков²⁴⁵.

Все же именно такая форма организации научной деятельности (научное общество) как результат компромисса между властью и обществом оказалась наиболее успешной и в определенном смысле оптимальной в третьей четверти XIX столетия. Вместе с тем ученое общество как тип институции имело ряд встроенных (органичных) дефектов. Возникновение научного общества, его профиль определялись чаще всего случайными (местными или субъективными) факторами. Одни и те же дисциплины оказывались представленными в организациях разного типа. Одни и те же ученые являлись членами множества обществ. Отсутствовали регулярное взаимодействие и координация исследовательской активности (коммуникация выстраивались на основе личных взаимоотношений и наработанных социальных связей). Яркую и нелицеприятную характеристику деятельности российских научных обществ на рубеже 1870–1880-х гг. содержат воспоминания М.М. Ковалевского: «При посещении обществ и редакций меня всегда поражало в Москве присутствие од-

менно чествование 70-летия жизни президента общества Д.Н. Анучина. Составил секретарь общества В.В. Богданов. М.: Тип. Товарищества Рябушинских, 1914 (обл. 1915). С. 25.

²⁴⁵ *Эймонтова Р.Г.* Идеи просвещения в обновляющейся России (50–60-е гг. XIX в.). М.: Наука, 1998. С. 329.

них и тех же лиц. В понедельник они были археологами, во вторник или среду – этнографами или юристами, и неделя не кончалась без новой встречи с ними в психологическом обществе или обществе российской словесности. Объясняется это, разумеется, прежде всего тем, что культурный класс не представляет у нас большой толщи, а, во-вторых, тем, что специализация занятий, на которую жалуются в Европе, у нас не существует. Место ее занимает уравновешенное и, в общем, хладнокровное отношение к успехам знаний в разных областях, начиная от результатов раскопок и исследований о каменном веке и оканчивая новейшими гипотезами психологов, философов и социологов. Общество любителей русской словесности принадлежит, несомненно, к числу самых ленивых обществ, с которыми мне приходилось иметь дело. На похоронах Тургенева, на которые я был командирован этим обществом вместе с Веселовским для возложения венка, один петербургский литератор не без иронии заметил: “Раз есть венок от общества, значит, оно существует”. Помимо годовичных собраний для заслушивания отчета не столько о деятельности общества, сколько о его летаргическом сне изредка созывались собрания для чествования тех или других выдающихся писателей земли Русской»²⁴⁶.

Впечатляющая популяризаторская, пропагандистская и научно-издательская активность ОЛЕАЭ в 1860–1870-х гг., кажется, противоречит этой характеристике. Но душой и мотором этой активности являлся один человек – антрополог А.П. Богданов. Его отход от дел в 1880-х гг. привел к ее резкому спаду.

Впрочем, к концу XIX века все организационные звенья российской науки объективно исчерпали свои возможности и не могли эффективно функционировать в прежнем виде.

²⁴⁶ *Ковалевский М.* Московский университет в конце 70-х и начале 80-х годов прошлого века. (Личные воспоминания) // Вестник Европы. 1910. Кн. 5. С. 196.

Размах научных исследований стремительно возрастал и требовал обновления организационных форм и преодоления институциональной неполноценности имперской науки. Одной из главных проблем являлось отсутствие координации научной деятельности в общегосударственном масштабе. Вопрос о положении отечественной науки приобрел особую остроту в годы Первой мировой войны: в 1915 г. был создан Комитет военно-технической помощи объединенных научных и технических организаций, а в апреле 1917 г. при Министерстве народного просвещения образована Комиссия по ученым учреждениям.

В 1890 – начале 1900-х гг. неоднократно ставился вопрос о пересмотре академического устава, но дальше деклараций дело не пошло. Частичная реорганизация затронула Академию в 1893 г. Был утвержден новый штат, число ординарных академиков увеличено до 32, но реестр специальностей остался прежним. Более или менее значимые структурные изменения в Академии были стимулированы войной (создание в 1915 г. Комиссии по изучению естественных производительных сил России (КЕПС)).

Развитие сети и структуры университетов на рубеже XIX–XX вв. власть сознательно тормозила, усматривая в них источник нестабильности (революционное движение студенчества и оппозиционная деятельность либеральной профессуры). После устава 1884 г. перечень университетских кафедр практически не менялся. «Разгром» Московского университета министром Л.А. Кассо в 1913 г. лишил его почти трети преподавательского состава.

Рост числа научных обществ замедлился, особенно заметно в начале XX в. По своим качественным характеристикам научные общества, не располагавшие достаточным штатом и материальной базой, были ориентированы преимущественно на обмен информацией и обсуждение результатов индивидуальных исследований. Для организации коллективной работы «ученые общества» мало подходили.

Глава 3.4.

ОЛЕАЭ: УЧЕНОЕ ОБЩЕСТВО, СОЗДАННОЕ, ЧТОБЫ ПРОДВИГАТЬ РОССИЮ

Авторов идеи создания Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии профессора зоологии А.П. Богданова (1834–1896) и профессора геологии Г.Е. Щуровского (1803–1884) разделяла 30-летняя разница в возрасте. Объединяли общие культурно-ценностные презумпции – приверженность эволюционной теории и оптимистическая вера в возможность экспансии эволюционизма в социальную сферу. Кристаллизация общества произошла в традиционной для русской интеллигенции «кружковой» манере.

В чем состояла цель этого Общества? Давая много лет спустя сравнительную характеристику развития естествознания в России и Западной Европе, профессор Д.Н. Анучин отмечал несравненно более высокую «прочность научного дела» на Западе, подразумевая фактически отсутствовавшую в России институциональную (организационно-кадровую) структуру науки. По Анучину, организационная основа естествознания на Западе включала следующие компоненты: «светил науки», которые «создают системы, школы, направления, обогащают науку новыми открытиями, теориями, ставят ей новые задачи», «последователей учителей» или «рядовых работников» – они «разрабатывают частные вопросы, обогащают науку новыми фактами, наблюдениями и опытами», наконец, широкий круг «любителей», свидетельствующий об интересе общества к науке. При такой постановке дела даже уход одного из «светил» не останавливал поступательного развития науки²⁴⁷.

²⁴⁷ Анучин Д.Н. Русская наука и съезды естествоиспытателей. С. 7–8.

Не то было в России, где смерть талантливого одиночки нередко пресекала научное направление. И уж полностью отсутствовало в ней «любительство» как массовое явление. В образованном русском обществе было так мало лиц, интересовавшихся естествознанием, что существовавшие еще со времен Александра I естественноисторические учреждения (Минералогическое общество в Петербурге, Общество испытателей природы в Москве) «находили невозможным и бесполезным издавать свои труды на русском языке»²⁴⁸.

Предполагалось, что ОЛЕАЭ сможет привить отечественному обществу интерес к естествознанию и обеспечит популяризацию науки. В отличие от упомянутых выше организаций любители естествознания пеклись не столько о проведении фундаментальных и специальных исследований, сколько о распространении и популяризации естественноисторических знаний. «Распространение науки в массе публики», «подготовка новых деятелей для нее», «изыскание средств, могущих содействовать распространению естествоведения в России»²⁴⁹, – так формулировались цели нового учреждения.

Конечно, не стоит считать ОЛЕАЭ историческим предшественником советского общества «Знание», исследовательское направление в его деятельности не только присутствовало, но и было ярко выражено. Другое дело, что научная стратегия организации отличалась принципиальной новизной, носила не *элитарный*, как у старых российских научных обществ, а *массовый* характер, что соответствовало общеевропейской (и захватившей, хотя с запозданием и в меньших масштабах, Россию) тенденции *массовизации* общества.

Используя грубую общесоциологическую редукцию, ОЛЕАЭ можно представить как реакцию научно-образова-

тельной элиты на трансформацию социальных структур пореформенной России. И суть этого ответа состояла в формировании новой, характерной для модерна легитимации науки через понятия общественной пользы и служения прогрессу. В этом смысле популяризаторская и просветительская деятельность Общества служила не только естественнонаучному образованию общества, но и налаживанию обратной связи с ним, выяснению его социального запроса.

Этому должны были способствовать открытый характер общества (акцентировалось слово «любителей» в его названии), проведение популяризаторско-просветительских мероприятий (устройство этнографической, политехнической, антропологической выставок и учреждение соответствующих музеев), публикация материалов общества на русском языке (Богданов настаивал на том, чтобы протоколы ОЛЕАЭ велись на русском языке и на нем же публиковались его «Известия»). В конечном счете, повышение социального престижа естествознания должно было обеспечить приток молодежи на соответствующие отделения в университетах и конвертироваться в финансовые пожертвования со стороны частных лиц.

Обширные цели ОЛЕАЭ за его более чем полувековой период деятельности были выполнены частично. Хотя интерес к естествознанию в русском обществе в целом возрос, свидетельством чему может служить относительно регулярное проведение съездов естествоиспытателей и врачей (первый состоялся в 1867 г.), масштабы любительства оказались далеко не столь значительными, как, к примеру, в Германии, считавшейся в этом отношении эталонной страной, а социальный престиж естествознания после всплеска 1860-х годов в 1870-е резко снизился. По воспоминаниям Д.Н. Анучина, в 1870-е гг. курс на естественном отделении физмата Московского университета ежегодно оканчивали лишь три-четыре человека, а в 1876 г. – только один. Для естествозна-

²⁴⁸ Богданов В.В. Полвека жизни ОЛЕАЭ. 1863–1913. М., 1915. С. 7.

²⁴⁹ Токарев С.А. История русской этнографии. С. 284.

ния эти годы, по его мнению, были «регрессом», и лишь с конца 1880-х вновь наметилось поступательное движение.

Вероятно, трудно было ожидать иного результата в стране, значительная часть населения которой во второй половине XIX века оставалась неграмотной. Да и общественно-политический контекст последней трети столетия не очень благоприятствовал развитию интереса к естествознанию. Сам Анучин характеризовал 70-е годы XIX в. как время «увлечения классицизмом в официальных сферах и социальными науками – в обществе»²⁵⁰.

Парадоксальность ситуации состояла в том, что повышенный интерес к общественным наукам в конце 1860-х – начале 1880-х годов был во многом спровоцирован предшествующей популярностью естествознания – маятник массового интереса пошел в обратном направлении. Но более важно, что в социальной жизни, в человеческой истории пытались обнаружить «железные» законы аналогичные естественнонаучным закономерностям в природе. Во всплеске общественного внимания к социальным наукам присутствовала и очевидная политико-идеологическая подоплека: образованные отечественные слои, особенно студенчество, все более заметно связывали прогресс России не с развитием науки и техники, а с радикальным обновлением ее социального и политического устройства, что вызывало естественную реакцию власти в виде ужесточения государственного контроля над высшим образованием и идеологией. Кроме того, сама деятельность ОЛЕАЭ объективно способствовала выработке таких качеств ученого, как интеллектуальная независимость и критический взгляд на действительность, что выглядело опасным в глазах «охранителей».

²⁵⁰ Анучин Д.Н. Русская наука и съезды естествоиспытателей. С. 6.

В этой накалявшейся атмосфере ОЛЕАЭ оказалось мишенью нападок, не лишенных идеологического подтекста. «Губителей естествознания» (так называли Общество его недоброжелатели) обвиняли не только в недостойном статусе *Императорского Общества* дешевом популизме и неэффективной трате немногочисленных кадровых и материальных ресурсов отечественного естествознания, но и в разлагающем влиянии на студенчество. Эти политические инвективы, беспочвенные в отношении ОЛЕАЭ, по своему точно улавливали тенденции, набравшую силу в части образованных слоев.

Дарвинизм (а в более широком плане – естествознание) вызвал в России не только интеллектуальную, но и мощную идейно-психологическую динамику. Дарвиновская эволюционистская теория, поставив человека (в многочисленных интерпретациях последователей и истолкователей Дарвина) на одну ступень с животными, отвергая креационизм и божественную картину мира, подрывала религиозную санкцию традиционного политического и социального порядка и влекла за собой драматические социальные выводы. Отказ от идеи нуминозного происхождения власти (царь как помазанник божий) в принципе открывал возможность для претензий на власть любой социальной и/или политической группе.

Предложивший радикально новый взгляд на природу человека дарвинизм спровоцировал подлинную революцию в морально-нравственной сфере. Если человек есть говорящая обезьяна, а не образ и подобие Божие, то к людям и относиться надо, как к животным, – такова была крайняя позиция в рассуждениях восторженных русских неофитов дарвинизма. Под обаяние этой искусительной логики, как известно, подпал недоучившийся студент Родион Раскольников, герой одного из самых знаменитых романов Ф.М. Достоевского. Трагический талант писателя запечат-

лел новый социально-нравственный тип русской молодежи в момент его зарождения. Университетская профессура с ужасом отмечала, что студенты воспринимают теорию Дарвина как истину в последней инстанции и непосредственное руководство к действию.

В российском обществе последней трети XIX в. формировалась нерелигиозная вера, восходившая к трансцендентной идее общего блага и характеризовавшаяся бескомпромиссностью, иступленностью и идеологическим фанатизмом. Эти качества были привнесены в том числе из духовной среды: выходцы из семей православного духовенства числились среди наиболее радикальной части российского студенчества, и в 1879 г. правительство ограничило прием семинаристов в вузы. Если в 1880 г. по своему социальному происхождению к духовенству принадлежали 24,1 % студентов, то в 1895 году – лишь 5 %²⁵¹.

Но, даже рассматривая высшие учебные заведения как рассадник опасных политических и идеологических влияний, правительство не могло обойтись без пользующихся интеллектуальной свободой университетов. Вызов модернизации, с которым Россия напрямую столкнулась после катастрофической Крымской войны, требовал, в частности, кардинального расширения масштабов подготовки специалистов. При этом система высшего образования объективно формировала не только профессиональную компетенцию, но также идеалы – служение прогрессу и национальному освобождению и те качества – интеллектуальную независимость и критический взгляд на действительность, которые выглядели потенциально опасными для политического и социального порядка в империи.

²⁵¹ Хоскинг Дж. Россия: народ и империя (1552–1917). Смоленск, 2000. С. 341 (таблица).

Вряд ли можно даже в незначительной степени приписывать ОЛЕАЭ какие-то политические цели и ответственность за радикализацию российских образованных классов, поскольку его отцы-основатели, ратуя за прогресс естествознания, никогда не занимали радикальных политических позиций. Но из этого краткого экскурса в идеологический контекст эпохи становится понятным, почему царское правительство в конечном счете не допустило создания университетской кафедры антропологии.

Не удалось Обществу подвести под свою деятельность и прочный организационный фундамент. Его безусловные и немалые достижения 1860–1870-х годов основывались прежде всего на личном авторитете и энтузиазме А.П. Богданова, бывшего подлинным мотором и душой общества. Двадцатилетнее (1864–1884) председательство Г.Е. Щуровского в ОЛЕАЭ носило формальный характер. Именно Богданов был источником интеллектуальной активности, формируя приоритеты Общества и его задачи, обеспечивал приток финансовых средств в ОЛЕАЭ и лично ими распоряжался. Отход Богданова после Антропологической выставки 1879 г. от активной деятельности в ОЛЕАЭ приостановил его развитие: «Утомленное Общество стало в 1880-х годах сосредотачиваться преимущественно на своей внутренней деятельности»²⁵² – научно-издательской, экспедиционной (главным образом участие в экспедициях ИРГО), а популяризаторская составляющая свелась к организации публичных собраний. Впоследствии Богданов возобновил свою активную деятельность в Обществе и в течение трех лет (1886–1889) даже был его главой.

Однако при всех проблемах и недостатках Общество дало мощный импульс развитию русской этнографии. Первой крупной акцией молодого Общества, принесшей ему рос-

²⁵² Богданов В.В. Полвека жизни ОЛЕАЭ. 1863–1913. С. 14.

сийскую и международную известность, была организация Всероссийской этнографической выставки, которая проходила с 23 апреля (5 мая) по 19 июня (2 июля) 1867 г. в московском Манеже и стала важным научным и общественно-политическим событием.

*Этнографическая выставка 1867 г.:
между политикой и наукой*

Концепцию выставки разработал антрополог А.П. Богданов, который опирался на опыт этнографического и антропологического отдела Всемирной выставки в Лондоне (1862). Частная/общественная инициатива группы любителей могла быть реализована только с санкции государя и при правительственном содействии. Программа выставки была утверждена императором Александром II 15 (28) июля 1865 года.

В конце 1864 г. ОЛЕАЭ учредило особый комитет выставки. Его возглавил В.А. Дашков. Члены комитета (А.П. Богданов, Г.Е. Щуровский, Д.Д. Сонцов, Н.Г. Керцелли, Н.К. Зенгер, В.А. Соболев, Н. Березницкий, Н.А. Попов, А.П. Федченко) предполагали собрать материал для нее путем посылки экспедиций в разные области Российской империи. Поддержка инициативы ОЛЕАЭ со стороны правительственных инстанций и местных администраций – губернских статистических комитетов, сделала организацию экспедиций излишней.

Выставка стала важным научным и общественно-политическим событием. Ее почетным председателем выступил великий князь Владимир Александрович. 24 апреля (6 мая) выставку посетил император Александр II с супругой («Государыней Цесаревной») и сыном («Государем Цесаревичем»). В отчете о посещении выставки императором сообщалось, что он остался в целом доволен великорусскими манекенами, заметив лишь, что лица женщин могли

бы быть красивее, «если бы сделать строгий выбор»²⁵³. Также выставка сопровождалась официальными торжествами и обедами, члены императорской семьи и политики осуществили благотворительные взносы. «Щедрые дары» императрицы, великих князей Владимира Александровича и Алексея Александровича «были первыми, положившими твердое начало нашим коллекциям»²⁵⁴.

Идеологический аспект выставки составила репрезентация Российской империи как воплощения многоплеменности и поликонфессиональности и одновременно русского/славянского начала как организующего элемента имперского многообразия.

К выставке был приурочен созыв Славянского съезда, который должен был засвидетельствовать покровительственную роль России в отношении зарубежного славянства. Последнее было негативно воспринято за рубежом, в частности, австрийская пресса назвала выставку «политической демонстрацией», а Москву – «Меккой панславизма»²⁵⁵; звучали угрозы австрийских правительственных кругов. Тем не менее, на выставке присутствовал 81 иностранец: 63 – славяне Австрийской империи, 12 сербов, два черногорца, два лужицких серба, один болгарин и один поляк из Пруссии.

Научная концепция выставки была разработана учеными Московского университета. В ее основе лежал кардинально новый – универсалистский – подход, видевший цель этнографии в изучении не только «диких», «туземных»,

²⁵³ Всероссийская этнографическая выставка, устроенная Императорским Обществом любителей естествознания, состоящим при Московском университете в 1867 году. М., 1867. С. 48.

²⁵⁴ Там же. С. 36.

²⁵⁵ Всероссийская этнографическая выставка и славянский съезд в мае 1867 года. М.: Унив. тип. (Катков и К°), 1867. X, 473 с.

«первобытных» народов (инерционный след такого рода представлений в российской этнографии сохранялся вплоть до начала XX в.), но народов вообще, включая те, которые в прогрессистской (иными словами колониалистской) классификации занимали место «высокоразвитых», «передовых». Указанный подход впервые сформулировал Н.И. Надеждин в докладе «Об этнографическом изучении народности русской» на первом годовом заседании ИРГО в ноябре 1846 г. Репрезентация великороссов и других славянских народов (в том числе зарубежных славян) не могла основываться на презумпции их «дикости» и культурной неполноценности. Не менее важно, что изучение и описание народов носило комплексный характер, предполагая показ всех сторон жизнедеятельности – от «телесной» стороны человеческой природы до особенностей культурно-бытовых и хозяйственных.

Организаторам удалось собрать материал со всех концов империи – из многих русских, белорусских, украинских губерний, регионов Поволжья, Прибалтики, Сибири, в меньшей степени Кавказа. Народы Средней Азии, кроме казахов, практически не были представлены. Зато были широко показаны почти все западные и южные славяне. Основная масса экспонатов была объединена в группы – своеобразные мизансцены, – где манекены, одетые в национальные костюмы, располагались в обстановке их быта. Другая часть экспонатов была выставлена в систематическом порядке. Костяк экспозиции составили этнографические материалы (288 манекенов в национальных костюмах, около 450 комплектов одежды, до 1200 разных предметов быта, орудий, моделей и др.), а также более 600 фотографий, около 300 археологических находок, 600 черепов представителей разных народов. Манекены создавались скульпторами Н.А. Рамазановым и С.И. Ивановым, художниками И.Л. Севрюгиным, Я.М. Яковлевым, С.П. Закревским, А.М. Любимовым.

Антропологический аспект выставки потребовал тщательной исследовательской работы и изготовления манекенов, не просто наряженных в этнические костюмы, но обладающих выраженными физиогномическими отличиями, характеризующими расовые/этнические типы. Методом фиксации физических отличий А.П. Богданов и его коллеги избрали передовую на тот момент технологию фотографии. Серьезную научную и морально-этическую проблему составила репрезентация русского антропологического типа. Многочисленные отзывы посетителей содержали разочарование отсутствием «настоящих великорусских типов»²⁵⁶. Нейтральный способ фиксации русскости не удовлетворял потребности той части образованного общества, которая видела в русских государствообразующую нацию (М.Н. Каткова). Как не удовлетворял и тех (например, туркестанского генерал-губернатора К.П. фон Кауфмана), кто воспринимал выставку в колониальном духе, рассматривая в качестве потенциальных объектов выставочной экспозиции лишь имперских инородцев.

Научное сообщество небезуспешно пыталось придать этнографической выставке просветительский и популяризаторский характер. На ней читались публичные лекции, был издан добротный указатель – фактически пособие-справочник по этнографии народов России и зарубежных славянских народов²⁵⁷. За два месяца выставку посетило свыше 90 тыс. человек, что являлось в те времена невиданной популярностью. Были оживленные отклики в печати.

²⁵⁶ *Найт Н.* Панславизм. Империя напоказ: Всероссийская этнографическая выставка 1867 года // НЛО. 2001. № 5. С. 123.

²⁵⁷ Указатель русской этнографической выставки, устроенной Императорским Обществом любителей естествознания в 1867 году. М., 1867.

Выставка имела неоднозначные последствия для российской этнографии. С одной стороны, она создала ОЛЕАЭ научное имя и авторитет и способствовала широкой популяризации этнографии, с другой – обнаружила угрозу политической ангажированности этнографического/антропологического знания, демонстрируя критическую зависимость науки от государства/власти.

После закрытия выставки ее материалы были переданы в Румянцевский музей, составив его особую часть – «Дашковский этнографический музей» (В.А. Дашков – меценат, давший взаймы деньги на устройство выставки)²⁵⁸.

Этнография в ОЛЕАЭ

После выставки вполне естественно и закономерно выглядело создание в 1867 г. в структуре ОЛЕАЭ отдела этнографии. Его председателями в разное время были Н.А. Попов (1867–1881), Вс.Ф. Миллер (1881–1913), Д.Н. Анучин (1914–1923), А.Н. Максимов (1923–1930). Дифференциация продолжалась внутри отдела, где возникли музыкально-этнографическая комиссия (1901, Н.А. Янчук) и комиссия по народной словесности (1882, Вс.Ф. Миллер).

Подобно отделению этнографии ИРГО, дислоцировавшемуся в Петербурге, в Москве появился собственный центр этнографической науки, значение которого выходило далеко за рамки первопрестольной. В его работе принимали участие многие корреспонденты из различных областей государства: отдел получал этнографические сообщения из Сибири, Поволжья, Украины, Средней Азии, Приуралья и других российских регионов, а некоторые корреспонденты

²⁵⁸ После 1917 г. фонды музея переведены в Музей народов СССР в Москве, а с 1948 г. хранятся в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге.

с мест стали действительными членами отдела (П.С. Ефименко, К.А. Попов и др.).

В рамках деятельности по изучению народов России этнографический отдел собирал сведения по материальной культуре, языку, обычаям, обрядам, поверьям, фольклору, литературе, музыке и т. д. Его заседания посещались учеными самых разных специальностей, что было естественно для эпохи, когда чистых этнографов вообще не существовало, а занимались этнографией профессионалы в других областях научного знания – от медицины до фольклористики, причем для них это нередко было хобби или побочным научным интересом.

С сообщениями в отделе выступали знаменитые русские путешественники Н.Н. Миклухо-Маклай, Н.М. Пржевальский и известный фольклорист П.В. Шейн. Научные работы и сообщения, выходившие из этнографического отдела, публиковались в «Трудах» отдела, а с 1889 г. – в первом в России специальном этнографическом журнале «Этнографическое обозрение». Из работ, вышедших под маркой этнографического отдела, заслуживают упоминания работы по этнографии латышей Ф.Я. Трейланда (1873 и 1881); труд исследователя коми-зырян К.А. Попова «Зыряне и зырянский край» (1874); «Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии» П.С. Ефименко (1877–1878); исследование Н.Н. Харузина «Русские лопари» (1890) и др.²⁵⁹

²⁵⁹ Также об этнографическом отделе и Этнографической выставке см.: Токарев С.А. История русской этнографии. С. 285–286; Козлова К.И. и Чебоксаров Н.Н. Этнография в Московском университете // СЭ. 1955. № 2. С. 102–103; Могильнер М. Номо империи... С. 39–53.

Этнография на Антропологической выставке 1879 года

Этнографические материалы составили весомую и самостоятельную часть экспозиции антропологической выставки, которая проводилась с 15 апреля (3 апреля) по 14 сентября (2 сентября) 1879 г. в московском Манеже и стала последней крупной выставочно-популяризационной инициативой ОЛЕАЭ.

Вскоре после проведения Политехнической выставки 1872 г. антрополог А. П. Богданов высказал идею организации антропологической выставки в Москве. В начале 1873 г. был сформирован комитет по устройству антропологической выставки (изначально как Комиссия для пополнения антропологических и зоологических собраний при Московском университете) в составе: А.П. Богданов – председатель, А.Ю. Давидов – вице-председатель Общества, Н.К. Миляев – товарищ председателя хозяйственной комиссии, В.Х. Спиридонов, Л.С. Поляков, А.Б. Козаков, К.К. Шильдбах – члены хозяйственной комиссии, Д.Н. Зернов – председатель анатомической комиссии, Г.(Ю.)Д. Филимонов – председатель кавказско-крымской комиссии, граф А.С. Уваров – председатель археологической комиссии, В.Н. Бензенгр – товарищ председателя антропологического отдела, А.В. Военков – председатель комиссии внутренней охраны выставки, Н.И. Огарев – председатель комиссии внешней охраны выставки, А.И. Кельсиев – секретарь учебно-антропологической комиссии, В.Н. Карнеев – архитектор выставки. В марте 1877 г. Комитет начал проводить регулярные заседания.

Одной из задач выставки Богданов считал ознакомление общественности с наукой антропологией: «...желательно популяризовать Антропологию в публике, возродить в ней сочувствие к этой науке и показать ее предметное содержание»²⁶⁰.

²⁶⁰ Богданов А.П. Краткий обзор антропологической выставки 1879 г. М., 1879. С. 4.

В отличие от современного понимания, различающего физическую/соматическую и социокультурную антропологию как две самостоятельные и разнородные научные дисциплины, во второй половине XIX в. антропология понималась как метадисциплина, изучающая человека с биологической и социокультурной точек зрения, как возможность синтеза естественных и гуманитарных знаний.

Конечной целью являлось открытие кафедры антропологии и музея антропологии при Московском университете. Эта цель вынашивалась Богдановым еще в период подготовки Всероссийской этнографической выставки 1867 г., но лишь сейчас возникли благоприятные условия для ее реализации. Крупный железнодорожный промышленник К.Ф. Фон-Мекк пожертвовал ОЛЕАЭ капитал в 25 тыс. рублей на организацию кафедры антропологии при физико-математическом факультете Московского университета. 30 декабря 1874 г. Совет ОЛЕАЭ сообщил ректору Московского университета о том, что обещанная сумма была внесена²⁶¹. Часть этих средств была израсходована на двухлетнюю командировку Д.Н. Анучина (кандидата на замещение кафедры) в Европу «для обзора иностранных антропологических учреждений и работы в антропологических лабораториях»²⁶².

Анучин готовил русскую антропологическую секцию на Парижской всемирной выставке (1878), где были представлены общая антропология и краниология (бюсты, маски, черепа, образцы волос), доисторическая археология (модели доисторического жилища, орудия и прочий инвентарий), этнография Европы (карты, фотографии и рисунки, представлявшие население Европы в национальных

²⁶¹ Могильнер М. Homo Imperii. С. 57.

²⁶² Богданов А.П. Краткий обзор Антропологической выставки 1879 года. С. 3.

костюмах), медицинская география (миграция эпидемий, этнические вариации болезней) и преподавание антропологии. Огромный краниологический материал (около 4 тыс. черепов), собранный Д. Н. Анучиным во время заграничной стажировки и впервые представленный в Париже, предназначался для антропологической выставки 1879 г. в Москве, а позднее был передан для организации антропологического музея в Московском университете. Кроме того, структура Московской выставки отчасти опиралась на опыт Парижской выставки.

Московская выставка рассматривалась Богдановым как способ пополнить антропологические и зоологические собрания университета, а также обеспечить поступление предметов для преподавания антропологии («обставить кафедру со стороны учебных пособий»²⁶³), а также аккумулировать средства для создания антропологического музея в Московском университете. Был организован ряд экспедиций в 15 губерний Европейской части России, в Польшу, на Урал, Крымский полуостров и Кавказ. При сборе палеонтологических, геологических, этнографических артефактов научно-добросовестный подход компенсировал возможные ценностно-идеологические и моральные издержки подобных «полевых» исследований. Иное дело краниологические материалы (череп и скелеты), которые на Кавказе и в Средней Азии добывались в классической манере «колониальной антропологии» путем разграбления «туземных» кладбищ (например, экспедиция 1868–1871 гг. в Туркестане под руководством А.П. Федченко, пополнившая краниологическое собрание ОЛЕАЭ 53 среднеазиатскими черепами). Массовое предубеждение населения Российской империи, в том числе жителей Москвы, в отношении раскопок могильников побу-

²⁶³ Богданов А.П. Краткий обзор Антропологической выставки 1879 года. С. 4.

дило А.П. Богданова в день открытия выставки организовать молебен. Проповедь прочел епископ Дмитровский Амвросий (Ключарев), текст ее позже напечатали в трудах ОЛЕАЭ.

Помимо материалов, собранных в экспедициях, ряд лекций (в основном фотографий) были получены в дар, в том числе от профессиональных фотографов К.А. Фишера, Д.И. Ермакова и др.

Концепция выставки претерпела серьезную эволюцию, отразив дискуссионный характер понимания антропологии, которой придавали «различный объем содержания»²⁶⁴. Богданов рассматривал антропологию как «естественно-историческое монографическое описание рода “Человек”»²⁶⁵. Его первоначальный проект выставки предполагал наличие трех разделов: доисторический человек, первобытные племена, общая антропология. Вместе с тем реконструкция условий обитания доисторического человека была невозможна без материалов геологии и археологии, а реконструкция облика первобытных племен требовала данных этнографии. Для участия в выставке решено было привлечь специалистов по археологии, этнографии и естествознанию. Самостоятельная демонстрация геологических, археологических/палеонтологических и этнографических материалов не предполагалась – им отводилась вспомогательная роль. Ход событий в процессе подготовки выставки внес коррективы в первоначальный замысел. Когда стал поступать материал для выставки, оказалось, что он (особенно в части этнографии) не соответствует запланированной концепции: большинство экспонатов не имели отношения к доисторическому человеку и первобытным племенам, зато блестяще характеризовали этнокультурные особенности населения империи, к тому же материал был очень обширным. Таким

²⁶⁴ Там же.

²⁶⁵ Там же.

образом, этнографические, археологические, палеонтологические коллекции приобретали не функциональное (как дополнительный источник сведений, способный подтвердить биологические выводы), а самостоятельное значение, реализовавшись в виде соответствующих отделов выставки.

В результате открывшаяся выставка состояла из семи разделов: древности (составитель – Д.Н. Анучин), геолого-палеонтологический (Н.Ю. Зограф, А.А. Тихомиров), краниологический (А.П. Богданов), фотографический (А.И. Кельсиев), бюстов и масок (Д.Н. Анучин), медико-антропологический (Е.А. Покровский), этнографический (Е.В. Барсов). Вниманию посетителей предлагались тысячи экспонатов: модели пещер, гробниц, карты археологических раскопок, реконструкции картин древней флоры и фауны, манекены и фотографии «физических типов» различных народов, краниологические коллекции, анатомические препараты. Наибольший интерес у публики вызвали этнографический отдел, где наряду с манекенами были представлены живые «инородцы», «выписанные» с мест, а также геолого-палеонтологический, экспонировавший модели вымерших животных и исчезнувших растений, в том числе макеты динозавров и мамонта.

По мнению «Русских ведомостей» (№ 73 от 22 марта 1879 г.) экспонаты дезориентировали посетителей, формируя впечатление, будто человек жил во времена «гигантских доисторических ящериц»²⁶⁶. Организаторы выставки, в свою очередь, справедливо полагали, что макеты вымерших животных, а также и иные экзотические артефакты, зачастую не имевшие отношения к антропологии, делают выставку привлекательной для самых широких слоев общественности. Этому же способствовала вполне демократичная стои-

²⁶⁶ *Нелихов А.* Мамонт в Манеже // *Элементы*. 05.03.2019. URL: https://elementy.ru/kartinka_dnya/840/Mamont_v_Manezhe

мость входных билетов: в день открытия выставки – три рубля, в остальные дни – один рубль (в масштабе цен второй половины XIX столетия это стоимость 2 кг говядины или 16 кг ржаной муки).

В отличие от Всероссийской этнографической выставки (1867) антропологическая выставка 1879 г. и проходивший параллельно с ней в Москве Международный антропологический конгресс акцентировали сугубо научный характер обоих мероприятий и привлекли множество ведущих представителей европейской антропологии. В конгрессе приняли участие П. Брока, А. Катрфаж, Г. Мортилье, П. Топинар²⁶⁷.

Не менее важным стал общественно-популяризаторский аспект выставки. За пять месяцев работы ее посетило более 71 тыс. взрослых, более 5 тыс. учащихся и более 10 тыс. детей дошкольного возраста (за все время работы выставки более 100 тыс. человек). В финансовом отношении антропологическая выставка 1879 г. оказалась менее успешной, нежели Всероссийская этнографическая 1867 г. Последняя принесла более 20 тыс. рублей прибыли, а после антропологической остались большие долги, которые А.П. Богданову пришлось возмещать в течение нескольких лет. В отличие от выставки этнографической с ее политическим аспектом, властным покровительством и наличием щедрого спонсора (В.А. Дашкова), в деле подготовки и проведения антропологической выставки заслужить «доверие и высших лиц и людей капитальных»²⁶⁸ не удалось. Личные средства Богданова были исчерпаны. Ситуацию усугубляло

²⁶⁷ *Балахонова Е.И.* 130 лет музею антропологии Московского университета имени М.В. Ломоносова: события и люди // *Вестник Московского университета. Серия XXIII. Антропология*. 2013. № 4. С. 7.

²⁶⁸ Цит. по: «Что за бес сидит в вас и не дает вам покоя?..» (Виртуальная выставка к 175-летию со дня рождения А.П. Богданова) // Архивы РАН. URL: <https://arran.ru/?q=ru/exposition7>

то обстоятельство, что в 1876 г. он включился в работу по спасению московского зоологического сада, чье положение в отсутствие государственной поддержки было плачевным

После закрытия выставки ее «собрание» было передано для специального антропологического музея при Московском университете. 3 ноября 1879 г. заседание совета Московского университета утвердило Д.Н. Анучина на должность хранителя антропологической коллекции. Научный успех выставки способствовал тому, что совет Московского университета учредил кафедру антропологии при физико-математическом факультете (разрешение на учреждение кафедры было подписано министром народного просвещения 15 (27) октября 1876 г. с содержанием доцента по этой кафедре на проценты с капитала К.Ф. фон Мекка). Кафедру в должности приват-доцента занял Д.Н. Анучин, приступивший в январе 1880 г. к чтению первого в России курса антропологии.

Хотя деятельность этнографического отдела ОЛЕАЭ составила важный этап на пути институционализации этнологии, ее выделения в самостоятельную дисциплину из субстрата гуманитарных и естественнонаучных знаний, этот процесс был еще далек от завершения. Отсутствовало критически важное условие формирования этнографической науки как завершенной системы – подготовка профессиональных кадров, без чего этнология не могла развиваться на собственной основе.

Да и само Общество служило скорее клубом московских интеллектуалов, чем научным учреждением или просветительским центром в полном смысле этого слова. Недостаток финансовых средств и явный кадровый дефицит радикально ограничивали возможности проведения систематических полноценных научных исследований этнографического профиля. Не в пример более значительными финансовыми и кадровыми возможностями обладала Академия наук, но в ее структуре отсутствовало этнографическое (или близкое к нему тематически) подразделение.

Вместе с тем при всей несопоставимости потенциалов ОЛЕАЭ выгодно отличалось от Академии наук открытостью, стремлением к актуализации своих исследований, приданию им практической направленности. Для Академии в целом были характерны кастовая замкнутость и некоторое пренебрежение насущными нуждами общества и страны, стремление замкнуться в «башню из слоновой кости».

Кризис ОЛЕАЭ на рубеже XIX–XX вв.: в поисках новых организационных форм

Кризис ОЛЕАЭ на рубеже столетий объективно отражал и смену условий, в которых происходило развитие науки в России. Усиление коллективного начала в исследованиях требовало новых организационных форм. Научные общества, не располагавшие достаточными кадровыми и материальными ресурсами, были ориентированы преимущественно на обмен информацией, на обсуждение результатов индивидуальных исследований, а для организации коллективной работы мало подходили.

Общая первопричина слабости российской науки крылась в типе отношений, установившихся между институтами науки и государства. Хотя Россия начала XX в. была быстро модернизирующейся страной, у ее властвующей элиты отсутствовало понимание науки как критически важного фактора развития, что обусловило очевидную слабость государственной поддержки и легитимации науки. В то же время относительно слабое (протогражданское) русское общество не могло заменить власть в качестве источника легитимации и материальной поддержки науки. Несколько упрощая и огрубляя, можно сказать, что самодержавие – институт эпохи до модерна – не видело в существовании науки особого смысла, если не иметь в виду узкопрактические и военные нужды империи.

Именно эти потребности дали импульс развитию географии в, казалось бы, неблагоприятное для науки время – в годы войны. Первая мировая стала принципиально новым типом вооруженного конфликта – длительным, интенсивным, а потому требовавшим стратегической мобилизации тыла. Отечественная наука вообще и география, в частности, включились в решение задач этой мобилизации. В 1915 г. Академия наук создала постоянную комиссию для изучения естественных производительных сил (КЕПС) Российской империи, в которую из географов был включены Д.Н. Анучин, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, а также Л.С. Берг, ученик Анучина. Географы настаивали на том, чтобы в рамках работы комиссии наладить комплексное географическое исследование территории России, т.е. считали, как писал Дмитрий Николаевич, что «изучение производительных сил должно быть поставлено на географическую основу»²⁶⁹. Анучин выступал против ограничения рамок комиссии изучением России только в минералогическом, геологическом, ботаническом и зоологическом отношениях, предлагая уделить первостепенное внимание человеку как главной производительной силе: «Нельзя игнорировать... население России, столь разнообразное в нашем отечестве по типу, языкам, стадиям быта, культурным особенностям, историческим судьбам, участию в производительности страны. Это более мощная “производительная сила”, чем, например, животный мир»²⁷⁰.

²⁶⁹ Анучин Д.Н. Изучение производительных сил России // Анучин Д.Н. Избранные географические работы. С. 111. Эта статья была опубликована *без подписи* в журнале «Землеведение» (1916. № 12); анонимность объясняется острополемическим характером публикации, в которой Анучин резко критиковал позицию неперменного секретаря Академии наук академика С.Ф. Ольденбурга.

²⁷⁰ Анучин Д.Н. Избранные географические работы. С. 113.

То есть фактически Анучин настаивал на комплексном географическом и *этнографическом* изучении России, для чего предлагал создать в рамках Академии наук специальный центр. Однако инициативы географов были отклонены руководством АН, встретив решительные возражения со стороны ее неперменного секретаря академика С.Ф. Ольденбурга. В результате деятельность Анучина и его сторонников в этой сфере ограничилась докладами о Галиции и Балканах (театрах военных действий) на заседаниях географического отдела ОЛЕАЭ и статьями в «Землеведении».

ОЛЕАЭ в структуре советского краеведения

В период революции 1917 г. и Гражданской войны ОЛЕАЭ смогло сохранить организационно-кадровую основу. Вместе с тем заседания Общества в послереволюционные годы проходили реже обычных и были малочисленны. Прекратился (до конца 1924 финансового года) выход изданий ОЛЕАЭ. Только с конца 1924 г. Общество приступило к выпуску новой серии «Мемуаров», печатавшихся по образцу европейских и американских научных изданий в виде отдельных монографий.

Наиболее существенной стороной деятельности Общества после 1917 г. явилось его участие в организации и руководстве краеведческим движением. В декабре 1921 г. Наркомат просвещения созвал 1-ю конференцию по краеведению в Москве (председатель – А.В. Луначарский, заместитель председателя – М.Н. Покровский). Программа конференции была разработана президиумом ОЛЕАЭ. На конференции был создан координирующий и иницирующий центр – Центральное бюро краеведения (ЦБК) с двумя секциями – в Москве и Петрограде. Московскую секцию возглавил ученый секретарь ОЛЕАЭ В.В. Богданов. Произошло фактическое слияние штатов секции и ОЛЕАЭ под общим руководством совета Общества. В 1921–1924 гг. секция работала

в стенах Политехнического музея совместно с ОЛЕАЭ, но в декабре 1924 г. сотрудничество ОЛЕАЭ и ЦБК фактически закончилось.

ОЛЕАЭ приняло активное участие в организации и проведении первой конференции по изучению производительных сил СССР (1923). Все десять отделений Общества вошли своими представителями в Бюро по изучению производительных сил страны при Госплане СССР, созданное на этой конференции. В 1928 г. ОЛЕАЭ готовило вторую конференцию по изучению производительных сил.

Акцент в деятельности ОЛЕАЭ делался на прикладном знании. Общество подготовило проект создания субтропической сухумской станции (так и не реализован) и Института для изготовления химически чистых реактивов (функционировал при ВСНХ). Обществом были разработаны основы Географического института (создан в 1922 г., а в 1925 г. слился с Ленинградским университетом).

К концу 1928 г. со стороны Наркомпроса начались усиленные ревизии деятельности Общества, которые привели к тому, что в 1931 г. по распоряжению Наркомпроса РСФСР ОЛЕАЭ было слито с МОИП. При этом ОЛЕАЭ утратило свою библиотеку, архив рукописей и документов; был нанесен ущерб деятельности МОИП, особенно в разделах науки о человеке, которые в этом Обществе изначально отсутствовали и так и не были созданы, даже после слияния.

Президенты ОЛЕАЭ: Г.Е. Щуровский (1863–1884), А.Ю. Давидов (1884–1886), А.П. Богданов (1886–1888), Вс.Ф. Миллер (1889–1890), Д.Н. Анучин (1890–1922), П.П. Петров (1923), А.Н. Северцов (1924–1930).

ОЧЕРК ЧЕТВЕРТЫЙ

ЭТНОГРАФИЯ КАК «ИСКУССТВО ВОЗМОЖНОГО» (ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЭТНОГРАФИЯ НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВЕКОВ)

*Превращение этнографии в науку
(последнее двадцатилетие XIX в.)*

Полагаю, формирование отечественной этнографии как самостоятельной дисциплины произошло лишь в последнее двадцатилетие XIX в. Только на исходе позапрошлого века проявились (с различной степенью зрелости и законченности) *все* основные элементы этнографической науки и можно говорить о формировании *системы* науки.

Прежде всего следует отметить количественный и качественный скачок в деле институционализации этнографии. Наряду с увеличением числа отделений ИРГО и распространением их почти по всей Российской империи, появились новые институты, сочетавшие исследовательские задачи с научно-просветительскими и популяризаторскими. Таковыми стали образованное в 1864 г. при Московском университете Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии (ИОЛЕАЭ; слово «этнографии» вошло в название общества в 1867 г., тогда же общество получило статус императорского), Общество археологии, истории и этнографии при Казанском университете (1878 г.) и др.

Не раньше, чем в 1880–1890-е гг. началась фактическая деятельность этнографических музеев. Хотя самостоятельный этнографический музей выделился из петровской Кунсткамеры еще в 1836–1837 гг., а в 1878 г. он был объединен с Анатомическим кабинетом в Музей по антропологии и этнографии,

полноценная научная работа в этих учреждениях не велась, коллекции не были систематизированы и комплектовались случайными предметами. Лишь в 1890-е годы деятельности музея было придано систематическое научное основание.

Несколько раньше, с середины 1880-х гг., стала налаживаться правильная организация Дашковского этнографического музея и отделения иностранной этнографии – составных частей московского Румянцевского музея, чему серьезно поспособствовало назначение музейным хранителем выдающегося русского языковеда и этнографа-фольклориста, профессора Московского университета В.Ф. Миллера.

Наконец, в основанном в середине 90-х годов XIX в. Русском музее в 1902 г. был открыт Этнографический отдел.

Наряду с этими ведущими в области этнографии музейными центрами, развивалась также сеть местных музеев, преимущественно краеведческого характера, где этнографическим коллекциям отводилось видное место.

Преобладание краеведческого направления в собирательской этнографической работе конца XIX и начала XX в. было следствием одновременно институционализации этнографии и роста ее популярности в отечественном обществе. В последней трети XIX в. изучение русского и других народов России все более заметно принимало форму стационарных, а не экспедиционных исследований. В свою очередь, увлечение краеведением стимулировало приток в этнографию новых людей, открывая возможность для формирования ее профессиональных кадров.

Первый опыт организации профессиональной этнографической подготовки в российских университетах, где в роли флагмана оказался Московский университет, также относится к 80–90-м годам XIX в. И хотя эта подготовка проводилась в контексте географического образования или носила спорадический характер, началось постепенное формирование корпуса профессиональных этнографов. До этого этнографическими исследованиями занимались

представители иных профессий: географы и историки, юристы и врачи, филологи и т. д., для большинства которых занятие этнографией было любительским увлечением или факультативным интересом.

Заметную тенденцию первой трети XX века составило формирование массового общества, что было неразрывно связано с выстраиванием системы массовых коммуникаций и резким ростом значения коммуникации вообще. В имперской России с ее элитарным образованием, геттоизированной профессиональной культурой и социокультурным отчуждением масс от правящего слоя и интеллигенции проблема диалога с обществом никогда не стояла в широком масштабе.

Ответ Российской империи на революционные сдвиги в области развития массовых коммуникаций трудно назвать артикулированным: диалог с обществом оставался исключительной прерогативой власти (государства) и носил однонаправленный характер. Задачей научной и образовательной интеллигенции, в том числе этнографов, в меняющихся условиях было наладить коммуникацию *внутри* научного сообщества.

Степень развития *профессиональной коммуникации* в этнографии на рубеже XIX–XX столетий определялась двумя фундаментальными обстоятельствами. *Первое*. Самодержавная власть – ключевой субъект активности – критически недопонимала важность науки как фактора модернизации. Отсюда низкий социальный статус этнографии и ее не востребованность (кроме отдельных военно-стратегических и геополитических тем и сюжетов) государством. Слабое протогражданское общество не могло заменить государство в качестве источника легитимации, финансирования и административной поддержки науки.

Второе. Даже в начале XX в. русскую этнографию характеризовали крайне низкий уровень институционализации, а также незначительные масштабы подготовки профессиональных кадров.

Сама возможность профессиональной коммуникации зависела от решения нескольких вопросов. Во-первых, *через что* говорить (каналы коммуникации). Во-вторых, *как* говорить (наличие конвенционального научного языка). Вопрос, *о чем* говорить (повестка), определялся контекстом (политическим, социокультурным, интеллектуальным).

Принципиально важным для этнографии стало появление каналов профессиональной коммуникации – специализированных периодических изданий. Первый профессиональный журнал – «Этнографическое обозрение» – начал издаваться в 1889 г. этнографическим отделом Московского ОЛЕАЭ, причем необходимость его появления мотивировалась недопустимым отставанием отечественной этнографии от зарубежной, где «уже десятки лет издаются в значительном количестве разные этнографические журналы»; а непосредственный толчок учреждению нового издания дало, по мнению С.А. Токарева, появление в 1887 г. польского этнографического журнала «Висла», издававшегося видным этнографом Я. Карловичем²⁷¹. (Можно предположить, что национальное чувство великороссов при всем их интеллигентском прогрессизме оказалось уязвлено приоритетом в этой области традиционно сепаратистски настроенной части империи). Журнал выходил под редакцией секретаря этнографического отдела ОЛЕАЭ Н.А. Янчука, с 1901 г. совместно с В.Ф. Миллером, с 1905 г. к ним присоединился В.В. Богданов. Журнал просуществовал до 1916 г., выходил четыре раза в год и пытался соединять исследовательские задачи с популяризацией научных знаний²⁷².

Конкурировавшее с этнографами ОЛЕАЭ отделение этнографии РГО в 1890 г. начало выпускать собственный журнал – «Живая старина», периодичность издания которого также

составляла четыре выпуска в год, и который также закрылся в 1916 г. (Думается, конкурентный характер взаимоотношений ОЛЕАЭ и РГО не в последнюю очередь проистекал из их дислокации в разных столицах: штаб-квартира РГО находилась в Петербурге, ОЛЕАЭ – в Первопрестольной. Традиционное соперничество между старой и новой столицами отразилось и в науке).

Профессиональные журналы – «Этнографическое обозрение» (1889–1916) и «Живая старина» (1890–1916) играли немаловажную роль в формулировании научных приоритетов, освещении научной проблематики, налаживании профессионального диалога. Хотя жили они исключительно безвозмездным трудом своих сотрудников, их периодичность (четыре номера в год, пусть и «в необязательные (!) сроки») и объемы (около десяти листов) были вполне достаточными для поддержания коммуникации.

«Этнографическое обозрение» как микрокосм русской этнографии рубежа XIX–XX вв.

Журнал одновременно и отражал фокусы этнографических исследовательских интересов и участвовал в их формировании. Эти интересы, в свою очередь, вытекали из оплодотворявших образованные слои тогдашней России идей и мировоззренческих установок. Журнал способствовал формированию конвенционального языка и задавал жанровую специфику этнографических штудий. Наконец, он связывал провинциальные анклав интеллектуальной интеллигенции с центром. Вместе с тем журнал и его содержание оперативно отражали изменение общественно-политического контекста, а также фиксировали внутринаучную динамику, в частности, меняющиеся исследовательские приоритеты. Все это и позволяет рассматривать «Этнографическое обозрение» как своеобразный микрокосм отечественной этнографии рубежа XIX–XX столетий, а выводы

²⁷¹ Токарев С.А. Указ. соч. С. 402.

²⁷² Подробно о журнале см.: Миськова Е.В. Журнал «Этнографическое обозрение» [Неопубликованная рукопись.] М., 2003.

по итогам анализа повестки и структуры журнала, с некоторыми оговорками, экстраполировать на состояние дисциплинарного контекста в целом.

«Согласить научность содержания с популярностью изложения», – такова была позиция редколлегии «Этнографического обозрения». А активное участие провинциальных краеведов и собирателей этнографических материалов составляло редакционное кредо создателей журнала.

Программу деятельности всех заинтересованных в развитии русской этнографии лиц задавала опубликованная в первом номере журнала статья Д.Н. Анучина «О задачах русской этнографии», изначально прочитанная им в виде доклада на заседании этнографического отдела ОЛЕАЭ. В качестве главной задачи Анучин прокламировал сведение воедино разбросанных сведений о различных инородцах и частях русского населения и предлагал стимулировать процесс монографического описания народов российской империи, а также сравнительный анализ их истории и культуры.

Если анализировать тематику статей, опубликованных в «Этнографическом обозрении», то необходимо отметить, что в регионоведческом аспекте сведения о народах России были представлены примерно в равных долях. Максимально широко были представлены русские разных губерний и областей, включая субкультурные группы с высвечиванием специфических черт материальной и духовной культуры, а также славянская этнография²⁷³. Сопостави-

²⁷³ См., например: *Балов А.* Рождение и воспитание детей в Пошехонском уезде Ярославской области // 1889. № 2; *Васильев М.К.* Антропоморфические представления в верованиях украинского народа // 1890. № 3; *Иваницкий И.А.* Заметки о народных верованиях в Вологодской губернии // 1891. № 3; *Казьмин А.А.* Обычные суды в хуторах Донской области // 1891. № 3; *Куликовский Г.И.* Похоронные обряды Обонежского края // 1890. № 1; *Ляцкий Е.А.* Болезни и смерть по представлениям белорус-

мый объем занимали на страницах журнала народы Кавказа и Средней Азии²⁷⁴, богатство этнографических сведе-

сов // 1892. № 2; *Никифоровский Н.Я.* Очерки Витебской Белоруссии // 1892. № 1, 1893. № 3; *Романов Е.Р.* Очерк быта нищих Могилевской губернии // 1890. № 4; *Тесленко Н.В.* О семейных дележах по обычному праву белорусов // 1891. № 3; *Будде Е.* Материалы по русской диалектологии // 1894. № 2; *Волков Ф.* Свадебные обряды в Болгарии // 1893. № 4; *Довнар-Запольский М.В.* Белорусская свадьба в культурно-религиозных пережитках // 1893. № 2; *Осадчий Т.* Брачные договоры у малороссов // 1893. № 3; *Успенский Т.И.* Родины и крестины Тульской губернии // 1893. № 2; *Дилакторский П.А.* Свадебные обряды Вологодской губернии // 1903. № 1; *Зеленин Д.К.* У оренбургских казаков // 1903. № 2; *Зеленин Д.К.* Красная смерть у русских старообрядцев // 1904. № 2; *Зеленин Д.К.* К истории распространения сект в Привислянском крае. 1906. № 1–2; *Харузина В.Н.* Детские игры Московской губернии // 1904. № 3; *Шмаков И.Н.* Свадебные обычаи и причитания населения терского берега Белого моря // 1903. № 4; *Елеонская Е.Н.* Некоторые замечания о пережитках первобытной культуры в русских народных сказках // 1906. № 1–2; *Зеленин Д.К.* Южновеликорусские «страдания» // 1906. № 1–2; *Попов Е.П.* Некоторые данные по изучению быта русских на Колыме // 1907. № 1–2; *Назаров М.И.* Основы старинного пчеловодства по заговорам, собранным во Владимирской губернии // 1911. № 3–4; *Сокольников Н.П.* Болезни и рождение человека в селе Маркове на Анадыре // 1911. № 3–4; *Кедрина Р.Е.* Обряд крещения и похорон кукушки в связи с народным кумовством // 1912. № 1–2; *Харузина В.Н.* Обряд крещения кукушки в Орловской губернии // 1912. № 1–2; *Богданов В.В.* Из истории женского южно-великорусского костюма // 1914. № 1–2; *Завойко Г.К.* Верования, обычаи и обряды великороссов Владимирской губернии // 1914. № 3–4; *Богданов В.В.* Русская бирка // 1916. № 1–2; *Яковлев Н.Ф.* Материалы по одежде донских казаков // 1916. № 1–2 и др.

²⁷⁴ См., например: *Кажешев Т.* Свадебные обряды кабардинцев // 1892. № 4; *Ковалевский М.М.* Дагестанская Народная Правда // 1890. № 1; *Малинин Л.В.* О свадебных платежах и приданом у кавказских горцев // 1890. № 3; *Миллер В.Ф.* Отголоски иранских сказаний на Кавказе // 1889. № 2; *Поярков Ф.* Из области

ний по которым неудивительно, поскольку эти регионы составляли геополитические императивы империи во второй половине XX века.

Народы Поволжья и Урала России (финно-угорские и тюркоязычные) были представлены менее внушительно

киргизских верований // 1891. № 4; *Хаханов А.С.* Празднование Нового года у грузин // 1889. № 3; *Хаханов А.С.* Обычаи грузин при пахании // 1891. № 4; *Хаханов А.С.* Закавказские молokane-прыгуны // 1892. № 4; *Хаханов А.С.* Суд общины у грузин-горцев // 1893. № 1; *Хаханов А.С.* Земледельческие обычаи крестьян в Кавказии // 1894. № 3; *Борусевич К.* Сектанство среди ингушей // 1893. № 3; *Бунятов Г.* Домашнее воспитание у армян Эриванской губернии // 1894. № 4; *Бунятов Г.* Рождение, смерть, погребальные обычаи и предания о загробной жизни у армян Эриванской губернии // 1896. № 4; *Грен А.* Закавказские иудеи // 1893. № 1; *Харузин А.Н.* О происхождении киргизского народа // 1895. № 3; *Бобринский А.А.* Секта Исмаиля в русских и Бухарских пределах Средней Азии // 1902. № 2; *Крымский А.Е.* Школа, образование и литература у российских мусульман // 1903. № 4; *Миллер В.В.* Из области обычного права карачаевцев // 1902. № 1; *Семенов А.А.* Основание священной Бухары // 1903. № 2; *Семенов А.А.* Главные основы распределения земли и воды у Туркмен Закаспийской области // 1903. № 2; *Шемшединов А.К.* Легенды и сказания кумыков // 1905. № 2–3; *Гордлевский В.А.* Материалы для народного сирийского календаря // 1909. № 3–4; *Миллер В.Ф.* Кавказское языкознание и вопрос исторической этнографии Передней Азии // 1906. № 3–4; *Хаханов А.С.* Цалкинские греки и их современное положение // 1907. № 1–2; *Хаханов А.С.* Молokane и баптисты Закавказья // 1909. № 1–2; *Хаханов А.С.* Закавказские духоборы // 1909. № 1–2; *Бартольд В.В.* К вопросу о происхождении кайтаков // 1910. № 1–2; *Гордлевский В.А.* Из османской демонологии // 1914. № 1–2; *Гордлевский В.А.* Османские исторические предания // 1915. № 1–2; *Гордлевский В.А.* Быт османца в суевериях, приметах и обрядах // 1915. № 3–4; *Миллер В.Ф.* О некоторых древних погребениях на Кавказе // 1911. № 1–2; *Семенов А.А.* Ковры русского Туркестана. Указатель литературы о коврах Азии // 1911. № 1–2; *Бутаев Д.Б.* Свадьба лаков // 1915. № 1–2 и др.

по объему, что частично компенсировалось богатством содержания этнографических очерков и заметок²⁷⁵.

Народы Сибири и Дальнего Востока стали входить в орбиту сугубо научного, а не функционального (военно-стратегического) интереса с начала XX в. До этого на страницах «Этнографического обозрения» периодически появлялись центральноазиатские и южносибирские сюжеты²⁷⁶. С начала XX в. география этнографического сибиреведения расширилась за счет народов Северо-Восточной Азии²⁷⁷.

²⁷⁵ См., например: *Кондинский В.В.* Из материалов по этнографии сысольских и вычегодских зырян // 1889. № 3; *Минх А.Н.* Моляны и обряды у мордвы // 1892. № 4; *Смирнов И.Н.* Наброски из истории финской культуры // 1891. № 2; *Тизик К.* Свадебные обряды эстов // 1892. № 1; *Харузин Н.Н.* Очерк истории развития жилища у финнов // 1895. № 1–2; *Шкапский Е.С.* Чувашская свадьба // 1890. № 2; *Магницкий В.К.* Из быта чуваш Казанской губернии // 1893. № 3; *Назаров П.С.* К этнографии башкир // 1890. № 1; *Бергхольц Л.* Горные башкиры-китайцы // 1893. № 3; *Ерусланов П.* Родственный союз по понятиям восточных черемисов // 1895. № 2; *Кузнецов С.К.* Культ умерших и загробные верования черемис // 1904. № 1; *Кузнецов С.К.* Черемисская секта Кугу-Сорта // 1908. № 3–4; *Кузнецов С.К.* Успехи этнологии в деле изучения финнов Поволжья за последние 30 лет // 1910. № 12; *Зеленин Д.К.* О левирате и некоторых обычаях башкир Екатеринбургского уезда // 1908. № 3; *Налимов В.П.* Некоторые черты из языческого мирозерцания зырян // 1903. № 2; *Налимов В.П.* Загробный мир в верованиях зырян // 1907. № 1–2; *Чеусов А.А.* К зыряноведению // 1904. № 2; *Пекарский Э.* О религиозном состоянии инородцев Пермской и Оренбургской епархии // 1908. № 1–2; *Верецагин В.Е.* Старые обычаи и верования вотяков // 1909. № 3–4 и др.

²⁷⁶ См., например: *Хангалов М.Н.* Несколько данных к характеристике быта Северных бурят // 1891. № 1; *Хангалов М.Н.* Юридические обычаи у бурят // 1894. № 2; *Ядринцев Н.М.* О культе медведя // 1890. № 1; *Ядринцев Н.М.* Культ собаки и почетное ее погребение // 1894. № 1.

²⁷⁷ См., например: *Штернберг Л.Я.* Сахалинские гилеи // 1893. № 2; *Николаев В.В.* Общественное моление у бурят // 1902.

Общие вопросы – теория и методология, историография, проблемно-тематические обзоры – занимали относительно скромное место на страницах журнала²⁷⁸. И это несмотря

№ 3; *Поляков Ф.В.* Сватовство у дунган // 1903. № 2; *Шиманьский А.* Происхождение и действительное значение слова «тунгус» // 1905. № 4; *Штернберг Л.Я.* Гиляки // 1904. № 2; *Городцов П.А.* Азан-юрты // 1906. № 1–2; *Клеменц Д.А.* О взаимном влиянии между ламаизмом и бурятским шаманством // 1909. № 2–3; *Пекарский Э.К.* К вопросу о происхождении слова «тунгуз» // 1906. № 3–4; *Трубецкой Н.С.* К вопросу о «Золотой бабе» // 1906. № 1–2; *Чеканинский И.А.* Следы шаманского культа в русско-тунгусских поселениях по реке Чуне в енисейской губернии // 1914. № 3–4; *Богораз В.Г.* К психологии шаманства у народов Северо-Восточной Азии // 1910. № 1–2; *Зензинов В.М.* Русское Устье Якутской области Верхоянского округа // 1913. № 1–2; *Зензинов В.М.* В гостях у юкагиров // 1914. № 1–2; *Зензинов В.М.* Марковцы и русско-устыинцы. Этнографические параллели и сравнения // 1914. № 1–2; *Зензинов В.М.* Белокурые эскимосы и новая экспедиция на Полярный Север Канадских владений // 1913. № 1–2; *Васильев В.Н.* Краткий очерк быта карагасов // 1910. № 1–2 и др.

²⁷⁸ См., например: *Анучин Д.Н.* О задачах русской этнографии // 1889. № 1; *Богаевский П.М.* Заметки о народной медицине // 1889. № 1; *Веселовский А.* К вопросу о дуалистических космогониях // 1890. № 4; *Каллаш В.В.* Положение неспособных к труду стариков в первобытном обществе // 1889. № 1; *Охримович В.* Значение малорусских свадебных обрядов и песен в истории развития семьи // 1891. № 4; *Смирнов И.Н.* Этнологические заметки // 1890. № 3; *Сумцов Н.Ф.* Этнографические заметки // 1889. № 3; *Харузина В.Н.* К вопросу о влиянии верований на юридические обычаи // 1892. № 1; *Якушкин Е.И.* Заметки о влиянии религиозных верований и предрассудков на народные юридические обычаи и понятия // 1891. № 2; *Харузин Н.Н.* Один из представителей немецкой школы этнографов Хайнц Шурц. Учебник по народоведению // 1894. № 1; *Киричников А.И.* очерки по мифологии XIX в. // 1894. № 4; *Харузин Н.Н.* К вопросу об ассимиляторской способности русского народа // 1894. № 3; *Харузин Н.Н.* Из западноевропейской этнографической литературы // 1895. № 3; *Харузин Н.Н.*

на призыв Анучина как можно скорее переходить от описания и систематизации к анализу и теоретическому осмыслению этнографического материала. Явно выделялись три проблемно-тематических блока – сравнительные исследования по фольклору, сравнительный анализ религиозных обычаев разных народов, изучение норм обычного права и вообще юридических обычаев. Новая проблематика, на-

История жилища у кочевых и полукочевых тюркских и монгольских народностей // 1895. № 3; *Максимов А.Н.* К вопросу о методах изучения истории семьи // 1899. № 4; *Максимов А.Н.* Несколько слов о куваде // 1900. № 1; *Максимов А.Н.* Из истории семьи у русских инородцев // 1902. № 1; *Максимов А.Н.* Мак-Леннан и Морган // 1906. № 3–4; *Максимов А.Н.* Полиандрия в Африке // 1907. № 3; *Максимов А.Н.* Ограничения отношений между одним супругом и родственником другого // 1908. № 1–2; *Максимов А.Н.* Групповой брак // 1908. № 3; *Максимов А.Н.* Об одном свадебном обряде // 1908. № 4; *Максимов А.Н.* Брачные классы австралийцев // 1909. № 2–3; *Максимов А.Н.* Современное положение этнографии и ее успехи // 1909. № 4; *Максимов А.Н.* Системы родства австралийцев // 1912. № 1–2; *Максимов А.Н.* Научные методы В.Ф. Миллера // 1913. № 3–4; *Максимов А.Н.* Работы М.М. Ковалевского в области первобытного права // 1916. № 1–2; *Редько А.М.* Теория вероятностей и история первобытной культуры // 1902. № 1; *Савенков И.Т.* К вопросу об эволюции шахматной игры // 1902. № 1; *Анучин Д.Н.* Праздник воскресения до христианства // 1907. № 4; *Виташевский Н.А.* Особый вид обязательств в первобытном праве ex donation // 1909. № 1; *Сумцов Н.Ф.* Влияние Дарвина на развитие лингвистики и этнографии // 1909. № 1; *Харузина В.Н.* Историческое развитие этнографии // 1907. № 3; *Крживицкий Л.* Понятие о причинности в первобытной философии // 1910. № 3–4; *Харузина В.Н.* Об участии детей в религиозно-обрядовой жизни // 1911. № 1–2; *Виташевский Н.А.* Из области первобытного психоневроза // 1911. № 1–2; *Беляев П.И.* Религиозные и психологические представления первобытных народов // 1913. № 1–2; *Арсеньев И.С.* Плач по умирающему боге // 1912. № 1–2; *Богданов В.В.* К изучению игрушки. Программные заметки // 1912. № 1–2 и др.

ходившаяся на пике популярности западной этнологии, – проблемы первобытного родства, формы семьи – подавалась в «Этнографическом обозрении» главным образом в виде рецензий и критических обзоров трудов зарубежных ученых. Блокирующее воздействие на освоение новой проблематики оказывала теоретико-методологическая статичность отечественной этнографии, где господствовали эволюционизм, метод «пережитков» и идеи мифологической школы.

Деятельность А.Н. Максимова, практически не испытывавшего влияния классического эволюционизма, составляла выгодное исключение: он внес значительный вклад в разработку методов изучения семьи и брака в доклассовом обществе, рецензировал труды многих зарубежных и российских ученых, то есть под маркой критического разбора и анализа он представлял на страницах журнала всю широту взглядов западных ученых. По оценке Е.В. Миськовой, за период с 1898 по 1916 г. Максимов опубликовал в журнале около шестидесяти рецензий на книги, в том числе Э. Гроссе, Ю. Липперта, Э. Клодта, Л. Нидерле, А. ван Геннепа, Дж. Фрезера, Г.Н. Потанина, Н.Н. Харузина, В.Г. Богораза, В.И. Иохельсона, А.А. Попова и других²⁷⁹.

Но это исключение (деятельность Максимова) лишь подтверждало генеральные тенденции в развитии русской этнографии. Непропорционально большое место в повестке журнала занимала фольклористика. Здесь сказывалось мощное влияние личности В.Ф. Миллера, главы исторической школы изучения фольклора, одного из лидеров русской этнографии того времени. Кроме того, это был инерционный след господствовавших еще в середине XIX в. представлений, фактически отождествлявших предметные области этнографии и фольклористики. Отличие современной ситуа-

²⁷⁹ Миськова Е.В. Журнал «Этнографическое обозрение» (1889–1916). [Неопубликованная рукопись]. С. 7.

ции состояло в том, что изучение фольклора было поставлено на прочные научные рельсы, поэтому в журнале находили отражение теоретические проблемы исследования фольклора, а также содержалась информация о новейших достижениях фольклористики в России и за рубежом. Справедлива оценка Е.В. Миськовой: «В отличие от обширных публикаций по фольклору в другом российском этнографическом журнале «Живая старина», в «Этнографическом обозрении» преобладали не сами по себе публикации фольклорных материалов в их связи с этнографией, а теоретические исследования, в которых фольклор представал как специфический вид народного творчества со своими законами развития»²⁸⁰.

В журнале освещались научные аспекты изучения различных жанров фольклора – от былин до духовных стихов. Преобладали публикации по русскому (восточнославянскому) фольклору²⁸¹.

²⁸⁰ Там же. С. 7.

²⁸¹ См., например: *Вержбицкий Т.* Из южнорусских легенд // 1889. № 3; *Миллер В.Ф.* Материалы для истории былинных сюжетов // 1890. № 2, 1893. № 2; *Мельгунов Ю.Н.* К вопросу о русской народной музыке // 1890. № 3; *Потанин Г.Н.* Восточные параллели к русским сказкам // 1891. № 1; *Потанин Г.Н.* Пилигрим в былинах и сказках // 1891. № 2; *Соболевский А.* К вопросу о прозвище былинного Ильи // 1890. № 3; *Балов А.В.* Экскурсы в область русской народной песни // 1894. № 2; *Балов А.В.* К вопросу о древнерусских некалендарных именах // 1893. № 2; *Демидович П.П.* Из области верований и сказаний белорусов // 1896. № 1; *Житецкий П.И.* Заметки о разных методах изучения малорусских дум // 1895. № 4; *Лобода А.М.* Белорусская народная поэзия и русский былевой эпос // 1895. № 2; *Бродский Н.Л.* Следы профессиональных сказочников в русских сказках // 1904. № 2; *Васильев Н.В.* Беломорская былина и повесть Петровского времени // 1902. № 4; *Марков А.В.* Бытовые черты русских былин // 1903. № 3; *Марков А.В.*

Отличительной чертой подхода к фольклору, который проводился сотрудниками «Этнографического обозрения», было внимание к современным его формам, а также признание необходимости их изучения²⁸².

Фольклор других народов России также был представлен на страницах «Этнографического обозрения»²⁸³.

Из истории русского былевого эпоса // 1904. № 1; *Марков А.В.* О методе изучения загадок // 1909. № 3-4; *Елеонская Е.Н.* Некоторые замечания о пережитках первобытной культуры в русских народных сказках // 1906. № 1-2; *Елеонская Е.Н.* Заговорная формула в сказке // 1912. № 1-2; *Елеонская Е.Н.* Велikorусские сказки Пермской губернии. Влияние местности на сказки // 1915. № 1-2; *Зеленин Д.К.* Южновеликорусские «страдания» // 1906. № 1-2; *Суворовский А.* Вопли Новгородской губернии // 1907. № 3-4; *Муратов М.В.* Песни людей божьих // 1915. № 3-4 и др.

²⁸² См., например: *Зеленин Д.К.* Сборник частушек Новгородской губернии // 1905. № 2-3; *Крашенинников И.М.* Хороводные и плясовые песни казачьего поселка Сосновки Челябинского уезда // 1904. № 2; *Смирнов А.* Из фабричных песен Владимирской губернии // 1903. № 4; *Степанов В.И.* Деревенские посиделки и современные народные песни-частушки // 1903. № 4; *Степанов В.И.* Новые песни-частушки по поводу войны // 1904. № 3; *Степанов В.И.* Современные народные собрания, игры, танцы и песни в деревне // 1907. № 1-2; *Кузьминский К.С.* О современной народной песне // 1902. № 4 и др.

²⁸³ См., например: *Ивановский А.А.* Киргизские песни // 1890. № 1; *Пфенниг Р.А.* Киргизские и сартские песни // 1890 № 1; *Диваев А.А.* Сказки киргизов Сыр-Дарьинской области // 1903. № 1; *Диваев А.А.* Из киргизских поверий // 1910. № 1-2; *Миллер Б.В.* Турецкие народные песни // 1903. № 3; *Хаханов А.С.* Грузинские духовные стихи // 1903. № 1; *Хаханов А.С.* Грузинская версия сказки о трех сообразительных братьях // 1912. № 3-4; *Шемшединов А.К.* Легенды и сказания кумыков // 1905. № 2-3; *Гордлевский В.А.* Из наблюдений над турецкой

Огромный, разнородный и разрозненный этнографический материал, поступавший в ОЛЕАЭ с мест (труды о народном быте, поэзии, наречиях и говорах отдельных народов, а также сведения, публиковавшиеся в губернских ведомостях), не мог быть опубликован в изданиях Общества в полном объеме. «Этнографическое обозрение» стало первым в России журналом, включившим в программу издания библиографический отдел. Вел его ученый секретарь ОЛЕАЭ В.В. Богданов. Обзоры новых книг и сборников по этнографической тематике регулярно печатались с 1889 по 1916 г. Книги и сборники в обзорах снабжались краткими аннотациями. Ежегодно в каждом обзоре представлялось от 30 до 130 книг²⁸⁴. С 1890 г. в библиографическую программу журнала вошли обзоры статей из сибирских и южнорусских газет, эстонской и литовской периодической печати, кавказской периодики.

Усилиями сотрудников и авторов журнала были опубликованы библиографические указатели работ, посвященных изучению истории и быта многих народов России, о некоторых – впервые²⁸⁵.

В разделе «Хроника» печатались отчеты о деятельности этнографического отдела ОЛЕАЭ, об этнографических по-

песней // 1908. № 4; *Гордлевский В.А.* Османские сказания и легенды // 1911. № 1-2; *Кон Ф.Я.* Из песен Западной Сибири // 1903. № 4; *Городцов П.А.* Чудь. Западно-Сибирские легенды о творении мира и борьбе духов // 1909. № 1; *Иохельсон В.И.* Материалы по изучению юкагирского фольклора в Колымском округе // 1913. № 1-2; *Трубецкой Н.С.* Финская песнь как переживание языческого обычая // 1902. № 4; *Берг Л.С.* Киргизские сказки о циклопах // 1915. № 3-4 и др.

²⁸⁴ *Миськова Е.В.* Журнал «Этнографическое обозрение» (1889–1916). [Неопубликованная рукопись]. С. 9.

²⁸⁵ А.Н. Харузина, Н.И. Веселовского о киргизах и каракиргизах, Д.П. Никольского о башкирах, С.К. Кузнецова об удмуртах, И.Н. Смирнова о мордве и др.

ездках известных и начинающих ученых, сообщения о юбилеях, а также некрологи.

Сделанный краткий обзор позволяет прийти к выводу, что «Этнографическое обозрение» обладало всеми атрибутами солидного научного издания, обеспечивавшего в той или иной степени профессиональную коммуникацию, задававшего профессиональную повестку и исследовательские приоритеты, связывавшего провинцию с центром, решавшего задачу популяризации этнографии. Но масштабы интеллектуального и культурного влияния этого издания нельзя переоценивать. Тиражи были незначительными²⁸⁶, стоимость годовой подписки (6 рублей с доставкой и пересылкой) – довольно высока, расширить круг читателей и возбудить широкий общественный интерес не удавалось, несмотря даже на властную санкцию данного издания (Ученый комитет Министерства народного просвещения рекомендовал «Этнографическое обозрение» для приобретения в фундаментальные библиотеки средних учебных заведений).

Площадками устной коммуникации являлись этнографические институты (упоминавшиеся выше научные общества и музеи – этнографический отдел Русского музея и МАЭ). Относительное многообразие типов учреждений не могло компенсировать их организационной, кадровой и финансовой слабости. Например, в 1917 г. в ОЛЕАЭ (19 на-

²⁸⁶ Прямых сведений о тираже «Этнографического обозрения» обнаружить не удалось, но косвенным свидетельством может служить тот факт, что журнал «Критическое Обозрение», издававшийся совместными усилиями В.Ф. Миллера и М.М. Ковалевского в 1880–881 г. и просуществовавший неполных полтора года, выходил тиражом чуть более 1000 экз. и привел издателей к серьезным финансовым потерям. (См. об этом: Ковалевский М.М. Памяти Всеволода Федоровича Миллера // Этнографическое обозрение. 1913. № 3–4. С. 15).

учных подразделений) числилось всего около 2 тыс. постоянных членов²⁸⁷.

Вместе с тем на базе этих институций сформировались устойчивые коммуникативные узлы. В случае с ИРГО – это была целая коммуникационная сеть в форме провинциальных отделений и подотделов общества: «Работа по этнографии ведется в отделах Туркестанском, Красноярском, Троицко-Савском, Кяхтинском, Читинском, Алтайском, Приамурском, Семипалатинском, не говоря уже о таких старых культурных сибирских центрах, каковы Омск, Томск и Иркутск»²⁸⁸.

Рассмотрим специфику профессиональной коммуникации на примере этнографического отдела ОЛЕАЭ в период председательства В.Ф. Миллера (1881–1913). В это время завершился «богдановский этап» в деятельности Общества с его мощной популяризаторской струей и значительным (по скромным российским меркам) общественным резонансом публичных мероприятий. Вспышка общественно-научной активности 1860–1870-х гг. оказалась ситуативной, в 80-е годы XIX века произошел неизбежный откат, а «река» (здесь – состояние и социальный статус науки) «вернулась в свои берега».

Этнографический отдел оказался перед обычной в российском контексте дилеммой: поддерживать интерес к своим заседаниям и изданиям, продвигая широкие социально значимые темы, или «делать эти заседания и издания ареной кропотливой лабораторной работы по тем или дру-

²⁸⁷ Соловей Т.Д. ОЛЕАЭ // Императорский Московский университет: 1755–1917: энциклопедический словарь / Сост. А.Ю. Андриеев, Д.А. Цыганков. М.: РОССПЭН, 2010. С. 517

²⁸⁸ Миллер В.Ф. Вступительное слово при открытии подсекции этнографии на XII съезде естествоиспытателей и врачей // Этнографическое обозрение. 1909. № 4. Кн. LXXXIII. М., 1910. С. 1–2.

гим специальным вопросам»²⁸⁹. Для широкого продвижения этнографии и этнографических знаний в России, существовали колоссальные препятствия, которые Миллер характеризовал следующим образом: «Наша сила заключается в интересе к изучению условий жизни низших слоев народа, вызванном сочувствием к нему, наша слабость – в малом распространении научной подготовки и в скудости наших материальных средств»²⁹⁰. Поэтому вынужденный выбор был сделан в пользу замыкания деятельности отдела на вопросах сугубо научных, чисто-этнографических. Не имея надежды на осуществление собственными силами хорошо организованных этнографических экспедиций и еще менее на привлечение к этому внимания власти и общества, была поставлена задача «если не изучить, то хотя бы собрать то, что еще живет в народе». Для реализации этой задачи составлены специальные этнографические программы и сделан призыв к интеллигенции российской провинции.

Об интенсивности коммуникации свидетельствовал, например, тот факт, что за первое десятилетие XX века на заседаниях этнографического отдела ОЛЕАЭ было сделано более 200 (!) сообщений²⁹¹.

Вот характерная зарисовка о характере заседаний этнографического отдела. Они проходили относительно регулярно в аудитории № 7 Политехнического музея. Назначались «обыкновенно в 7.30 часов вечера, с расчетом на полчаса запоздания, и поэтому они начинались

²⁸⁹ Богданов В.В. В.Ф. Миллер как председатель Этнографического Отдела // ЭО. Кн. ХCVIII–XCIX. 1913. № 3–4. М., 1914. С. 30.

²⁹⁰ Цит. по: Богданов В.В. В.Ф. Миллер как председатель Этнографического отдела. С. 32.

²⁹¹ Миллер В.Ф. Вступительное слово при открытии подсекции этнографии на XII съезде естествоиспытателей и врачей. С. 3.

в 8 часов»²⁹². Со слов близко знавшего Миллера и фактически его штатного биографа В.В. Богданова, Миллер смотрел на «ученое заседание, как на лабораторию научных работ, а не как на торжественный смотр», поэтому предпочитал «закрытые заседания Этнографического Отдела»²⁹³. То есть по существу заседания носили кулуарный характер. Их кулуарность подчеркивалась тем обстоятельством, что после заседания «члены его, со своим председателем во главе, шли в ресторан, и там в отдельном кабинете, за скромной трапезой, шла оживленная научная беседа»²⁹⁴.

Притягательность этнографии, как резервуара экзотики и одновременно гуманистического основания «народолубия» исчерпала свой потенциал, а инстинктивное влечение к науке выступало как обязательное, но недостаточное условие успеха научной деятельности. «Нужно было внести разумное объединение, дать известное солидарное содержание тем научным задачам, которые стояли на очереди»²⁹⁵.

Хотя одной из центральных задач Миллер считал объединение всех русских этнографов, «разумное объединение» научных сил *хотя бы* на уровне обеих столиц не удавалось. Известно, что петербургская этнографическая общественность с предубеждением и настороженностью отнеслась к инициативе московских этнографов организовать этнографическую подсекцию на XII съезде естествоиспытателей и врачей в Москве 1909/1910 г. Характеризуя научно-культурные связи Петербурга и Москвы Миллер указывал, что

²⁹² Богданов В.В. Всеволод Федорович Миллер. Краткий очерк его жизни. С портретом и библиографией // ЭО. Кн. ХCVIII–XCIX. 1913. № 3–4. С. XVII.

²⁹³ Там же. С. XVIII.

²⁹⁴ Там же.

²⁹⁵ Богданов В.В. В.Ф. Миллер как председатель Этнографического Отдела. С. 22.

«Москва дает своих людей, а отсюда не берет»²⁹⁶. Фактически коммуникация поддерживалась на уровне личных связей, но не была подкреплена институционально.

Таким образом, российская этнография имела довольно разветвленную сеть *каналов коммуникации*, что вполне соответствовало институциональному состоянию самой дисциплины, все еще пребывающей в статусе *любительского увлечения*.

Что касается языка коммуникации и ее повестки, то их в существенной степени задавали эволюционизм, составивший теоретическое основание отечественной этнографии последней четверти XIX в., а также меняющийся социально-политический контекст (буржуазные реформы 60–70-х гг. XIX века).

В это время произошло кардинальное расширение исследовательской тематики: если до этого этнография фокусировалась почти исключительно на фольклоре, то теперь в центре ее внимания оказались общественная жизнь, семья, община, народное обычное право, а в последнее десятилетие века интенсифицировался интерес к материальной стороне народного быта; что, впрочем, не вело к свертыванию исследований фольклора и другой превалировавшей дотоле тематики – она просто отошла на второй план. Вот таким образом, с почти полувековым опозданием осуществилась идея Н.И. Надеждина о комплексном изучении русского народа.

Взрыв научного интереса к социальным феноменам был во много обусловлен актуальными потребностями русской жизни, переживавшей кардинальную ломку общественных отношений. Как справедливо указывал С.А. Токарев: «Прекращение вотчинной юрисдикции помещиков после реформы 1861 г., введение нового сельского управления,

²⁹⁶ Цит. по: Богданов В.В. Всеволод Федорович Миллер. С. XXV.

новых судов – все это вызывало множество вопросов, неясностей, конфликтов. Знать народные юридические понятия и обычаи стало необходимо для судебных и административных властей»²⁹⁷.

Трудно переоценить интенсивность изучения обычного права: за период 1876–1889 гг. было опубликовано более 3,5 тыс. названий литературы, специально посвященной обычному праву или включающей материал о нем²⁹⁸.

Поистине выдающийся вклад в исследование народного обычного права принадлежал Н.В. Калачову – известному историку права, руководившему в 1860–1865 гг. отделением этнографии РГО. С 1848 по 1852 г. он занимал кафедру истории русского законодательства Московского университета, приняв ее после ухода из университета К.Д. Кавелина. Впрочем, как и в случае с его предшественником, пребывание Калачова в университетских стенах оказалось слишком непродолжительным, чтобы говорить о его вкладе в становление университетской этнографии. Хотя поездки по российским губерниям с целью сбора русского обычного права ученый начал предпринимать, занимая университетскую кафедру, основные работы Калачова, положившие начало изучения этой темы, увидели свет уже после его ухода из университета.

Наряду с обычным правом мощный этнографический пласт присутствовал в массиве литературы о русской сельской общине, которая (литература) в последней четверти XIX в. переживала взлет.

Однако помимо практического интереса внимание этнографии (и более широко – общественнознания) к различным аспектам народной жизни в пореформенный период стимулировалось динамикой русского общественно-политиче-

²⁹⁷ Токарев С.А. История русской этнографии. С. 288.

²⁹⁸ Там же. С. 290.

ского дискурса. Хотя эта связь не всегда находилась на поверхности, ее наличие несомненно: в фокусе профессиональной и любительской науки оказались основные характеристики *потенциально* ключевого субъекта российской истории – крестьянства, которое под псевдонимом «народ» было вынесено в эпицентр дискуссии о путях развития пореформенной России.

Бурное освоение новой исследовательской тематики было взаимоувязано с драматическими переменами в теоретическом арсенале науки. Лишь в последней четверти XIX в. русская этнография стала обзаводиться профессиональной оснасткой в виде теорий и концепций, да и то по преимуществу заимствованных с Запада. Впрочем, и до этого отечественная этнография опиралась на импортированные идеи – популярное в середине позапрошлого века мифологическое направление пришло в Россию из Германии.

Даже не вдаваясь в содержание заимствованных теорий, следует подчеркнуть принципиально важное обстоятельство: в теоретико-методологическом отношении отечественная этнология что в XIX в., что в XX в. была тематизирована Западом, русская этнографическая мысль питалась и оплодотворялась шедшими оттуда идеями. Заметная теоретическая вторичность отечественной этнографии не означает ее ущербности или неполноценности: в новом социокультурном и интеллектуальном контексте заимствованные теории и концепции нередко видоизменяются до неузнаваемости и в любом случае трансформируются для адаптации к новой почве. Другое дело, сохраняют ли они при этом свой эвристический потенциал.

Эволюционизм, на рельсы которого отечественная этнография прочно встала на рубеже XIX и XX вв., обладал несравненно большими эвристическими и интерпретационными возможностями, чем мифологическое направление: если мифологическая школа могла использоваться исключительно для анализа фольклора и мифологии (что обусло-

вило доминирование этой тематики в этнографии и даже их отождествление), то для эволюционистского анализа казались потенциально открытыми все сферы материальной и духовной жизни. Это было различие между теорией среднего ранга и большой теорией. В сущности, эволюционизм был больше, чем влиятельным научным направлением, он составлял характерную черту Большого стиля эпохи.

Эпохи, в которой понятия «прогресс» и «общественное благо» из философских книг перешли в широкий общественный оборот, составив почву массового интереса к жизнеутверждающему и конкретному (позитивному) знанию и служа критерием социальной значимости наук. В этом смысле неудивительна тенденция к отдалению этнографии от географии и сближению с естественными науками, переживавшими во второй половине XIX в. феерический взлет и наслаждавшимися популярностью в европейском обществе.

Для ученого-историографа очевидна следующая закономерность: появление специализированных историографических работ свидетельствует определенную степень зрелости профессионального дискурса, который испытывает потребность в самопознании, саморефлексии. Другими словами, историография – это дискурс о дискурсе. И вряд ли случайно появление на исходе XIX в. четырехтомной (!) «Истории русской этнографии» А.Н. Пыпина. Автор не ограничил себя анализом развития русской этнографии в современном понимании предмета этой науки, а пытался осмыслить бытование и динамику в русском образованном обществе идеи «народности». То есть для Пыпина собственно этнография оказалась лишь частью общественно-политического и профессионального дискурса о «народности».

Труд Пыпина дает хорошее представление об интеллектуальном, идеологическом и культурном контекстах развития русской этнографии, об оплодотворявших ее общественных идеях. Сам факт появления этого капитального компендиума служил симптомом того, что отечественная

этнография вышла на качественно новый уровень своего развития²⁹⁹.

Полагаю, все изложенное доказывает постулированный в начале этого параграфа тезис: русская этнографическая наука возникла в последнем десятилетии XIX в., когда проявились и сложились в систему ее основные элементы: организационная структура, подготовка профессиональных кадров, каналы профессиональной коммуникации, исследовательская тематика, концепции и теории³⁰⁰. Поскольку уровень зрелости этих элементов был различным и в целом не очень высоким, то формирование этнографии как науки на рубеже XIX и XX веков еще не было завершено. Это произошло значительно позже – в советскую эпоху и благодаря политике коммунистической власти.

Эволюционизм как теоретическое основание этнологии

Только обретя в эволюционизме адекватное самой себе теоретическое основание, этнология смогла завершить формирование в качестве самостоятельной науки. Эволюционизм указал этнологии перспективные направления исследований, снабдил ее методологией научного исследования, заложил теоретический фундамент новой научной дисциплины.

Утверждение по поводу теоретического фундамента может показаться преувеличением ввиду хорошо известных и не раз указывавшихся в научной литературе методологи-

²⁹⁹ Подробнее о Пыпине см: *Соловей Т.Д.* Александр Николаевич Пыпин и его место в русской историографии // ЭО. 1994. № 4. С. 89–93.

³⁰⁰ Подробнее о состоянии русской этнографии в последней четверти XIX в. см.: *Токарев С.А.* История русской этнографии. С. 282–291, 357–366, 397–403, 406–408 и др.

ческих изъянов и ошибочных методических приемов эволюционизма. Помимо упоминавшейся прямолинейной и поверхностной трактовки развития, это были склонность к излишней психологизации и биологизации социальных и культурных феноменов; ошибочная интерпретация так называемых пережитков; неправомерная компаративистика – сопоставление культурных и социальных институтов, явлений и форм, относящихся к различным стадиям исторического развития, различным хозяйственно-культурным типам. Наконец, научные интересы эволюционистов чаще всего ограничивались изучением семейно-брачных отношений, системы родства и религиозных представлений.

Однако эволюционизм оказался той исходной концептуальной позицией, по отношению и в связи с которой самоопределялись все последующие теоретические течения этнологии: даже самые радикальные антитезы эволюционизма сопровождалась обширными заимствованиями из него. Не говоря уже о том, что полемика с большой теорией требовала противопоставить ей не менее масштабную концептуализацию. В другом смысле беспредельная широта эволюционизма неизбежно вела к выделению из него не столь обобщающих и амбициозных теорий среднего ранга, а также частных концепций. Тем самым эволюционизм дал первотолчок появлению широкого диапазона научных направлений. Он оказался той «гоголевской шинелью», из которой выросла теоретическая этнология.

Присущий эволюционизму прогрессистский пафос придал новой науке обаяние и привлекательность в глазах общества, породил героический профессиональный миф об этнологе-подвижнике, что весьма способствовало этнологии в обретении не только общественной популярности, но также любительского участия, кадрового пополнения и финансирования.

Правда, последнее не обязательно следовало за популярностью, о чем свидетельствовал опыт России, невыгодно от-

личавшийся в этом отношении от западного. Мода на этнологию в России 70-х годов XIX века не превратилась в «золотой дождь» для молодой науки. «Едва ли в другой европейской стране этнография так мало обременяет государственный бюджет, как в нашем отечестве», – грустно констатировал В.Ф. Миллер в 1909 г.³⁰¹, и эта оценка была еще более верной применительно к последней трети XIX века.

В то же время всплеск общественного внимания к этнологии конвертировался в широкое любительское краеведческое движение, где сциентистский стиль соединился с народническим пафосом сочувствия и помощи низшим слоям общества. Это движение, зиждившееся преимущественно на энтузиазме, приобрело массовый характер, хотя его значение для науки состояло, в лучшем случае, в накоплении этнографического материала. Но материала большей частью случайного, отрывочного и несистематизированного, а потому в научном плане малоценного. И дело здесь не только в отсутствии мало-мальски специальной подготовки у этнографов/краеведов-любителей, а в специфическом прочтении позитивистского послания: факт казался представлявшим интерес и ценность сам по себе, вне контекста и системы.

История бытования эволюционизма в России может служить почти лабораторным доказательством тематизированности русского национального дискурса Западом и теоретической зависимости отечественной этнологии. Ни до, ни после ни одно теоретическое направление, импортированное с Запада, не встречало такого теплого приема российской научной корпорации (и общественности в целом)

³⁰¹ Миллер В.с. Вступительное слово при открытии подсекции этнографии на XII съезде естествоиспытателей и врачей // ЭО. 1909. № 4. Кн. LXXXIII. С. 5.

и не повлияло столь значительно на русскую этнографию. (Советский вариант марксизма в силу специфики его индоктринации в науку вряд ли выдерживает здесь сравнение).

Определяющее влияние эволюционизма на теоретический дискурс русской этнографии не означало ее неспособности к самостоятельному теоретизированию. С конца XIX в., помимо поставки западной науке систематизированного эмпирического материала, русская этнография начала оказывать на нее и некоторое теоретическое влияние. Именно в России увидела свет первая обобщающая монография о шаманстве (В.В. Михайловский, 1892), получившая после перевода ее основной части на английский язык широкую известность. Событием для европейской науки стала публикация в 1890 г. лекций М.М. Ковалевского «Очерк происхождения и развития семьи и собственности», прочитанных в Стокгольмском университете. Тем не менее общий баланс теоретического обмена явно складывался в пользу Запада, который влиял на русскую науку несравненно более сильно, чем последняя на западную.

Индикатором отношения к эволюционизму может служить довольно оперативное издание классических трудов этого направления в России и оказанное ими интеллектуальное влияние. Причем переводом и/или редактированием этих работ непосредственно занимались видные русские этнографы. Классическое основополагающее исследование Э. Тайлора «Первобытная культура» было переведено Д.А. Коропчевским в 1872 г. на следующий же год после первой английской публикации; «Доисторические времена» Дж. Леббока вышли под редакцией Д.Н. Анучина в 1876 г. (первое английское издание – в 1865 г.); «Древнее общество» Л.Г. Моргана было опубликовано с предисловием М.М. Ковалевского в 1900 г. (первое американское издание – в 1877 г.). Не говоря уже о появлении в последней четверти XIX и в начале XX в. изрядного числа научно-популярных работ российских авторов, пересказывав-

ших или компилировавших западные эволюционистские труды.

Эта публикаторская активность тем более впечатляет, что сами специалисты-этнографы читали профессиональные работы в подлиннике, а, скажем, сочинения классиков мифологической школы на русский язык никогда не переводились. Как вообще практически не переводились на русский язык до 1870-х гг. западные этнографические работы. Правда, вспышка общественного интереса к этнологии оказалась сравнительно кратковременной и продлилась приблизительно до середины 80-х годов XIX века.

Чем же была вызвана популярность этой науки в образованном русском обществе 70–80-х годов XIX столетия? На эти годы пришелся не только пик влияния сциентистского стиля, красной нитью которого служила идея эволюционного прогресса, но также общественный и интеллектуальный подъем 1860–1870-х годов, вызванный великими реформами императора Александра II. Бурно растущая научная и студенческая корпорация, образованные классы в целом усматривали в развитии науки и техники решающий фактор прогресса и превращения России в развитое и состоятельное общество.

В связи с этим огромные и совершенно неоправданные упования возлагались на этнографию: предполагалось, что именно ее усилиями будет создан фактологический и теоретический фундамент метатеории общества – социологии. Более того, порою этнография и социология вообще отождествлялись³⁰². Поэтому востребованными оказались труды, выдержанные именно в эволюционистском духе, работы постэволюционистских парадигм в России переводились и издавались крайне редко³⁰³.

³⁰² Об этом см.: Максимов А.Н. Современное положение этнографии и ее успехи // ЭО. 1909. № 4. Кн. LXXXIII. С. 9–10.

³⁰³ Токарев С.А. История русской этнографии. С. 361.

Здесь нелишне отметить, что марксизм, влияние которого на русскую этнографию до 20-х годов XX в. было мало-значительным, находился в общих рамках сциентистского стиля и считался версией эволюционизма. В оптике досоветской эпохи Ф. Энгельс выглядел не более чем автором одной из эволюционистских теорий, отношение к которой было весьма критическим. Так, Н.Н. Харузин в одной из своих рецензий подверг резкой критике работу Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства», спустя несколько десятилетий канонизированную советской этнографией.

Отношение к марксизму, как одной из научных теорий, лежавших в русле эволюционизма, открывало возможность его комбинирования с другими теоретическими подходами, в том числе неэволюционистского характера, чем активно пользовались отечественные этнологи 1920-х гг. В то же время марксистская парадигма оказалась окрашена в эволюционистские тона, и итог «марксизации» советской этнографии выглядел парадоксальным: под марксистским флером нередко скрывался эволюционизм.

Разумеется, влияние эволюционизма на русскую этнографию не было тотальным, у него всегда находились критики, число которых со временем умножилось. Одним из наиболее влиятельных отечественных оппонентов этого направления был Александр Николаевич Максимов (1872–1941). В молодости участник революционного движения, он заинтересовался этнографией во время своей трехлетней ссылки в Архангельскую губернию. В начале XX в. Максимов составил себе репутацию видного этнографа-теоретика, впоследствии, в советское время, он профессорствовал в Московском университете (1919–1930). «Прекрасный знаток истории этнографической науки, – писала о Максимове исследователь его творчества О.Ю. Артемова, – Максимов всегда был в курсе современных ему теоретических направлений, но сам не принадлежал ни к одному из них. В отличие от большинства

своих коллег, современников и соотечественников он не только не испытывал влияния классического эволюционизма, но в целом весьма отрицательно относился к эволюционистским теориям предшествующей эпохи, хотя это не мешало ему высоко оценивать труды отдельных представителей эволюционизма, в первую очередь Э. Тайлора»³⁰⁴.

Поскольку главным предметом научных интересов Максимова были вопросы истории семьи, брака, родовых отношений – излюбленные эволюционистами темы, – то он обладал значительным фактологическим багажом для верификации их теорий. Им был опубликован ряд работ, подвергавших критическому разбору основные эволюционистские концепции в этой области, а также множество рецензий на труды зарубежных и российских ученых (по подсчетам Е.В. Миськовой, с 1898 по 1916 г. Максимов опубликовал в «Этнографическом обозрении» около 60 таких рецензий³⁰⁵).

Однако самая блестящая и обоснованная теоретическая критика не в состоянии заменить выдвижения альтернативных концепций и теоретических моделей, в чем Максимов выглядел далеко не лучшим образом. Полагая недостаточность и недостоверность фактического материала главной причиной теоретического кризиса этнографии, Максимов во вполне позитивистском духе предлагал сосредоточиться на монографическом изучении отдельных вопросов, отказавшись «от прежних шатких обобщений»; и только по мере создания достоверного фактологического фундамента откроется возможность новой масштабной концептуализации, заключал он³⁰⁶.

³⁰⁴ Артемова О.Ю. А.Н. Максимов и его исследования // А.Н. Максимов. Избранные труды. М., 1997. С. 459.

³⁰⁵ Миськова Е.В. Журнал «Этнографическое обозрение» (1889–1916). С. 7.

³⁰⁶ Максимов А.Н. Современное положение этнографии и ее успехи // ЭО. 1909. С. 4. С. 10.

При кажущейся резонности этой позиции она содержит в себе серьезное методологическое противоречие. Самая большая сумма частных решений не способна составить одной метатеории или даже теории среднего ранга, в то же время любое научное решение частного вопроса предпринимается с определенной – эксплицитной или имплицитной – методологической позиции. Несколько упрощая, не теория вырастает из фактов, а отбор фактов производится в соответствии с теорией или гипотезой, которая затем ими же проверяется. В этом смысле отправной точкой любого, даже самого узкого исследования оказывается интеллектуальный конструкт – гипотеза или общая методологическая посылка. Подобно человеческому эмбриону этот конструкт в свернутом виде содержит все элементы будущей теории, и разовьется ли он в полноценную теорию, зависит от итогов операции верификации/фальсификации гипотезы, полноты источниковой базы, мастерства ученого и т. д. Хотя утверждение теоретической парадигмы есть результат коллективных усилий, у ее истоков стоят исследователи-одиночки, в лучшем случае – небольшие коллективы.

В этом смысле весьма интересен опыт «Этнографического бюро» кн. В.Н. Тенишева (1898–1901), предвосхитившего в России функционалистское направление этнологии. Пытавшийся организовать «Этнографическое бюро» как предприятие, Тенишев исходил из концептуальных предпосылок, близких или тождественных функционалистскому подходу: об обществе как целостности и специфическом функциональном предназначении в нем социальных групп, о связи их поведения с потребностями, об изучении социальных институтов с точки зрения их действительного значения для жизни людей, о практическом значении этнографии и этнографических знаний. Он предполагал этнографическим путем изучить самые массовые социальные

группы *современного* ему общества – великорусское крестьянство и городские образованные слои. Хотя эта программа оказалась реализованной лишь частично, – в плане изучения крестьянства, – питавшийся позитивистским пафосом акцент на *современности* (к исследованию пережитков Тенишев относился весьма скептически) выглядел новаторским для своего времени.

В связи с чем В.В. Пименов предположил, что существовало «несколько центров зарождения функционалистского течения в этнографии, в том числе и наиболее раннее – российское, самостоятельно возникшее и опередившее британцев на четверть столетия»³⁰⁷. Это предположение небезосновательно в избранном Пименовым ракурсе истории научных *идей*, особенно если напомнить, что в германской науке основы функционального метода исследования были изложены Р. Турнвальдом на десять лет раньше, чем Б.К. Малиновским и А.Р. Рэдклифф-Брауном, считающимися основоположниками структурно-функционального подхода³⁰⁸. Однако в перспективе науки как *института* критически важны институционализация идей, их способность вызвать научную динамику.

В этом отношении собранный «бюро» огромный материал оказался потоком систематизированных, но не получивших теоретического осмысления фактов, которые тем самым оказались потеряны для науки. Содержавшаяся в деятельности «Этнографического бюро» возможность концептуального прорыва не получила развития, по-прежнему преобладала традиционная интерпретация предмета этнографии

³⁰⁷ Пименов В.В. Труд ради науки // Благодарим судьбу за встречу с ним (О Сергее Александровиче Токареве – ученом и человеке). М., 1995. С. 81.

³⁰⁸ Марков Г.Е. Немецкая этнология: Учебное пособие для вузов. М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2004. С. 92.

как науки об «отсталых», первобытных народах или чертах первобытности у «культурных» народов³⁰⁹.

Устойчивость эволюционизма в русской (позже – советской) этнографии была вызвана не только его теоретической ясностью и соблазнительной простотой, но и отсутствием универсальной альтернативы. К тому времени, когда наука созрела для перехода к принципиально новой ситуации – теоретическому плюрализму, парадигматическому множеству, эта универсальная альтернатива была насильственно навязана сверху: по иронии судьбы ею оказался марксистованный эволюционизм, получивший новое дыхание благодаря внешнему вмешательству.

Колониальный дискурс

Парадоксальным образом эволюционистская теория служила не только обоснованию универсальных закономерностей движения человечества по пути прогресса, в не меньшей степени она была обоснованием «цивилизаторской» миссии и «бремени белого человека». Речь идет о так называемом колониальном дискурсе – концепте, введенном в современное обществознание палестинским арабом (из аристократической семьи и христианином) Э. Саидом. Он убедительно показал, что общепринятый хрестоматийный на Западе образ Востока есть идеологическая и культурная конструкция, суть которой – приписывание Востоку негативной определенности и врожденной ущербности: пассивный, косный, ленивый, тупой, жестокий и бесчеловечный,

³⁰⁹ Подробнее о В.Н. Тенишеве и его «бюро» см.: Токарев С.А. История русской этнографии. С. 403–406; Журавлева Л.С. К истории публикации «Программы» В.Н. Тенишева // СЭ. 1979. № 1; Фирсов Б.М. Теоретические взгляды В.Н. Тенишева // Там же. 1988. № 3; Его же. «Крестьянская» программа В.Н. Тенишева и некоторые результаты ее реализации // Там же. 1988. № 4 и др.

не способный к развитию, сочетающий роскошь крошечного меньшинства с нищетой подавляющего большинства и так далее³¹⁰.

Тем самым через негативизацию Востока создавался позитивный образ Запада, который по своим качествам якобы есть прямая противоположность Востоку. Эта операция зачастую носила имплицитный и бессознательный характер: человек, народы всегда нуждаются в «*другом*» для осознания себя, причем нередко бессознательно проецируют на «*другого*» собственные негативные черты. Но ее результатом в любом случае стало оправдание колониальной политики, господства Запада над Востоком.

В рамках колониального дискурса осуществлялась (-ется) операция антропологической минимизации «туземцев» (неполноценные люди), обосновывающая право представителей метрополии на их землю и ресурсы, а также на политическое и культурное руководство «туземцами», ведение их по пути «прогресса и цивилизации».

В связи с чем обращает на себя внимание следующий парадокс: признание универсального характера эволюции и прогресса, то есть возможности развития «дикарей», их подтягивания к цивилизации, в колониальном дискурсе сочеталось с *одновременной* онтологизацией, увековечиванием на темпоральной оси разрыва между «цивилизацией» и «дикостью». Другими словами, сколько ни гонись, как ни развивайся, Запад все равно не догонишь.

Чрезвычайная влиятельность и историческая устойчивость этой системы мышления связана с ее закреплением в глобальной экономической структуре. Господство капиталистического центра (ядра) над периферией неразрывно сопряжено с интеллектуальным и культурным обоснованием этнического и расового превосходства. Поскольку экономи-

³¹⁰ Said Edward W. Orientalism. New York, 1979.

ческая система глобального неравенства сохраняется и даже усугубляется, то сохраняет силу (хотя в отличие от XIX и начала XX в. не эксплицируется) и (пост)колониальный дискурс³¹¹.

В отличие от Запада Россия находилась в двусмысленной ситуации: она вынуждена была самоопределяться как по отношению к Западу, так и по отношению к Востоку – «внутреннему» и «внешнему». Другими словами, если Запад выступал элементом дуальной оппозиции Запад – Восток, то Россия – одной из вершин треугольника Запад – Россия – Восток.

Одним из ключевых аргументов русского национального дискурса в пользу принадлежности России к Западу, к Европе была система аргументации о ее цивилизаторской (колонизаторской) миссии на Востоке. Даже славянофилы, обособлявшие Россию от Запада, группировали ее вместе с Западом в общем противопоставлении не-Западу. В общем, колониальный дискурс отнюдь не был чужд русскому мышлению, воплотившись в официальном, общественном и профессиональных дискурсах³¹². Хотя русская колониальная стратегия, безусловно, серьезно отличалась от стратегий европейских стран.

Довольно распространенная в обыденном сознании и имеющая своим истоком профессиональную историографию точка зрения на сей счет сводится к тому, что Российская империя в отличие от западных империй вообще не имела

³¹¹ Подробнее см: Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности. М., 2004.

³¹² Подробнее см: Беккер Сеймур. Указ. соч.; Соколовский С.В. Образы Других в российской науке, политике и праве. М., 2001; Riasanovsky Nicholas V. Asia through Russian Eyes // Russia and Asia: Essays on the Influence of Russia on the Asian People / Vucinich Wayne S., ed., Stanford, 1972; Tolz Vera. Op. cit. Ch. 4 и др.

колониального характера, что она была национальным государством русских. Или что в поведении на завоеванных территориях Россия морально превосходила европейские колониальные державы: их жестокости и жадности в колониях она противопоставляла справедливое и гуманное обращение со своими азиатскими подданными, расовой исключительности западных европейцев – готовность смешиваться с местным населением.

При всей неадекватности этой колонизационной мифологии, кстати, восходящей к протагонистам *цивилизаторской* (то есть колониальной) миссии России, важно понимать ее *ассимиляторскую* подоплеку. В отличие от большинства европейских империй, где ядро в виде национального государства было отделено от далекой колониальной периферии естественными и трудно преодолимыми географическими рубежами, для *континентальной* России вопрос культурной и физической ассимиляции и интеграции этнических групп, обеспечения их лояльности престолу, недопущения кардинальных вызовов и угроз единству страны был предметом первостепенной озабоченности, тем более что к концу XIX в. великороссы составляли меньшинство населения империи. Тем самым колониальный дискурс оказался вплетен в сложную и асимметричную систему имперской национально-государственной политики, в поиски русской национальной идентичности, составил их важный элемент.

Влияние колониального дискурса на отечественную этнографию парадоксально обнаруживается в ее прогрессивистском пафосе – стремлении цивилизовать «отсталые» народы, вывести их на «столбовую дорогу развития человечества» – пафосе, который в полной мере воплотился в жизнь в эпоху социалистической модернизации. Эта позиция, подразумеваемо или явно исходившая из презумпции культурной и технологической *отсталости* (что в определенных ситуациях коррелировало с биологической *неполноценностью*) изучаемых народов, выразилась также

в попытке ограничить предмет этнографии изучением *отсталых* и *малокультурных* народов. Такая точка зрения отчетливо прозвучала в ходе дискуссии в подсекции этнографии на 12-м съезде естествоиспытателей и врачей в Москве.

Кардинальные проблемы и противоречия российской этнографии

В начале XX в. этнография подошла к рубежному состоянию перехода от любительского увлечения к *науке как системе*. В этой ситуации отсутствие ясной профессиональной самоидентификации и профессионального языка делало движение вперед затруднительным.

Диспуты 1909/1910 (на 12-м съезде естествоиспытателей и врачей) и 1916 гг. (в отделении этнографии ИРГО) свидетельствовали о расширении коммуникативного пространства российской этнографии и интенсификации коммуникации. В ходе обсуждений вырабатывался профессиональный язык и модели внутридисциплинарного взаимодействия. Но не только. Ученые пытались апеллировать к широким кругам прогрессивной российской общественности, т.е. опосредованно к власти. Однако в рамках старой социальной системы шанс быть услышанными властью оказался исчезающе малым, а проблемы и противоречия российской этнографии оставались принципиально неразрешимыми.

Даже в начале XX в. формирование русской этнографии еще не было полностью завершено, ряд элементов *системы* науки характеризовался незрелостью, в кадровом и институциональном отношении она напоминала недостроенное здание. Вот какую сжатую, но содержательную характеристику этнографии в России дал В.Ф. Миллер, руководитель подсекции этнографии на 12-м съезде естествоиспытателей и врачей (конец 1909 г. – начало 1910 г.): «Вполне научно подготовленных этнографов специалистов у нас еще очень

мало; исследований, посвященных эволюции этнографических явлений, немного. В то время как в Америке... этнография преподается в 33 университетах... в то время как в Берлине имеются 4 кафедры этнографии, у нас *самостоятельной* кафедры этнографии в университетах еще не существует, хотя курсы по этой науке и предлагаются в некоторых из них»³¹³.

В большинстве российских университетов этнография как отдельная дисциплина вообще не преподавалась, ни одна из этнографических институций – научные общества, самодеятельные учреждения, журналы, музеи – не обладала организационно-кадровым и финансовым потенциалом для проведения фундаментальных исследований и (за частичным исключением ИРГО) масштабной экспедиционной деятельности, в то же время в Академии наук отсутствовало подразделение этнографического профиля. Профессиональные журналы «Этнографическое обозрение» и «Живая старина» жили исключительно безвозмездным трудом своих сотрудников.

Цена наблюдений немалого отряда этнографов/краеведов-любителей с научной точки зрения была весьма невысока: «Работы эти носят случайный, отрывочный характер и редко покушаются на суммирование и систематизацию наблюдения»³¹⁴. В более широком плане протогражданское общество России, обеспечивая частичную легитимацию этнологии, не могло служить существенным источником ее финансово-материальной поддержки. Институциональное состояние науки решающим образом зависело от характера ее взаимоотношений с государством. В этом смысле можно

³¹³ Миллер Вс. Вступительное слово при открытии подсекции этнографии на XII съезде естествоиспытателей и врачей // ЭО. 1909. Кн. LXXXIII. № 4. С. 6–7.

³¹⁴ Там же. С. 6.

говорить о низком статусе и государственной невостребованности (за исключением отдельных военно-стратегических, (гео)политических тем и сюжетов) российской этнографии, что радикально отличало ее положение от этнографии, скажем, в Германии и Великобритании. Даже немаловажные в целях государственного управления проекты этнического картографирования, изучения этнического состава огромной многонациональной страны сдвинулись с мертвой точки только благодаря потребностям военного времени, будучи реализованными уже в советскую эпоху.

Если институциональную «недоразвитость» этнографии и государственное пренебрежение ею можно счесть специфической российской характеристикой науки, то переживавшееся ею состояние острого теоретико-методологического кризиса было родовой чертой европейской этнографии начала прошлого века.

Обращаю внимание, что использование термина «кризис» не преследует цели вызвать негативные коннотации. Поскольку развитие науки и накопление научного знания является не упорядоченным, непрерывным и равномерным, а периодическим, прерывистым и конфликтным, то кризис представляет неизбежное состояние при переходе к новому качеству. Ситуация кризиса возникает при исчерпании старых теоретических подходов и форм организации науки, когда научная дисциплина в силу внутренней логики развития и влияния внешних факторов оказывается перед необходимостью перехода на новый теоретический и институциональный уровень, требует радикального обновления и расширения тематического поля. Хотя кризис может привести к застою и деградации, в кризисных ситуациях наука нередко отличается высокой продуктивностью, интенсивным генерированием новых идей, теорий и концепций, активным освоением новой проблематики.

Вненаучным – культурно-идеологическим и даже экзистенциальным – основанием кризиса европейской этногра-

фии послужило разрушение сциентистского стиля мышления. Эрозия сциентизма заметна с конца XIX в., но окончательно он обрушился в ходе Первой мировой войны: под руинами воюющей Европы были похоронены идеи объективного познания действительности, закономерности, универсального прогресса и единства человечества. (Вряд ли случайно, что в России дискуссия о предмете этнографии состоялась именно в 1916 г.)

В собственно научном плане содержание кризиса составило разочарование в эволюционизме как метатеории и общем методе, его масштабная критика и выдвижение альтернатив – больших и среднего ранга теорий, из которых в тогдашней России наиболее популярными оказались антропогеография Ф. Ратцеля, школа «культурных кругов», культурно-историческая школа³¹⁵. Интересно отметить, что если эволюционистские теории в российскую этнографию проникали в равной мере из Германии и англосаксонской науки, то альтернативы эволюционизму заимствовались почти исключительно из немецкой науки. Некоторое влияние на русскую этнографию школы Ф. Боаса не опровергает сделанное наблюдение, поскольку комплекс идей этого немецкого эмигранта в США лежал в русле германской философской и социальной мысли.

Однако ни проникновение в российскую науку новых теорий, ни последовательная критика эволюционизма А.Н. Максимовым, сочетавшим качества полевого исследователя и хорошего знатока новейших теоретических достижений мировой этнологии, не смогли поколебать доминирующего положения этого течения в русской этнографии.

³¹⁵ Подробнее о содержании этих теорий см.: Марков Г.Е. Очерки истории немецкой науки о народах. М., 1993. Ч. I. Немецкая этнология. Гл. 2.

Завидную устойчивость уже изжитого на Западе эволюционизма в России до 1920-х гг. включительно можно объяснить двумя обстоятельствами. Во-первых, эволюционизм был в принципе совместим с любой универсалистской и прогрессистской идеологией – в данном случае с марксизмом. Тем более что советская модернизация, «социалистическая трансформация отсталых и малокультурных» народов лежала в русле эволюционистского пафоса. Во-вторых, методологическая эластичность эволюционизма, его способность совмещаться и соединяться с другими концепциями стимулировала теоретические синтезы. В этом смысле, чистого эволюционизма в России второй половины 1920-х годов, пожалуй, что и не было.

Теоретическая недостаточность эволюционистской парадигмы осознавалась частью российского этнографического сообщества, о чем свидетельствуют попытки развернуть дискуссию о предмете этнографии, ее задачах и о содержании самих понятий «этнография» и «этнология». Дважды – на упоминавшемся 12-м съезде естествоиспытателей и врачей (рубеж 1909 и 1910 г.) и на заседании отделения этнографии ИРГО (1916 г.) – дело доходило до специально организованных диспутов. Причем теоретические аспекты оказались неразрывно переплетены с практической стороной, ведь от понимания предмета этнографии зависело местонахождение будущей кафедры этнологии в университетах.

Насчет давно назревшей необходимости создания такой кафедры, за редчайшим исключением, разночтений во мнениях не было. Это была магистральная идея разработанного 12-м съездом плана введения профессионального этнографического образования, который также включал такие компоненты, как учреждение в университетских городах музеев общей этнографии, создание специального фонда для обработки этнографических материалов, усиление внимания к лингвистической подготовке студентов и др.

В том что касается факультетской принадлежности кафедры, звучали три позиции: а) открыть ее на естественном факультете, б) на историко-филологическом, в) учредить особое этнографическое отделение, не относящееся к существующим факультетам. Сторонники последней точки зрения, признавая тесную связь этнографии с историей и лингвистикой, указывали вместе с тем на невозможность ее отделения от естественных наук – антропологии, зоологии, анатомии. На этнографию как «связующее звено между естествознанием и обществоведением» указывал, в частности, А.Н. Максимов.

Хотя внешне это выглядело сохранением прежней, уходящей в последнее двадцатилетие XIX в. конкуренции двух подходов к этнографическому образованию – интеграции его в естественнонаучный или гуманитарный цикл при появлении третьей, компромиссной точки зрения, ситуация сущностно изменилась. Отныне статус этнографии как самостоятельной и нуждающейся в дальнейшей институционализации научной дисциплины не подвергался сомнению. Более того, идея учреждения специального внефакультетского этнографического отделения содержала намек, что в каком-то смысле этнография уже начала рассматриваться как метанаука, вытесняя в этом качестве антропологию.

При преобладании прежней точки зрения о том, что место этнографии в системе антропологических знаний, она все более отчетливо квалифицировалась как историческая, гуманитарная дисциплина, изучающая социальные явления и культуру первобытных народов, а также «остатки» первобытных феноменов у «культурных народов». Это была классическая эволюционистская интерпретация, но отводившая место этнографии уже в гуманитарном, а не в естественнонаучном цикле. Другими словами, эволюционизм дрейфовал в направлении большего историзма, в чем сказывалось опосредованное влияние конкурировавших с ним теоретических подходов.

Самую радикальную и потенциально наиболее плодотворную альтернативу эволюционистскому пониманию предмета этнографии предложил действительный член ИРГО Н.М. Могилянский, выступивший в диспуте на заседании отделения этнографии Общества в 1916 г. с заглавным докладом «Предмет и задачи этнографии». По его мнению, этнографию нельзя было приравнивать к истории культуры, объектом ее изучения должны были стать народы-этноты. Необходимо поставить в центр внимания этнографии не вопросы культуры, а проблему установления «этнических групп, рас, народов как этнических индивидуумов», – утверждал Могилянский, полагавший, что именно этнос составляет подлинную базу научной этнографии и позволит сохранить ее в качестве науки в будущем.

Схожую методологическую позицию в ту же историческую эпоху занимал С.М. Широкогоров – создатель первой концепции этноса³¹⁶, вопрос о влиянии которой на советскую теоретическую этнологию носит дискуссионный характер. Мнение современного этнолога, что исследование Широкогорова «произвело на советских этнографов сильное впечатление, а предложенная им дефиниция (этноса. – Т.С.) имплицитно присутствовала в более поздних и ставших классическими для этой научной парадигмы определениях этноса», явно противоречит его же замечанию об отсутствии работ «буржуазного ученого» и эмигранта в советских библиотеках³¹⁷.

Хотя идеи Широкогорова инкорпорировались в теоретические построения тех отечественных этнологов 1960–1980-х гг.,

³¹⁶ Широкогоров С.М. Этнос. Исследование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений // Известия восточного факультета Дальневосточного университета. Вып. XVIII. Т. 1. Шанхай, 1923.

³¹⁷ Филиппов В.Р. Критика этнического федерализма. М., 2003. С. 23.

которым оказались доступны его труды, основным источником вдохновения советской теории этноса, скорее всего, служила сталинская концептуализация нации и классификация типов этнических общностей. Другое дело, что не существовало принципиальных разногласий между концептуализацией Широкогогорова и дефинициями Сталина, которые находились в общем теоретическом русле.

В рамках научного дискурса именно Могилянскому и Широкогогову принадлежал приоритет в формулировании заявки на создание единственного *оригинального* теоретического построения *глобального уровня* в истории отечественной этнологии. В то же время присущая их интерпретации (Могилянскому в большей степени) *биологизация* этноса классифицировала его как феномен, который предпочтительнее рассматривать в естественнонаучной оптике, а не в ракурсе социальных наук. Не удивительно, что Могилянский, называвший этнографию народоведением, полагал, что кафедры этнографии должны оставаться на естественных факультетах, а на историко-филологических – место кафедрам истории культуры.

Радикально новый взгляд Могилянского на предметную область науки, когда вместо «человечества и его культуры» во главу угла ставился этнос, потенциально вел к ее полному пересмотру. Однако находившееся в состоянии теоретического поиска профессиональное сообщество не было готово отказаться от прежних концептуальных позиций, то есть, по существу, от прежней этнологии. Сила инерции, научные традиции и корпоративные интересы оказались сильнее новых веяний, не получивших поддержки этнологического сообщества.

Оппонентами Могилянского выступили В.П. Семенов-Тянь-Шанский, В.И. Иохельсон и Л.Я. Штернберг. Семенов-Тянь-Шанский, возражая докладчику, указывал на то, что этнографию, согласно с российской традицией ее становления и развития, надо понимать как антропогеографию,

играющую служебную роль при естественных науках. Иохельсон и Штернберг были солидарны в том, что этнография – это самостоятельная и единая в своей описательной и сравнительной части наука в системе антропологических знаний; она историко-гуманитарная дисциплина, обнимающая собой изучение социальных явлений и историю первобытной культуры. В.И. Иохельсон склонялся к тому, чтобы она называлась этнологией.

В целом *теоретические* результаты почти шестилетней дискуссии оказались довольно скромными. По итогам диспута 1909/1910 г. ни по одному теоретическому вопросу не было принято конкретного решения. Никто из участников диспута 1916 г. не разделил экстраординарную новизну концептуализации Могилянского (кажется, она даже не была понята), предпочитая трактовать предмет этнографии в эволюционистском духе. Дискутировалось лишь место кафедры этнографии в системе высшего образования, а также вопрос о том, как называть научную дисциплину: «этнографией», «этнологией», «народоведением» или «антропологией». Но поскольку это различие понималось скорее узко терминологически, чем содержательно, то спор принял схоластический характер³¹⁸.

Тем не менее факт обсуждения ключевых методологических аспектов этнографии свидетельствовал о том, что ситуация в науке носила рубежный характер. Профессиональное сообщество осознавало ее кардинальные проблемы: нестроенность и неразвитость институциональной структуры, государственную невостребованность, нарастающую теоретическую неадекватность. Однако это осознание и здравые (а порою экстравагантно новые и потому пугающие) идеи по поводу обновления отечественной этнологии соседствовали с драматической неспособностью научной

³¹⁸ Материалы дискуссии см.: в: Живая старина. 1916. Вып. 1, 2/3.

корпорации кардинально переломить ситуацию – для этого у нее отсутствовали ресурсы. В то же время государство не проявляло интереса к этнографии, а в более широком плане – к науке вообще, за исключением ее прикладных и военно-технических аспектов. Таким образом, хотя поступательное развитие этнографии в начале XX в. вплотную подвело ее к переходу в новое качество, – и в этом смысле историографическую ситуацию первых двух десятилетий прошлого века можно уверенно характеризовать как кризисную, – в рамках старой социальной системы научный кризис был принципиально неразрешим.

ОЧЕРК ПЯТЫЙ

ГЕНЕЗИС СОВЕТСКОЙ ЭТНОГРАФИИ. 1917–1920-е годы

Советская этнология (как и феномен советской науки вообще) возникла в первую очередь, если не почти исключительно, вследствие государственной политики. Обратившись к семантике словосочетания «советская наука», можно без труда обнаружить, что, помимо привязки к определенной стране, подобно «французской» или «немецкой» науке, оно со всей определенностью указывает на государственный статус науки. Хотя в XX в. любое государство обладало (и все еще обладает в XXI в.) привилегией в отношении производства и распространения знаний, советское государство было абсолютным монополистом в этой области.

Выступив в широком смысле субъектом, созидателем качественно новой социально-политической и экономической системы в пространстве бывшей Российской империи, советская власть в узком смысле сформировала особый тип науки и интеллектуально-культурной жизни как элементов этой системы.

Генезис советской этнографии хронологически совпал с генезисом коммунистической системы, происходившим приблизительно до рубежа 1920/1930-х гг. Эти полтора десятка лет после победы большевистского переворота советская историография по существу точно определяла как «переходный период», то есть такой специфический этап, когда происходило рождение новой системы, но сама эта система еще не возникла, и когда элементы и логика нового находились в сложном взаимодействии (не обязательно в конкуренции) с логикой и элементами старой системы. В рамках новой системы разрешались кардинальные и казавшиеся неразрешимыми противо-

речия старой, но с течением времени в победившей системе формировались собственные противоречия.

Развертывание этой общесоциологической абстракции на отечественную этнографию означает, что качественное отличие советской и досоветской этнографии как социальных институтов (в этом смысле они были разными науками) сочеталось с филиацией идей, теорий и концепций, сохранением некоторых традиций, определенной преемственностью профессиональных кадров и исследовательской проблематики. Однако в рамках утвердившейся и заработавшей новой системы элементы включенной в нее старой приобрели иной смысл и другое функциональное предназначение.

Наиболее плотное и фронтальное взаимодействие «старого» и «нового» в этнографии происходило в 1920-е гг., причем победа «нового» ознаменовалась как разрешением ряда кардинальных противоречий старой системы, относящихся к социальному статусу, институциональной структуре и материальному обеспечению этнографии, так и элиминированием (не снятием, а уничтожением!) принципиальных теоретико-методологических проблем науки.

Глава 5.1.

«ЗОЛОТОЙ ВЕК» ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭТНОЛОГИИ

Примечательный параллелизм: Г.Е. Марков в своем обобщающем исследовании немецкой этнологии охарактеризовал 1920-е гг. как «золотые» годы ее развития и вообще время расцвета наук и искусств в Германии и Австрии, где в то время старые, традиционные культурные, интеллектуальные и идеологические течения сочетались с новыми, вызывая пьянящее ощущение умственной свободы, стимули-

руя высокое напряжение и интенсивность культурной жизни³¹⁹. Эта характеристика, хотя и с серьезными оговорками, применима к культурной и интеллектуальной ситуации в советской России.

В том что касается российской этнографии, ее расцвет стимулировался не только плодотворным взаимодействием различных теоретических течений, как в Германии, но в большей степени беспрецедентным повышением социального статуса науки, форсированным развертыванием институциональной структуры этнографии и началом масштабной подготовки профессиональных кадров, кардинальным расширением и актуализацией этнографической проблематики. В 1920-е годы было достроено здание этнографии, завершилось ее превращение в самостоятельную и полноценную науку. И решающая роль в этом процессе принадлежала советскому государству.

Государство и наука в советской России

Советское государство возникло и развивалось (последние годы своего существования скорее по инерции) как носитель грандиозного и вдохновляющего проекта строительства альтернативной Западу цивилизации. Этот проект питался претендовавшей на научный характер мессианской идеологией русского марксизма (большевизма). (Претензии на научную рациональность вообще характерны для идеологий модерна.) То есть государство, номинально воплощавшее волю передового класса – пролетариата, нуждалось в легитимации себя наукой. В свою очередь, оно легитимировало науку, рассматривая ее как средство освобождения пролетариата и движения по пути прогресса. В принципе, в самой этой связи, если отбросить ее содержательную сто-

³¹⁹ См.: Марков Г.Е. Очерки истории немецкой науки о народах. М., 1993. Ч. I. Немецкая этнология. С. 96–102.

рону, не было ничего специфически советского: вопрос о легитимации науки, решающей «что истинно, а что ложно», еще со времен Платона, как указывал Ж.-Ф. Лиотар, неразрывно связан с вопросом о легитимации власти, определяющей «что справедливо, а что несправедливо»³²⁰. Легитимация же науки через, по выражению того же Лиотара, «метарассказ» (диалектика Духа, эмансипация разумного субъекта или трудящегося, рост богатства и т. п.) вообще характерна для эпохи модерна.

Советское государство одной из своих ипостасей выступало как государство модерна. Во-первых, оно унаследовало важные черты модерна: сциентизм, технократизм, рационализм, идею социального милосердия. Во-вторых, ему пришлось решать масштабные задачи социально-политической и экономической модернизации, остававшиеся для Запада уже в прошлом. Модерн-проект вне зависимости от его политико-идеологической окраски неосуществим без самого активного участия и использования науки, что предопределяло востребованность и высокий статус научного знания в новой России, порождая, в свою очередь, надежду на взаимность науки по отношению к большевистскому государству.

Развитие отечественной этнологии в 1920-е гг. в полной мере подтверждает справедливость этих теоретических выкладок. Она наконец-то приобрела устойчивый статус самостоятельной научной дисциплины, получила институциональное оформление и стабильное государственное финансирование, была налажена система подготовки этнологических кадров, укрепился привлекательный образ профессии. Эти важные позитивные изменения более чем компенсировали потери, понесенные этнологией в годы революционных потрясений и гражданской войны.

³²⁰ См.: *Лиотар Ж.-Ф.* Состояние постмодерна. М., 1998. С. 27–28.

Востребованность этнологических знаний объяснялась двумя принципиальными обстоятельствами. Первое из них носило (гео)политический характер: в 1920-е годы Кремль разворачивал вектор мировой революции с Запада, где раздуть революционный пожар не удалось, на пробуждавшийся Восток. Значительный рост интереса к зарубежной и отечественной Азии стимулировал развитие востоковедных, в том числе этнографических исследований и расширение масштабов соответствующей профессиональной подготовки. Вторым фактором был упоминавшийся императив модернизации Советского Союза, в том числе модернизации («вовлечения в социалистическое строительство») ранее «отсталых народов». В авангарде решения этой задачи неизбежно оказывалась этнографическая наука.

Этнографам предстояло изучить и описать этнический состав населения бывшей Российской империи, создать этнографические карты и заняться этнической статистикой, активно участвовать в организации просветительских и культурных учреждений на окраинах страны, способствовать формированию и развитию национальных письменных литератур. Важно отметить, что направленность государственной политики принципиально совпадала с научными интересами и устремлениями самих ученых, т. е. существовала взаимная комплиментарность науки и нового государства. Благодаря поддержке последнего сложились благоприятные условия для реализации многочисленных замыслов и идей (например, изучения этнического состава населения России), вынашивавшихся не одним поколением российских этнографов. Ориентируя их в первую очередь на практические результаты, власть не вводила при этом значительных идеологических и политических ограничений в сфере профессиональной деятельности.

Более того, большевистский мироустроительный проект с его пафосом титанического созидания смог реактуализировать ценности модерна и восстановить целостность миро-

воззрения русской интеллигенции. Вера в единство и прогресс человечества, в разум и преобразующую мощь человека – все те идеальные ценности и высшие смыслы, которые были порушены мировой и гражданской войнами, вновь наполнились реальным содержанием, мотивировали личное, групповое и общественное поведение. Приверженность идее прогресса объединила этнологическое сообщество – как представителей старой, дореволюционной школы, так и новую, советскую генерацию. Судя по этнологии 1920-х годов, «чувство социального оптимизма» – набивший оскомину штамп советских социальных наук – было *реальным* мироощущением. Этнология в целом характеризовалась высоким морально-психологическим тонусом, динамизмом, стремлением к поиску нового и небывалой тягой экспериментаторства.

Этот *Zeitgeist* пронизывал и высшее образование, которое формировало не только профессиональную компетентность, но и (возможно даже, в большей степени) идеалы, итогом чего должно было стать появление элиты, ведущей пролетариат к освобождению, а человечество по пути прогресса. Новый мощный импульс получил легитимировавший этнографическую профессию с конца XIX в. миф об «этнографе-подвижнике» – модификация архаичного мифа о «культурных героях».

Отношения между государством и этнологической наукой в 1920-е годы можно в целом охарактеризовать как *неравноправное партнерство*, где слабой стороной выступало научное сообщество. Государственные преференции науке обменивались на ее участие в модернизации советской России («связь с практикой социалистического строительства» как критически важное условие государственной поддержки), что в полной мере соответствовало устремлениям самих этнологов, и политическую лояльность по отношению к новой власти. За этими исключениями этнология сохраняла автономию: политические инстанции

не покушались на свободу научного творчества, не диктовали ученым, что и как им изучать. В свою очередь, этнологическому знанию нередко принадлежала решающая роль в выборе конкретных приоритетов, определении форм и методов советской этнополитической стратегии, особенно в части социализации «отсталых народов».

Хотя государство и наука легитимировались «метарасказом» – идеологией большевизма – конституирующим признаком этнологии 1920-х годов был плюрализм во всех сферах ее бытования, во всех ее аспектах: теоретико-методологическом, институциональном и кадровом, в принципах и системе профессиональной подготовки. Причем главенствующие позиции в науке и в профессиональном образовании занимали ученые старой школы – этнографы, чье профессиональное становление пришлось на дореволюционный период. Именно эта генерация ученых инициировала большинство новых учебных и научных этнологических центров, возникших после революции, в их руках находился контроль, как за новыми учреждениями, так и за теми, которые появились еще до большевистской революции.

Это объясняет, почему претензии на методологический диктат («марксизация» этнографии) на рубеже 1920 и 1930-х годов, исходили не столько от власти, сколько от части молодого поколения советских обществоведов, лелеявших амбициозные планы административного контроля над комплексом гуманитарных дисциплин. Средством достижения чего была избрана организация идеологического давления на ученых старой школы, поскольку состязаться с ними на профессиональном поприще марксистские неопиты не решались. Фактически «молодые марксисты» пытались узурпировать право государства выступать верховным арбитром истины, что с неизбежностью влекло за собой его вмешательство во внутринаучный, но идеологизированный конфликт. В результате хрупкий и неустойчивый *modus vivendi* в отношениях между наукой и государством

был безвозвратно сломан. В общем-то, раньше или позже это неизбежно произошло бы в силу логики развития советского проекта и эволюции партийного государства.

*Этнография в провинции
или «провинциальная» этнография?
Подъем этнографических исследований
в Сибири как феномен (1920-е годы)*

Одним из важнейших условий, обеспечивших беспрецедентную динамику этнографических исследований после революции, стала кадровая непрерывность: в подавляющем большинстве этнологи старой школы не покинули Отечество в годы Гражданской войны. Это потенциально обусловило их готовность к сотрудничеству с новой властью. Что двигало теми учеными, которые остались в России? Абстрагируясь от разного рода личных обстоятельств, попытаемся реконструировать определяющие мотивы. Во-первых, пафос титанического созидания, исходивший из большевистской парадигмы модернизации, предоставлял ученым уникальный шанс участвовать в формировании новой социальной и культурной ткани страны. Во-вторых, здравый анализ сложившейся ситуации показывал, что большевики представляли единственную реальную политическую силу, способную вывести страну из общенационального кризиса и восстановить космос/порядок. В-третьих, переход к нэпу с его пусть ограниченным, но плюрализмом порождает надежды на перерождение нового режима в демократическом русле.

Вместе с тем процесс адаптации интеллигенции к новой социальной действительности оказался сложным, подчас мучительным. Кроме того, в ситуации социополитической нестабильности (революция и перипетии гражданской войны) стратегия большинства состояла в том, чтобы остаться в стороне, отсидеться, избегая внешнего хаоса. Последнее

обстоятельство стимулировало массовый отток научных сил из центра в Сибирь и на Дальний Восток. Быстрый рост университетов в провинции, а также провинциальные отделения Русского географического общества стали институциональной базой и прибежищем для интеллектуалов.

Всплеск этнографических исследований за Уралом, особенно заметный в Иркутске в 1920-е годы, рядом исследователей концептуализируется как *феномен* науки в провинции, подразумевая не вторичность и несамостоятельность по отношению к центру, но, наоборот, самоценность, автохтонный характер сибирской этнографии, выросшей на собственной основе³²¹. Другими словами, не ситуативный, локальный успех, а проявление объективной закономерности. Оппонирующая позиция акцентирует решающий вклад приезжих ученых и политических ссыльных в развитие науки в провинции³²².

Историографическое осмысление впечатляющей динамики восточносибирской этнографии в раннесоветский период может стать поводом для обсуждения связки вопросов, давно заслуживающих широкой цеховой дискуссии. Эти вопросы точно формулирует А.А. Сирина: «Является ли научная жизнь провинции простым слепком со столичных научных центров или она в состоянии создать нечто новое? Исходит ли это развитие из собственной или привнесенной

³²¹ См., например: Сирина А.А. «Провинциальная» наука: Этнография в Иркутске в 1920-е годы. // «Провинциальная» наука: этнография в Иркутске в 1920-е годы / Избр. ст. / Сост., автор вст. ст. и библиограф. словаря А.А. Сирина. М.; Иркутск, 2013. С. 7–48.

³²² Савоскул С.С. Несколько заметок об истории и современном развитии отечественной этнологии и антропологии (по поводу выхода в свет книги «Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи XX века». М.: Наука, 2004) // Отечественная история. 2006. № 1. С. 179–186.

основы? Возможно ли сосуществование в провинции разных направлений и методов работы?»³²³.

Хотя отвечая на эти вопросы, А.А. Сирина опирается на локальный эпизод в истории этнографических исследований в Восточной Сибири, имплицитно она экстраполирует свои соображения и выводы на более широкую историческую перспективу, переводя их в плоскость рассуждений о будущем провинциальной этнографии в России.

Реконструкция событийной канвы этнографического «ренессанса» в Иркутске в 1920-е годы, а также характеристика институциональной структуры и основных направлений исследовательской активности представляют собой необходимые условия для осмысления феномена провинциальной науки.

Великий исход интеллигенции из Центральной России начался после февральской 1917 г. революции и резко ускорился с приходом к власти большевиков и началом Гражданской войны. Правитель дел Восточно-Сибирского отделения РГО И.И. Серебренников сделал в сентябре 1917 г. запись в своем дневнике: «Иркутск начинает переполняться населением: сюда приезжают на жительство из Москвы и Петрограда. Цены на квартиры достигли чудовищных размеров»³²⁴.

Понятно, почему местом интеллектуального паломничества стал Иркутск. Здесь была институциональная основа для занятий наукой, в том числе этнографией. В 1918 г. в Иркутске был создан университет в составе историко-филологического и юридического факультетов. В 1919 г. из этих факультетов образован гуманитарный факультет из шести отделений, а в 1921-м – ФОН (факультет обще-

³²³ Сирина А.А. «Провинциальная» наука: Этнография в Иркутске в 1920-е годы. С. 8.

³²⁴ Цит. по: Там же. С. 11.

ственных наук), объединивший три отделения – правовое, экономическое, восточное. В 1924 г. ФОН был переименован в факультет хозяйства и права (хозправфак). Из трех оставшихся отделений бывшего гуманитарного факультета был создан педагогический факультет, где студенты «могли выбрать специализацию по русской этнографии и фольклору, по археологии и этнографии азиатских народов Сибири, по истории Сибири или по русской литературе»³²⁵.

В университете, где помимо хозправфака и педфака действовали также медицинский и рабочий факультеты, работало много приезжих ученых из Центральной России, Петрограда, Москвы, Казани, бежавших от революции: профессор А.М. Селищев (филолог-славист), Н.Д. Мионов (языковед, востоковед), Л.И. Пономарев (филолог, позже директор исторического музея в Москве), профессор В.И. Огородников (историк), профессор М.М. Рубинштейн (философ, первый ректор ИГУ), М.В. Муратов (историк, религиовед, писатель). Хотя летом 1920 г. после установления советской власти в Сибири Иркутский университет покинули сразу 11 профессоров и 16 преподавателей, кадровый костяк сохранился и по данным на 1924 г. в университете работали 34 профессора, 38 преподавателей, 115 ассистентов³²⁶.

Этнография в университете была децентрализована и локализована в составе нескольких структурных подразделений: на кафедре первобытной культуры (организована Б.Э. Петри при истфиле ИГУ в 1919 г.), на кафедре русской этнографии (основана в 1923 г., здесь преподавали профессора М.К. Азадовский и Г.С. Виноградов), на кафедре сибирской истории (с 1924 г. кафедрой заведовал профессор Н.Н. Козьмин), в Биолого-географическом НИИ универси-

³²⁵ Там же. С. 12.

³²⁶ Там же.

тета, где в 1929 г. была образована комиссия по охотоведению и делам Комитета Севера.

Университет, как институциональная площадка этнографических исследований, был тесно связан с Восточно-Сибирским отделением РГО: «Университет и ВСОРГО были подобны сообщающимся сосудам – одни и те же люди были членами ВСОРГО и преподавали в университете или были его студентами и выпускниками»³²⁷. В декабре 1922 г. в результате объединения археологической комиссии (создана в 1919 г. Б.Э. Петри) и этнографической секции (создана в мае 1922 г. М.В. Муратовым) в структуре ВСОРГО была образована этнологическая секция во главе с Б.Э. Петри. В сферу ее деятельности входили вопросы археологии, этнографии (преимущественно «туземной») и антропологии. Судя по проблематике «Этнографического бюллетеня» (четыре номера вышли в 1922–1923 гг.) именно «туземная» этнография (изучение духовной культуры аборигенных этносов Сибири, взаимоотношения монгольского и русского населения, областной тип в этнографии) составляла стержень исследовательской повестки этнологической секции.

В 1924 г. во главе этнологической секции встал М.К. Азадовский, приехавший в Иркутский университет из Читы. Работа секции была переориентирована на родиноведческое направление этнографии. В сферу интересов профессоров М.К. Азадовского и Г.С. Виноградова входили этнографические и фольклорные исследования преимущественно современного русского населения Сибири, межэтнические контакты и культурные взаимовлияния. Этнологическое изучение «туземных» народов Сибири оказывалось за бортом деятельности обновленной секции (оно не потерялось, но перемещалось на площадку «государственной этнографии» в структуры Комитета Севера).

³²⁷ Там же. С. 18.

Одним из приоритетов в рамках «родиноведческого» направления стало составление инструкций и программ сбора материалов по народной медицине, фольклору, музыкальной этнографии, оленеводству, обычному праву (серию «Библиотека собирателя» вели Азадовский и Виноградов). Г.С. Виноградов стал зачинателем пионерного направления этнологической науки – «этнографии детства». Им были впервые определены объем и содержание понятия «детская этнография», намечены основные направления изучения, а также составлена программа исследований. Книга Виноградова «Русский детский фольклор» (1930) во многом задавала стандарт монографического исследования и описания детского фольклора.

М.К. Азадовский возглавил фольклорное направление исследований, причем наряду с исследованием традиционного фольклора, он и его коллеги собирали современный и профессиональный фольклор по теме «Отражение революции в фольклоре».

В конце 1920-х этнологическая секция ВСОРГО начала исследования по темам «городская этнография» и «русский городской фольклор»³²⁸.

Проекцией серьезного исследовательского потенциала этнографии и этнологии в организационной связке Иркутский университет – ВСОРГО стал выход сборника «Сибирская живая старина» (1923–1929)³²⁹ – первого послереволюционного периодического издания по этнографии в нашей стране. Всего вышло семь сборников (в том числе два сдвоенных выпуска). Необходимо признать, что сборник в со-

³²⁸ Подробнее об этом см.: *Сирин А.А.* «Провинциальная» наука... С. 20–21.

³²⁹ См. современное репринтное издание всех выпусков сборника: *Сибирская живая старина: этнографический сборник в 4-х т.* СПб.: Альфарет, 2008.

держательном плане, по теоретическому разнообразию и актуальности опубликованных статей и материалов вышел далеко за рамки провинциального (то есть локального) краеведческого издания. Здесь присутствовали все атрибуты солидного научного журнала и явно прослеживалась проблемно-тематическая и концептуальная преемственность с дореволюционной «Живой стариной». Ядро повестки составили разнообразные вопросы сибирской этнографии, но с акцентуацией этнографии русских – фольклора, народного искусства, этногенеза.

Кадровый состав этнологической секции (25 человек) и недостаток средств не позволяли организовать широкомаштабные экспедиционные исследования русского населения Сибири. Одиночные выезды на личные средства или средства ВСОРГО энтузиастов из числа местной интеллигенции, которые иногда характеризуют как «старые, дедовские» методы собирательской работы, имели амбивалентные результаты. С одной стороны, энтузиазм местных краеведов вполне вписывался в более широкий поток массового подъема краеведческого движения в стране в 1920-е гг. С другой стороны, экспертный потенциал этнографического знания, полученного непрофессионалами на волне «стихийного самотека этнографической работы», был заведомо ограничен.

Иное дело «малые» народы, которые стали объектом специального внимания власти и национально-государственного строительства, породив феномен «государственной», или прикладной, этнографии. Советская политика 1920-х была направлена на институционализацию этничности и создание этнотерриториальных образований. Изменилась идеологическая парадигма этнографических исследований: теперь «наука прямо призывалась на службу практике, становясь элементом социальной инженерии»³³⁰.

³³⁰ Сирина А.А. «Провинциальная» наука. С. 37.

20 июня 1924 г. был создан Комитет содействия народностям северных окраин при президиуме ВЦИК (Комитет Севера). Одним из наиболее активных региональных комитетов стал Комитет Севера при исполнительном комитете Иркутской губернии.

Волна национально-территориального строительства, вызвавшая взлет этнического самосознания, затронула не только «малые» народы, но и два самых крупных этноса Сибири – бурят и якутов. В 1925 г. в составе ВСОРГО была создана бурят-монгольская секция, в 1926-м – якутская секция, действовавшие до 1930 г. Создание первой было во многом подготовлено предшествующими исследованиями в области бурятской этнографии. Этнография бурят занимала значительное место в научной работе кафедры первобытной культуры Иркутского университета (Б.Э. Петри, П.П. Хороших, П.Г. Полтораднев и др.). Председателем бурят-монгольской секции был избран Н.Н. Козьмин (1925–1928). Секция действовала в координации с властными структурами Бурят-монгольской Автономной ССР и научными учреждениями республики – Бурят-монгольским институтом культуры, Иркутским научным музеем, Иркутским государственным университетом. Экспедиционную работу иркутских ученых (в том числе бурятской молодежи) финансировал Наркомпрос БМАССР³³¹. Наркомпрос и ЦИК БМАССР также финансово поддерживали «Бурятоведческий сборник», который секция выпускала, начиная с 1926 года.

Якутская секция в своей деятельности опиралась на якутское землячество в Иркутске, выпускала «Очерки по изучению Якутского края».

Опыт тунгусо-манчжурской секции ВСОРГО оказался малоудачным: проработав несколько месяцев, она была

³³¹ Там же. С. 27.

ликвидирована, поскольку «не нашлось достаточно ученых, интересовавшихся данной тематикой»³³².

Группа «малых» народов, будучи определена, стала объектом специального внимания власти и важным направлением этнографических исследований в 1920 – начале 1930-х гг. Иркутские исследователи получили уникальный шанс выхода за рамки чистой науки и реализации экспертного потенциала этнографии. Немаловажно и то, что работа (в том числе экспедиции) по заказу государственных органов прекрасно финансировалась.

Государственное финансирование позволило Иркутскому Комитету Севера совместно с Красным Крестом организовать в 1924–1931 гг. около десятка экспедиций к малоисследованным народам тайги, в том числе к карагасам (тофаларам) и окинским сойотам (Б.Э. Петри), верхнеленским (Е.И. Титов) и илимским (Я.Н. Ходукин) тунгусам, туруханским тунгусам (Н.П. Попов).

Результаты «экспертного штурма» проблем малых народов Севера были амбивалентными. С одной стороны, благодаря государственной поддержке впервые было организовано систематическое планомерное и комплексное их исследование, с другой – экспертные оценки специалистов неизбежно редактировала политика и общая идеологическая установка. Но пространство свободы и объективность оценок экспертов в не меньшей степени, нежели политика, ограничивали индивидуальный дотеоретический опыт и морально-ценностные презумпции³³³. Картина мира, в оптике которой отсталость нацменьшинств была плодом им-

³³² Там же. С. 28.

³³³ Например, позиция Б.Э. Петри по «туземному» вопросу диктовалась не официальной политической линией, а скорее проистекала из его искреннего убеждения в том, главным источником «отсталости» «малых народов» являлось русское влияние. Подробнее об этом см.: Сирина А.А. «Провинциальная» наука... С. 43–44.

перской политики, русского колониализма, насильственной христианизации и русификации, была таким же искажением реальности, как упования большевистской власти на тотальную коллективизацию – универсальное средство «изменения жизненного уклада туземцев в сторону улучшения»³³⁴.

В конечном итоге форсированная модернизация, изменение общественно-политического контекста, логики взаимоотношений в связке власть – наука, а также роли и места этнографии в советской национальной политике, происходившие начиная с рубежа 1920–1930-х гг., не позволили реализовать экспертные возможности этнографии (в том числе сибирской) в полном объеме и не оставили шансов проверить качество этой экспертизы. Начавшаяся в 1929 г. реорганизация структур ВСОРГО и последовавшее за этим слияние с другими краеведческими организациями, драматически изменили контуры этой институции и фактически дезавуировали ее исследовательские наработки. В 1935 г. Комитет Севера был ликвидирован, «работа по землеустройству с целью выделения особых туземных территорий прекратилась, а к концу 1930-х гг. были ликвидированы многие из созданных ранее национальных районов»³³⁵.

Сделанные историографические зарисовки институционально-кадрового состояния и эвристического потенциала восточносибирской этнографии 1920 – начала 1930-х гг. возвращают нас к главным вопросам. Исходила ли столь высокая динамика этнографических исследований в Иркутске из собственной (автохтонной) или привнесенной основы? Можно ли постфактум реконструировать предпосылки и обстоятельства, приведшие к успеху этнографии в провинции? Возможно ли интерпретировать этот успех как

³³⁴ Сирина А.А. «Провинциальная» наука. С. 42.

³³⁵ Там же. С. 45.

проявление объективной закономерности, а обнаруженную закономерность экстраполировать на настоящее провинциальной этнографии и попытаться прогнозировать ее будущее.

Авторский взгляд будет сформулирован в форме полемики с крупнейшим специалистом в области изучения истории восточно-сибирской этнографии А.А. Сириной. Отправная точка рассуждений исследователя – тезис о том, что взлет этнографических исследований в Иркутске в 1920-е годы «не был *случайностью* (курсив мой. – Т.С.), а проистекал из предшествующей социально-экономической и культурной истории Иркутска и Восточной Сибири»³³⁶. Здесь А.А. Сирина подвергает ревизии привычное объяснение, связывающее успехи этнографии в Иркутске главным образом с деятельностью и интеллектуальным влиянием приезжих ученых и политических ссыльных. Обоснование выдвинутого тезиса исходит из демографических (из 225 научных работников Иркутска в 1926 г. 95 были уроженцами Сибири, 57 – коренными иркутянами³³⁷), институциональных (наличие институциональной базы для этнографических исследований, оплотом которой стали Восточно-сибирское отделение РГО и Иркутский университет) и интеллектуальных (наличие развитого научного и культурного ландшафта в лице выпускников Иркутской духовной семинарии) аргументов.

Однако на каждый аргумент можно выдвинуть связку контраргументов, причем почерпнутых из публикаций самой А.А. Сириной³³⁸. Например, Иркутский университет –

³³⁶ Там же. С. 9.

³³⁷ Там же.

³³⁸ См., например: *Сирина А.А. Забытые страницы сибирской этнографии*: Б.Э. Петри // Репрессированные этнографы. М.: Восточная литература РАН, 2002. С. 58–59. *Ее же.* «Провинциальная» наука: этнография в Иркутске в 1920-е годы. М. – Иркутск, 2013.

наиболее влиятельная институциональная площадка восточносибирской этнографии раннесоветского периода – был основан в 1918 (!) году. Хотя его открытие *совпало* с закрытием Иркутской духовной семинарии, говорить о прямой культурной и интеллектуальной преемственности этих институций можно лишь с большой натяжкой. Жизнь ВСОРГО, одного из самых деятельных в имперский период, «во время I мировой войны и накануне революции едва теплилась», а перезагрузка этой институции произошла в 1917–1919 годах, когда в ВСОРГО «массово вступала *приезжая* (курсив мой. – Т.С.) научная интеллигенция»³³⁹.

Соглашаясь с высокой оценкой потенциала Иркутска как социально-экономического, интеллектуального и культурного центра, я полагаю все же, что взлет этнографии в Иркутске в 1920-е годы оказался результатом *уникальной конstellации* ряда факторов – структурных и переменных (включая и элемент случайности).

Структурные факторы – «высокий уровень социально-экономического и культурного развития дореволюционного Иркутска»³⁴⁰, относительно развитая институциональная структура, устойчивые традиции «туземной этнографии», питавшиеся гуманистическими презумпциями местной интеллигенции, включая таких крупных представителей сибирского областничества, как Н.Н. Козьмин, – сами по себе лишь создавали «*окно возможностей*» для этнографии в провинции. Но сценарий развития событий мог оказаться иным, а научный потенциал Иркутска остаться нереализованным, если бы в дело не вступили факторы переменные: «подпитка местного научного сообщества беженцами-интеллектуалами из центральной России»; новые практики в области национального строительства, стимулировавшие

³³⁹ *Сирина А.А.* «Провинциальная» наука. С. 18.

³⁴⁰ Там же. С. 47.

«интерес национальных меньшинств к своей истории, языку, культуре и территории»; общий «подъем краеведческого движения в 1920-е годы в СССР»³⁴¹.

Добавлю к этому ситуативную социально-политическую стабильность: столица Восточной Сибири находилась в стороне от эпицентра революционного хаоса (советская власть была установлена в Иркутске лишь к исходу 1920 года), а политика вплоть до конца 1920-х не оказывала деформирующего воздействия на научный дискурс, за исключением «государственной» этнографии³⁴².

Главными акторами успеха этнографии в Иркутске были люди науки – местные уроженцы и беженцы из центра, этнографы и неэтнографы, профессионалы и любители, вдохновленные открывшимися перед ними возможностями, объединенные гуманистическим прогрессистским пафосом преобразований и жадной научной открытий. Воля, самоотверженность и энтузиазм Б.Э. Петри, Г.С. Виноградова, Е.И. Титова, М.К. Азадовского и других тружеников на ниве этнографии/этнологии позволили реализоваться культурному и интеллектуальному потенциалу российской провинции там и тогда. Уникальность ситуации (здесь – синоним удачи или везения) состояла в том, что этнографическое знание впервые за почти вековую историю отечественной этнографической науки было *востребовано* государством (властью).

Локальный и во многом уникальный опыт провинциального взлета отечественной этнографии в 1920-е годы не удалось повторить в «среднюю» и «позднюю» советские эпохи. А.А. Сирина объясняет это следующим образом: «Централизация и унификация идеологической, общественно-поли-

³⁴¹ Там же.

³⁴² Подробнее об этом см.: Сирина А.А. «Провинциальная» наука. С. 48–49.

тической и научной жизни советского времени не позволила гуманитарным наукам полноценно развиваться, превратив научные исследования в регионах в провинциальные»³⁴³. Это объяснение представляется несколько односторонним. Разве оборотной стороной «централизации и унификации» не являлись стабильное финансирование этнографических (в том числе экспедиционных) исследований в центре и провинции, расширение подготовки профессиональных кадров в масштабах страны, создание массовой советской гуманитарной интеллигенции, кристаллизация множества институциональных площадок и каналов профессиональной коммуникации, что связывало научное сообщество в единое исследовательское и информационное пространство поверх региональных различий?

Вместе с тем все более заметное (особенно при позднем СССР) дистанцирование государства от гуманитарного знания и нарастающая социополитическая деактуализация этнографии вкупе с отсутствием работоспособных критериев эффективности в гуманитарных дисциплинах вели к застою и деградации, снижению экспертного потенциала этнографии и качества научных исследований. В этой ситуации понятие «провинциальный» приобретало совсем иной смысл, как синоним бесплодного схоластического «теоретизирования», «мелкотемья», засилья «эмпиризма», вне зависимости от региональной привязки.

Интеллектуальная интуиция мне подсказывает, что кризисные явления в науке продуцировались не столько иерархическим принципом ее организации и идеологическим и тематическим контролем интеллектуальной сферы, сколько исходили изнутри профессиональной корпорации. В итоге оборотной стороной массовизации интеллигенции в СССР не могло не быть снижение ее качества.

³⁴³ Там же. С. 50.

Паразитизм и вялость, интеллектуальная деградация, тенденция «клановизации» охватили в первую очередь столичную гуманитарную интеллигенцию, а в провинции в силу интеллектуальной и социокультурной инерции сохранялись «резервации» высокого профессионального и морального стандарта. Но рано или поздно (скорее рано) негативные явления транслировались в провинциальные научные и образовательные этнографические центры. Противопоставление «центр» и «провинция» размывалось.

Размышляя о будущем этнографии, А.А. Сирина полагает, что «при благоприятных обстоятельствах произойдет децентрализация научных исследований, а само понятие “научной провинции” исчезнет»³⁴⁴. Если исходить из актуального положения этнологии в нашей стране, то столь чаемая децентрализация уже осуществилась. С разрушением СССР произошла заметная автономизация этнографических институций (вузовских и исследовательских) в регионах России с тенденцией к минимизации (в ряде случаев вплоть до фактического прекращения) организационных и научных связей с «центром». Институциональная децентрализация и диверсификация научных исследований *пока* не привели к заметному росту оригинального нового теоретического знания в центре и на местах (отдельные образцы плодотворной теоретической работы не отменяют общей тенденции).

Историческая специфика России состоит в том, что импульсы, стимулирующие социополитическую, интеллектуальную, культурную и иную активность, традиционно исходят из центра страны. Смыслы и ценности, генерируясь в обеих столицах с их самой высокой информационной, коммуникативной и интеллектуальной плотностью, растекаются по стране, подобно неостывшей лаве заполняют все

ниши и пустоты. Понятно, что интеллектуальные и культурные продукты адаптируются к местным условиям, порождая интересные синтезы с местными традициями и приобретая подчас самобытные формы, но *системой соотнесения* остаются столичные научные и культурные институции, задающие мировоззренческую рамку и профессиональный этос.

Рождение и становление талантливых ученых и мыслителей с неординарной картиной мира, мощным интеллектуальным замахом внеположено понятиям «центр» и «провинция». Однако для реализации потенциала таких личностей необходимы прочная финансово-экономическая и институциональная база, составляющие исследовательский коллектив квалифицированные кадры, а еще принципиальная концептуальная и мировоззренческая совместимость (общая «группа крови»), которая превращает коллектив в группу единомышленников и обеспечивает психологический и эмоциональный комфорт.

Самоочевидно, что центр имеет солидный гандикап в сравнении с провинцией в части обеспечения по крайней мере первых двух из перечисленных условий научной деятельности. А если иметь в виду интенсивность информационных потоков, качество логистики, высокий пульс жизненного ритма, разомкнутость культурного пространства, привлекательность центра становится неоспоримой. Так что центростремительный характер интеллектуальной миграции был и остается преобладающим трендом в нашей стране.

*Познать, чтобы преобразовать.
Этнологическая экспертиза и большевистская
модернизация*

В раннюю советскую эпоху этнология оказалась очень важным средством «социалистического строительства на национальных окраинах». Политика экономической

³⁴⁴ Там же.

и социокультурной модернизации должна была опираться на «широкое этнографическое изучение освобожденных этнических единиц», а «безболезненное проведение в жизнь новых начал производства, быта, общественного устройства было возможно только при достаточном предварительном изучении данного этноса»³⁴⁵.

Познать, чтобы преобразовать, – этот социалистический лейтмотив этнографического изучения сменил имперский принцип *познания ради управления*. Пафос трансформации *народов* – их социальных, институциональных, культурных и даже ментальных структур, подразумевавший непосредственное участие науки, вовлекал ученых в сложную политико-идеологическую игру, подвергая серьезному интеллектуальному и моральному риску. Хотя стратегия форсированного приобщения народов национальных окраин к социализму, основывавшаяся на классическом эволюционистском положении об универсальности прогресса и марксистской телеологии о движении народов к коммунизму как высшей и заключительной фазе истории – земному обетованию рая, выглядела антитезой царскому и западному колониализму, а первые плоды большевистской социокультурной модернизации и политическая интеграция «ранее поработанных народов» подчеркивали фундаментальное различие стратегий модернизации, в действительности пафос триумфального марша национальных окраин к социализму под водительством великорусского пролетариата и коммунистической партии не был лишен колониалистского подтекста, поскольку имплицитно основывался на презумпции неполноценности народов этих

³⁴⁵ Преображенский П.Ф. Вопросы развития советской этнологии // Культура и быт населения ЦПО. (Этнологические исследования и материалы) / Под ред. В.В. Богданова и С.П. Толстова. 2-е совещание этнологов ЦПО 7–10 декабря 1927 г. М., 1929. С. 18.

окраин. Если их надо было *вести*, то это означало их неспособность *идти* самим.

Участие этнографов в осуществлении национальной политики осуществлялось различными способами. Профессиональные ученые вошли в состав ряда правительственных учреждений. С середины 1920-х гг. по инициативе ученых-этнологов учреждались различные комиссии (подкомиссия по изучению окраинных народностей при КИПС, Комиссия экспедиционных исследований АН), занимавшиеся научной разработкой программ и планов экспедиционного изучения окраинных народов. В журнальной прессе множилось число публикаций, содержащих практические рекомендации профессионалов по обустройству национальных окраин. Одним из ярких примеров того, как реализовывался экспертный потенциал этнологии, может служить деятельность комиссии по изучению племенного состава населения России и сопредельных стран (КИПС).

КИПС – идеал или утопия?

С точки зрения государства – держателя легитимирующего дискурса в отношении этнологии – к числу ее первоочередных задач относились этнографическая статистика и изучение «племенного состава» населения СССР и сопредельных стран. Хотя в научном плане эти проблемы были поставлены еще в имперской России, только в советское время началось их практическое решение, которое приняло огромный размах.

Комиссия была создана 1 (14) апреля 1917 г. по инициативе С.Ф. Ольденбурга под эгидой Российской академии наук. Незадолго до этого 4 (17) февраля 1917 г. на общем собрании Академии было заслушано заявление непрямого секретаря академика С.Ф. Ольденбурга и вынесено постановление о необходимости образовать комиссию для исследования племенного состава пограничных областей России. Поводом для этого стала серьезная обеспокоенность фактом

организации немецкой стороной в ходе Первой мировой войны 1914–1918 гг. этнографических исследований территорий, прежде называвшихся «западнорусским краем» – Литвы, Галиции, Буковины, Бессарабии, Польши.

Особая комиссия для исследования племенного состава пограничных областей России (предшественница КИПС) первоначально состояла из шести членов – по три представителя отделений русского языка и словесности и исторических наук и филологии Академии наук. Ими были избраны академики Санкт-Петербургской Академии наук А.А. Шахматов, М.А. Дьяконов, Н.Я. Марр, В.В. Бартольд, В.Н. Петретц и Е.Ф. Карский. Идея встретила отклик среди научных обществ Петрограда, и в состав Комиссии были делегированы члены Русского антропологического общества С.И. Руденко и Ф.К. Волков, члены филологического общества Санкт-Петербургского университета Л.В. Щерба и А.Д. Руднев, члены отделения этнографии Русского географического общества Д.А. Золотарев и Н.М. Могилянский.

На заседаниях 10 (23) и 24 февраля (9 марта) 1917 г. были намечены программа и план деятельности по изучению населения пограничных областей. Целью работы комиссии С.Ф. Ольденбург считал получение экспертного этнографического знания, способного поддержать военные усилия во время войны, ведущейся в существенной степени в связи с «обострением национального вопроса». Комиссии было поручено составить карты тех территорий, которые «лежат по обе стороны» европейской и азиатской границы России и которые «соприкасаются с нашими врагами»: Литвы, Польши, Галиции, Буковины, части Бессарабии, а также некоторых частей *Туркестана* и Кавказа, граничащих с Ираном³⁴⁶.

³⁴⁶ Цит. по: Золотарев Д.А. Постоянная Комиссия по изучению племенного состава населения России и сопредельных стран (КИПС) // Природа. 1925. № 07–09. С. 201–206.

Различная научная специализация членов комиссии влияла на выработку подходов: лингвисты и филологи акцентировали этноязыковой аспект картографирования (Е.Ф. Карский), антропологи – физический для оценки пригодности местного населения к участию в военных действиях (С.И. Руденко). В конечном итоге были использованы материалы картографической комиссии РГО, чтобы предотвратить «полевые» работы на оккупированных немецкой армией территориях. Этнографические «экспедиции», отправленные на Восток, акцентировали этнолингвистический аспект изучения Центральной Азии.

На заседании 1 (14) апреля 1917 г. Особая комиссия была преобразована в комиссию по изучению племенного состава населения России и сопредельных стран. Было выработано обращение к Временному правительству с указанием на важность и срочность задач.

Состав КИПС расширился до 18 человек: академики В.В. Бартольд, В.И. Вернадский, М.А. Дьяконов, Е.Ф. Карский, Н.Я. Марр, С.Ф. Ольденбург (председатель), В.Н. Петретц, А.А. Шахматов (заместитель председателя), а также Ф.К. Волков, Э.А. Вольтер, Д.А. Золотарев, Н.М. Могилянский, С.К. Патканов, С.И. Руденко (ученый секретарь), А.Д. Руднев, А.Н. Самойлович, Л.Я. Штернберг, Л.В. Щерба.

Скорректированные осенью 1917 г. в соответствии с новыми политическими реалиями практические задачи КИПС формулировались следующим образом: составление этнографических карт с объяснительными записками и составление очерков всех живущих в России народностей. Была образована особая подкомиссия (С.К. Патканов, С.И. Руденко, А.А. Шахматов, Д.А. Золотарев, Л.Я. Штернберг), которой поручалось составить проект инструкции к составлению племенных карт и описания народностей. Предполагалось, исходя из данных всероссийской переписи населения 1897 г., проверяя их по литературным источникам, дать «карты народностей», живущих в России. Речь шла об

издании карт в масштабе 25, 40, 60 и 100 верст в зависимости от особенностей территории, но с таким расчетом, чтобы основные части – Европейская Россия, Кавказ, Сибирь и Туркестан имели однородные карты, которые можно было объединить в общую сводную карту в 100-верстном масштабе.

При реализации указанной задачи КИПС столкнулась с рядом проблем. Подлинные рукописные данные переписи уже были уничтожены. На местах могли сохраниться копии отправленных в Центральный статистический комитет данных. Однако трудности военного и революционного времени, недостаток средств, малочисленность сотрудников и оторванность от окраин не позволили развернуть работы по собиранию материалов в широком масштабе. Тем не менее по результатам работы удалось издать «Инструкцию к составлению племенных карт населения России» (1917), «Этнографическую карту белорусского племени» (Е.Ф. Карский, 1917), «Племенной состав населения Кавказа» (Н.Я. Марр, 1920).

В 1920 г. были установлены штаты и бюджет КИПС, выделены территориальные отделы в ее составе – европейский (Д.А. Золотарев), кавказский (Н.Я. Марр), сибирский (Л.Я. Штернберг), туркестанский/среднеазиатский (В.В. Бартольд), а также отдел картографический (С.Ф. Ольденбург). Повышение уровня политико-социальной стабильности позволило КИПС вплотную приступить к реализации поставленных задач. В период с 1917 по 1929 г. Комиссия осуществила издание 17 выпусков «Трудов КИПС» с этнографическими картами народностей России (СССР) и сопредельных стран, что в основном решило задачу исследования этнического состава населения страны³⁴⁷.

³⁴⁷ Труды КИПС. Вып. 1. Инструкция к составлению племенных карт, издаваемых комиссией по изучению племенного состава России. Птг., 1917; Вып. 2. Карский Е.Ф. Этнографическая

Помимо картографирования материалов, собранных сотрудниками территориальных отделов, практиковалось участие комиссии в решении других вопросов. Для Народного комиссариата иностранных дел (НКВД) КИПС готовила статистический материал с объяснительными записками по всей западной пограничной полосе. По просьбе Института социальной гигиены Наркомздрава занималась изучением проблемы вымиравших национальных меньшинств на материале исследований в Калмыцкой области. КИПС неоднократно предоставляла материалы и заключения в ответ на запросы автономных республик, областей и губерний, касающиеся языка, алфавита, организации

карта белорусского населения. Птг., 1917; Вып. 3. *Марр Н.Я.* Племенной состав населения Кавказа. Птг., 1920; Вып. 4. *Марр Н.Я.* Кавказские племенные названия и местные параллели. Птг., 1922; Вып. 5. *Марр Н.Я.* Талыши. Птг., 1922; Вып. 6. *Берг Л.С.* Население Бессарабии, его этнографический состав и численность. Птг., 1923; Вып. 7. *Патканов С.К.* Список народностей Сибири. Птг., 1923; Вып. 8. Шкала цветных обозначений народностей на картах, издаваемых КИПС. Л., 1924; Вып. 9. *Зарубин И.И.* Список народностей Туркестанского края. Л., 1925; Вып. 10. *Зарубин И.И.* Население Самаркандской области, его численность, этнографический состав и территориальное распределение. Л., 1926; Вып. 11. *Фиельс-трун Ф.А.* Этнический состав населения Приуралья. Л., 1926; Вып. 12. *Золотарев Д.А.* Этнический состав населения Северо-Западной области и Карельской АССР. Л., 1926; Вып. 13. *Зарубин И.И.* Список народностей СССР. Л., 1927; Вып. 14. *Вознесенская Е.А. и Пиотровский А.Б.* Материалы для библиографии по антропологии и этнографии Казахстана и Среднеазиатских республик. Л., 1927; Вып. 15. Финно-угорский сборник (под ред. С.Ф. Ольденбурга и А.И. Андреева). Л., 1928; Вып. 16. Западно-финский сборник (под ред. А.И. Андреева). Л., 1928; Вып. 17. Объяснительная записка к этнографической карте Сибири (под ред. С.Ф. Ольденбурга и С.И. Руденко). Л., 1929.

школьного дела и т. д. НКВД посылал в КИПС на редактирование целый ряд своих карт.

Структура КИПС на 1925 г. помимо территориальных отделов включала подкомиссии по обследованию вымирающих народностей и по подготовке к Всесоюзной переписи 1926 г., а также склад карт (300 названий в 4100 листах) и библиотеку по статистике населения СССР (600 томов печатных изданий, 240 рукописей и таблиц). Штатный состав комиссии возрос до 40 человек.

В середине 1920-х гг. увеличение бюджета на академические экспедиции давало КИПС реальную возможность осуществить собственные экспедиции. В 1926 г. КИПС провела Гарино-амгунскую экспедицию на Дальнем Востоке³⁴⁸. КИПС активно участвовала в экспедициях Особого комитета по исследованию союзных и автономных республик (ОКИ-САР, образован в составе Академии наук весной 1926 г.) – Казахстанской, Карельской, Среднеазиатской и других³⁴⁹.

В 1926 г. в составе КИПС были образованы Урянхайско-монгольская и Карело-мурманская рабочие подкомиссии. В конце этого же года интенсифицируется работа по изучению финского населения СССР. В связи с указанным обстоятельством Карело-Мурманская подкомиссия была преобразована в Русско-финскую секцию КИПС. В сферу исследовательской активности секции попали мордва, западно-финские племена (карелы, ижора, вепсы, водь) и лопари³⁵⁰.

К концу 1920-х гг. КИПС из учреждения, созданного для решения узкого круга прикладных задач, превратилась

³⁴⁸ Золотарев Д.А. Обзор исследовательских работ ленинградских учреждений по антропологии, палеоэтнологии и этнографии за последние 10 лет // Человек. 1928. № 2–4. С. 253.

³⁴⁹ Золотарев Д.А. Десятилетие Комиссии по изучению племенного состава населения СССР и сопредельных стран АН СССР (КИПС). 1917–1927 // Человек. 1928. № 1. С. 76.

³⁵⁰ Там же.

в мощный центр научно-исследовательской активности и даже приступила к изданию собственного журнала «Человек». Это была серьезная заявка на объединение специалистов, изучающих человека с естественноисторической и гуманитарной точек зрения. В 1928 г. вышло четыре номера журнала, на этом издание прекратилось в связи с меняющейся ситуацией в стране (начиналась «революция сверху», сопровождавшаяся усилением политико-идеологического диктата, давлением на «буржуазных» специалистов и т. д.).

1 февраля 1930 г. КИПС была преобразована в Институт по изучению народов СССР (ИПИИ). Согласно новому уставу Академии наук, ИПИИ должен был стать в ряду академических учреждений руководящим, планирующим и координирующим органом в области изучения человека. К институту перешли руководство экспедициями по изучению народов СССР и формирование соответствующих отрядов комплексных экспедиций. Институт возглавил академик Н.Я. Марр. Его заместителем стал Н.М. Маторин, ученым секретарем – М.Г. Худяков.

Глава 5.2.

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАЦДАРМ ЭТНОЛОГИИ

Оставляя за скобками очерк формирования институциональной структуры этнографии в целом³⁵¹, укажу лишь, что

³⁵¹ Об этом подробно см.: Соловей Т.Д. От «буржуазной» этнологии к «советской» этнографии. История отечественной этнологии первой трети XX века. М., 1998. С. 36–71, 112–136.

в Москве ее главной площадкой стал университет, где этнографическая наука впервые получила опыт институционализации, и где к рубежу XIX и XX вв. проявились две линии этнографического образования: одна интегрировала его в естественнонаучный цикл, другая тяготела к гуманитарному. В 1920-е годы получили развитие оба этих направления. Однако университет обеспечивал не только воспроизводство (подготовка профессиональных кадров) этнографии как системы. Одновременно университет стал плацдармом для развертывания еще двух сегментов организационной структуры науки – научно-исследовательского и музейного (НИИ и Музей антропологии), но только в рамках естественнонаучного понимания этнографии. Социогуманитарный подход к ее пониманию был представлен только в профессиональном образовании (этнологический факультет I МГУ).

*Этнография в естественнонаучном цикле:
кафедра, НИИ и музей антропологии
Московского университета*

В 1919 г. из кафедры географии выделилась самостоятельная кафедра антропологии с этнографическим циклом, которая оставалась на физмате. Ее возглавлял Д.Н. Анучин, читавший лекции по этнографии; он также руководил предметной комиссией по этнографии и географии физмата. Вскоре после своей организации новая кафедра начала экскурсионную и экспедиционную работу по сбору этнографических и археологических материалов, большое внимание на ней уделялось практическим занятиям студентов.

Кафедра послужила одним из источников Антропологического научно-исследовательского института, разрабатывавшего в первой половине 1920-х гг. методику комплексных и монографических районных полевых исследований в области соматической антропологии, палеоэтнологии и этнографии.

После смерти Д.Н. Анучина в 1923 г. во главе кафедры встал его ученик, видный антрополог профессор В.В. Бунак. Главенствующая роль в преподавании этнографических курсов принадлежала другому ученику Анучина – Б.А. Куфтину. Он читал сравнительное или общее народоведение (историю первобытной культуры) и описательное народоведение (систематическую характеристику народов мира), а также ряд специальных курсов: этнографию тюркских народов, эволюцию первобытного жилища и др. Кроме того, Куфтин вел практические занятия по народоведению и музейной технике, руководил полевой этнографической и археологической практикой студентов.

Преподававший в Московском университете до начала 1930-х годов Борис Александрович Куфтин (1882–1953) сочетал в своем лице этнографа и археолога. К его этнографическим штудиям можно отнести изучение Рязанской и Тамбовской областей (на этом материале в 1926 г. он выпустил работу «Материальная культура русской мещеры»), исследование жилища крымских татар (соответствующая работа впервые увидела свет в 1920 г.), северного буддизма и ламизма (1927), но главным образом изучение вопросов этногенеза, где Куфтин удачно сочетал этнографический и археологический аспекты.

Куфтину обязан своей этнографической подготовкой ряд ученых, определивших лицо советской этнографии 1950–1960-х гг.: М.Г. Левин, С.П. Толстов, Н.Н. Чебоксаров. Для их научного творчества было характерно внимание к проблеме этногенеза и стремление синтезировать в своих исследованиях этнографические, археологические и антропологические материалы. Этот исследовательский стиль восходил к анучинскому пониманию этнологии как части широко понятой антропологии – комплексной науки о человеке, что отразилось в организации учебного процесса на кафедре: значительное внимание уделялось изучению палеоантропологии и палеоэтнологии (древнейшей

археологии), эти курсы читал еще один ученик Анучина – Б.С. Жуков.

Этнографическая специализация на кафедре антропологии, которая в связи с разделением физмата вошла в состав биологического факультета, продолжалась до 1929 г., а затем была свернута. Кафедра стала выпускать только антропологов, в подготовку которых входило изучение курса общей этнографии.

После разгрома этнографического образования в МГУ (расформирование этнологического факультета в 1930 г.) прибежищем для этнографии и этнографов стали Институт и музей антропологии Московского университета. Этнография смогла сохраниться под сенью антропологии, благодаря тому, что концептуальным основанием института и музея послужила анучинская «триада», а новый предметный статус этнографии как науки о первобытности позволял успешно интегрировать ее материал в экспозиционную и исследовательскую деятельность НИИ и музея антропологии.

Решение о создании музея антропологии стало результатом переписки между ученым советом Московского университета в лице ректора Н.С. Тихонравова и директора Исторического музея графа А.С. Уварова. В переписке шла речь о локализации музея и предоставлении помещения для развертывания его экспозиции. В фонд будущего музея были переданы материалы Всероссийской этнографической выставки 1867 г. и Антропологической выставки 1879 г., которые из-за недостатка места хранились некоторое время в свернутом состоянии. Датой основания музея антропологии принято считать 4 (16) октября 1883 г., когда между Историческим музеем, только что получившим новое здание, и Московским университетом было заключено соглашение о том, что музей антропологии разместится на территории Исторического музея, оставаясь при этом подразделением Московского университета.

Идея создания музея антропологии принадлежала А.П. Богданову, но дальнейшие 40 лет его деятельности свя-

заны с Д.Н. Анучиным, который создал научную концепцию комплектования музея – триединый подход к изучению человека («анучинская триада»), предполагавший объединение знаний по ископаемой истории (археологии), физической антропологии и этнографии. Анучин придерживался эволюционно-типологических взглядов. Л.Я. Штернберг отмечал, что Анучин создавал музей антропологии именно типологическим: «Его усилиями, в значительной степени даже на его личные средства создан был при кафедре особый антропологический музей, в котором был собран огромный *типологический* материал по этнографии самых разных народов земли. Музей этот вплоть до кончины Дмитрия Николаевича служил центром и лабораторией для целых поколений исследователей и будущих профессоров высших учебных заведений, центром объединенной работы антропологов, этнографов и географов»³⁵².

При формировании коллекций музея Д. Н. Анучин использовал как официальные каналы – покупка экспонатов у учреждений и частных лиц на средства, выделяемые университетом, так и неофициальные – привлечение помощи друзей и общественных деятелей. По разным источникам на приобретение экспонатов музеем выделялось 500–600 рублей в год (довольно значительная сумма). В настоящее время в архиве института и музея хранится каталог фирмы британского коллекционера Уильяма Олдмана (W.O. Oldman), торговавшей предметами антропологии, археологии и этнографии. Согласно расценкам, указанным в нем, в начале XX в. африканская маска стоила от 1 до 6 фунтов стерлингов (в указанный период 1 фунт стерлингов составлял

³⁵² Штернберг Л.Я. Д.Н. Анучин как этнограф (скончался 4 июня 1923 г.). Речь в Академии материальной культуры в первую годовщину смерти Д.Н. Анучина: отдельный оттиск. 1924. С. 12.

9,5 рубля)³⁵³. Из этого следует, что на выделяемые средства музей мог существенно пополнять свои фонды. Неформальные связи были не менее важны: ученик Д. Н. Анучина государственный деятель и этнограф Н.Л. Гондатти передал в этнографический отдел музея более 600 предметов.

За время пребывания в помещении исторического музея (до 1907 г.) фонды музея значительно увеличились: на момент создания фонды с библиотекой насчитывали менее 7788 единиц хранения, а к началу XX в. только в отделе краниологии имелось 8000 черепов³⁵⁴. Изначально регистрация и описание коллекций осуществлялись лично Д. Н. Анучиным, а с 1893 г. ему стал помогать А.А. Ивановский, назначенный хранителем музея.

На рубеже XIX–XX вв. положение музея ухудшилось из-за нехватки помещений, и Д. Н. Анучин ходатайствовал перед ректоратом Московского университета о выделении помещения в самом университете. В 1907 г. коллекции были перемещены из исторического музея в здание Университета по адресу: улица Моховая, дом 11, и заняли шесть залов в левом крыле здания. В новом помещении экспозиция претерпела изменения и стала отражать целостную концепцию музея человека: два зала были посвящены антропогенезу и палеоантропологии, один – археологии, два – этнографии (к началу 1920-х гг. этнографическая экспозиция была расширена еще на два зала), еще один – библиотека. К 1917 г. в музее хранились десятки тысяч экспонатов.

Основная работа по сбору материалов в 1920-х гг. велась в комплексных экспедициях по всей территории СССР – археолого-палеоантропологических, археолого-этнографических, этнографически-лингвистических.

³⁵³ Балахонова Е.И. 130 лет музею антропологии Московского университета имени М.В. Ломоносова: события и люди // Вестник Моск. ун-та. Сер. 23. Антропология. 2013. № 4. С. 10.

³⁵⁴ Там же.

К концу 1920-х гг. в музее антропологии накопилось большое количество ценных в научном отношении материалов по антропологии, археологии и этнографии, которые обеспечивали в университете преподавание соответствующих дисциплин. Музей располагал экспозицией, которая служила в основном научным и учебным целям и была закрыта для широкой публики. Хранителями музейных фондов выступали Б.А. Куфтин (1916–1924), Н.А. Синельников (1924–1931).

Усиление политико-идеологической регламентации сфер науки и культуры в конце 1920-х гг. переориентировало музеи с культурно-просветительской и научной деятельности на политико-просветительскую. На Первом музейном съезде 1930 г. был взят курс на перестройку музеев: отказ от демонстрации предметов по систематическому признаку в пользу показа диалектических законов природы и общества на основе марксистско-ленинской идеологии.

В 1929 г. среди университетских антропологов возникла идея преобразовать музей в открытое культурно-просветительское учреждение для широкой популяризации антропологических знаний, сохранив за ним научно-учебные функции. Организационная работа легла на Н.А. Синельникова.

Попытка использовать музеи в качестве непосредственного агитационно-пропагандистского оружия, инструмента политико-идеологического воздействия на массы в условиях начинающейся «революции сверху» способствовала росту социального статуса музея антропологии. В 1930 г. постановлением Наркомпроса музей был превращен в самостоятельное учреждение (до этого он был неразрывно связан с кафедрой антропологии, которая в связи с общей перестройкой Университета перемещается в том же году с физмата на биологический факультет) в составе МГУ. Были получены новые помещения, штатные единицы и финансирование. В октябре 1930 г. Н. А. Синельников был назначен исполняющим обязанности директора «нового» му-

зея. Им был подготовлен общий план экспозиции и тематика отдельных залов, которые в общих чертах сохранялись до 2006 года.

В январе 1931 г. Н.А. Синельников передал полномочия вновь назначенному директором М.С. Плисецкому (1931–1957). Последний возглавлял Союз воинствующих безбожников Московского университета (дань времени), был активным популяризатором антропологических знаний и, что немаловажно, успешным менеджером, напористым, пробиным человеком. Во многом благодаря его энергичным усилиям было обеспечено дальнейшее существование антропологических учреждений в стенах МГУ, исследовательская и экспедиционная деятельность. Уже в 1931 г. в основном зале музея была создана первая экспозиция, посвященная происхождению человека. Над ней работали В.В. Бунак, Н.А. Синельников, А.А. Дешин, Я.Я. Рогинский, М.Ф. Нестурх.

В 1933–1936 гг. была разработана вначале выставка, затем постоянная экспозиция, посвященная проблеме биологического разнообразия человечества и борьбе с расовыми теориями (Н.Н. Чебоксаров, А.И. Ярхо, А.М. Золотарев, Т.А. Трофимова; сотрудники НИИ антропологии – Я.Я. Рогинский и Г.Ф. Дебеч; научные консультанты – С.А. Токарев и С.П. Толстов). Сохранившееся описание расового отдела музея антропологии показывает, что в него входили разделы, отражающие биологическое единство всех рас, характер наследования расовых признаков и процессы метисации³⁵⁵. Также были развернуты отделы экспозиции «Краниология», «Расовые типы мира», «Этнорасовый состав населения СССР». Два последних были посвящены биологи-

³⁵⁵ Чебоксаров Н.Н. Расовый отдел государственного музея антропологии МГУ // Антропологический журнал. 1936. № 2. С. 249–256.

ческому многообразию строения лица и тела, подчеркивали условный характер всякой расовой классификации, а также знакомили посетителей с существующими расовыми теориями и показывали их несостоятельность.

Во второй половине 1930-х гг. был открыт еще один зал музея – «Раса и культура». Ведущая идея экспозиции была направлена на демонстрацию того обстоятельства, что «как общий уровень культуры, достигнутый различными народами, так и формы ее не стоят ни в какой связи с расовыми особенностями, но определяются культурно-хозяйственным типом и стадией развития производительных сил»³⁵⁶. В 1939 г. подписание советско-германского пакта о ненападении внесло серьезные коррективы в пропагандистское обеспечение советской политики, в связи с чем экспозиция залов, посвященных расовой проблематике, была закрыта, а в послевоенные годы не восстановлена.

В предвоенный период научно-просветительская деятельность музея достигла высочайшего уровня. С 1935 по 1939 г. посещаемость выросла в 2,5 раза – с 30 до 68 тыс. в год. Кроме того, музей устраивал временные и передвижные выставки (только в 1939 г. было организовано восемь выставок).

НИИ антропологии как самостоятельное учреждение был открыт по решению Государственного ученого совета в рамках Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук (РАНИОН) при физико-математическом факультете Московского университета 17 ноября 1922 г. Институт учреждался в составе четырех действительных членов – Д.Н. Анучина, В.В. Бунака, А.А. Дешина. П.А. Минакова. С этого момента и до объединения в 1950 г. деятельность института и музея была тесно переплетена. Возглавил институт Д.Н. Анучин. Осенью 1923 г. после его смерти институт, музей и кафедру

³⁵⁶ Балахонова Е.И. 130 лет музею антропологии. С. 12.

антропологии возглавил В.В. Бунак, а хранителем коллекций стал Б.А. Куфтин.

24 сентября 1923 г. по постановлению Президиума коллегии Наркомпроса под председательством А.В. Луначарского институту было присвоено наименование «Антропологический институт имени Д.Н. Анучина». В составе института в период директорства Бунака (1923–1930) повновесно действовали три сектора: антропогенеза, расоведения, морфологии человека. Штат постоянных сотрудников института, музея, а также кафедры антропологии при упомянутом факультете был немногочисленный: отчеты 1923–1925 гг. в списке сотрудников упоминают В.В. Бунака, Б.А. Куфтина, Б.С. Жукова, М.А. Гремяцкого и Н.А. Синельникова.

С момента создания института в его деятельности были представлены следующие направления: антропогенез (О.Н. Бадер, В.В. Бунак, М.Д. Гвоздовер, М.М. Герасимов, М.А. Гремяцкий, Г.Ф. Дебеч, Я.Я. Рогинский, Е.Н. Хрисанфова, В.П. Якимов); этническая антропология (М.С. Акимов, Т.И. Алексеева, С.Г. Ефимова, А.И. Ярхо, В.В. Бунак, Г.Ф. Дебеч, М.Г. Левин, Н.Н. Чебоксаров); морфология человека (В.В. Бунак, Н.А. Синельников, А.И. Ярхо).

Основными направлениями исследовательской активности института в предвоенные годы стали: создание единой антропометрической методики для описания и классификации антропологических материалов (В.В. Бунак «Антропометрия» М., 1941), разработка отечественной теории антропогенеза (М.А. Гремяцкий, Я.Я. Рогинский), работа над подготовкой первого отечественного учебника по антропологии (В.В. Бунак, М.Ф. Нестурх, Я.Я. Рогинский «Антропология» М., 1941).

В 1933 г. под влиянием изменения геополитического контекста в мире (приход национал-социалистов к власти в Германии) в составе НИИ создается новая структурная еди-

ница – лаборатория расоведения. Внешний контекст стимулировал исследования в области методологии расоведения. В 1938 г. в статье В.В. Бунака «Расы как историческое понятие» была сформулирована концепция расы и изложены основные положения популяционной антропологии.

С этими достижениями связана подготовка и публикация Г.Ф. Дебечом в 1948 г. первой сводки по палеоантропологии СССР (Дебеч Г.Ф. Палеоантропология СССР // Труды института этнографии АН СССР. М.-Л.: изд-во АН СССР, 1948, т. IV). Дебеч участвовал в создании экспозиции расового зала музея антропологии.

В послесталинский период, когда в результате размягчения идейно-политической рамки и под влиянием внутринаучной динамики этнография из науки о первобытности вновь превращается в науку об этносах, пути развития этнографии и антропологии в стенах Московского университета все заметнее представляли собой расходящиеся вектора. Вместе с тем материал этнографии сохранял свое значение в экспозициях музея, а также составлял весомую часть исследований института в области этнической антропологии.

*Этнография в социогуманитарном цикле:
ФОН и этнологический факультет
Московского университета*

В 1920-е годы центр тяжести этнографического образования в университете полностью и бесповоротно сместился в гуманитарный цикл, где институционализация этнографии и масштабы профессиональной подготовки приобрели беспрецедентный размах.

При этом этнография – бывший изгой – серьезно выиграла от кардинальной ломки традиционной структуры университетского образования. В 1921–1922 гг. во всех университетах страны взамен историко-филологических и юри-

дических факультетов были открыты факультеты общественных наук – ФОНы, долженствовавшие радикально преобразить облик гуманитарных дисциплин и обеспечить подготовку ученых-марксистов. В составе учрежденного еще в 1919 г. ФОН Московского университета (I МГУ* как тогда назывался этот вуз) в 1922 г. было образовано этнолого-лингвистическое отделение с кафедрой социологии и этнологии.

И хотя уже в следующем, 1923 г., наименование «социология» исчезло из названия кафедры, стремление к соединению, синтезу этих двух разнородных, с современной точки зрения, дисциплин было ярко выражено в 1920-е годы, став развитием и видоизменением влиятельной интеллектуальной традиции, уходившей корнями еще в 70-е годы XIX в. Суть ее состояла в том, чтобы рассматривать этнологию как часть социологии, считавшейся в то время метанаукой об обществе, или даже отождествить их. Но вне зависимости от минималистского (этнология как часть социологии) или максималистского (этнология = социология) понимания предмета этнологии ее симбиоз с социологией выглядел бесспорным.

Эта давнишняя идея получила новую жизнь благодаря амбициям *марксистской* социологии, в одной из трактовок которой этнография оказывалась составной частью *такой* социологии. Это был проект новой научной дисциплины – истории общественных форм, долженствующей изучать не только базис – формы экономической жизни, экономические типы, смена которых означает смену исторических эпох, но и надстроечные явления: формы брака, семьи, власти, идеологические и культурные феномены в их историческом развитии. Этнографии отводилась важная роль в стро-

* I МГУ был создан на базе собственно Московского университета, II МГУ – на базе Высших женских курсов; впоследствии они слились.

ительстве этой дисциплины, особенно тех ее разделов, которые относились к ранним стадиям человеческой истории.

Другая – максималистская – интерпретация состояла в претензии этнологии выступать всеобъемлющей наукой о человеческом обществе, включая в свой состав весь комплекс исторических дисциплин. По словам апологета этой позиции П.Ф. Преображенского, в перспективе из теоретических синтезов в этнологии «может возникнуть построение, базирующееся на месте истории как науки, – историческом материализме»³⁵⁷. То есть этнология фактически провозглашалась субститутотом марксистской социологии.

Этнографические предметы на отделении преподавались известными этнографами той эпохи А.Н. Максимовым и В.Н. Харузиной. Александр Николаевич Максимов (1872–1941), профессор МГУ в 1919–1930 гг., пользовался репутацией прекрасного знатока западной теоретической этнологии, но в своих собственных исследованиях был сторонником самодовлеющего эмпиризма, полагая его единственным путем создания новой концептуализации, свободной от недостатков предшествующих теорий; скончался накануне войны.

Вера Николаевна Харузина (1866–1931), член известной семьи этнографов, наоборот, выступала последовательной сторонницей культурно-исторического эволюционизма. Первая женщина профессор этнографии, она была автором ряда интересных исследований по вопросам религиозных верований и духовной культуры, а также популярных книжек. Курс лекций по этнографии В.Н. Харузиной, впервые вышедший еще до революции, был переиздан в 1941 г. и долгое время оставался единственным учебником по этой дисциплине для студентов-историков.

³⁵⁷ Цит. по: *Иванова Ю.В.* Петр Федорович Преображенский: жизненный путь и научное наследие // *Репрессированные этнографы* / Сост. и отв. ред. Д.Д. Тумаркин. М., 1999. С. 246.

В целом ФОНЫ не оправдали возлагавшихся на них надежд и не стали рассадником марксистской учености. Вскоре выяснилось, что они готовят не высококвалифицированных ученых-марксистов, а начетчиков, не владеющих азами профессии. Поэтому естественным было возвращение к традиционной (в широком смысле этого слова) системе высшего образования, начальной ступенью которого являлось овладение суммой конкретных знаний в рамках специальных дисциплин.

1925-й – год реорганизации ФОНов – открыл самую яркую страницу этнологического образования в Московском университете довоенной поры. В апреле 1925 г. постановлением СНК РСФСР ФОН I МГУ был преобразован в факультет советского права и этнологический. Деканом последнего назначили В.П. Волгина. Выходец из старой интеллигенции, он еще до революции был связан с большевиками, что предопределило его успешную социальную карьеру в послереволюционную эпоху. Профессор Московского университета с 1919 г., в 1921–1925 гг. Волгин был его ректором. В науке он известен как исследователь домарксистской социалистической мысли. В административные дела Волгин не вникал, передоверив их своим заместителям и секретарю факультета.

Новый факультет имел в своем составе четыре отделения: считавшееся основным этнографическое, истории материальной культуры (историко-археологическое), литературное, изобразительных искусств, а также этнографо-археологический музей (заведующий – проф. А.И. Некрасов) и историко-этнологический кабинет (заведующий – профессор П.Ф. Преображенский). Отделения были рассчитаны на трехгодичный цикл обучения, за исключением этнографического, где студенты обучались четыре года, что косвенно подчеркивало первенствующее положение этой науки в системе гуманитарного знания.

В задачи факультета входила подготовка как ученых – исследователей в области истории, археологии, этнографии, литературоведения и искусствоведения, так и практических работников: музейных сотрудников, редакторов издательств, литературных критиков, работников архивов, а также «специально подготовленных культурных и политпросветработников для национальных меньшинств»³⁵⁸.

За идеей создания специального этнологического факультета со столь широким тематическим полем стояло расширительное толкование этнологии как всеобъемлющей науки о человеческом обществе, включающей широкий круг гуманитарных дисциплин, в том числе историю. Одним из наиболее влиятельных и ярких сторонников этой точки зрения был оказавший решающее влияние на организацию учебного процесса на этнофаке П.Ф. Преображенский, по словам которого: «История есть часть этнологии, или наоборот, а самое правильное: поставить здесь просто знак равенства». И аналогичное его высказывание: «...этнология как наука включает в себе всю историю, которая является лишь частью в общей сумме этнологического знания»³⁵⁹. При этом проводилось разграничение между *описательной и эмпирической этнографией* – наукой о первобытном обществе и его феноменах в «культурных обществах» и занимающейся человечеством в целом *теоретической и компаративистской этнологией*.

Несмотря на многочисленные попытки концептуализации этой дифференциации, этнология и этнография выглядели не столько различными дисциплинами, сколько различными уровнями – эмпирическим и теоретическим – одной науки, и в этом смысле их разведение носило, безусловно, контрпродуктивный характер. Тем не менее оно получило

³⁵⁸ Отчет I-го МГУ за 1925–1926 гг. М., 1927. С. 240–241.

³⁵⁹ Цит. по: *Иванова Ю.В.* Указ. соч. С. 246, 249.

свое институциональное воплощение в двух *отдельных* кафедрах – этнологии во главе с Преображенским и возглавлявшейся Максимовым кафедры этнографии на этнографическом отделении.

Петр Федорович Преображенский (1894–1941), преподававший в Московском университете с 1921 по 1937 г., был звездой первой величины на небосклоне современной ему этнологической науки, полной ярких личностей и выдающихся ученых. Получивший блестящее классическое образование на историко-филологическом факультете Московского университета, где он был учеником Р.Ю. Виппера, Преображенский отличался высокой общей культурой, крайней интенсивностью работы и разносторонностью научных интересов: от раннего христианства в античном мире до внешней политики империалистической эпохи – исследовательский диапазон, с трудом представимый нашими современниками. Не говоря уже о том, что он был одним из редакторов знаменитой серии «Памятники мировой литературы», а публикации античных авторов выходили с его предисловиями. За 18 лет научной деятельности Преображенский в общей сложности издал две книги, около 80 статей, опубликовал около 40 рецензий на научные работы, прочитал множество учебных курсов и популярных лекций, вырастил десятки учеников. Этнология и религиоведение относились к главным научным интересам Преображенского, который в полном смысле слова был ключевой фигурой этнографического образования в Московском университете как в отношении его концепции, так и в ее реализации.

И эта ситуация не была лишена налета парадоксальности, поскольку обращение Преображенского к этнологии носило в значительной мере вынужденный характер: античные штудии после революции не приветствовались, и молодой специалист по истории древнего мира избрал для себя две новые и не связанные между собой области – этнологию и историю внешней политики эпохи империализма. Его знания в сфере

этнологии порою были поверхностны и легковесны³⁶⁰, что вуалировалось и компенсировалось незаурядным лекторским талантом и художественным восприятием мира. Как отмечали современники: «Поражали эрудиция, знание древних и новых европейских языков, память, отличное ораторское искусство... Преображенский обладал поразительной способностью художественного видения мира. Он рассказывал, а мы, студенты, отчетливо видели то, о чем он говорил. Его характеристики отдельных лиц всегда были точными и яркими. Его рассказы мы слушали, затаив дыхание. Он был подлинным кумиром студентов первого курса... Особенно нам импонировало то, что Петр Федорович по ряду проблем первобытной истории критиковал Энгельса. В частности, он отрицал существование эпохи первобытного коммунизма»³⁶¹.

Если считать, что главная цель университетского преподавания состоит не в том, чтобы наполнить ученика, подобно сосуду, знаниями, а в том, чтобы снабдить его мотивацией к учебе, пробудить в нем интерес к самостоятельным занятиям, к науке, к познанию мира, то Преображенский с этой задачей справлялся наилучшим образом. Его научная репутация имела международное признание, что выгодно выделяло Преображенского на фоне коллег³⁶².

Заведующий кафедрой этнологии и историко-этнологическим кабинетом, председатель президиума этнографического отделения и член президиума этнологического факультета Преображенский читал лекционный курс этно-

³⁶⁰ См. на сей счет замечание С.А. Токарева в его дневниковых записях: Благодарим судьбу за встречу с ним (О Сергее Александровиче Токареве – ученом и человеке). С.159–160.

³⁶¹ *Бернштейн С.Б.* Зигзаги памяти / Отв. ред. В.Н. Торопов. М.: Ин-т славяноведения РАН, 2002. С. 49.

³⁶² Подробнее о Преображенском см. содержательную и проникнутую теплым человеческим чувством по отношению к этой талантливой личности статью: *Иванова Ю.В.* Указ. соч.

логии на I–III курсах историко-археологического отделения и на I–II курсах отделения истории искусств, а лекции по истории общественных форм – на I курсе всех отделений; вел семинар по этнологии на II курсе историко-археологического отделения. На этнографическом отделении Преображенский читал лекции по палеоэтнологии на II курсе и вел семинар по этнологии в двух группах II курса.

Однако видение целей этнографического образования «мотором» и вдохновителем этнофака Преображенским и государственными инстанциями, от которых всецело зависело существование факультета, радикально расходились. Если, по Преображенскому, задача этнографического отделения этнофака состояла в подготовке профессиональных этнографов и этнологов, исследователей культуры населяющих СССР народностей (иными словами, академических специалистов), то власть требовала от этнографического отделения ковать кадры исключительно практических работников: «По своим целям отделение должно было подготовить специалистов для обслуживания культурно-просветительских и хозяйственных нужд населения в соответствии с его культурными особенностями»³⁶³.

Тем самым неизбежно возникали коллизии вокруг смысла существования факультета, порождавшие постоянное и заметное напряжение в организации его деятельности, тем более сам процесс профессиональной этнографической подготовки был внове. Учебный план и программы этнографического отделения не отличались стабильностью, подвергаясь перманентной ревизии и изменениям на протяжении всей недолгой истории факультета, что вряд ли способствовало качеству учебной подготовки.

В учебном плане этнографического отделения этнофака в первые два года обучения предусматривались три основ-

ных направления: общегуманитарное (география, языковедение, диалектология, право), историческое (отечественная и всемирная история), специальное (лекционные курсы и семинары по общей этнографии, этнологии, этнографии СССР).

С третьего курса начиналось деление студентов по секциям (циклам) – специализация. Предусматривалась специализация по этнографии восточнославянских, угрофинских, тюркских, романо-германских, кавказских народов. На третьем и четвертом годах обучения углубленно изучались язык, литература и фольклор избранного для специализации народа, большое внимание уделялось языковой подготовке (предусматривалось изучение как минимум трех языков, в том числе языка одного из народов СССР). В то же время собственно этнографическая подготовка в ряде циклов (например, кавказском) оставляла желать лучшего, сравнительно невелик был и объем общественно-политических дисциплин³⁶⁴.

Постепенная корректировка учебного плана отделения шла по двум направлениям. С одной стороны, учитывались пожелания партийно-государственных органов по актуализации учебного процесса, приданию ему большей практической направленности. С этой целью в составе этнофака была создана кафедра по языкам и национальным культурам восточных национальностей и введен факультативный курс «Современная деревня в историческом освещении». Стремление осовременить учебную подготовку рельефно выразилось в организации в рамках отделения славянского цикла, призванного готовить специалистов по истории и этнографии славянских народов. Государственные учреждения,

³⁶³ Отчет I МГУ за 1925–1926 гг. М., 1927. С. 19.

³⁶⁴ ЦМА г. Москвы. Ф. 1609. Оп. 1. Ед. хр. 941. Учебный план этнографического отделения этнофака I МГУ. 1925/1926 учебный год. Л. 1-об. – 3.

в частности Наркомат иностранных дел, настаивали на том, чтобы в учебных планах уделялось больше внимания современному политико-экономическому состоянию славянских стран.

С другой стороны, в учебный план отделения непрерывно вводились новые лекционные курсы и семинарские занятия, углублявшие специальную и расширявшие общегуманитарную подготовку студентов. В то или иное время ставились курсы по антропогеографии, экспериментальной психологии, палеоэтнологии, статистике, а также восточный язык в качестве обязательного предмета. Примечательно, что общественно-политические дисциплины – курсы по истории рабочего движения, истории общественных форм и истории религии – чаще всего носили факультативный характер. Более того, в конце 1920-х гг. они вообще были исключены из учебного плана, а высвободившиеся часы направили на специальную подготовку.

Несмотря на высокий динамизм и постоянное обновление учебного процесса на этнографическом отделении этнофака, в нем можно выделить ряд устойчивых черт: тематическое разнообразие и многопредметность, фундаментальный характер специальной подготовки, первостепенное внимание к языковой подготовке студентов³⁶⁵.

Обилие предметов и колоссальная учебная нагрузка со всей остротой обозначили кадровую проблему, имевшую одновременно два измерения: недостаток квалифицированных преподавателей и невозможность для слушателей справиться с программой. Вследствие дефицита подготовленных преподавателей преобладающая часть учебной нагрузки на этнографическом отделении легла на плечи П.Ф. Преоб-

раженского. Выйти из положения отчасти помогло привлечение специалистов из других учреждений. В разное время на отделении преподавали филологи Д.В. Бубрих, В.А. Гордлевский, А.М. Селищев, А.А. Стариков, Д.Н. Ушаков, Н.Ф. Яковлев, историк Н.Н. Мороховец. В 1926/1927 учебном году в штат были зачислены этнологи М.О. Косвен, А.Н. Максимов, М.Я. Феноменов, в 1929 г. – С.А. Токарев.

М.Я. Феноменов, работавший в МГУ в 1920–1930-е гг., был специалистом в области этнографического краеведения, ему принадлежало авторство нескольких исследований о крестьянском жилище и типах крестьянской застройки в великорусских губерниях.

Характерной чертой науки 1920-х гг. было сочетание преподавания в нескольких учебных центрах с научными исследованиями и практической работой. Например, П.Ф. Преображенский наряду с работой на ФОНе и этнофаке МГУ состоял профессором Нижегородского университета (1921–1923) и Промышленной академии (1928–1929), преподавал в Институте красной профессуры и Военно-педагогической академии, был членом РАНИОН (1922–1929), членом Института этнических культур (1925–1930) и ученым специалистом Института истории при Коммунистической академии (1929–1930), сотрудничал в Большой советской энциклопедии (1926–1932), где редактировал разделы всеобщей и древней истории, антропологии и этнографии, занимал должность (с 1931 г.) ученого хранителя Центрального музея народоведения (впоследствии Музея народов СССР).

И случай Преображенского нельзя назвать исключительным, универсализм и широкий диапазон профессиональных (и не только) занятий в те годы был неизбежен в условиях острой нехватки профессиональных кадров для бурно развивавшейся институциональной структуры этнологии. В том, что касается педагогической деятельности, это широкое совместительство имело амбивалентные последствия:

³⁶⁵ Об этом см.: *Соловей Т.Д.* Этнографическое отделение этнологического факультета I МГУ. 1925–1930 // Вестник Московского университета. Серия 8. История. 1992. № 3. С. 38–50.

невозможность со стороны преподавателей уделять достаточно времени студентам и фрагментарность читавшихся курсов компенсировалась акцентом на исследовательском элементе и самостоятельном характере учебной подготовки.

Самостоятельная работа студентов составляла стержень организации учебного процесса на этнофаке. Обязательный характер носило только посещение семинаров и языковых занятий, но и здесь учет посещаемости не велся; экзамены были заменены безоценочными зачетами, которые, несмотря на формальное наличие зимней и весенней экзаменационной сессий, разрешалось сдавать в течение года в любой последовательности, т. е. фактически существовала не курсовая, а предметная система. Выбор специальных предметов студенты осуществляли самостоятельно. «Эти порядки были хороши для всех: для серьезных студентов, для разгильдяев, для администрации. Серьезным студентам они давали возможность много времени проводить в библиотеках, самостоятельно строить свой учебный план»³⁶⁶.

Однако «серьезные» студенты вряд ли составляли большинство учащихся. Акцент на самостоятельной работе не соотносился с базовым уровнем и интеллектуальными способностями слушателей, а политика комплектования студенческого корпуса по социальному и политическому критериям лишь усугубляла серьезные проблемы в этом отношении. Фактически она вылилась в негативную селекцию: «...принимали при самых слабых ответах на экзаменах выпускников рабфаков, детей рабочих и крестьян, молодых рабочих. Строже экзаменовали представителей партийной интеллигенции, но здесь достаточно было иметь самый низкий положительный балл...»³⁶⁷. Зато нещадно валили молодых людей из «сомнительных» (интеллигентских) семей,

представителей же «эксплуататорских» классов на пушечный выстрел не подпускали к высшему образованию.

Таким образом, несмотря даже на более чем мягкое и снисходительное отношение к классово благонадежным студентам, высокий отсев в ходе учебы был запрограммирован. Хотя масштабы приема на этнофак носили впечатляющий характер (в 1925 г. на факультет было принято 180 человек, в том числе на этнографическое отделение – 60, в 1926 г. на этнографическое отделение приняли 70, а в 1927-м – 56 человек), полностью выполнили программу трех лет и перешли на IV курс отделения лишь 18 из 60 человек, то есть 30% слушателей³⁶⁸.

Низкая успеваемость и высокий отсев среди студентов – постоянная головная боль отделения – были обусловлены комплексом причин, общий знаменатель которых составляло принципиальное несоответствие принципов учебной подготовки ее материально-техническому обеспечению и общей подготовке и культуре слушателей. Проще говоря, желания и замыслы организаторов этнологического факультета не совпадали с наличествовавшими возможностями, на которых крайне негативно сказывалась политика социальной дискриминации и идеологических ограничений.

Междисциплинарный подход, многопредметность, акцент на сложных теоретических сюжетах в сочетании с обширными прикладными задачами, – эти принципы профессиональной подготовки могли быть реализованы только в условиях кадровой обеспеченности учебного процесса, наличия учебников и программ, солидной базовой подготовки слушателей, позволявшей им воспринимать преподававшиеся на факультете дисциплины.

³⁶⁶ Бернштейн С.Б. Указ. соч. С. 27.

³⁶⁷ Там же. С. 19.

³⁶⁸ ЦМА г. Москвы. Ф.1609. Оп. 1. Ед. хр. 1288. Протокол № 6 заседания деканата этнофака от 12 октября 1928 г. Л. 38.

Квалифицированных педагогов – представителей старой школы – настолько катастрофически не хватало, что С.П. Толстов читал историю религии и руководил экспедиционной практикой, будучи *студентом* этнофака. В то же время при пополнении преподавательского корпуса преимущественное внимание уделялось партийной принадлежности, а не профессиональной квалификации, и хотя в отношении партийной «прослойки» факультет считался одним из наиболее «благополучных» в I МГУ, в 1926 г. из 77 его преподавателей лишь 21 был коммунистом³⁶⁹.

Естественное стремление использовать для подготовки собственных преподавательских кадров аспирантуру, созданную в I МГУ еще в 1923 г., было во многом дезавуировано пресловутым классовым подходом: аспирантские планы становились все менее индивидуальными, но зато «классово выдержанными». А после реорганизации 1926–1927 гг. аспирантура вообще утратила смысл, поскольку ее первой ступенью стал институт студентов-выдвиженцев, открывавший дорогу в аспирантуру по анкетным данным, а не по способностям.

Явно не стимулировало учебу и фактическое самоустранение руководства факультета от контроля учебного процесса и вообще состояния дел на факультете. «Деканат составлял расписание общефакультетских и общеотделенческих предметов, ведал организацией и проведением зачетных сессий. Все остальное шло самотеком... Деканат был освобожден от многих обязанностей... Он не занимался дисциплиной студентов, их общественной работой, стипендиями и пр. Всеми этим вопросами ведали профком

³⁶⁹ Иванова Л.В. У истоков советской исторической науки (подготовка кадров историков-марксистов в 1917–1929 гг.). М., 1968. С. 37.

и парткомом»³⁷⁰. Ставка на общественную самоорганизацию в противовес формальным административным органам была в духе времени, представляя попытку строительства принципиально нового типа социальной организации. В основании этой попытки лежал антропологический оптимизм – вера в то, что кардинальное изменение социополитической рамки позволит реализоваться лучшему в человеке, автоматически высвободит его огромный позитивный потенциал, веками и тысячелетиями сдерживавшийся и подавлявшийся эксплуататорскими системами.

На фоне этого грандиозного пафоса преобразования основ человеческого бытия и самого человека скудное обеспечение учебного процесса учебниками и учебно-методической литературой на родном языке выглядело если не мелочью, то второстепенным обстоятельством. Тем не менее пролетарское происхождение не гарантировало знания иностранных языков, между тем как львиную долю литературы составляли оригинальные книги немецких этнологов, английских и американских антропологов, которые большинству студентов оказались непосильны. В то же время лекции они не посещали в силу занятости другими далекими от учебы и науки делами, либо же попросту не улавливали их содержания. Первый отечественный учебник на этнофаке появился лишь в 1929 г., это был «Курс этнологии» П.Ф. Преображенского.

Таким образом, дело в конечном счете упиралось в самих слушателей. Им была предоставлена *возможность* учиться, но их *способность и желание* учиться выглядели далеко не лучшим образом. Не меньше половины студентов по своему уровню не соответствовали требованиям вуза, а специальное обследование слушателей приема 1927 г. обнаружило, что не готовы к вузовским занятиям даже две трети. Прове-

³⁷⁰ Бернштейн С.Б. Указ. соч. С. 28.

ряющие комиссии отмечали крайне слабую историческую и географическую подготовку, плохое знание новых западноевропейских языков и даже недостаток элементарной грамотности (!). На этом фоне слабым утешением выглядело стремление студенчества к «усвоению марксистского мировоззрения», в чем наиболее преуспели рабфаковцы³⁷¹.

На рабфаках, призванных восполнить дефицит базовых знаний будущих студентов, дать поступающим в университет необходимый общеобразовательный кругозор, первое место занимала общественно-политическая деятельность, а не учеба. В лучшем случае они обеспечивали своих слушателей некоторым минимумом общественно-политических сведений, одновременно стимулируя их колоссальные амбиции. Основание этих амбиций составляло соединение классового происхождения, партийной принадлежности – этакое большевистского принципа «первородства», перевернутой идеи аристократии – с убежденностью в том, что некоторое (обычно поверхностное и вульгаризованное) знание марксистской социологии способно служить безотказным методологическим ключом к любым тайнам наук о человеческом обществе и природе.

Для понимания характера той «философской» подготовки, которую получали марксистские неофиты, достаточно упомянуть, что именно в 1920-е годы на смену термину «философ» пришли советские неологизмы «диаматчик» и «истматчик». Эту характеристику получали специалисты, которых выпускал философский (!) цикл Московского университета: «...мы готовим на этом цикле не философов, а диаматчиков» – нескрываясь уничижительно отзывался о своих «питомцах» преподаватель философии

дореволюционной закалки³⁷². Так закладывалось небезосновательно презрительное отношение последующих поколений к тому, что представляли «исторический и диалектический материализм» в официозном советском исполнении.

В то же время в вузах был высокий градус политико-идеологической активности. На этнофаке существовала группа молодежи – штатных «активистов», общественно-политическая деятельность которых носила компенсаторный характер по отношению к их профессиональной (и вообще интеллектуальной) несостоятельности и одновременно рассматривалась ими как средство сделать социальную карьеру. Эта сравнительно немногочисленная группа людей формировала специфический нравственно-психологический климат на факультете – атмосферу проработок, доносительства, «классовой бдительности»: «...студенты командовали всем, доставалось даже профессорам», – вспоминала студентка этнофака 1920-х годов³⁷³. В более жестких тонах вторит ей еще один свидетель эпохи: «Многие профессора их (“активистов”. – Т.С.) боялись и ставили им зачеты при любом ответе»³⁷⁴.

Оборотной стороной лихорадочной общественной активности было откровенное пренебрежение учебой, которая для партийной и профсоюзной организаций занимала второстепенное место после идеологических задач. В то время как факультетская администрация предпочла пустить академические дела на самотек.

Однако у общественно-политической активности оказалось и важное научное измерение. Во второй половине 1920-х гг. стали создаваться студенческие ячейки содействия обществу историков-марксистов. «Классово созна-

³⁷¹ ЦМА г. Москвы. Ф.1609. Оп. 1.Ед.хр. 1121. Годовой отчет этнологического факультета за 1927/1928 г. Л. 17–18.

³⁷² Бернштейн С.Б. Указ. соч. С. 22.

³⁷³ С.Т.А. Жданко беседует В.А. Тишков // ЭО. 1994. № 1. С. 120.

³⁷⁴ Бернштейн С.Б. Указ. соч. С. 65.

тельные» студенты этнографического отделения учредили в 1927 г. марксистский этнографический кружок – самый многочисленный среди четырех отделений этнологического факультета: в нем участвовало около 60 человек, то есть почти каждый третий слушатель этнографического отделения.

На общих собраниях кружка и в его секциях (по циклам специализации) самонадеянно брались обсуждать сложнейшие теоретические вопросы, к которым тогдашняя наука даже не представляла, как подступиться. Поскольку компетентное профессиональное обсуждение этих проблем силами студентов (зачастую плохо образованных, а то и откровенно безграмотных) было невозможно, то они неизбежно направляли свою квазинаучную деятельность в русло «борьбы за марксистскую методологию в этнографии».

Чем дальше, тем заметнее в этой борьбе преобладал не позитивный – адаптация марксизма к этнографии, а негативный – критика реальных и мнимых носителей «антимарксистских» взглядов пафос. Причем критика «антимарксистских» ошибок и заблуждений *в науке* сопровождалась нарастающими обвинениями в их *политической неслучайности*. Мишенью этих нападок неизбежно оказывались этнографы старой школы и в силу своей приверженности теоретическому плюрализму, и по причине «сомнительного» классового происхождения.

Кардинальной, хотя остававшейся за кадром, причиной нараставшей полемики со «старой профессурой» и повышения идеологического градуса критики в ее адрес было то, что эта генерация ученых занимала ведущие позиции в институциональной структуре науки и ее теоретико-методологической сфере, составляя тем самым решающее препятствие карьерному и профессиональному росту молодого поколения. Тем более что возрастной разрыв между «старой» профессурой и адептами «марксистской» науки чаще всего был не так уж велик (П.Ф. Преображенский был всего

на пять лет старше С.А. Токарева и на 13 лет старше С.П. Толстова), а у «марксистов», кроме «правильного» происхождения, нередко присутствовал и такой специфический социальный опыт, как участие в революции, гражданской войне или на худой конец в различных политико-идеологических кампаниях.

Демографическая и внутрикорпоративная динамика радикально стимулировала борьбу за власть в науке, что послужило основополагающей причиной роста напряженности в отечественной этнологии вообще и на этнофаке МГУ в частности в конце 1920-х годов.

Однако это был внутринаучный фактор, в то время как судьба факультета критически зависела от внешнего фактора – намерений и воли государства, у которого было немало оснований для недовольства и в первую очередь в связи с массовой невостребованностью специалистов, выпускавшихся факультетом. Обратной стороной исповедовавшихся на этнофаке принципов универсализма и углубленной теоретической подготовки оказалась непригодность его выпускников к какой-нибудь практической специальности: они не могли использоваться в качестве работников «культурного фронта» в силу чрезмерной теоретичности своих знаний и не имели достаточной педагогической подготовки, чтобы преподавать. Наркомпрос РСФСР в 1929 г. рекомендовал музеям и отделам народного образования использовать выпускников этнологического факультета I МГУ как специалистов по различным разделам истории материальной культуры³⁷⁵.

Впрочем, долю ответственности за сложившееся положение дел несло и государство. Хотя в свое время НКВД настаивал на актуализации учебной подготовки славяноведов, что предполагало наличие государственного спроса на спе-

³⁷⁵ Еженедельник Наркомпроса РСФСР. 1929. № 36. С.28.

циалистов этого профиля, в действительности выпускникам цикла южных и западных славян этнографического отделения работы вовсе не нашлось, что вынуждало их переквалифицироваться.

Поэтому начавшаяся в 1929 г. реформа этнофака с целью его профессиональной адаптации к запросам и потребностям системы выглядела закономерной. Этнологический факультет был преобразован в историко-этнологический в составе отделений историко-философского, этнографического, теории и истории литературы, теории и истории искусств. Новое название и структура факультета понижали статус этнологии и дезавуировали ее претензии на роль гуманитарной метанауки; было сменено и поддерживавшее их руководство этнографического отделения. Одновременно была предпринята кардинальная реорганизация учебного процесса в направлении его социально-политической и научной (введение новых курсов) актуализации³⁷⁶.

Дальнейшая минимизация этнологии – в 1930 г. историко-этнологический факультет разделился на факультеты литературы и искусства и историко-филологический – выглядела естественным процессом уточнения ее места в системе исторических наук. Выстраивавшаяся в Московском университете система предметной организации гуманитарного знания приближалась к той, которую мы знаем сейчас. Однако в контексте донельзя идеологизированных дискуссий, прокатившихся по отечественному обществоведению на рубеже 1920–1930-х гг. прошлого века, ряд наук, включая этнологию, приобрел настолько скандальную и сомнительную репутацию, что решение 1931 г. о расформировании истфила выглядело попыткой разрубить гордиев узел теоретических проблем, внутрикорпоративных противоре-

³⁷⁶ Подробнее об этом см.: Соловей Т.Д. Этнографическое отделение Этнологического факультета I МГУ. 1925–1930. С. 46–47.

чий и личных амбиций. В ходе последовавшей за этим реорганизации I и II МГУ был создан Институт общественных наук. Преподавание этнологии в университетах на несколько лет приостановилось.

Хотя решение о закрытии этнологии принималось политическими инстанциями, мотивация для него исходила из внутринаучной ситуации, где социально-демографическая динамика подогревала борьбу за власть. Однако это был далеко не единственный фактор риска.

Глава 5.3.

НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА, ТЕОРИИ И КОНЦЕПЦИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭТНОЛОГИИ 1920-х годов

В проблемно-тематическом плане развитие отечественной этнологии до конца 1920-х гг. характеризовалось сложным переплетением теоретического и прикладного аспектов, традиционного и инноваций: продолжались исследования в привычных для отечественной этнологии направлениях и вместе с тем новая социальная действительность привносила принципиально новую проблематику, главным образом прикладного характера; в то же время живо обсуждались теоретические вопросы, поставленные, по крайней мере, за десятилетие до революции.

Экспертный потенциал этнографии *впервые* был востребован при решении следующих задач: этнографическая статистика и изучение «племенного состава» населения СССР, а также «социалистическое строительство» на национальных окраинах.

В то же время обзор вышедшей в 1920-е годы литературы показывает, что научная проблематика мало изменилась по сравнению с дореволюционной. По-прежнему внимание исследователей занимали общие проблемы этнографии: этнография славянства и славянских народов России (сохранились и основные направления в ее изучении: доисторическая и историческая этнография славянства, народное искусство славянских народов России, религия и обрядность); вопросы языкознания (главным образом в связи с яфетической теорией Н.Я. Марра); шаманство и первобытные верования; взаимоотношения народов северо-восточной Азии и Севера Америки (палеоазиатская проблема); изучение финно-угорских народов СССР; фольклористика и др.

Хотя главной задачей отечественной этнологии в первое пореволюционное десятилетие декларировалось исследование «быта народов СССР в их переходе от старого к новому», ее решение оказалось возможным лишь во второй половине 1920-х годов благодаря значительной активизации экспедиционной, научно-исследовательской и научно-издательской деятельности, государственное субсидирование которой с 1925 г. резко выросло.

Для московских этнографов эта задача воплотилась в исследование *сел* центральных российских губерний, причем акцент в его изучении переносился с традиционных тем (фольклора и духовной культуры) на материальную культуру, что было связано с вызванным революцией общим поворотом в направлении социально-экономических вопросов, а также первостепенным вниманием к, по выражению В.Г. Богораз-Тана, «деревенской новизне» (новым чертам и элементам сельского уклада).

Если в начале 1920-х годов литература про село не была научной в строгом смысле этого слова, то во второй половине этого десятилетия этнографическое изучение русской деревни приобрело систематический и научно «правиль-

ный» характер. Экспедиционная работа шла в трех основных направлениях: экспедиции центральных учреждений в отдаленные малоизученные места, специализированные экспедиции для бытового, фольклорного или антропологического изучения, комплексные экспедиции. Развивался жанр монографического описания деревни, для стационарного обследования отдельных волостей организовывались этнологические станции. Изучение деревенского быта стало составной частью студенческих научно-исследовательских экскурсий и элементом школьной работы. Невиданный взлет в это время переживало отечественное краеведение, включая краеведческое изучение деревни.

Во второй половине 1920-х гг. были разработаны первые научные программы этнографического и культурно-экономического изучения деревни. Методологические и методические аспекты изучения материальной культуры Центрально-промышленной области обсуждались на первом совещания этнологов ЦПО в 1926 г. Его инициатором выступил Владимир Владимирович Богданов (1868–1953), видный московский этнолог, преподававший в МГУ по 1937 г., один из лучших московских специалистов по этнографии восточных славян и, пожалуй, главный проводник идей культурно-исторической школы в России.

Хотя исследование материальной культуры считалось задачей первостепенной важности (Богданов даже называл ее основной этнологической темой современности), гиперболлизация этой проблематики парадоксально оборачивалась засильем мелкотемья: кардинальные вопросы раздвигались на множество мелких вопросов и частных нюансов, что сужало исследовательский горизонт и вело к засилью эмпиризма. На конференции ограниченность тематики и самодовлеющий эмпиризм ряда докладов в известной мере компенсировался обсуждением серьезных теоретических вопросов, прежде всего проблемы адаптации

идей Ф. Боаса и культурно-исторической школы к российской среде³⁷⁷.

Вообще изучение материальной культуры чаще всего происходило в рамках комплексного экспедиционного изучения народов СССР и основывалось на общеметодологической установке изучения человека как производительной силы, сформулированной Д.Н. Анучиным еще в 1915 г. в ходе дискуссии о целях КЕПС (комиссии для изучения естественных производительных сил) Академии наук. Этнографические результаты этих экспедиций публиковались в «Сборниках» МАЭ, изданиях этнологического отдела ГАИМК, «Материалах по этнографии СССР» этнографического отдела Русского музея, «Мемуарах» этнографического отдела ОЛЕАЭ, «Трудах» Центрального музея народоведения, изданиях музея Центрально-промышленной области и др.

Повестка состоявшегося годом спустя второго совещания этнологов ЦПО оказалась не в пример шире, и задача изучения современной деревни (не только ее материального быта) стояла там лишь одним из вопросов. По крайней мере, такой обобщающий размах конференции пытался придать один из лидеров отечественной этнологии, профессор I МГУ П.Ф. Преображенский, о чем свидетельствовало название его доклада «Вопросы развития советской этнографии». Охарактеризовав развитие этнологии в послереволюционное десятилетие, Преображенский указал ее научные приоритеты: комплексное изучение небольшого района, где учитывались все стороны народной жизни (экономика, демография, антропология, этнография в широком смысле

этого слова), изучение быта современной русской деревни, разработка вопросов этнографической статистики и племенного состава населения СССР; научная разработка вопросов национальной политики Советского Союза.

К числу перспективных задач науки московский профессор относил, во-первых, разработку тематики зарубежного славянства с тем, «чтобы как-нибудь встать в ряды широкой славяноведческой волны, которая в связи с образованием в Европе ряда славянских государств таким широким размахом захватила западно-европейские научно-исследовательские учреждения и университеты» (судя по истории этнофака I МГУ, специалисты в этой области оказались невостребованными отечественным высшим образованием и правительственными учреждениями), и, во-вторых, исследование тех форм жизни и быта народов и народностей СССР, «которые быстро отмирают и исчезают в эпоху культурного разлома и строительства новых экономических и бытовых форм жизненного уклада».

Тематическая широта конференции стимулировала и более плодотворное обсуждение методологических и методических проблем науки. С докладами о методике этнографических исследований выступали, в частности, преподаватели этнофака I МГУ С.П. Толстов и М.Я. Феноменов. В духе времени на конференции обсуждалась идея введения планирования в этнографические исследования.

Несмотря на эти явные приметы менявшегося политико-идеологического контекста, вплоть до конца 1920-х гг. партийно-государственные инстанции не вмешивались в профессиональные дела этнологической корпорации, не диктовали ей постановку исследовательских задач, ограничиваясь декларациями самого общего характера. Формирование научных интересов оставалось делом самих ученых, актуализация исследований («связь с практикой социалистического строительства») была не только обусловлена внешними причинами, но и довольно органично выте-

³⁷⁷ См.: Вопросы этнологии Центрально-Промышленной области. 1-е этнологическое совещание по ЦПО при Государственном музее ЦПО. 29–30 марта 1926 г. Под ред. В.В. Богданова и С.П. Толстова. М., 1927.

кала из внутренней логики развития науки, расширявшей свой диапазон и тематическое поле.

Важная роль в формулировании научных приоритетов, освещении научной проблематики и налаживании профессиональной коммуникации принадлежала возобновившему в 1926 г. свое издание журналу «Этнография». Он унаследовал от дореволюционного «Этнографического обозрения» не только подчеркнутую аполитичность названия (что было символично), но и преемственность в отношении целей и задач, о чем публично заявила редколлегия нового издания, во главе которого встал академик С.Ф. Ольденбург. Журнал печатался одновременно в Москве и в Ленинграде, т. е. наследуя также «Живой старине». Такая рефлексия значительной части профессионального сообщества показывала, что она рассматривала этнологию как *ту же самую науку*, что существовала до революции, вне учета социального контекста. (Впрочем, пришедшийся на середину 1920-х гг. «угар нэпа» давал надежду если не на социальную реставрацию, то на «размягчение» режима.)

Хотя в тематически-проблемном, теоретическом и кадровом отношениях преемственность была несомненна (в этом смысле этнология до и после октября 1917 г. была во многом одной и той же наукой), ее новая социополитическая и культурная рамка вела к кардинальному изменению не только характера связи науки и власти, но и связей между элементами системы науки, а также к мутации самих этих элементов. По аналогии с максимой биологии о функции, создающей орган, можно сказать, что создававшаяся новая социальная система трансформировала свою подсистему – науку.

Резкое повышение социального статуса и кардинальное расширение задач этнологии, форсированное строительство ее институциональной структуры предполагали столь же драматическое расширение масштабов подготовки кадров, что означало вступление в науку поколения, прошедшего

бытовую и политическую социализацию в новую историческую эпоху, которая выковала амбиции этого поколения и сформировала новый этос.

В то же время первый номер возобновленного этнографического журнала открывался статьей Л.Я. Штернберга о предмете этнографии и ее месте в системе наук, и это означало, что кардинальные теоретические вопросы этнографии не были решены, что дискуссия, начатая за полтора десятка лет до этого, продолжалась.

В теоретико-методологическом отношении историографическая ситуация 1920-х годов была весьма плюралистичной: сосуществовали и конкурировали разнообразные теории и концепции, высказывались различные, зачастую противоположные, взгляды, мнения и суждения. Поскольку государственной поддержкой пользовались все типы этнографических центров, а серьезные идеологические ограничения в профессиональной сфере отсутствовали, то этот плюрализм можно назвать парадигматическим, подразумевая под парадигмой не только научную теорию или концепцию, но имеющее институциональную опору и ресурсы *научное сообщество*, борющееся за гегемонию в той или иной области исследований.

В этом смысле влиятельной парадигмой в этнографии 1920-х годов оставался эволюционизм, позиции которого упрочились благодаря созданию этнологических центров, где содержание учебного процесса, исследовательские подходы, структура и даже название отражали эволюционистский подход к изучению проблем человеческой культуры.

Теоретическую основу профессиональной подготовки эволюционистская теория составляла на этнологическом отделении ГАИМК и на этнографическом факультете Географического института северной столицы, деканом которого был основатель ленинградской этнографической школы Л.Я. Штернберг. В Москве влиятельным протагонистом эволюционизма выступала В.Н. Харузина, читавшая

курс «этнографии малокультурных народов» на ФОНе И МГУ.

И все же эволюционизм отступал под натиском новых теоретических подходов (или парадоксально переплетался с ними), которые подобно своему антагонисту заимствовались с Запада. В этом отношении весьма характерен призыв В.В. Богданова на первом совещании этнологов ЦПО «отрешиться от тех приемов этнологического обследования, которые в нашей науке базируются на принципе эволюции форм и элементов общечеловеческого быта» и вести «этнологическое исследование на принципе культурно-исторического, а не эволюционного обоснования всех процессов народного быта»³⁷⁸.

В целом послереволюционная почва выглядела восприимчивой к новым культурным и интеллектуальным течениям в силу преобладавшей в России 1920-х гг. тяги к эксперименту и атмосферы всеобщего энтузиазма, не обошедшего стороной и науку.

В середине 1920-х годов группа московских и ленинградских этнологов попыталась адаптировать идеи культурно-исторического течения и школы Франца Боаса к «исследованию явлений народного быта в областном масштабе», возможности чего обсуждались на первом и втором этнологических совещаниях ЦПО. На втором из этих этнологических форумов известный ленинградский исследователь Д.К. Зеленин заявлял о применимости в краеведческом изучении методов ряда теоретических течений («культурных кругов», культурно-исторического, исторической школы Боаса и др.), обобщенно именовавшихся «диффузионизмом»³⁷⁹. (Как убе-

дительно показал Г.Е. Марков, «диффузионизм» служил собирательным именем для этнологических школ и течений, имевших различное методологическое основание; единственное, что их объединяло – поиск причин изменения культуры в диффузии, но диффузия при этом понималась как *механизм*, а не научная методология³⁸⁰).

Таким образом, в первое послереволюционное десятилетие сохранялась заметная теоретическая зависимость отечественной науки от западной (прежде всего немецкой) этнологии. Однако сама возможность теоретического заимствования свидетельствовала о сохранении обширных международных связей российской этнографии, ее вписанности в мировой интеллектуальный контекст. Железный занавес еще не опустился, идеологическая цензура не была введена.

Важно при этом отметить, что восприятие заимствованных идей не носило апологетического и односторонне некритического характера. Отечественные ученые отдавали отчет в слабых местах импортированных теорий, а их адаптация к российской почве сопровождалась попытками оригинальных теоретических синтезов, открывая возможность новой концептуализации.

По мнению, пожалуй, крупнейшего теоретика российской этнологии 1920-х годов П.Ф. Преображенского, кардинальным недостатком культурно-исторической школы (а более широко – современных ему течений западной этнологии) была «неразработанность проблемы отношения культуры к этнической группе, проблемы “этнуса”»³⁸¹. Хотя в России этой проблематике традиционно уделялось значительное внимание, ее концептуальная оснащенность значи-

³⁷⁸ Богданов В.В. Задачи этнологического изучения ЦПО // Вопросы этнологии Центрально-промышленной области. С. 9.

³⁷⁹ Зеленин Д.К. Перспективный план работ по этнографическому изучению ЦПО // Культура и быт населения ЦПО. 2-е совещание этнологов ЦПО. М., 1929. С. 23.

³⁸⁰ Об этом подробно см.: Марков Г.Е. Очерки истории немецкой науки о народах. Часть I. Немецкая этнология. Гл. 2.

³⁸¹ Прения по докладу П.Ф. Преображенского «Вопросы развития этнологии в СССР» // Культура и быт населения ЦПО. С. 223.

тельно ухудшилась в связи с эмиграцией из страны Н.М. Могилянського и С.М. Широкогорова, ученых, впервые сформулировавших теорию «этнoса» – единственную общую теорию отечественной этнографии.

В отличие от отечественной и всеобщей истории, в парадигматическом плюрализме этнологии 1920-х годов XX в. парадоксально отсутствовало марксистское направление, если понимать под ним адаптацию марксизма в профессиональных целях конкретных наук. Как точно подметил Ю. Слезкин: «Существовали этнографы-марксисты, но не существовало марксистской этнологии»³⁸².

История была очень важна в новом социополитическом контексте, ее функциональное предназначение точно сформулировал Дж. Оруэлл: тот, кто контролирует прошлое, контролирует настоящее, тот, кто контролирует настоящее, контролирует будущее. Этнология не представляла для власти интереса в качестве непосредственного пропагандистско-идеологического оружия и поэтому создание в ней «марксистского сектора» не форсировалось. Не очень привлекала этнография, в сознании большинства ассоциирующаяся «с изучением отсталых народов и экзотических обычаев», и коммунистическую молодежь, «жаждавшую “настоящего дела” и теоретических баталий»³⁸³.

Хотя попытки создать марксистскую школу в этнологии, сформировав в учебных и научных центрах отряд коммунистов-выдвиженцев, рекрутировавшихся по признаку социального происхождения и политической благонадежности (но не интеллектуальной состоятельности), предпринимались, долгое время они не имели серьезного эффекта. Ведущие позиции на учебных кафедрах, в научных учреж-

³⁸² Слезкин Ю. Советская этнография в нокдауне: 1928–1938 // ЭО. 1993. № 2. С. 115.

³⁸³ Там же. С. 114.

дениях и профессиональных изданиях вплоть до конца 1920-х гг. занимали этнологи старой школы. Их молодые коллеги, несмотря на свой апломб и претензии на монопольное владение «единственно верным методом», не могли составить первым конкуренции хотя бы в силу своей низкой профессиональной квалификации. Численность марксистской молодежи непрестанно увеличивалась, возрастали ее напор и агрессивность, но выдвинуться на ведущие позиции в науке она не могла еще и потому, что не имела внятной поддержки партийно-государственных инстанций.

Необходимость использования потенциала этнографии для решения задач модернизации позволяла власти сквозь пальцы смотреть на немарксизм «буржуазных специалистов». Или вообще не обращать на это внимания, благо культурно-идеологическая повестка новой экономической политики допускала определенную толерантность и свободу мысли. Кроме того, лидеры этнографии Л. Я. Штернберг и В. Г. Богораз плохо подходили на роль «буржуазных» ученых: «Бывшие народовольцы, оба пострадали за правое дело, а Штернберга заметил сам Энгельс»³⁸⁴.

Марксизм не представлял в тот момент единой модели знания. В историографии не раз подчеркивалось «наличие различных исследовательских практик и проектов, помещавшихся под легитимирующей “шапкой” марксистской науки», разных вариантов марксизма, предлагавшихся как маститыми, так и молодыми исследователями³⁸⁵. Шел диалог «между марксизмом как идеологией, как предметом преподавания и как набором идей для дискуссии»³⁸⁶.

³⁸⁴ Там же. С. 114.

³⁸⁵ От классиков к марксизму: Совещание этнографов Москвы и Ленинграда (5–11 апреля 1929 г.). С. 22–23.

³⁸⁶ От классиков к марксизму. С. 28.

Плоды индоктринации марксизма как идеологии в научном сообществе были неоднозначными. Знание марксистской социологии номинальными «марксистами» носило чаще всего поверхностный и вульгаризованный характер. Для понимания качества той «философской» подготовки, которую получали марксистские неопиты, достаточно упомянуть, что именно в 1920-е годы на смену термину «философ» пришли советские неологизмы «диаматчик» и «истматчик». Эту характеристику получали специалисты, которых выпускал философский цикл Московского университета: «...мы готовим на этом цикле не философов, а диаматчиков», – нескрываяемо уничижительно отзывался о своих питомцах преподаватель философии дореволюционной закалки. Так закладывалось небезосновательно презрительное отношение последующих поколений к тому, что представляли «исторический и диалектический материализм» в официозном советском исполнении. (Вот характерное высказывание известного советского философа М.К. Мамардашвили: «Скажем, в мое время на философском факультете – я окончил его в 1954 г. – всякий человек, который занимался историческим материализмом, был презираем... Сам знак того, что ты занимаешься болтовней, называемой историческим материализмом, свидетельствовал о том, что ты мерзавец»³⁸⁷).

Неоднозначными по последствиям были попытки внедрения марксистских идей в процесс преподавания в рамках профессиональной подготовки этнологов. На факультетах общественных наук университетов с 1924 г. в качестве обязательного предмета вводился курс «Истории развития общественных форм», где формы экономики, семьи, политической организации рассматривались в оптике смены формаций или «социологических эпох».

³⁸⁷ Цит. по: Семенов Ю.И. О моем «пути в первобытность». С. 186.

Это позволяло включить этнографический материал в социологизированный вариант всемирной истории, «главными методологическими предпосылками которого были формационный подход, идея однолинейной эволюции и поиска закономерностей в развитии человеческого общества»³⁸⁸. Одноименный (хотя и с несколько иным содержанием) курс на этнологическом факультете I МГУ читал профессор П.Ф. Преображенский; позже он был издан под названием «Курс этнологии» (М.; Л., 1929). Студенты этнологического факультета интересовались марксизмом, но «держать курс» на марксизм не означало «приблизиться» к нему. Тем более что эффективных образцов его адаптации к профессиональной проблематике старшими товарищами пока предложено не было.

Похожей была ситуация в Географическом институте в Ленинграде (оплоте полевой этнографии, детище Л.Я. Штернберга), где в 1924 г. в учебный план были включены курсы по марксистской теории и текущей политике за счет сокращения всех негуманитарных предметов. Но «дело создания марксистского направления в этнографии от этого не выиграло». «В научных изданиях было мало марксизма. А в научных обществах – мало марксистов»³⁸⁹.

Интерес к марксизму как научной теории («набору идей») в профессиональном сообществе этнологов присутствовал. Парадоксальным образом именно «буржуазным» специалистам принадлежали первые попытки освоения марксистской методологии, как правило, в виде ее синтеза с другими теоретическими подходами.

В.Г. Богораз-Тан, этнограф, беллетрист, общественный деятель и профессор ЛГУ, пытался соединить довольно прямолинейный эволюционизм с антропогеографией Ф. Ратцеля,

³⁸⁸ От классиков к марксизму. С. 29.

³⁸⁹ Слезкин Ю. Указ. соч.

антропологией Фр. Боаса и марксистской диалектикой в книге «Распространение культуры на земле. Основы этногеографии» (Л., 1928). Синтез этот вряд ли можно было считать удавшимся, хотя книга получила неплохие отзывы старой профессуры, в частности, П.Ф. Преображенского. Блестящий полевик, Богораз был склонен к специфическому стилю теоретизирования, в котором «огромная эрудиция и глубокое знание “первобытных” культур совмещались с эклектичностью методологии». Исходя из полевого опыта, он интерпретировал марксизм «как преимущественное внимание к способам жизнеобеспечения, материальной культуре и взаимодействию человека с географической средой»³⁹⁰.

В сравнении с Богоразом, который чувствовал себя в марксизме «неуверенно», марксистский опыт Преображенского оказался более основательным. Фигура П.Ф. Преображенского интересна как пример *творческого* подхода к марксизму.

Собственное теоретическое кредо Преображенский определял как «синтез классической эволюционной школы... с достижениями школы культурно-исторической». Хороший (хотя не всегда глубокий) знаток современных ему теоретических течений западной этнологии ученый, не отдавая предпочтения ни одному из них, пытался объединить их сильные стороны, одновременно избегая недостатков. Вместе с тем он стремился преодолеть ограниченность этих парадигм, выйти за их пределы. Жестко критикуя теорию «культурных кругов» как методологически несостоятельную, Преображенский взамен предлагал изучать «культурные комплексы» и сформулировал понятие «научно-хозяйственного ареала». В ряде случаев блестящая интеллектуальная интуиция вплотную подвела его к кон-

цептуализациям, считающимся достоянием современной науки³⁹¹.

Хотя магистральное направление своих усилий – формирование *историко-материалистической* концепции развития человечества – Преображенский определял во вполне марксистском духе, избранный им путь достижения этой цели выглядел чрезвычайно опасным в политико-идеологической перспективе. Дело в том, что исторический материализм Петр Федорович не отождествлял с марксистской социологией и вообще допускал множественность его интерпретаций, что было естественно для середины 1920-х гг., но стало смертельно (в прямом смысле этого слова) опасно несколькими годами позже, когда началась канонизация одной из версий, причем очень узкой, этого философско-социологического направления. Преображенский же более чем критически относился к концепции первобытнообщинного коммунизма К. Маркса и Ф. Энгельса, полагая ее плодом ошибок, заблуждений и непроверенных наблюдений. Так что потенциальный антимарксизм был, что называется, налицо.

Более того, у Преображенского была амбиция *лично* сформулировать историко-материалистическое понимание истории, да еще с опорой на «буржуазное» наследство и с привлечением «буржуазных» же теоретических течений. Добавив к этому претензии рассматривать этнологию как субститут социологии и историческую метанауку, мы получим целый набор потенциальных мишеней для идеологической критики и политических обвинений.

В большей безопасности могли чувствовать себя ученые, для которых влияние марксизма ограничивалось инкорпорированием новой терминологии в традиционную проблематику, лучше всего сугубо эмпирическую. Те же, кто испытывал подлинно творческий интерес к марксизму,

³⁹⁰ От классиков к марксизму. С. 45.

³⁹¹ Подробнее см.: *Иванова Ю.В.* Указ. соч. С. 246–252.

пытаясь с его помощью расширить исследовательский горизонт этнологии и нарастить ее эвристический потенциал, оказывались в уязвимой ситуации.

Подобные попытки освоения марксизма, рассматривавшие его лишь как равноценный с другими и имеющий свои естественные ограничения теоретический подход, выглядели настораживающе для амбициозных и зачастую плохо образованных апологетов вульгаризированной марксистской социологии, удельный вес и напор которых в отечественном общественном сознании постоянно нарастал.

Надо признать, что теоретико-методологическое состояние этнологии предоставляло достаточно материала для критики. Безбрежное расширение предмета этнологии, в результате которой она теряла свою специфику, терминологическая невнятность, быстрое умножение конкурирующих теорий, создание спекулятивных и псевдонаучных концепций (например, яфетической теории Н.Я. Марра, пользовавшейся популярностью среди молодого поколения ученых-гуманитариев) оставляли раздражающее впечатление теоретического хаоса и были чреваты интеллектуальной дезориентацией – особенно для профессионально слабо подготовленных специалистов. Короче говоря, во второй половине 1920-х годов теоретический кризис этнологии приобрел безусловный и рельефный характер.

Однако конкуренция теоретических концептов и методологических подходов отражала «цветущую сложность» этнологии, которая, как мы знаем по другим ее элементам (социальному статусу, масштабу задач, институциональной структуре, объемам профессиональной подготовки), находилась в фазе успешного и плодотворного развития. В этом смысле отечественная этнография вступала в такое качественно новое состояние, отличительным признаком которого была не концептуальная стабильность, а перманентная методологическая ревизия и высокая динамика теоретического дискурса.

ОЧЕРК ШЕСТОЙ

ОТ БУРЖУАЗНОЙ ЭТНОЛОГИИ К СОВЕТСКОЙ ЭТНОГРАФИИ

Глава 6.1.

«КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ» В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭТНОГРАФИИ (ДИСКУССИЯ О ПРЕДМЕТЕ ЭТНОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ: конец 1920 – начало 1930-х годов)

В периоды относительно спокойного развития той или иной научной дисциплины вопросы ее методологии представляют интерес чаще всего лишь для узкой группы теоретиков и историографов науки. Не исключение в этом отношении и такое важное методологическое понятие, как «предмет науки». Обычно под ним понимается эмпирически сложившаяся совокупность научной проблематики. Другими словами, ученые склонны полагать, что предмет науки определяется кругом тех проблем, изучением которых они традиционно занимаются. Между тем понятие «предмет науки» может претендовать на звание интегральной методологической категории, поскольку с той или иной степенью полноты включает в себя место конкретной науки в системе научных дисциплин, предметную область и объект исследования науки, ее цели, задачи и категориальный

аппарат, используемые теории и концепции. Содержание предмета науки трансформируется по мере развития и видоизменения научной дисциплины. В свою очередь, то или иное понимание предмета науки способно оказать влияние на вектор и характер развития последней. Таким образом, между научной дисциплиной и трактовкой ее предмета существует не только прямая, но и обратная связь. Подобные взаимосвязи особенно рельефно проявляются в ситуации научного кризиса, когда резко возрастает интерес к вопросам методологии науки, а понимание ее предмета из конвенционального становится остро дискуссионным, привлекая внимание уже не только историографов и методологов, но и широкой научной общественности.

В истории отечественной этнологии XX в. понятие «предмет этнологии» неоднократно становилось темой обсуждения, но дискуссия на эту тему рубежа 1920–1930-х гг. оказалась по невольному хронологическому совпадению и критическим рубежом развития науки. Ее смысл и последствия вышли далеко за рамки формальной темы, ознаменовав завершение генезиса советской этнографии и положив начало советской этнографии как относительно завершенной и целостной системе науки. (Напомню, что, по Гегелю, когда явление возникает, его еще не существует, то есть во время генезиса советской этнографии советской этнографии как таковой не было, а существовала переходная система, включавшая старое и новое качество науки.) В этой перспективе интеллектуальные итоги дискуссии оказались заведомо второстепенными, да, собственно говоря, таких итогов и не было, поскольку дискуссия завершилась на сугубо идеологической ноте.

Марксизм против «буржуазной» этнологии

Дискуссия по методологическим вопросам этнологии была органичным и неотъемлемым аспектом охарактеризо-

ванной в предшествующей главе историографической ситуации. Теоретическая полемика не утихала на протяжении 1920-х годов. На страницах журнала «Этнография» активно обсуждалось соотношение понятий «этнография» и «этнология», причем в одних случаях разница между ними носила терминологический характер, в других – сущностный.

Главный редактор издания, академик С.Ф. Ольденбург, например, разграничивал две отдельные научные дисциплины: *описательную* этнографию, занимающуюся изучением творчества народных масс «как в области материальной культуры, так и в области культуры духовной», и *теоретическую* этнологию³⁹².

Л.Я. Штернберг, наоборот, был противником этой дифференциации и высказывался в пользу термина «этнография», подверстывая под него описательный и теоретический аспекты науки, что не мешало Штернбергу трактовать саму эту науку столь же расширительно, как П.Ф. Преображенскому: ленинградский исследователь определял «этнографию в широком смысле» как «науку о человечестве и культуре» – определение сугубо эволюционистское и максималистское по своему охвату.

Впрочем, Штернберг не был терминологическим пуристом и в зависимости от контекста употреблял то один, то другой термин, считая их синонимичными: для характеристики отечественной науки он пользовался термином «этнография», зарубежной – «этнология»³⁹³.

³⁹² Ольденбург С.Ф. Задачи журнала «Этнография» // Этнография (далее – Э). 1926. № 1–2. С. 5.

³⁹³ Ср.: Журнал заседания Отделения этнографии Императорского Русского Географического Общества 4 марта 1916 года // Живая старина. 1916. Вып. 2–3. С. 7–9; Штернберг Л.Я. Д.Н. Анучин как этнограф // Э. 1926. № 1–2; *Его же*. Современная этнология. Новейшие успехи, научные течения и методы // Э. 1926. № 1–2.

К концу 1920-х годов дискуссия достигла кульминации, вылившись в целую серию диспутов. Но если причины дискуссии коренились в логике развития науки, вытекали из ее внутренних факторов, то в ходе самой дискуссии эта логика оказалась смята и искорежена.

Существует естественный соблазн объяснить деформацию успешно развивавшейся научной дисциплины политическими и идеологическими факторами, тем более что на исходе 20-х годов XX в. в СССР сворачивался НЭП с его ограниченным плюрализмом и начиналась так называемая «революция сверху» – политика форсированной модернизации страны, сопровождавшаяся установлением жесткого идеологического диктата. Однако подобное объяснение было бы искажением сложной исторической картины.

Составной частью «революции сверху» было фронтальное наступление на «буржуазных специалистов» в промышленности, науке и системе высшего образования. Как раз в то время, когда этнологи проводили свой первый диспут (начало мая 1928 г.), внимание общественности было приковано к сенсационному «шахтинскому делу» – первому из серии процессов над «интеллигентами-вредителями», проходивших в 1928–1931 гг. В стране насаждалась атмосфера подозрительности и враждебности по отношению к старым специалистам, любой из которых мог быть заподозрен, по выражению Сталина, в «оппозиции строительству социализма». На рубеже 1920–1930-х гг. ожесточенным атакам подверглась Академия наук – оплот беспартийных ученых: несколько десятков ее представителей были арестованы, а в руководство Академии партия ввела своих людей. В ходе академических выборов 1929 и 1932 г. академиками стали такие общественные деятели и видные ученые-марксисты, как Г.М. Кржижановский (вице-президент АН), Н.М. Лукин, А.В. Луначарский, М.Н. Покровский и др. Широкомасштабные чистки охватили вузовскую систему: избавлялись от студентов с сомнительным социальным происхождением,

беспартийных преподавателей подвергали остракизму и нередко увольняли, заменяя их партийцами.

Тем самым «революция сверху» открыла шлюзы социальной мобильности, создав благоприятные условия для реализации амбиций нового, послереволюционного поколения обществоведов, которых с долей условности можно называть молодыми марксистами. Образно говоря, «революция сверху» была дополнена «революцией снизу», радикальная стратегия партийного руководства активно поддерживалась и проводилась в жизнь молодыми рекрутами, усугублявшими ее и без того отрицательные последствия.

Группа молодых интеллектуалов (в первую очередь члены ячейки содействия Обществу историков-марксистов (ОИМ) при I МГУ и их неформальный лидер В.Б. Аптекарь) претендовала на выражение партийной линии и внедрение партийного духа в науку – претендовала самозвано, поскольку вплоть до конца 1931 г. официальная партийная линия в области общественных наук не была четко сформулирована. Руководствуясь духом времени, воинствующие марксисты поспешили взять на себя прерогативу официальных инстанций в определении того, что в гуманитарных дисциплинах считать марксистским, а что нет. (Позднее эта инициатива имела весьма плачевные последствия для многих из тех, кто на рубеже 1920 и 1930-х годов числился в законодателях марксистской моды.)

С 1927 г. обсуждение методологических вопросов этнологической науки резко активизировалось, застрельщиками в чем выступили представители «марксистского сектора» в общественных науках. Молодые интеллектуалы инициировали теоретическую дискуссию, определили ее характер и направление: марксизм как «единственно верный» научный метод был противопоставлен концептуальным построениям «буржуазной» этнологии.

В каком контексте развивалась дискуссия этнологов? На рубеже 1920–1930-х гг. проходила череда научных со-

вещаний по всем отраслям знания, где дискутировались наиболее острые вопросы каждой из наук. Эти совещания и дискуссии – своеобразный жанр советской науки – в сталинское время «были способом как установления консенсуса внутри дисциплин, так и встраивания их в постоянно меняющийся политико-идеологический ландшафт»³⁹⁴.

В исторической науке безраздельно господствовала «школа М.Н. Покровского», а в лингвистике триумфальное восхождение совершало «новое учение о языке» Н.М. Марра. Заслуживает упоминания дискуссия «диалектиков» (А. М. Деборин и другие) и «механицистов» (И. И. Скворцов-Степанов, Н. И. Бухарин, А. А. Богданов и другие), которая завершилась убедительной победой «диалектиков», постулировавших, будто «только марксистская философия может выступать в роли арбитра, диктующего наукам основные законы диалектики»³⁹⁵.

Здесь особенно уместны параллели с исторической наукой: в дискуссиях историков закладывалась общая рамка и логика перестройки социогуманитарного знания, оттачивались модели марксистского продвижения, формировался новый научный этос и научный язык, вырабатывался специфический полемический стиль. Логика развития исторических дискуссий в раннесоветский период воспроизводит историк В.Ю. Соколов. Приведем несколько содержательных выдержек из его монографии «История и политика». Если 1920-е гг. в отечественной исторической науке стали периодом «наиболее эффективных форм развития марксистской мысли», а исторические дискуссии в начальной фазе оказались своеобразным «потерянным раем» историо-

графии, то по мере развития дискуссий их участники все чаще апеллировали «к приемам, наработанным внутрипартийной борьбой»³⁹⁶. Следуя далее в русле внутрипартийной полемики, участники дискуссий все чаще искали аргументы не в конкретной истории, а в практике политической борьбы. Веским доводом становился «не исторический факт, а умелая политическая квалификация того или иного суждения»³⁹⁷. «Опасность использования опыта внутрипартийной полемики заключалась не в самом этом факте, а в том, что обращение историков к политическим доводам подменяло конкретно-исторический анализ, упрощало, огрубляло их работу, сводило ее к созданию все новых и новых политически акцентированных социологических схем»³⁹⁸.

Между тем только сохранение определенной автономии научных исследований от политической практики могло обеспечить нормальное развитие дискуссии. Беда в том, что сами ее участники не были готовы к поддержанию подобной автономии, «беспечно эксплуатируя идейный потенциал внутрипартийной полемики, то и дело сбиваясь на язык идеологических сентенций»³⁹⁹.

Анализируя причины «повальных отступлений историков-марксистов от своих научных взглядов и послушного принятия политических обвинений», Соколов подчеркивает важность не только партийно-дисциплинарного аспекта и внешнего давления в ситуации радикально меняющегося идейно-политического контекста, мотивировав-

³⁹⁴ Алымов С.С. Арзютов Д.В. Марксистская этнография за семь дней. С. 22.

³⁹⁵ Там же. С. 28–29.

³⁹⁶ Соколов В.Ю. История и политика. (К вопросу о содержании и характере дискуссий советских историков 1920-х – начала 1930-х гг.). Томск: Изд-во Томского ун-та, 1990. С. 121.

³⁹⁷ Там же. С. 122.

³⁹⁸ Там же. С. 122–123.

³⁹⁹ Там же. С. 130.

ших групповое поведение, но и такого фактора, как формирование в научной среде идеологической «самоцензуры», создавшей в конечном счете основания для введения в исторические исследования системы «декретивного» решения спорных вопросов⁴⁰⁰.

Отмеченные закономерности с некоторыми оговорками могут быть экстраполированы на динамику дискуссий, происходивших на рубеже 1920–1930-х гг. в этнологии.

Дискуссия этнологов разворачивалась преимущественно в форме открытых научных диспутов, выплеснувшись одновременно на страницы научной периодики. (Попутно следует отметить, что в конце 1920-х годов аналогичные дискуссии охватили практически весь спектр гуманитарных дисциплин). Одной из главных дискуссионных площадок стала созданная в 1927 г. социологическая секция общества историков-марксистов в Москве. ОИМ было образовано в 1925 г. при Комакадемии «в целях сплочения марксистских кадров для проведения исследовательской работы в области истории и методологии исторического процесса, для борьбы с буржуазной идеологией и популяризации исторических знаний»⁴⁰¹. Власть рассматривала ОИМ как организационную форму приобщения интеллектуалов к марксизму, структуру для сотрудничества марксистских и немарксистских ученых.

В работе социологической секции общества принимали деятельное участие многие видные московские и ленинградские этнологи: преподаватели этнологического факультета I МГУ В.К. Никольский, П.Ф. Преображенский, С.А. Токарев, преподаватели этнографического отделения географического факультета Ленинградского университета

В.Г. Богораз-Тан и Я.П. Кошкин, известный специалист по истории общественных форм и этнолог П.И. Кушнер (Жнышев), историк А.И. Гуковский. К участию в диспутах допускались студенты этнофака I МГУ и члены ячейки содействия ОИМ при I МГУ, что придавало дебатам особую остроту и импульсивность.

Точкой отсчета в теоретической дискуссии этнологов можно считать доклад В.Б. Аптекаря «Яфетическая теория Марра и исторический материализм», прочитанный 1 апреля 1927 г. в ОИМ.

«Специалист» по историческому материализму и незаурядный полемист, Аптекар посвятил доклад своеобразному «скрещению» яфетической теории и марксизма. Сочными мазками он обрисовал предпосылки зарождения европейской и российской лингвистики, выводя их из территориальной экспансии и колониального освоения западного мира. Отсюда следовал псевдологический вывод о принципиальном неприятии этнологии и антропологии как наук колониальных, буржуазных и расистских.

Далеко не случайно заглавной фигурой дискуссии оказался член московского отделения ГАИМК, человек, называвший себя «московским представителем» Н.Я. Марра и входивший в ближний круг академика. Теоретические построения этого, по характеристике В.М. Алпатова, «талантливого дилетанта» пользовалась в то время немалой популярностью и влиянием, особенно среди научной молодежи марксистской закваски, хотя в строго академическом смысле концептуализация Марра выглядела фантазмагорично. Поэтому представляется очень точным ее определение как научного *мифа*, то есть такой интеллектуальной конструкции, вопрос о научной адекватности которой второстепенен по отношению к ее мобилизующей силе.

Эту силу в (около)научной среде марровской конструкции придавали следующие обстоятельства. Во-первых, классовый подход, создававший впечатление марксистской

⁴⁰⁰ Соколов В.Ю. Указ. соч. С. 196.

⁴⁰¹ Цит. по: Алымов С.С., Арзютов Д.В. Марксистская этнография за семь дней. С. 30.

проекции в профессиональную сферу языкознания. Во-вторых, заявленная Марром претензия на решение, вероятно, самой сложной проблемы языкознания – вопроса о происхождении языка, который наука того времени по умолчанию выносила за скобки и который не решен по сей день. В-третьих, появление новой метатеории выглядело ответом на теоретико-методологический кризис мирового языкознания рубежа XIX и XX в. (Здесь напрашиваются более чем прозрачные параллели с ситуацией в мировой этнологии того времени.) В-четвертых, созвучной времени оказалась такая важная черта «нового учения о языке», как его враждебность лингвистической науке Запада и дореволюционной России. Наконец, обаяние теории придавала личность ее создателя – академика императорской Академии наук, прямо заявившего о переходе на пролетарские и марксистские позиции.

Примечательно, что собственно лингвисты (особенно в Москве) относились к идеям Н.Я. Марра несравненно более критично, чем специалисты других гуманитарных специальностей – философы, историки (включая этнографов и археологов), литературоведы. Популярность «нового учения» у дилетантов в языкознании (хотя зачастую прекрасных специалистов в собственных профессиональных областях) была далеко не случайной: секрет всепобеждающей силы «нового учения» крылся в том, что оно соблазняло существованием марксистской «отмычки» к сложным вопросам гуманитарных наук. Поскольку имя этой «отмычки» – марксистская диалектика, марксистский метод, было известно, то ключевой *практический* вопрос состоял в том, *кто* владеет лицензией на пользование этим универсальным оружием.

Именно попытки его решения создали *политико-идеологическую* динамику в науке. До второй половины 1920-х годов теория Н.Я. Марра была одной из конкурировавших в науке относительно *равноправных* парадигм и имела ин-

ституциональное основание в созданных Марром ГАИМК и Яфетическом институте АН. Ситуация радикально переменялась, когда вошедшие в 1926 г. в ближайшее окружение академика В.Б. Аптекарь и С.Н. Быковский начали борьбу за превращение «интересного, но непонятного» учения в «единственно марксистскую» теорию в советском языкознании. Собственно они и создали «марризм» как *культурно-идеологическую* доктрину, безотносительную к научной стороне дела. В этом смысле их роль аналогична роли И.И. Презента в построении знаменитой лысенковской системы и ее экспансии в науке и за ее пределами.

Подобно Презенту, ставшему в конце 1940-х гг. деканом биологического факультета МГУ без профессиональной подготовки, да и вообще серьезного образования (в 1926 г. Презент окончил ФОН Ленинградского университета), Аптекарь и Быковский также были далеки от лингвистики. Валериан Борисович Аптекарь (1899–1937) – выходец из еврейского местечка, не завершивший получение высшего образования, преподаватель Военно-политической школы Московского военного округа (1922–1925), заведующий издательством Коммунистической академии (1923–1925), позднее – научный сотрудник НИИ этнических и национальных культур, доцент педагогического факультета II МГУ; исключен из ВКП(б) (1932), арестован и осужден к высшей мере наказания (1937). Аптекарь, в 1928 г. ставший фактическим главой (ученым секретарем) подсекции *материалистической лингвистики (!)* Коммунистической академии, говорил о себе, что он «такой же лингвист, как матрос 2-й статьи»⁴⁰².

Однако профессиональная неадекватность в данном случае не имела значения, ведь цели Аптекаря и ему подобных

⁴⁰² Подробнее о содержании теории Марра, ее экспансии в науке, ее сторонниках и противниках см.: *Алпатов В.М.* История одного мифа. Марр и марризм. М.: УРСС, 1991. 288 с. Главы 1–3.

состояли не в снискании тривиальных научных достижений или вульгарного карьерного успеха наподобие занятия учебных кафедр и директорских постов в научных центрах. Их амбиции простирались гораздо дальше, они отводили себе роль жрецов от марксизма – хранителей и единственных интерпретаторов *lingua sacra* – причем не в отдельно взятом языкознании, а в общественных дисциплинах вообще и даже, возможно, шире. Ведь если марксистский метод был всесилен, то ему покорялась потенциально любая профессиональная сфера.

Выбор этнологии в качестве первой мишени идеологической экспансии в общественном знании вряд ли был случаен. Ее отношения с «новым учением» носили амбивалентный характер. С одной стороны, никогда не владевший конкретной методикой сравнительно-исторических исследований и вообще не имевший профессиональной лингвистической подготовки Н.Я. Марр широко использовал этнографический материал и сформировавшиеся в лоне этнографии концепции для создания своих умопомрачительных интеллектуальных конструкторов. С другой стороны, отличавшийся, подобно всякому дилетанту, склонностью к суждениям столь же радикальным, сколь и поверхностным, он отрицал за этнологией право существования в качестве самостоятельной дисциплины. Ему, в частности, приписывают хлесткую фразу: этнографы – это «любители, ученые без определенной специальности»⁴⁰³, ставшую лейтмотивом отношения марристов к этнологии.

Однако дело, конечно, было не в личном отношении Марра к этнологии. Исходившие от нее претензии на создание теории исторического материализма в любом случае восприни-

⁴⁰³ Цит. по: Толстов С.П. Итоги перестройки работы Института этнографии АН СССР в свете труда И.В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» // СЭ. 1951. № 3. С. 5.

мались бы ближайшим окружением академика как угроза аналогичным амбициям этого круга, что обрекало этнологию разрушительному идеологическому нападению.

Авторы этого предприятия небезосновательно рассчитывали получить поддержку внутри самой атакуемой науки, прежде всего среди молодого поколения этнологов, находившегося в напряженных отношениях со старшими коллегами, тем более что именно среди молодежи «новое учение» пользовалось наибольшей популярностью. Да и часть этнологов старшего поколения демонстрировала симпатии к марризму. Отчасти по причинам собственно научного характера, надеясь использовать возможности новой парадигмы в решении сложнейшей проблемы этногенеза; отчасти стремясь обезопасить себя и создать благоприятные условия для карьерного роста, присоединившись к влиятельному течению в науке. Причем эти мотивы, как правило, были переплетены, и их соотношение менялось. Но общая закономерность была та, что отношение к марризму решающим образом зависело от политико-идеологической конъюнктуры.

Если в 30-е годы XX в. такие воспитанники дореволюционного Московского университета (т.е. формально принадлежавшие к «старой школе»), как историк первобытности В.К. Никольский, лингвист и этнограф Н.Ф. Яковлев немало сделали для утверждения мифа о марризме как «марксизме в языкознании», утверждая, что «новое учение» основывается на разработанном И.В. Сталиным марксистском учении о нации, то в 1947 г., в момент ослабления марризма, они попытались его потеснить, предложив новую концепцию происхождения языка⁴⁰⁴. В то же время Яковлев был последовательным противником марровской идеи аналитического алфавита, а Никольский в дискуссиях конца

⁴⁰⁴ Алпатов В.М. Указ. соч. С. 69, 129.

1920-х годов защищал этнологию от разрушительных нападок марристов.

Рьяным марристом был С.П. Толстов – один из наиболее удачливых представителей новой генерации этнологов, занявший в конце 1930-х годов освободившееся после ареста и шельмования П.Ф. Преображенского место ведущего теоретика этнографической науки, а также ставший ее главным организатором. Настойчиво пытался использовать теорию Марра для решения проблемы этногенеза Н.Н. Чебоксаров, упрекавший языковедов (!) в том, что они недостаточно пользовались материалом и идеями Марра⁴⁰⁵. В отличие от них, лидер отечественной этнологии 1920-х годов Преображенский высказывал категорическое несогласие с марровской теорией.

Вот в каком научном и культурно-идеологическом контексте разворачивалась дискуссия о предмете этнологии.

Следующий диспут состоялся 7 мая 1928 г. в социологической секции ОИМ по докладу В.Б. Аптекаря «Марксизм и этнология». В отличие от предыдущего доклада, где характеризовались сложные отношения лингвистики и этнологии, в этот раз Аптекарь полностью сконцентрировался на критике этнологии. Характеризуя современное положение этнологии, докладчик справедливо указывал на неразработанность ее категориального аппарата, расплывчатый характер таких оперируемых ею базовых понятий, как «культура» и «этнос», которые «рассматриваются как некие от и надприродные сущности, что является прямым результатом игнорирования их историчности и метафизического гипостазирования или биологизирования»⁴⁰⁶. В свою очередь, указанные обстоятельства вели к расширительному

толкованию предмета этнологии, стали источником ее необоснованных претензий на роль метадисциплины.

Однако эти точные констатации дезавуировались настояжидвающим идеологическим подтекстом проделанного докладчиком анализа новейшей этнологической литературы, в первую очередь тех работ «старых специалистов» (В.Г. Богораз-Тана, Е.Г. Кагарова, П.Ф. Преображенского), в которых марксизм адаптировался к профессиональным исследовательским задачам. Докладчик выявил множественные «*извращения*» в понимании марксизма, сведя их к двум основным течениям: «добросовестному эклектизму», который «искажает марксизм путем его сращивания с различными теориями», и «механическому материализму».

Казалось бы, после точного диагностирования болевых точек отечественной этнологии и разгромной критики попыток освоения марксизма учеными старой школы докладчик предложит научному сообществу эталон применения диалектико-материалистического метода в этнографии. Однако Аптекарь оказался более радикален: заявив о принципиальной несовместимости этнологии и марксизма, он пришел к заключению о необходимости ликвидации этнологии как науки⁴⁰⁷. Хотя подразумевалась *теоретическая* этнология, этнология как субститут социологии, при той терминологической неясности и запутанности, той неопределенности предметного поля науки, о которой так убедительно говорил Аптекарь, под вопросом вообще оказывалось существование этнологии как научной дисциплины.

Нигилистический пафос Аптекаря был довольно рационален в контексте преследуемой им долгосрочной стратегии: ликвидировать этнологию как опасного конкурента

⁴⁰⁵ Там же. С. 118.

⁴⁰⁶ Цит. по: Алымов С.С., Арзютов Д.В. Марксистская этнография за семь дней. С. 31.

⁴⁰⁷ Архив Московского отделения РАН (далее – Архив МО РАН). Фонд 377. Оп. 2. Ед.хр. 115. «Марксизм и этнология», доклад В.Б. Аптекаря 7 мая 1928 г. Выступление В.Б. Аптекаря..

марксистской социологии, избавиться от ее претензий на самостоятельное теоретизирование. Что после этого останется от этнологии (и останется ли вообще), было вопросом второстепенным по сравнению с утверждением группы интеллектуалов в качестве единственных интерпретаторов марксизма. Этнология оказалась наукой, которой, перефразируя Бисмарка, оказалось не жалко пожертвовать ради торжества «единственно верного» метода.

На первых порах сформулированная Аптекарем ультра-радикальная позиция не получила поддержки участников дискуссии: отменить успешно развивавшуюся научную дисциплину с более чем столетней традицией было чересчур даже для самых активных борцов за внедрение большевизма в науку. Лишь наиболее политизированная часть студенчества, в первую очередь члены ячейки содействия ОИМ I МГУ, солидаризовалась с докладчиком. Подавляющее же большинство выступавших, включая студентов этнографического отделения этнофака I МГУ, отвергло предложение Аптекаря.

Молодой преподаватель этого факультета С.А. Токарев, признавая, что «в современном положении этнологии имеются основания, дающие известное право т. Аптекарю приходить к выводу о принципиальной несовместимости этнологии с марксизмом и о необходимости отмены первой», тем не менее считал отказ от этнологии ошибкой. Отмена этнологии в России не отменит этнологию как науку вообще, поскольку этнология на «буржуазном Западе» будет существовать так же, как существовала до сих пор, – деликатно указывал Токарев, – а уничтожение отечественной этнологии, и так очень слабой, нанесет ущерб лишь ей самой. Словом, хотя «предпосылки тов. Аптекаря правильны, практические выводы из них являются неправильными»⁴⁰⁸.

⁴⁰⁸ Цит. по: Алымов С.С., Арзютов Д.В. Марксистская этнография за семь дней. С. 32.

Соглашаясь с Аптекарем в том, что отечественную этнологию надо перевести на «марксистские рельсы», участники дискуссии отвергали перспективу ликвидации этой научной дисциплины. П.И. Кушнер (Кнышев) обосновывал целесообразность сохранения этнологии тем, что это единственная наука, которая дает возможность строить учение об «отсталых народностях», и даже для современной политики учение об «отсталых народностях» вовсе не является таким незаметным и малым местом, чтобы им пренебречь. Эта аргументация показательна тем, что доводы в пользу сохранения этнологии черпались из соображений *политической* целесообразности, т. е. внешних по отношению к науке факторов.

Вместе с тем в ходе диспута отчетливо проявилась тенденция (в 1928 г. еще не доминировавшая) к сужению предметных рамок этнологии. Тот же Кушнер утверждал, что данная наука «неправильно названа этнологией, ...ее лучше назвать этнографией, т. е. описанием народностей», подразумевая под этим элиминирование теоретического уровня. Выпускник Института красной профессуры историк А.И. Гуковский фактически солидаризовался с Аптекарем, предлагая «низвести ее (этнологию. – Т.С.) на степень вспомогательной науки», что в перспективе вело к атрофии науки.

В 1928 г. эта тенденция еще встречала отпор. Преподаватель этнофака I МГУ специалист по истории первобытности В.К. Никольский, подчеркнув, что нельзя ограничивать науку одним лишь чистым описанием, предложил рассматривать «конкретную этнографию» как базу для *этнологии*. Считая последнее наименование предпочтительным для науки, он ограничивал ее рамки (возможно, в связи со своими профессиональными интересами) историей первобытного общества и «отсталыми народами».

Владимир Капитонович Никольский (1894–1953), преподававший в МГУ в 1920–1930-е гг., был дореволюцион-

ным выпускником университета и под руководством М.К. Любавского специализировался по истории русской церкви и раскола. После революции он переквалифицировался в историка первобытного общества и в 1923 г. выпустил книгу «Очерки первобытной культуры» (М.; Пг., 1923). Это была компиляция западной литературы, но даже по отзывам его недоброжелателей настолько «талантливая и яркая», что получила премию и несколько раз переиздавалась. Во второй половине 1920-х годов Никольский посетил Францию для знакомства с тамошней этнологией, где встречался со знаменитым этнографом и психологом Л. Леви-Брюлем. Впоследствии он выпустил еще несколько книг, ряд статей и учебник по тематике первобытности. Считавшийся марксистом Никольский был рекомендован на преподавательскую должность лично мэтром марксистской историографии М.Н. Покровским, что вкупе с очевидной податливостью идеологическим ветрам эпохи и моральной нечистоплотностью составило ему не самую лучшую репутацию в глазах коллег и студентов, хотя преподавателем он был явно небесталанным⁴⁰⁹.

Тем не менее в начальной фазе дискуссии о предмете этнологии Никольский открыто (хотя и весьма сдержанно) выступил в ее защиту. Благо у него имелся своеобразный сертификат идеологической благонадежности, в то время как у этнологов, слывших «буржуазными» учеными, имелось немного шансов (да и желания тоже) выступить с развернутой защитой своих позиций, а тем более быть услышанными в атмосфере нарастающего идеологического психоза и «спецедействия» (очень точный термин той эпохи).

И все-таки в 1928 г. Аптекарь и его немногочисленные сторонники не представляли еще смертельной угрозы для «буржуазной этнологии» и «старых специалистов». Нахо-

дившийся в процессе становления лагерь воинствующих интеллектуалов основывался лишь на единстве «против» – против любых альтернатив марксизму, в то время как единство «за» еще не было выработано. Открытым оставался ключевой вопрос: сохранять ли этнологию вообще и если да, то в каких рамках?

Студенты этнографического отделения этнофака I МГУ, на которых, по всей видимости, рассчитывал Аптекарь, в 1928 г. выступили в защиту «своей» науки, обрушившись на доклад Аптекаря с тем же максимализмом, с которым тот выступал против этнографии, и с той же аргументацией: Аптекарю вменялся в вину «немарксистский подход». Студенты сравнивали тезисы Аптекаря с ультрарадикальными пролеткультовскими призывами начала 1920-х годов отказаться от всего буржуазного. И это значило, что находившиеся формально по разные стороны баррикады молодые люди относились к одному типу политической социализации, одному этосу и одному полемическому стилю.

Встретив отпор молодежной аудитории, докладчик язвительно заметил, что в лице студентов I МГУ их профессура нашла себе «блестящих *заместителей* (курсив мой. – Т.С.)»⁴¹⁰. Эта брошенная мимоходом фраза как нельзя более ярко свидетельствовала о нежелании «буржуазных» профессоров участвовать в публичных диспутах, стилистически и содержательно более напоминавших перебранку.

Впрочем, заявлявшие себя марксистами молодые ученые также не чувствовали себя защищенными от критики. Спустя почти полгода после первого диспута, когда в социологической секции ОИМ обсуждался доклад молодого преподавателя этнофака I МГУ С.А. Токарева «Общественный строй у меланезийцев», на него обрушился председатель-

⁴⁰⁹ См. подробнее: *Бернштейн С.Б.* Указ. соч. С. 50–52.

⁴¹⁰ См.: Архив МО РАН. Ф. 377. Оп. 2. Ед. хр. 115. Выступления в прениях. Заключительное слово В.Б. Аптекаря.

ствовавший во время заседания В.Б. Аптекарь, обвинивший докладчика в том, что тот «строил доклад *не социологически, а этнологически* (курсив мой. – Т.С.), куда элементы марксистского анализа вкраплены в виде некоторой штучки, в виде терминологии»⁴¹¹. Характерно, что Токареву вменялся в вину не немарксизм (за этим дело еще станет), а анализ профессиональной тематики с использованием профессиональной же концептуальной оснастки, что с точки зрения Аптекаря было совершенно недопустимо. Вероятно, таким образом Токареву отлилась его защита этнологии в майском диспуте.

Старая школа предпочитала участвовать в дискуссии не метафорой или идеологической инвективой, а научными публикациями. В 1928 г. на страницах научной периодики заметно возросло число работ по теоретическим проблемам этнологии. Отдельного упоминания заслуживают статьи ленинградского профессора Е.Г. Кагарова «Пределы этнографии» и «Задачи и методы этнографии», в которых была выстроена типология существовавших в зарубежной и отечественной литературе определений предмета этнологии. В этих сугубо историографических работах примечательны два обстоятельства: во-первых, автор рассматривал отечественную науку в неразрывной связи с мировой этнологией, во-вторых, развитие отечественной этнологии в первой трети XX в. Кагаров воспринимал как целостный процесс, акцентируя внимание на его непрерывности и преемственности⁴¹².

⁴¹¹ Архив МО РАН. Ф. 377. Опись 2. Ед. хр. 116. Токарев С.А. Общественный строй у меланезийцев. Доклад от 29 ноября 1928 г. Выступление В.Б. Аптекаря в прениях.

⁴¹² Кагаров Е.Г. Пределы этнографии // Э. 1928. № 1; Его же. Завдання та методи етнографії // Етнографічний вісник. 1928. Кн. 7. С. 3–44.

В том же году вышли две теоретические работы В.Г. Богораз-Тана: посвященная методике этнографического исследования статья «К вопросу о графическом методе анализа элементов этнографии и этногеографии» (Этнография. 1928. № 1–2), а также учебник «Распространение культуры на земле. Основы этногеографии». В книге, приобретенной сразу после выхода широкую известность, учебным была поставлена амбициозная задача преодолеть теоретическое отставание отечественной этнологии. Однако теоретическая новизна работы не выходила за пределы антропогеографии Ратцеля («опыт построения этнографии, взятой в ее географическом рассмотрении», по характеристике Богораз-Тана) и попытки ее синтеза с марксизмом.

Именно эта книга послужила поводом для нового витка теоретической дискуссии этнологов, состоявшейся на заседаниях социологической секции в ходе Первой всесоюзной конференции историков-марксистов (Москва, 28 декабря 1928 г. – 4 января 1929 г.). С докладом «Марксизм и этногеография» выступил В.Б. Аптекарь, выглядевший весьма убедительно в своем критическом пафосе. Он продемонстрировал методологическую вторичность обсуждавшейся книги; неуклюжая попытка Богораз-Тана применить марксистскую диалектику оказалась лишним аргументом в пользу аптекаревского тезиса о принципиальной несовместимости этнологии с марксизмом. А чрезвычайно широкое толкование предмета новой дисциплины – этногеографии, подтверждало опасения, что буржуазная этнология представляет собой противостоящую марксизму теоретическую метадисциплину⁴¹³.

⁴¹³ Аптекарь В.Б. Марксизм и этнография // Труды I Всесоюзной конференции историков-марксистов. 28/XII 1928 – 4/I 1929. Т. II. М.: Ком. акад., 1930.

В центре внимания дискуссии вновь оказался вопрос о предмете этнографии, ее пределах и месте в системе гуманитарных дисциплин. В прениях были высказаны две крайние точки зрения на сей счет. Приверженцы линии Аптекера исходили из того, что своего, установленного метода в этнологии нет, а «выделение предмета этнологии из социологии и истории искусственно и ни на чем не основано»⁴¹⁴. Главный оппонент докладчика С.П. Толстов предлагал рассматривать этнологию как одну из исторических дисциплин, объединенных методологией исторического материализма и имеющую «объектом изучения культуру как накопленный труд человечества»⁴¹⁵. Такая трактовка предмета этнографии, представлявшая симбиоз марксизма и эволюционизма, сохраняла за ней значение теоретической дисциплины, хотя отвергала прежние обширные претензии. Эта попытка сохранения науки и широкого методологического компромисса также исходила от молодого поколения «марксистовавших» этнологов, в дискуссии ее выразил С.П. Толстов. Между этими двумя полярными точками зрения уместился целый спектр мнений, выражавших *марксистское* понимание предмета и задач этнологической науки.

В течение 1928 г., первого года теоретической дискуссии, определились ее характер и направленность, наметилась расстановка сил, проявилась (еще не в полной мере) специфическая тональность обсуждения. Как уже отмечалось, дискуссия о предмете этнографии вызревала долгое время, и в этом смысле она выглядела естественным итогом историографического процесса. Обсуждению подлежал комплекс

⁴¹⁴ Дмитриев И. Выступление в прениях // Труды I Всесоюзной конференции историков-марксистов. С. 336.

⁴¹⁵ Толстов С.П. Выступление в прениях // Труды 1 Всесоюзной конференции историков-марксистов. С. 331–332.

сложных теоретических проблем, унаследованный от дореволюционных времен: предметная область и цели этнологии, ее место в системе наук, основные категории и теоретические подходы. Однако радикально менявшийся политический и идеологический контекст, кадрово-возрастная динамика в научном сообществе, претензии группы молодых интеллектуалов на *идеологическое* управление наукой привели к тому, что рамки обсуждения оказались заведомо и серьезно сужены: в центр дискуссии был вынесен вопрос о применении марксизма в этнологии. В принципе это не исключало возможности плодотворного обсуждения фундаментальных методологических проблем этнологической науки, окажись молодые адепты марксизма в состоянии предложить эффективные образцы его использования в этнологии. Однако наиболее добросовестные из них отдавали себе отчет в неадаптированности марксизма к профессиональной сфере.

С.А. Токарев в своих дневниковых записях (т. е. документе, заведомо предполагающем высокую степень откровенности) довольно сдержанно характеризовал себя и своих единомышленников, как группу «этнологов-социологов», которая «*держит курс* на марксизм, но не в одинаковой мере... к нему *приближается* (курсив мой. – Т.С.)»⁴¹⁶. Другими словами, предпринятая *попытка* «сознательного применения историко-материалистического метода» не была тождественна овладению им. Таким образом, перевод этнологии на «марксистские рельсы» грозил вылиться в многолетнюю кропотливую работу с множеством проб и ошибок.

Подобная перспектива категорически не устраивала группу «бешеных» – воинствующих интеллектуалов, которые не могли тягаться со своими высококвалифицированными

⁴¹⁶ Благодарим судьбу за встречу с ним. (О Сергее Александровиче Токареве – ученом и человеке). С. 161.

ными коллегами – представителями «буржуазной» этнологии в общей эрудиции и в вопросах фундаментальной науки. Настаивая на «большевистских темпах марксизации» этнологии, они использовали этот лозунг как политическую дубинку в борьбе за лидерство в общественных науках. Их позиции выглядели беспроектными: поскольку вряд ли кто-то реально представлял, что означает «марксизм» в этнологии, то, дабы прослыть ревнителем марксистской чистоты, достаточно было беспощадно критиковать реальных и мнимых антимарксистов и «уклонистов». В истерической политико-психологической атмосфере конца 1920-х годов подобные обвинения способны были заставить замолчать любого оппонента.

Состав участников дискуссии, по крайней мере в 1928 г., не поддается однозначной классификации. Говорить о «марксистском» и «немарксистском» лагерях в науке можно лишь с большой долей условности: ученые старой школы не только не были антимарксистами, но именно им принадлежали первые попытки систематического применения марксизма в этнологии. Вместе с тем практически все молодые этнологи придерживались мнения о безальтернативности марксизма как научного метода, в то время как старая школа, не разделяя этого монистического взгляда, чем дальше, тем больше предпочитала умалчивать о своем несогласии на сей счет. Хотя между поколениями пролегал заметный рубеж, тем не менее по некоторым важным вопросам значительная часть молодой поросли солидаризировалась со своими старшими коллегами. Наконец, не стоит забывать об острой конкуренции ленинградской и московской этнологических школ, отголоски которой прозвучали в дискуссии⁴¹⁷.

⁴¹⁷ См. на сей счет интересное замечание в дневниковых записях С.А. Токарева. - Благодарим судьбу за встречу с ним. С. 162.

1929-й год внес в течение теоретической дискуссии принципиальные коррективы. Дурным предзнаменованием для судеб этнологии выглядел разгром в дискуссии февраля этого года «поливановщины» (по имени видного лингвиста Е.Д. Поливанова) – последнего препятствия на пути овладения марристами командными высотами в языкознании. В это же время, 22 февраля 1929 г., в социологической секции ОИМ проводился диспут о марксистском понимании социологии, где в роли застрельщика выступил В.Б. Аптекарь, оттачивавший аргументы в пользу отмены этнологии. Идеологический градус его выступления заметно повысился: если в тезисе об отечественной этнологии как «суррогате буржуазного обществоведения» не было ничего нового, то выпады против «отцов современной этнологии» приобрели характер прямой политической инвективы. Причем этих самых «отцов» Аптекарь в парадоксальной манере критиковал одновременно и за теоретизирование в буржуазном духе и за голый эмпиризм, что потенциально ставило под удар даже эмпирический уровень науки⁴¹⁸.

Диспут в ОИМ стал генеральной репетицией перед главным событием 1929 г. – совещанием этнографов Москвы и Ленинграда (5–11 апреля). Собравшее почти всех специалистов в этой области из обеих столиц (около 100 человек), оно призвано было разрешить теоретико-методологические противоречия в профессиональной среде, которые наложись на межпоколенческий конфликт. За внешней стороной дискуссии скрывалась борьба за право контролировать в широком смысле отечественное обществознание вообще, в узком – этнологию. В этой схватке утверждение *идеологического* первенства служило неременной предпосылкой и критическим условием методологического и институцио-

⁴¹⁸ См.: Дискуссия о марксистском понимании социологии // Историк-марксист. 1929. Т. 12.

нального контроля над наукой, т. е. ход научной дискуссии в конечном счете зависел от вненаучного фактора.

*Совещание этнографов Москвы
и Ленинграда 1929 г. как коммуникативное
и пропагандистское пространство*

Добровольные жертвы большевистской пропаганды. К этому времени в ткань раннесоветской действительности прочно вошла пропаганда. Именно она обеспечила большевикам успех революционной мобилизации, победу в гражданской войне, продвижение новых политико-идеологических и социокультурных моделей.

Пропаганда в узнаваемом виде как система тотального информационного воздействия на население зародилась в годы Первой мировой войны. К 1920-м годам относится теоретическое осмысление феномена пропаганды и ее влияния на общественное мнение: тогда вышли первые классические труды – «Общественное мнение» Уолтера Липпмана (1922 г.), «Пропаганда» Эдварда Бернейса (1928 г.). А большевики и нацисты продемонстрировали феноменальное значение пропаганды как ресурса революционной динамики первой половины XX в. и средства регламентации интеллектуальной, духовной и культурной сферы.

Уже в тактике захвата власти, а тем более в последующем конституировании новой государственно-политической и социокультурной системы, большевики умело комбинировали террор и агитацию, административный нажим и одурманивание масс.

Позиция отстраненности от происходящего едва ли была возможна. Ученый в России мог чувствовать себя вне политики в ситуации «нормальности», когда политика сводилась к думским дебатам и конкуренции политических партий. Но когда рушился старый мир, и происходило рождение новых институтов и ценностей, невозможно было сказать:

«Меня это не касается!» Творившаяся на глазах историческая драма втягивала в свои неумолимые жернова равно желающих и сопротивляющихся, оставаться ее беспристрастным и невовлеченным свидетелем было попросту невозможно.

Именно эффективное сочетание административного давления и террора с пропагандой позволило режиму легко и быстро скрутить интеллектуалов-профессоров, деятелей искусства и писателей. Образованные слои оказались *добровольными* жертвами большевистской пропаганды. Одних увлек общенациональный порыв и идеи социальной справедливости. Другими руководил народнический пафос помощи низовой массе, желание направить ее темные инстинкты в правильное русло. Нельзя сбрасывать со счетов и влияние Первой мировой войны, стимулировавшей антирационализм и желание духовного обновления. Часть интеллигенции устала от самой себя, испытывая ненависть к цивилизации и стойкое отвращение к «мудрствованиям познания».

Большевизм заражал интеллектуалов, изолированных в искусственном книжном мире, перспективой братания с массами, а также историческим активизмом. Коммунистическая пропаганда блестяще эксплуатировала неизбежную потребность человека быть частицей чего-то целого, его тягу к социальному консенсусу, желание встать в строй со всеми, быть в большинстве и с большинством. Она открыла забытую истину, что люди испытывают потребность быть встроенными в общую систему, «слиться» и что возможность самопожертвования зачастую важнее интеллектуальной независимости.

Этнографическое совещание: голоса и интонации. Моделью марксистского продвижения в этнографии стало совещание этнографов Москвы и Ленинграда 5–11 апреля 1929 г., где развернулась дискуссия по широкому спектру профессиональной проблематики, но прежде всего о пони-

мании самого предмета этнографической науки. В это же время проходила череда научных совещаний по всем отраслям знания, где дискутировались наиболее острые вопросы каждой из наук.

На исходе 1920-х годов сфера интеллектуальной свободы в этнографии была несколько шире, чем в других социогуманитарных дисциплинах. В ней сохранялась теоретико-методологическая и культурно-мировоззренческая полифония. Это было связано вот с чем. С одной стороны, политическая актуальность этнографии в деле модернизации национальных окраин служила ей своеобразной охранной грамотой, с другой – этнография, в отличие от истории, не могла стать непосредственным политико-идеологическим оружием, а потому ее «марксизация» не форсировалась. Этнология могла позволить себе оставаться (или выглядеть) «той же самой» наукой, которую не затронули идейные и ценностные деформации, а этнологи в массе своей – демонстрировать аполитичность и научную добросовестность.

Однако в радикально меняющемся контексте конца 1920-х годов, когда начиналась «революция сверху» и резко повышался политико-идеологический градус, пространство для объективности и взвешенных подходов сокращалось, как шагреневая кожа. «Горячий» контекст разогрел даже самые «холодные» и далекие от политики темы.

Хотя резолюции совещания формулировались расплывчато и аморфно, суть произошедшего была прозрачна и драматична. Вопрос о предмете науки был решен, рамки ее резко сужены до исследования конкретных обществ, преимущественно находящихся на ранних стадиях развития⁴¹⁹.

⁴¹⁹ Соловей Т.Д. Власть и наука в России. Очерки университетской этнографии в дисциплинарном контексте (XIX – начало XX вв.). С. 222–227.

Совещание было обширным пространством коммуникации, поэтому язык как инструмент коммуникации и влияния оправданно привлекает внимание исследователей. Изучение вербальной составляющей этого форума оказалось возможным благодаря тому, что стенограмма совещания сохранилась в архиве МАЭ РАН практически в полном объеме. Стенографическая фиксация выступлений, комментариев, вопросов и даже выкриков из зала в ходе совещания была столь полна, что это открывает беспрецедентные возможности для исследования и реконструкции структуры и механизма коммуникации. В 2014 г. стенограмма совещания была издана в серии «Кунсткамера – Архив VII» огромным томом объемом более 500 страниц (включая вводную аналитическую статью) с названием «От классиков к марксизму: совещание этнографов Москвы и Ленинграда (5–11 апреля 1929 г.)» под редакцией Д.В. Арзютова, С.С. Алымова, Д.Дж. Андерсона.

Возможность услышать голоса и даже интонации участников этнографического совещания отчасти реализовали инициаторы издания и авторы вводной статьи Арзютов и Алымов. Для исследования вербальной составляющей они прибегли к нескольким процедурам контент-анализа стенограммы совещания. В результате им удалось реконструировать схему активности зала (всего с докладами, ремарками, вопросами и комментариями было произнесено 204 речи), представить частотность выступления участников совещания⁴²⁰, выявить статистику употребления понятий и терминов⁴²¹, составить диаграмму употребления категории «этнос» (ключевой для профессионального самоопределения)⁴²².

⁴²⁰ Алымов С.С., Арзютов Д.В. Указ. соч. С. 37.

⁴²¹ Там же. С. 49.

⁴²² Алымов С.С., Арзютов Д.В. Указ. соч. С. 51.

Взгляд на этнографическое совещание как коммуникативное пространство не вызывает сомнения. Но не менее, если не более важно его определение как полигона бескомпромиссной информационно-психологической войны. Дело в том, что цели совещания, предполагавшие продвижение марксистской линии в этнологии и создание на этой основе ценностного консенсуса, достигались методами пропагандистскими (манипулятивными). Именно пропагандистские приемы, эксплуатирующие человеческие предрассудки и эмоции, а не научная аргументация, апеллирующая к разуму, обеспечили через формирование «спирали молчания»⁴²³ массовую поддержку драматических по последствиям резолюций совещания⁴²⁴, успешно дискредитировали альтернативные взгляды и парализовали волю многочисленных противников «минимизации» этнологии.

Убеждение – искусство или смертоносное оружие? Изучение опубликованных стенограмм совещания позволяет выделить три ключевые фигуры – Петра Федоровича Преображенского, Николая Михайловича Маторина и Валериана Борисовича Аптекаря. Все трое относились к числу лидеров этнографии того времени как в интеллектуальном, так и в административном отношении, и им было предоставлено право выступить с докладами, а следовательно повлиять на содержание и ход дискуссии. Всех троих отличала высокая коммуникативная активность⁴²⁵. Преображенский, Маторин и Аптекарь представили три разные модели коммуникации и убеждения, три варианта управления мнением и процессом принятия решений.

⁴²³ Соловей В.Д. Абсолютное оружие. Основы психологической войны и медиаманипулирования. М.: Издательство «Э», 2015. С. 75.

⁴²⁴ Соловей Т.Д. Власть и наука в России. С. 211–231.

⁴²⁵ Алымов С.С., Арзютов Д.В. Указ. соч. С. 37.

Коротко определим их. *Интеллектуальную (академическую) норму* олицетворял Преображенский, предлагавший решать все спорные вопросы сугубо научными методами в рамках рациональной аргументации. Образец убеждения при помощи плоской прямолинейной *пропаганды* с ее плакатно-агитационным языком, навешиванием идеологических ярлыков, использованием митинговых штампов продемонстрировал Маторин. *Манипуляцию*, апеллирующую к дорассудочному знанию и эксплуатирующую когнитивные заблуждения, предпочел использовать Аптекарь.

Выбор модели коммуникации нельзя однозначно вывести из биографии и политической социализации. Преображенский (35 лет), Маторин (31 год), Аптекарь (30 лет) были практически ровесниками, имевшими различное социальное происхождение: Преображенский из семьи священнослужителей, Маторин – дворянин, Аптекарь – из еврейского местечка. Все трое получили историко-филологическое образование (Преображенский его завершил, Маторин и Аптекарь – нет) и активно преподавали, а Маторин и Аптекарь, кроме того, подвизались в области пропаганды. (Маторин читал курс теории агитации и пропаганды в Коммунистическом университете, т.е. может быть квалифицирован как *профессиональный* пропагандист). Все трое пришли в этнологию со стороны: Преображенский – историк античности, Маторин – специалист в области изучения религиозного синкретизма и антирелигиозной пропаганды, Аптекарь – агент академика Н.Я. Марра, популяризатор идей его яфетической теории. Маторин и Аптекарь, члены партии, выступали активными проводниками марксизма в общественных науках. Преображенский не только не был антимарксистом, но, судя по его книге «Курс этнологии» (1929), одним из первых попытался дать образцы применения марксизма в этнологии, что позволяет охарактеризовать его как «творческого марксиста».

При известной схожести внешних обстоятельств их профессиональные стратегии радикально разошлись. Преображенский состоялся как ученый академического типа, исходящего из *самоценности* науки (будь то история античности или этнология, неважно). Отношение Маторина и Аптекаря к этнологии было скорее *функциональным*, как к полигону для реализации групповых и/или личных карьерных амбиций. Соответственно кардинально различались и избранные ими модели коммуникации.

Попытаемся оценить *эффективность* опробованных в ходе совещания коммуникативных и пропагандистских стратегий, вынеся за скобки морально-этическую сторону дела. Хотя манипуляция – морально сомнительное занятие, она одновременно представляет собой самый относительно гуманный (особенно в сравнении с административным давлением или политическим террором) инструмент влияния. Критерии эффективности манипуляции очевидны: способность мобилизовать сторонников вокруг продвигаемой повестки, деморализовать противников и переубедить неопределившихся.

П.Ф. Преображенский. Совещание, по крайней мере, в начальной его фазе, представлялось сугубо научным мероприятием, лишь декорированным неизбежными отсылками к официальной идеологии и актуальной политике. В этом смысле оно выглядело своеобразной резервацией нормальности в стране, быстро скатывающейся в разрушительное безумие аутогрессии, доноительства, поиска «чужих». Олицетворением нормы и модельным воплощением академического начала в сообществе, уже готовом к тому, чтобы научных оппонентов превратить во врагов, выступил Преображенский. Разумеется, не только он. Но в его случае эта позиция была выражена выпукло и последовательно.

Преображенский попытался придать обсуждению сугубо научный характер, максимально избегая острых

углов и резких формулировок. Текст его доклада «Этнология и ее методы»⁴²⁶ практически не содержал образцов советского новояза или идеологических штампов. Последнее удивительно, ведь соответствующая терминология уже захватила культурное и интеллектуальное пространство, чаще всего в гротескных формах. Отдавая дань такому приему убеждения как «ссылка на авторитеты», Преображенский ограничил круг этих «авторитетов» упоминанием Гегеля, а также классиков этнографической науки – Морган, Тайлора, Риверса⁴²⁷. Надо было обладать немалым мужеством, чтобы на рубеже 1920–1930-х годов не ссылаться на «пророков марксистского откровения» Маркса, Энгельса, Ленина.

В отношении содержания, актуального положения и перспектив этнологии докладчик занял сугубо прагматичную и конструктивную позицию. Не восторженно-апологическую, поскольку прекрасно осознавал ее слабости, но и не разрушительно нигилистическую. Преображенский подчеркивал несовершенство и ограниченность современных этнологических концепций, а также условность, конвенциональный характер большинства научных терминов. Он предложил к обсуждению новый концепт «технически-хозяйственного ареала»⁴²⁸ вместо неплодотворного понятия «культурный круг». Преображенский был убежден в *научном* характере этнологии и определял ее как «ту же историю» или «часть истории, которая базируется на специфическом материале»⁴²⁹. В будущем он отводил этнологии не только роль *инструмента* национально-государствен-

⁴²⁶ Стенограмма совещания этнографов Москвы и Ленинграда (5–11 апреля 1929 г.) // От классиков к марксизму. С. 97–107.

⁴²⁷ Там же. С. 97, 99, 106.

⁴²⁸ Там же. С. 104–105.

⁴²⁹ Там же. С. 99.

ного строительства, но и важной *науки*, имеющей прочные теоретико-методологические основания.

Аптекарь с самого начала попытался разрушить позитивную определенность, формируемую Преображенским и пресечь принципиальную возможность интеллектуального обсуждения дисциплинарных проблем. Выступая в прениях, он обрушил на докладчика лавину вопросов «Что такое вообще культура в понимании П.Ф.?', «Что такое этнос?', «Как определить этнологию и ее предмет?»⁴³⁰. Это вопросы, на которые невозможно было ответить выигрышным образом, хотя бы потому, что их решение и составляло повестку совещания. (Отмечу, что конвенционального определения понятий «этнос»/«этничность» не существует до сих пор.) Психологическая уловка (манипулятивный прием «раздражения оппонента») не сработала. Преображенский ответил на провокацию не встречной манипуляцией и не конфронтацией, а уклонением. Повторил основные тезисы доклада и разумно ушел от определения «этнос», отметив попутно, что не склонен его абсолютизировать как «конечную предельную величину» или «сущность метафизическую»⁴³¹.

Казалось, этот раунд противостояния Преображенский vs. Аптекарь остался за Преображенским, констатировавшим в своем заключительном слове, что «раскачать логические основы»⁴³², на которых строился его доклад, никому не удалось. Беда в том, что на *логику* никто и не покушался – Аптекарь воздействовал на эмоции и предрассудки участников дискуссии. И вполне в этом преуспел.

Во-первых, им была вброшена разрушительная идея об опасной неопределенности дисциплинарных рамок этно-

логии. А некоторые добросовестные (без кавычек) участники прений по докладу Преображенского невольно подбросили хворост в костер формируемого Аптекарем мифа о хаосе в этнологии. Например, В.Г. Богораз, рискованно рассуждавший о «биологических и зоологических элементах», на которые опирается этнография, составляющая «стык между науками общественными и естественными»⁴³³. Понимая опасность таких «вбросов», в заключительном слове Преображенский настаивал на том, что этнология есть наука социальная, и категорически возражал против попыток В.Г. Богораз и В.В. Бунака «протащить в этнологию биологизм»⁴³⁴. Но осадок, как говорится, остался.

Во-вторых, Аптекарю (не без помощи других товарищей) удалось заронить сомнения в компетентности московского профессора, которому пришлось отвечать на упреки в том, что он «кабинетный работник»⁴³⁵. Так подрывалось «*доведение к коммуникатору*», составляющее одно из важнейших условий успешного убеждения⁴³⁶.

Избранная Преображенским коммуникативная стратегия строилась на следующих основаниях: научная (рациональная) аргументация, безэмоциональный полемический стиль, отказ от манипулятивных приемов убеждения, табу на идеологическую и ценностную «стигматизацию» оппонентов. Забегая вперед, отмечу, что эта стратегия была им выдержана на всем протяжении совещания и имела результатом особое мнение Преображенского, зафиксированное в резолюциях⁴³⁷. Так что последовательность и морально-

⁴³³ Там же. С. 113.

⁴³⁴ Там же. С. 131.

⁴³⁵ Там же. С. 133.

⁴³⁶ Аронсон Э., Пратканис Э.Р. Эпоха пропаганды: Механизмы убеждения, повседневное использование и злоупотребление. СПб.: Прайм-Еврознак, 2003. С. 145–146.

⁴³⁷ Стенограмма... С. 495.

⁴³⁰ Там же. С. 108.

⁴³¹ Там же. С. 139.

⁴³² Там же. С. 130.

психологическая стойкость профессора не могут не вызывать уважения.

Но с точки зрения решения главной задачи – продвижения идеи «историзации» этнологии и отстаивания ее права на самостоятельное существование – эта стратегия оказалась неэффективной. Та модель коммуникации (назовем ее академической), которую предложил Преображенский, была бы уместна в нормальной фазе развития страны и общества, но в воспаленном политико-идеологическом контексте конца 1920-х годов такой коммуникативный и полемический стиль оказался заведомо проигрышным.

Н.М. Маторин. Доклад Н.М. Маторина «Этнография и советское строительство»⁴³⁸ представлял собой своеобразную антимodelь выступления Преображенского и по форме, и по содержанию. Язык агитки и плаката, идеологические штампы, обильное цитирование Маркса, Энгельса, Ленина, антизападная риторика диссонировали с подчеркнуто академическим и идеологически нейтральным тоном, который был задан Преображенским. Речевые конструкты вроде «тоска по марксизму чувствуется во всех общественных науках»⁴³⁹, «классовое использование науки в буржуазном обществе»⁴⁴⁰ выдавали политико-идеологическую ангажированность выступления Маторина и должны были компенсировать неубедительную содержательную часть доклада. С той же целью Маторин использовал технику превентивной постановки риторических вопросов, которые структурируют проблему «правильным» образом и должны подтолкнуть слушателей к определенным выводам⁴⁴¹. Например,

⁴³⁸ Там же. С. 134–146.

⁴³⁹ Там же. С. 134.

⁴⁴⁰ Там же. С. 141.

⁴⁴¹ Подробнее об этом пропагандистском приеме см.: *Соловей В.Д.* Абсолютное оружие. С. 148.

на вопрос «Разве мы хотим отставать от общего движения социалистического строительства в стране?»⁴⁴² возможен был лишь один ответ.

Содержательно доклад Маторина представлял собой классический пример пропагандистских «общих мест». Его стержень составило разоблачение западного империализма, где «этнография в значительной степени становилась на службу буржуазной идеологии»⁴⁴³, а также внутренних врагов в лице «открытых идеалистов» или полудрузей-полуврагов, которые пытаются «под личиной марксизма протаскивать совершенно идеалистический товар»⁴⁴⁴. Однако вокруг подобной негативной повестки трудно было обеспечить консолидацию даже сторонников, не говоря уж об убеждении колеблющихся и неопределившихся. Позитивная повестка в докладе выглядела бессодержательно. Определение этнографии как одной из общественных наук, как науки о культуре, «которая не изолирует свой материал от всех явлений общественной жизни, взятой в целом, и которая не вполне созрела для того, чтобы применить к ней материалистический метод»⁴⁴⁵ было откровенно декларативным. Точно так же, как и контуры «марксистского продвижения» в этнографии, которые докладчик свел к демагогическим мантрам-заклинаниям вроде указаний на необходимость «применения методов исторического материализма в этнографии»⁴⁴⁶ или призывов дать отпор «биологизму»⁴⁴⁷.

Плакатность и декларативность ушли лишь в той части доклада, где Маторин приводил эмпирический материал

⁴⁴² Стенограмма... С. 143.

⁴⁴³ Там же. С. 140.

⁴⁴⁴ Там же. С. 134.

⁴⁴⁵ Там же.

⁴⁴⁶ Там же.

⁴⁴⁷ Там же. С. 136.

по волжско-камскому язычеству⁴⁴⁸, то есть обратился к теме, которая составляла его профессиональный интерес, и в которой он был компетентен.

Аптекарь атаковал Маторина в неожиданно жесткой манере. На первый взгляд это кажется странным, ведь речь шла о последовательном марксисте, однопартийце, носителе тех же ценностных презумпций и даже того же полемического стиля. Но именно в противостоянии со «своими» решался ключевой вопрос о том, *кто* именно монополизирует право на выражение марксистской линии в этнографии/этнологии. Здесь работал принцип «бей своих, чтобы чужие боялись». Резонным представляется предположение, будто Н.М. Маторин лучше других понял, «что не следует отдавать такой бесценный ресурс, как марксизм, Аптекарю»⁴⁴⁹.

Аптекарь использовал классические манипулятивные приемы: «навешивание ярлыков» (обвинения в «антимарксизме» и «ползучем эмпиризме»)⁴⁵⁰ и метод «ассоциаций» (неслучайное «сравнение ВЦИК с парламентом» в докладе Маторина должно было вызвать «монархические реминисценции», неслучайное утверждение о «чрезвычайно тонкой грани между половым и религиозным экстазом» – стойкую ассоциацию с Фрейдом)⁴⁵¹. Психологические уловки сработали. Аптекарь смог вывести оппонента из равновесия. Тот вынужден был оправдываться, но, пытаясь отмежеваться от обвинений в «антимарксизме», «ползучем эмпиризме» и «фрейдизме», достиг обратного эффекта – эти ярлыки стали лишь прочнее ассоциироваться с ним. Встречная конфронтация – попытка обвинить Аптекаря в «талмудизме»⁴⁵² –

тоже не принесла необходимого результата. Более того, ярлык «марксисты-талмудисты» был перехвачен Аптекарем и использован для продвижения собственной линии⁴⁵³.

Коммуникативная стратегия Маторина, основание которой составила прямолинейная пропаганда, грубо и в гротескном виде навязывающая представления о «справедливом» и «несправедливом», «сущем» и «должном», продемонстрировала свою неэффективность. В военное время или в ситуации гражданского противостояния такой пропагандистский стиль, вероятно, не имеет альтернативы. Безальтернативным он станет позже, в 1930-х гг., когда будет окончательно сформирован пропагандистский миф о «врагах народа». Но в ситуации квазиакадемической дискуссии рубежа 20–30-х годов прошлого века подобная топорная пропаганда еще не была уместной.

Одно из важнейших условий успеха влияния – это создание у аудитории иллюзии *добровольного* принятия пропагандистского послания⁴⁵⁴. Чего стоит в этом смысле заключительный пассаж доклада Маторина: «Кто не примет этой платформы (методов исторического материализма. – Т.С.) органически, не на словах только, а так, чтобы из каждой строчки был виден материалистический подход, кто так не примет этой платформы, для того, мне кажется, солнце науки уже закатилось, а кто стоит на этой платформе твердо, за тем будущее»⁴⁵⁵. Столь назидательный и безапелляционный тон вряд ли вызывал желание к нему прислушаться.

В целом полемика Аптекаря с Преображенским и Маториным прекрасно вписывается в фазу «*формирования убеждения*», которая, в свою очередь, представляет собой

⁴⁴⁸ Там же. С. 138–139.

⁴⁴⁹ Алымов С.С., Арзютов Д.В. Указ. соч. С. 34.

⁴⁵⁰ Стенограмма... С. 171.

⁴⁵¹ Там же.

⁴⁵² Там же. С. 187.

⁴⁵³ Там же. С. 196, 197, 206 и др.

⁴⁵⁴ Аронсон Э., Пратканис Э.Р. Указ. соч. С. 28.

⁴⁵⁵ Стенограмма... С. 146.

одно из слагающих успешного манипулирования⁴⁵⁶. Апеллируя к эмоциям и предрассудкам, Аптекарь методично готовил сцену и выстраивал декорации пропагандистского спектакля. Ему удалось создать иллюзию опасного «хаоса» в этнологии, якобы не имеющей ни отчетливых дисциплинарных рамок, ни методологического фундамента, ни категориального аппарата. Удалось также породить сумятицу в стане марксистов, умножив их сомнения в профессиональной компетенции и марксистской последовательности. Кроме того, Аптекарь небезуспешно продуцировал недоверие к Преображенскому и Маторину как лидерам этнографии, формирующим ее дисциплинарную рамку.

В.Б. Аптекарь. Доклад В.Б. Аптекаря «Марксизм и этнология»⁴⁵⁷ может быть охарактеризован как практическое пособие для начинающего пропагандиста, а также любого, кто желает овладеть искусством влияния и убеждения. Здесь был использован широкий арсенал речевых тактик, динамично и органично меняющихся, плавно перетекающих одна в другую. Некоторые приемы были примитивными, но от этого они не потеряли эффективности. Полное ощущение, что Аптекарь был первоклассным демагогом.

Уже в самом начале выступления Аптекарь использовал серию приемов, подчеркивающих особый статус – собственный и своего доклада. Потребовал к 40 минутам регламента добавить еще 20 – «имитация важности» и «накачивание репутации»⁴⁵⁸. Процитировал работу Н.Я. Марра «Карфаген и Рим»: «Долой хотя бы в науке все эти стратегическо-политическо-дипломатические приемы. Без всяких фор-

мальных осторожностей»⁴⁵⁹, демонстрируя тем самым, что идет против течения и «режет правду-матку»⁴⁶⁰. Своим откровенно провокативным заявлением, будто постижение марксистской методологии возможно и «не читая марксистских книжек (курсив мой. – Т.С.), а путем действительной творческой работы над материалом»⁴⁶¹, подтвердил готовность атаковать бесспорные авторитеты и устоявшиеся истины. Эдакий «рыцарь без страха и упрека», один против целого мира.

Если рассматривать доклад Аптекаря как «пропагандистское послание», то каково было содержание этого послания и в чем заключалась его манипулятивная природа?

Предельно упрощая, смысловое ядро послания составил призыв к уничтожению этнологии. Обоснование этой идеи строилось следующим образом: констатация теоретико-методологической «слабости» этнологии в прошлом и настоящем при одновременном признании невозможности этнографии как чисто описательной науки, а также неудачные попытки адаптации к ней марксизма и одновременно ее опасные претензии на подмену марксистской социологии вели к заключению, будто «всякая попытка построить этнологию как марксистскую науку, будет обречена на неудачу»⁴⁶². О немарксистской этнологии в советском контексте не могло быть и речи.

Эта аргументация была откровенно манипулятивной: комбинируя правду, полуправду и ложь, Аптекарь подвигал слушателей к принятию *псевдологических* выводов. Из констатации актуальной «слабости» этнологии, которая

⁴⁵⁶ Аронсон Э., Пратканис Э.Р. Указ. соч. С. 67.

⁴⁵⁷ Стенограмма... С. 194–207.

⁴⁵⁸ Подробнее об этих манипулятивных техниках см.: Соловей В.Д. Абсолютное оружие. С. 153–154.

⁴⁵⁹ Стенограмма... С. 195.

⁴⁶⁰ Подробнее об этих приемах манипуляции см.: Соловей В.Д. Абсолютное оружие. С. 160–161.

⁴⁶¹ Стенограмма... С. 204–205.

⁴⁶² Там же. С. 207.

выражалась в размытости ее границ, избыточной цветистости и многообразии ее определений, никак не следовал вывод о том, что эта слабость есть и будет «перманентным явлением», а преодоление хаоса и возведение позитивного здания этнологической науки неосуществимы ни при каких обстоятельствах. Как не вытекал вывод о ее принципиальной несовместимости с марксизмом из того обстоятельства, что этнология, в отличие от истории, имела дело не с «классами», а с «этносом» и «культурой». (Будущее показало, что адаптация марксизма к изучению этнических феноменов возможна, хотя вопрос о глубине и адекватности этой адаптации лучше вынести за скобки.)

В конечном счете, этнология подлежала уничтожению не по причине ее несовместимости с марксизмом. Этнография и этнографы вольно или невольно, добровольно или не очень, но шли по пути адаптации к нему. Главная претензия Аптекаря к этнологии как науке, к ее предмету состояла в тесной связи этноса с расой, открывающей возможность биологического понимания феномена этничности — как «неделимой, первичной и одновременно не общественной, взятой в разрезе естественно-научной субстанции»⁴⁶³.

Полагая социобиологическую трактовку этничности политически и идеологически опасной, Аптекарь предлагал уничтожить само это понятие, но при этом он прекрасно отдавал отчет в том, что «с уничтожением понятия “этнос” ликвидируется самая наука этнология»⁴⁶⁴. Фактически для Аптекаря *любая* этнология — даже марксизованная и мобилизованная на службу социалистическому строительству, — оказывалась принципиально неприемлемой, ибо в явном или имплицитном виде признавала связь этноса и расы.

⁴⁶³ Алымов С.С., Арзютов Д.В. Там же. С. 31.

⁴⁶⁴ Стенограмма... С. 205.

Чтобы разорвать эту роковую связь, надо было уничтожить этнологию как науку.

Пропагандистское послание важно не само по себе, а как возможность вызвать «*контролируемые* эмоции»⁴⁶⁵. Какие? Описывая ситуацию в этнологии метафорой «рушащегося дома»⁴⁶⁶, а мировоззрение этнологов как «первобытный теоретический хаос»⁴⁶⁷, Аптекарь апеллировал к коллективному бессознательному, пытаясь пробудить древнюю мифологему «хаоса» как тотального беспорядка и иноназвания «ужаса». Бесцеремонно атакуя участников совещания невзирая на возраст, социальный статус, административную позицию и партийную принадлежность, он стремился посеять страх и недоверие всех ко всем. Его реплику в адрес В.К. Никольского, Я.П. Кошкина (Алькора) и даже коммунистического бонзы, заведующего Главнаукой (!) М.Н. Лядова (Мандельштама) «у меня есть несколько листов записей; почти у каждого товарища можно найти такие возмутительные вещи»⁴⁶⁸ было трудно квалифицировать иначе, чем прямую угрозу. Выпады против «товарищей-марксистов», несущих персональную и групповую ответственность за нарушение порядка («космоса») в этнологии и неспособных справиться с ситуацией, должны были спровоцировать у них чувство вины.

«Торговля страхом» и «эксплуатация чувства вины» представляют собой эффективные пропагандистские тактики, поскольку вызываемые ими эмоции можно конвертировать в поддержку необходимых манипулятору решений и действий⁴⁶⁹.

⁴⁶⁵ Подробнее об этом см.: Соловей В.Д. Абсолютное оружие. С. 179.

⁴⁶⁶ Стенограмма... С. 247.

⁴⁶⁷ Там же. С. 296.

⁴⁶⁸ Там же. С. 247.

⁴⁶⁹ Аронсон Э., Пратканис Э.Р. Эпоха пропаганды... С. 228.

Здесь необходимо подчеркнуть важность *контроля* вызванных манипуляцией эмоций. Люди не могут долго находиться в ситуации раздора и хаоса. Они нуждаются в определенности. В противном случае неконтролируемая эмоция страха может обернуться против самого манипулятора. Именно поэтому за «объявлением» угрозы неизбежно должно следовать предложение рецептов ее предотвращения или преодоления⁴⁷⁰. Аптекарь «зашивает» в свое послание мысль, что выход существует, и он готов его указать. Только он, Аптекарь, может дать уставшим от внутридисциплинарного хаоса коллегам столь чаемую ими определенность, называя врагов и друзей, определяя «правильное» и «дурное». Надо лишь поддержать его вариант резолюции, где путь к преодолению хаоса лежит через минимизацию этнологии – «буржуазного суррогата обществоведения»⁴⁷¹.

Специфика ситуации в этнологии на исходе 1920-х годов заключалась в сохранении определенной теоретической и ценностной полифонии. Отчетливая конфигурация «свой – чужой» еще не сложилась, поэтому прямолинейные формы убеждения образца 1930-х годов с превалировавшим мифом о «врагах народа» оказались малоэффективными, что и показал пример незадачливого пропагандиста Маторина.

Вместе с тем возможность политико-идеологического и интеллектуального компромисса сокращалась подобно шагреновой коже. Академический стиль научной полемики, коммуникации и убеждения был близок к исчерпанию. По ходу совещания носители этого стиля (П.Ф. Преображенский, В.Г. Богораз, Б.А. Куфтин, В.В. Бунак) фактически оказались в интеллектуальной резервации. Рациональная аргументация все заметнее обесценивалась

по мере формирования «спирали молчания» и фактического отключения логико-дискурсивного уровня дискуссии.

В идеологически разогреваемом контексте не оставалось места для ценностно-нейтрального знания, научной объективности и даже для личной невовлеченности в процесс формирования нового социального качества науки – «советской этнографии». Неопределившихся попросту не могло быть. Им, как и определившимся «неправильно», грозила социальная смерть.

Но именно цеховое самоопределение составило серьезную проблему для конформистского большинства. Партийная линия в этнографии еще не была выработана, дисциплинарные рамки «советской этнографии» – не определены. В ситуации высокой неопределенности, а также усиливающейся психоэмоциональной нестабильности объективно востребованными оказались манипулятивные формы убеждения.

На подмостках этнографического совещания разыгрывался пропагандистский спектакль. Его модератором стал Аптекарь. Аппелляция к эмоциям и дорассудочному знанию, игра на человеческих заблуждениях и когнитивных стереотипах и основанная на них коммуникативная стратегия оказались самым эффективным ресурсом влияния. Аптекарь успешно разыграл четырехчастную манипулятивную схему: формирование предубеждения – доверие к коммуникатору – пропагандистское послание – контроль эмоций. Это позволило ему консолидировать молчаливое большинство вокруг собственного варианта резолюции по общим вопросам. Линия на минимизацию этнологии была обозначена, хотя и не в радикальном варианте (ликвидация ее как дисциплины откладывалась), а в мягкой версии – ее предметные рамки сузились до изучения доклассовых и раннеклассовых обществ.

На совещании был принят ряд резолюций, в том числе о музейной и экспедиционной работе, участии этнографов

⁴⁷⁰ Подробнее об этом см.: Соловей В.Д. Абсолютное оружие. С. 191.

⁴⁷¹ Стенограмма... С. 252.

в «социалистическом строительстве», этнографическом образовании и др.⁴⁷² Сущностное значение имела резолюция по докладам П.Ф. Преображенского и В.Б. Аптекаря, которая в возобладавшем митингово-плакатном стиле формулировала основной «лозунг дня» – «не отказа от классиков, а перехода от них к марксизму, от стихийного материализма – к сознательному применению диалектического материализма»⁴⁷³. Резолюция была предложена В.Б. Аптекарем, Я.П. Кошкиным и Н.М. Маториным. По мнению некоторых исследователей, она представляла собой компромисс, отражавший как «полное единство марксистского фронта против... буржуазной “этнологии”», так и «счастливно найденную в ходе совещания генеалогию новой марксистской советской этнографии, в числе отцов-основателей которой были перечислены “лучшие представители” буржуазной этнографии – Э. Тайлор, М. Кастрен, Л. Морган, Л. Штернберг и Ф. Ратцель»⁴⁷⁴.

Трудно согласиться с подобным выводом, подразумевающим неразрывность, преемственность традиции отечественной этнологии «от классиков к марксизму». Традиция эта насильственно была прервана итогами совещания, «полное единство» сформировано на основе «спирали молчания», старая наука – «буржуазная» этнология – с ее академическим этосом, принципами и правилами отринута, а попытка выстроить генеалогию «советской» этнографии от Тайлора, Моргана и Штернберга выглядела как форменное издевательство, ибо ее начала восходили к комиссарам в пыльных шинелях, штатным и нештатным «активистам», талантлив-

вым имитаторам от науки и вообще к иррациональному (темному) началу человеческой природы.

Арьергардные бои

Совещание 1929 г. сделало бессмысленным продолжение дискуссии, втиснув ее в прокрустово ложе вульгаризированного марксизма: во главу угла были поставлены идеологическая чистота, политическая целесообразность и классовый подход. Возможность обсуждения теоретических альтернатив исключалась, а тон научной полемики принимал все более пугающий и развязный характер.

Хотя формально дискуссия продолжалась еще на протяжении 1930 г., фактически это была уже неприкрытая идеологическая проработка с целью вбить «последний гвоздь» в крышку гроба «буржуазной» этнологии. От представителей последней требовалось «разоружиться» и «признать ошибки».

7 января 1930 г. в секции социологии (симптоматично, что в том же году она была переименована в секцию капиталистических формаций) ОИМ В.Г. Богораз проводил доклад-беседу на тему «О применении марксистского метода к изучению этнографических явлений». Докладчик дезавуировал свои прежние теоретические подходы, содержащиеся в книге «Основы этногеографии»: теперь он говорил о необходимости руководствоваться прежде всего социальным, а не географическим подходом к изучению этнографических явлений. По его мнению, этнография должна была заниматься «изучением общественных формаций, связанных с ранними производственными формами типа натурального хозяйства, изучением пережитков и реликтов прежних производственных форм, а также новообразований такого же типа, возникающих в более поздних общественных формациях, вплоть до настоящего времени». Также к ведению этнографии Богораз относил

⁴⁷² Хроника совещания этнографов Ленинграда и Москвы 5.04–11.04. 1929 г. // *Этнография*. 1929. № 2. С. 110–144.

⁴⁷³ Там же, С. 117.

⁴⁷⁴ *Алымов С.С., Арзютов Д.В.* Указ. соч. С. 63.

«изучение социальных надстроек, соответствующих более ранним общественно-производственным формам, но нередко существующих в виде пережитков в более позднее время».

Хотя предложенное Богоразом определение предмета этнографии в общем соответствовало духу резолюций совещания 1929 г., оно прозвучало настолько невнятно, неубедительно и столь явно смущало самого докладчика, что он принялся оправдываться. В стиле популярных в ту эпоху кампаний по самокритике немолодой ученый призвал вести «внутреннюю борьбу с грузом этнографических сведений, который есть у каждого этнографа за плечами», а затем «мера за мерой вводить новую терминологию, которая ближе подойдет к марксистскому заданию»⁴⁷⁵.

Заметная покаянная нотка в выступлении Богораза лишь раззадорила аудиторию. Молодая марксистская поросль давно отбросила за ненадобностью понятия корректности и сдержанности во взаимоотношениях со старшими коллегами по цеху, так что докладчик был буквально раздавлен своими оппонентами (в прениях выступили В.Б. Аптекарь, М.Т. Маркелов, С.А. Токарев, С.П. Толстов, Н.Ф. Яковлев). Докладчик был искренне раздосадован: он первым воспринял «социальное задание перейти на марксистский метод», проявил инициативу и был за нее же наказан⁴⁷⁶. В то же время молодые этнологи, примерявшие тоги законодателей марксистской моды и охотно критиковавшие чужие попытки использования марксизма в науке, не спешили предложить собственные варианты «марксизации» отечественной этнологии.

⁴⁷⁵ Архив МО РАН. Ф. 377. Оп. 2. Ед. хр. 42. Доклад В.Г. Богораза «О применении марксистского метода к изучению этнографических явлений».

⁴⁷⁶ Там же. Богораз В.Г. Ответ оппонентам.

Пример неудавшегося марксиста Богораза показывал, что старые специалисты не устраивали воинствующих интеллектуалов ни в каком варианте, даже будучи совершенно «ручными», с готовностью воспринявшими все судьбоносные решения 1929 г. Более того, флирт «буржуазных» этнологов с марксизмом выбивал из рук Аптекаря и его единомышленников их главное оружие в борьбе с оппонентами – возможность прибегнуть к политическим, классовым обвинениям. Необходим был серьезный повод для нанесения сокрушительного удара по буржуазным специалистам и «буржуазной лженауке» – этнологии.

И такой повод не заставил себя ждать. 4 июня 1930 г. в секции докапиталистических формаций ОИМ состоялся диспут на тему «Марксизм и этнография». Доклад делал некто профессор Ласси – личность полумифическая, поскольку его имя лишь единожды встретилось в архивных материалах секции докапиталистической формации ОИМ, а в литературных источниках упоминаний о нем вообще не нашлось.

Выступление профессора Ласси в известном смысле возвращало дискуссию к исходным рубежам, предлагая к обсуждению широкий круг теоретических проблем, как будто бы и не было решений апрельского (1929 г.) совещания, установившего рамки предмета этнологической науки. Теперь можно только гадать, что это было: позерство, акт гражданской смелости или, не исключено, провокация. Ласси предложил различать эмпирическую, описательную, опирающуюся на полевые исследования «этнографию» и «этнологию», на основе этнографии всесторонне изучающую «народный быт, бытовую материальную культуру и народную идеологию, в связи с общественным и хозяйственным строем, выявляя взаимные связи, закономерности и проблемы происхождения и развития и т. д.». Этнография изучает «народы», этнология – «человечество», – подыто-

живал Ласси различие между их предметами⁴⁷⁷. Фактически это означало возвращение к исходным позициям дискуссии, к точке зрения, интеллектуальная несостоятельность и, главное, идеологическая «вредность» которой уже были неоднократно и публично осуждены.

Поэтому всерьез обсуждать подобные проблемы в 1930 г. никто не решался. Так что диспут свелся к установочному выступлению В.Б. Аптекаря, повторившего свои уже хорошо известные тезисы, да к нескольким невнятным репликам, брошенным С.А. Токаревым, М.О. Косвеню, В.К. Никольским и С.П. Толстовым⁴⁷⁸.

Продемонстрировав оппозиционность и проигнорировав по сути дела решения этнологического форума 1929 г., профессор Ласси подставил под удар (намеренно или случайно – другой вопрос) ученых старшего поколения.

Ответ на его выступление не замедлил явиться: спустя несколько дней, 12 июня 1930 г., в ОИМ состоялось выступление В.Б. Аптекаря с докладом «Кризис современной этнографической науки». Докладчик охарактеризовал состояние мировой этнологии как кризисное, подразумевая под этим отсутствие общепризнанной методологии, теоретическое многообразие и одновременно не сопровождавшуюся адекватной концептуализацией лавину эмпирических исследований. Также Аптекар справедливо указал на теоретическую вторичность отечественной науки, заимствовавшей главные идеи и концепции с Запада.

Однако за критикой вновь не последовало ничего позитивного, даже, казалось бы, такой напрашивавшейся идеи, как перевод этнологии на марксистские рельсы. Рецепт выхода из кризиса и преодоления методологической зависимо-

сти отечественной этнологии Аптекар парадоксально увидел в ее ликвидации. «Этнография в сущности не представляет или не должна представлять собой самостоятельной науки», – говорил он, – она «существует лишь как *научная методика*, а поэтому этнография и археология *должны окончательно раствориться в общесторическом разрезе* (курсив мой. – Т.С.)». Таким образом, требование элиминирования теоретического уровня науки, с чего в 1928 г. начиналась дискуссия, в 1930 г. закономерно привело к идее ее полной ликвидации: этнографии отказывалось даже в праве быть эмпирической и описательной дисциплиной, ей отводилась роль не более чем специфической методики исторического исследования.

В своем разрушительном пафосе Аптекар явно оказался впереди паровоза, ведь партийная позиция в отношении этнографии (если понимать под ней выступление М.Н. Лядова на этнографическом совещании) исходила из презумпции ее *сохранения*. Поэтому молодые интеллектуалы, взявшие на себя имманентное право партийных инстанций формулировать политику в отношении гуманитарных наук (впрочем, их можно понять, ведь до начала 1930-х гг. партия не обозначала внятно своей линии в этой сфере), потенциально оказывались узурпаторами партийных прерогатив с перспективой соответствующих политических выводов.

Хотя старая генерация этнологов уступила давлению в том, что касалось ограничения предметных рамок науки, нетрудно было предвидеть, что идея полного раскассирования этнографии встретит ее сопротивление. Поэтому старую школу надо было превентивно запугать, чему и служила предпринятая Аптекарем тотальная политическая дискредитация научных оппонентов. Попытки «буржуазной профессуры» строить марксистскую этнологию он призвал рассматривать не как «простое недоразумение» и не как «персональные ошибки». «Мы имеем не дилетантов, а специалистов, людей практики, людей борьбы. Конечно, эти

⁴⁷⁷ Архив МО РАН. Ф. 377. Оп. 2. Ед. хр. 130. Вводное слово тов. Ласси.

⁴⁷⁸ Там же. Выступления в прениях по докладу тов. Ласси.

люди являются высоко научными, высоко квалифицированными, и тем не менее, их исследования мы не можем называть выдержанно марксистскими. И дело здесь не в персональных ошибках», – подчеркивал докладчик⁴⁷⁹.

По существу это был прямой призыв к чистке в этнографии, дополнительную силу которому придавал успех марризма, переживавшего свою *политическую* кульминацию. Летом 1930 г. на XVI съезде ВКП(б) состоялась единственная личная встреча Марра и Сталина, который в своем выступлении повторил один из центральных тезисов Марра о том, что после всемирной победы социализма национальные языки сольются в один общий язык. Н.Я. Марр, незадолго до этого ставший вице-президентом АН, зачитал приветствие съезду от имени научных работников; в том же 1930 г. он стал членом ВКП(б) без прохождения кандидатского стажа.

Однако мишенью чисток оказалась не только деморализованная «буржуазная» профессура, но и немногочисленная группа этнологов-марксистов, в первую очередь из числа сопротивлявшихся отмене этнографической науки.

В начале 1930 г. от преподавания на этнофаке I МГУ по политическим мотивам отстранили безусловного сторонника марксизма С.А. Токарева. Молодой преподаватель не был восстановлен в должности даже тогда, когда новое руководство факультета признало выдвинутые обвинения неправомерными. В 1931 г. из ОИМ за «политические ошибки» – критику взглядов М.Н. Покровского на сущность феодализма и публикацию во французском журнале «Антропология» статьи по истории первобытной культуры – исключили действительного члена общества проф. В.К. Ни-

⁴⁷⁹ Архив МО РАН. Ф. 377. Оп. 2. Ед. хр. 42. *Аптекарь В.Б.* Кризис современной этнографической науки.

кольского. (Для понимания характера изменившейся культурно-идеологической ситуации упомяну, что пятью годами раньше, несмотря на все усилия, власти не удалось организовать публичное осуждение писателя Евгения Замятина, опубликовавшего за границей в обход отечественной цензуры антисоветский роман-антиутопию «Мы». Более того, в России появились на него даже отдельные положительные рецензии.)

Однако на долю марксистов в первой половине 1930-х годов пришлось «цветочки», в то время как «ягодки» репрессий достались старой профессуре. В этом смысле М.Я. Феноменову, чьи занятия по методам краеведческой работы на этнофаке прекратились летом 1929 г. без объяснения причин (по-видимому, в связи с начинавшимися гонениями на краеведение), еще очень повезло⁴⁸⁰.

Не в пример хуже было положение В.В. Богданова и Б.А. Куфтина, подвергшихся в 1930 г. арестам. И хотя они вскоре были выпущены, как и проводивший несколько месяцев под арестом в 1933 г. П.Ф. Преображенский, репутация группы «идеологов либеральной буржуазии» в этнографии – запечатленное даже в «Большой советской энци-

⁴⁸⁰ ЦМА г. Москвы. Ф. 1609. Оп. 1. Ед.хр. 1396. Протокол № 15 заседания деканата историко-этнологического факультета I МГУ от 9/УП 1929 г. Л. 15; Протокол № 18 заседания деканата историко-этнологического факультета от 9/1 1930 г. Л. 29 об.; Архив МО РАН. Фонд 377. Оп. 2. Ед. хр. 245. Дело о В.К. Никольском, действительном члене Общества историков-марксистов (о политических ошибках его). 1931. Резолюция общего собрания студентов курсов повышения квалификации музейных работников при Историко-философском институте 16 и 20/ХП 1931 г. Л. 11–11 об.; Выписка из протокола заседания бюро секций докапиталистических формаций Общества историков-марксистов и Института истории Комкадемии. Л. 10.

клопедии» смертельно опасное клеймо⁴⁸¹ – оставляла под угрозой их свободу, жизнь и вряд ли способствовала продуктивной научной деятельности этих трех ученых. Грозной секирой нависало обвинение «компетентных органов» в адрес Богданова и Куфтина в создании «реакционной группировки», а Преображенский числился «...организатором антисоветской группы научных работников, проводил линию на дискредитацию вождей ВКП(б) и мероприятий советской власти»⁴⁸².

Еще одним мощным залпом по старой профессуре было так называемое «дело славистов» 1933–1934 гг., по которому проходил и ряд этнографов. Его участники обвинялись в подготовке свержения существующего строя и установлении в СССР фашистской диктатуры. Это фантазмагорическое обвинение прозвучало в адрес людей, подавляющее большинство которых всегда находилось вне политики и объединенных лишь принадлежностью к старой интеллигенции⁴⁸³.

По некоторым подсчетам, в 1920–1950-е гг. репрессиям в общей сложности подверглись около 500 этнографов и ученых смежных специальностей (антропологов, демографов, фольклористов и т.д.)⁴⁸⁴. По-видимому, цель этой масштабной кампании состояла не столько в обеспечении политиче-

⁴⁸¹ См.: *Иванова Ю.В.* Указ. соч. С.256.

⁴⁸² Цит. по: *Иванова Ю.В.* Указ. соч. С.242.

⁴⁸³ Подробнее о репрессиях в этнографической науке см.: *Ашнин Ф.Д., Алпатов В.М.* «Дело славистов»: 30-е годы. М.: Наследие, 1994. 288 с.; *Репрессированные этнографы* / Сост. и отв. ред. Д.Д. Тумаркин. Вып. 1. М., 1999, 2002; Вып. 2. М., 2003; *Решетов А.М.* Репрессированная этнография // *Кунсткамера*. 1994. № 4. С. 187–190.

⁴⁸⁴ *Козлов Семен.* Потерянная этнография. Во времена сталинского режима были репрессированы около 500 ученых, занимавшихся изучением народов мира // *НГ-наука*. 2004. 27 октября. С.13.

ской лояльности старой интеллигенции, сколько в пресечении возможности даже интеллектуального (а не только политического или идеологического) разномыслия. В то же время не стоит забывать, что некоторые жертвы репрессий 1937 года в свое время апеллировали в борьбе за власть в науке к официальным инстанциям и приписывали научным оппонентам политические и идеологические грехи. Тем самым они способствовали запуску террористического механизма и вырыли собственную могилу.

В сложившейся ситуации ни старая профессура, ни марксисты не могли открыто сопротивляться закрытию этнологии, преподавание которой в университетах было прекращено. Однако политическая победа на «этнографическом фронте» (очень показательный термин эпохи) оказалась не тождественной «марксизации» науки. Замена «буржуазной» этнологии марксистской этнографией оказалась слишком сложным и трудным делом, чтобы решить ее с налета. Наличие группы этнографов-марксистов не вело к автоматическому формированию марксистской этнографии, да и сама эта группа была не очень внушительной и сплоченной. Ситуация выглядела настолько щекотливой, что член ОИМ историк А.И. Гуковский считал нецелесообразным созывать в 1932 г. съезд этнографов от имени общества историков-марксистов: «...можно заранее сказать, что созвать съезд этнографов-марксистов не удастся, а нам выступать в качестве организаторов по созыву съезда не марксистов незачем»⁴⁸⁵.

Надо заметить, что решение о подготовке Всесоюзного этнографического съезда было принято на совещании 1929 г. Тогда же была создана комиссия для подготовки съезда, в которую вошли В.Г. Богораз, Д.К. Зеленин, В.К. Николь-

⁴⁸⁵ Архив МО РАН. Ф. 377. Оп. 2. Ед. хр. 42. *Гуковский А.И.* Выступление в прениях. Л. 77.

ский, М.Т. Маркелов, Н.М. Маторин, Я.П. Кошкин, С.П. Толстов и В.Б. Аптекарь. Однако более года комиссия практически бездействовала. К сентябрю 1931 г., когда ученый комитет при ЦИК СССР подготовил окончательный проект его созыва, концепция изменилась: съезд из чисто этнографического превращался в междисциплинарный и именовался Первым всесоюзным съездом по археологии и этнографии. Проволочки с организацией съезда не в последнюю очередь объяснялись сложностями, возникшими с адаптацией марксизма к профессиональной проблематике. Междисциплинарный характер всесоюзного форума позволял организовать коллективный натиск на проблему и разделить ответственность в деле перехода «на марксистские рельсы» ряда смежных дисциплин.

Борьба за идеологический контроль в науке оказалась лишь одной стороной дела. Теперь победившим молодым интеллектуалам было необходимо уже самим предложить «марксистское» понимание предмета этнографии, изложить ее «единственно верные» методологические основания.

«Марксистское» понимание этнографии

Важным рубежом, причем не только символическим, между двумя эпохами отечественной этнографии, а точнее, между двумя институтами науки – докоммунистическим и коммунистическим – стало начало издания в 1930 г. журнала «Советская этнография». Определение «советская» было не просто данью политическому моменту, оно фиксировало новое качество науки, которое нашло яркое выражение в поведении ответственного редактора журнала. Дело даже не в том, что место академика С.Ф. Ольденбурга⁴⁸⁶,

⁴⁸⁶ Ольденбург Сергей Федорович (1863–1934) – российский и советский востоковед; профессор Петербургского/Петроградского университета/ЛГУ (1897–1934), непреременный секретарь

ученого с мировым именем, занял специалист по разоблачению религиозных предрассудков Н.М. Маторин, директор Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого. Его стиль в науке – командный, требующий безоговорочного подчинения, презумпция непогрешимости и формулирования неоспоримых теоретических постулатов – целиком и полностью принадлежал новой эпохе и задавал образец поведения на будущее. Маторин считал себя лидером и ведущим теоретиком советской этнографии в силу своей административной позиции (с 1930 г. он также был заместителем директора Института по изучению народов СССР и руководителем группы критической проработки этнографических материалов в составе института), и эта созвучная духу времени амбиция, хотя и не была принята научным сообществом, но не встретила и открытого сопротивления.

Если в критике «буржуазной» этнологии можно было полагаться на такое безотказное оружие как идеологическая аргументация, то в части марксистского определения предмета этнографии ситуация приобретала все более парадоксальный характер. Из *установочной* (еще один признак новой науки!) статьи Маторина «Современный этап и задачи советской этнографии» следовало, что марксистская этнография должна была основываться на учении об укладах и формациях. Однако в жестких рамках этой методологической парадигмы специфический предмет этнографии исчезал, что открыто признавал сам Маторин: «В свете учения об укладах и формациях становится совершенно очевидно, что “этнография” теряет свой смысл как особая наука.

АН (1904–1929), директор Азиатского музея (1916–1930), директор института востоковедения АН СССР (1930–1934), председатель КИПС (1917–1929), член ГАИМК (1919–1934), ответственный редактор журнала «Этнография» (1926–1930), председатель ЦБК (1922–1927).

Существует лишь одна наука – история. Этнография, которая занималась комплексным изучением “первобытных народов” и “пережитков” первобытности у народов “культурных”, представляет фактически один из разделов всемирной истории и занята изучением докапиталистических общественно-экономических формаций, иначе – первобытного коммунизма. С другой стороны, этнография занята анализом “пережитков” этой формации в обществе феодальном, рабовладельческом и капиталистическом». Итак, этнография растворялась «нацело в истории и специальных или частных исторических дисциплинах», и само это понятие сохраняло «условное (курсив мой. – Т.С.) значение для той части исторического знания, которая связана с доклассовым обществом и его пережитками, поскольку они должны изучаться путем непосредственного наблюдения комплексно»⁴⁸⁷. Альтернативный (и сформировавшийся в русской этнографии начала XX в.) взгляд на *этнос* как главное предметное поле этнографии Маториным категорически отвергался.

При подобном подходе этнография теряла смысл как особая дисциплина, а ее «условный» статус был дорог в научное небытие.

Вместе с тем в глазах *профессиональных* этнографов – как старшего, так и части младшего поколений – попытка положить методологическим основанием науки слабо разработанную формационную теорию изначально выглядела сомнительной и в любом случае остро дискуссионной. Формационная атрибуция ранних стадий развития человечества всегда представлялась затруднительной, в особенности применительно к конкретным вариантам человеческих обществ. На чрезвычайно сложный и противоречивый харак-

⁴⁸⁷ Маторин Н.М. Современный этап и задачи советской этнографии // СЭ. 1931. № 1–2. С. 19–20.

тер понятия «родовое общество» на примере меланезийского общества указывал С.А. Токарев⁴⁸⁸. В.Г. Богораз считал, что «говорить об определенных общественных формациях на ранних стадиях жизни человечества мы можем только с большой условностью», а в применении к малым народностям в пределах СССР такие общие определения «постоянно ведут к очевидным недоразумениям»⁴⁸⁹. Е.Г. Кагаров писал, что построение марксистской классификации народов, которая опиралась бы «на развитие производительных сил, производственные отношения и классовое расчленение общества», представляется затруднительным, потому что «в каждой общественно-экономической формации встречаются элементы других формаций – остатки прежних и ростки новых»⁴⁹⁰.

Пожалуй, главный парадокс формационной теории состоял в том, что ее использование в этнографии означало фактическое возвращение к эволюционизму. Эта схема была проекцией доминировавшего в интеллектуальной и культурной жизни Европы второй половины XIX в. сциентистского стиля мышления, одной из модификаций эволюционистской метатеории. Вкратце ее суть состояла в том, что исторический процесс в своем развитии проходит через стадии первобытного общества, рабовладельческого общества, феодализма и капитализма. Если политический подтекст формационной теории был прозрачен – доказать правомерность и неизбежность перехода к социализму, а ее прогрессивистский пафос мог утилизироваться в целях социалистического строительства, то конституирование «пя-

⁴⁸⁸ Архив МО РАН. Ф. 377. Оп. 2. Ед. хр. 116. Токарев С.А. Тезисы к работе «Общественный строй у меланезийцев». Л. 1–2.

⁴⁸⁹ Богораз-Тан В.Г. К вопросу о применении марксистского метода к изучению этнографических явлений // Э. 1930. № 1–2. С. 10.

⁴⁹⁰ Кагаров Е.Г. Народы СССР. Л.: Лениноблиздат, 1931. С. 9.

тичленки» в качестве базовой матрицы гуманитарного знания загоняло науку в узкие рамки догматизированной методологии и парадоксально возвращало ее к довольно примитивному эволюционизму.

Но мало того что формационная теория не могла применяться к конкретному этнографическому материалу без огромных натяжек – это препятствие, как показывает история марристского учения, можно было преодолеть насильем над материалом – предложенная в начале 1930-х годов попытка марксистского истолкования этнографии имела такой кардинальный изъян, как потенциальное игнорирование политической актуальности науки. Из границ этнографии в том виде, как ее определял Маторин, выпадал (что было очевидно для самого автора определения) целый ряд «актуальнейших вопросов современности, которые уже вошли в поле деятельности этнографов: изучение быта современной деревни, изучение труда и быта в колхозах, отчасти изучение религиозного быта». Ничуть не смутившись, теоретик марксистской этнографии пояснял, что изучение современности должно относиться к ведению современной истории, причем «сборание источников в значительной мере будет происходить по методу собирания материала этнографии, через непосредственное живое наблюдение», а с течением времени «*частный метод этнографии*, влившись в частную методологию истории, *постепенно будет изжит* (курсив мой. – Т.С.) и потеряет свое актуальное значение»⁴⁹¹.

В общем, судьба этнографии виделась Маторину постепенным отмиранием рудиментарной науки, а сам он, как можно понять, числил себя ее могильщиком и автором надгробной эпитафии.

⁴⁹¹ Маторин Н.М. Современный этап и задачи советской этнографии. С. 20–21.

Если продолжить этот метафорический ряд, то Всероссийское археолого-этнографическое совещание 7–11 мая 1932 г., на котором предстояло кодифицировать марксистское понимание этнографии, стало своеобразной тризной по науке. Центральную роль в его подготовке играла ленинградская ГАИМК – детище Н.Я. Марра, что выглядело дурным предзнаменованием. Хотя в различных проектах подготовки совещания предполагались программные выступления Н.Я. Марра и В.Б. Аптекаря, их на совещании не оказалось.

С установочными докладами выступили Н.М. Маторин «Возможна ли марксистская этнография» и С.Н. Быковский «Возможна ли марксистская археология». Проблема применения марксистской методологии к конкретным этнографическим исследованиям на совещании вообще не обсуждалась, в его повестке стояли только общеметодологические вопросы, предполагавшие абстрактное социологизирование безотносительно профессиональной тематики.

Впрочем, о каких профессиональных проблемах могла идти речь, если пафос совещания сводился к «закрытию» науки. Вслед за «буржуазной» этнологией в праве существования отказывалось уже и «марксистской» этнографии. В решениях совещания утверждалось, что «поскольку в марксистско-ленинской системе наук не существует этнографии, как самостоятельной науки..., утверждение о существовании особой “марксистской” этнографии является не только теоретически несостоятельным, но и сугубо вредным»; «построение этнографии как самостоятельной науки, с особым предметом и методом изучения, противостоящей или равноправной истории» признавалось противоречащим методологии марксизма; этнография сохраняла значение вспомогательной дисциплины, «находящейся на службе исторического исследования и имеющей своей задачей полевое собирание и первичную обработку непо-

средственных наблюдений над жизнью и бытом ныне живущих народов»⁴⁹².

Установление принадлежности этнографии к содружеству исторических дисциплин вряд ли могло компенсировать ее мизерабельный – технологический – статус в этом содружестве. Получалось, что суть марксистского подхода к этнографии состоит в ее фактической ликвидации. Однако этот ультрарадикальный взгляд не имел официального одобрения власти и выглядел опасной отсебятиной группы интеллектуалов, присвоившей прерогативу формулирования партийной политики в гуманитарных науках.

Жизнь после смерти

Увлечшись борьбой на «этнографическом фронте», воинствующие интеллектуалы, кажется, упустили из виду некоторые новые важные нюансы партийно-государственной политики по отношению к науке. А между тем 15 марта 1931 г. вышло постановление ЦК ВКП (б), в котором, в частности, говорилось: «Этап завершения фундамента социалистической экономики требует перестройки всей научно-исследовательской работы, подчинения ее строгой плановости, создания многочисленных кадров научных работников-коммунистов и, в особенности, преодоления отмеченного т. Сталиным отставания научной работы от практики социалистического строительства»⁴⁹³.

В свете этого постановления решения Всероссийского археолого-этнографического совещания оказались избыточно радикальными. Сужение пределов этнографии до перспективы ее исчезновения выглядело политической ошибкой, поскольку нельзя было пренебречь изучением народов СССР, находив-

шихся на стадии доклассового общества. А борцы против «буржуазного понимания “антропологии” или “этнографии” как универсальных или всеобъемлющих наук» фактически вели дело к этому политически опасному игнорированию.

Наконец, отмеченное Сталиным «отставание научной работы от практики социалистического строительства» означало, что от этнографов ждут в первую очередь конкретных исследований. Между тем на повестке конференции 1932 г. стояли только общеметодологические вопросы, тогда как «вся масса этнографических работников ожидала образцов применения методологии диалектического материализма на фактических примерах, ожидала итогов конкретного исследования»⁴⁹⁴.

Письмо И.В. Сталина в журнал «Пролетарская революция» в октябре 1931 г. внесло ясность в отношения между государством и интеллигенцией, показав, что только партийное руководство (а не самопровозглашенные жрецы марксизма) может быть арбитром истины не только в истории, но и в любой другой научной или культурной сфере. Письмо это диктовало и линию поведения интеллектуалам: провозгласив «консолидацию усилий», оно дало понять всю неуместность научной конфронтации и научного нигилизма в условиях, когда усилия ученых должны были быть направлены в русло созидания, а не разрушения.

Эти партийные документы охладили наступательный пыл борцов за «марксизацию» этнологии и остановили ее дальнейшее разрушение. Хотя дискуссия по теоретическим вопросам этнологии не имела шансов на возобновление, а крайне суженное понимание предмета этнографии было кодифицировано⁴⁹⁵, ситуация в этнологической науке ока-

⁴⁹² Материалы совещания см.: СЭ. 1932. № 3.

⁴⁹³ Наши задачи в связи с постановлением ЦК ВКП(б) от 15 марта 1931 г. // Сообщения ГАИМК. 1931. № 6. С. 2.

⁴⁹⁴ СЭ. 1932. № 3. С. 3.

⁴⁹⁵ Достаточно обратиться к формулировкам БСЭ 1934 г.: «Этнология – термин буржуазной этнографической науки, отвергну-

залась заморожена, что позволило сохранить некоторые из ее основ, в первую очередь кадры и возможность эмпирических исследований. Начавшаяся в контексте «революции сверху» ликвидация этнологии была остановлена также сверху.

После беспрецедентного успеха отступить пришлось и марристам. Подготовленная в 1932 г. В.Б. Аптекарем и И.К. Кусикьяном школьная программа уже на следующий год была заменена другой, сохранившей лишь краткие упоминания о Н.Я. Марре.

Власть поощряла революционный пафос в гуманитарных науках лишь до того предела, пока он не вступал в противоречие с задачами модернизации: «Попытка упразднить грамматику обозначила тот предел, который марризм был не в состоянии перейти ...даже в СССР 30-х гг. нельзя было прекратить преподавание языков в школах и вузах, составление и словарей, языковое строительство. А здесь марристы не предлагали ничего, кроме голого отрицания...»⁴⁹⁶ По аналогии можно предположить, что деятельность воинствующих интеллектуалов была выгодна до той поры, пока они уничтожали здание «буржуазной» этнологии и расчищали площадку. Но *что* и *как* построить (и строить ли вообще) на освободившемся месте определяла власть, а не чернорабочие, возмнившие себя архитекторами. Эта метафора поясняет общую историческую логику, но не претендует на реконструкцию мотивов участников той далекой драмы.

Хотя дальнейшего ухудшения дел в этнографии не последовало, ее состояние было откровенно жалким, что на-

тый марксистско-ленинской этнографией»; «Этнография, наука, изучающая экономику, общественно-политический уклад, быт и проч. народов, стоящих на различных, часто довольно ранних ступенях докапиталистического развития...» (Цит. по: *Иванова Ю.В.* Указ. соч. С. 256).

⁴⁹⁶ *Алпатов В.М.* Указ. соч. С. 108.

глядно подтвердил новый этнологический форум. Очередной вехой в утверждении советской этнографии предстояло стать всесоюзному этнографическому слету, где предполагалось заслушать «серию конкретных научных докладов, посвященных не только народам СССР, но и проблемам первобытного общества на мировом этнографическом материале» или, другими словами, компенсировать отсутствие конкретной этнографической проблематики на Всероссийском совещании.

Но эту идею удалось осуществить лишь в сильно урезанном виде. Вместо Всесоюзного слета этнографам пришлось довольствоваться профессиональной секцией в рамках Всесоюзного географического съезда (1933). Да и предметное поле этнографии оказалось чересчур сужено: большинство выступлений было посвящено анализу социальных отношений, главным образом пережитков родового строя у народов СССР. Другими словами, этнография фактически отождествлялась с изучением пережитков первобытного общества.

Исключение составил доклад Д.К. Зеленина «Итоги и перспективы изучения материального производства за 15 лет». Его автор, представивший обзор работ по темам традиционных этнографических классификаций (одежда, жилище и т.д.) констатировал, между прочим, отсутствие марксистских работ по рассматриваемой проблематике. Доклад носил историографический характер, не претендовал на теоретизирование и вполне укладывался в трактовку этнографии как эмпирической и описательной науки. Однако даже эта робкая попытка слегка расширить предписанные ей «марксистские» рамки была встречена в штыки и жестко раскритикована за возврат «к пониманию этнографии, как самостоятельной науки, противостоящей истории»⁴⁹⁷.

⁴⁹⁷ См.: *Данилин А.* Секция этнографии Всесоюзного географического съезда // СЭ. 1933. № 2. С. 113–117.

Один из современников эпохи характеризовал ситуацию начала 1930-х гг. как «вымирание» этнографии и этнографов в столице⁴⁹⁸. По иронии судьбы, этнография вернулась в это время под крыло тех наук, географии и антропологии, от которых сравнительно незадолго до того отделилась. Некоторым из специалистов-этнографов удалось найти приют на географическом факультете университета, где существовала возможность продолжения этнографических исследований. Другие вернулись к своей прежней, «доэтнографической» специализации: так, П.Ф. Преображенский после восстановления исторического образования (1934) работал на кафедре истории древнего мира истфака МГУ.

Но главной базой этнографов в это смутное время стали учрежденный в 1931 г. музей антропологии МГУ и антропологический институт университета, которые возглавлял Марк Соломонович Плисецкий (1891–1957), помимо антропологии, занимавшийся также некоторыми этнографическими сюжетами, в частности религией и бытом грузинских евреев. В 1934 г. при антропологическом институте была организована секция этнографии и археологии, в работе которой участвовали А.М. Золотарев, М.О. Косвен, М.Г. Левин, С.А. Токарев, С.Л. Урсинович.

Возглавил секцию Александр Михайлович Золотарев (1907–1943), который в 1934/1935 учебном году читал лекционный курс по общей этнографии, поставленный кафедрой антропологии МГУ. Жизнь этого выдающегося ученого, получившего известность в качестве исследователя общественного строя народов Амура, этногенеза народов Северо-Восточной Азии, истории первобытного общества, была прервана на взлете: он умер в заключении, не выдержав лагерных условий.

⁴⁹⁸ Золотарев А.М. Этнография в Москве // СЭ. 1934. № 4. С. 118.

Хотя этнография в целом влачила жалкое существование, а ее систематическое преподавание прекратилось, Московский университет смог предоставить этнографии и этнографам укрытие, в котором они пытались дожидаться лучших времен. Надежду на их наступление внушало то обстоятельство, что по-прежнему выходил журнал «Советская этнография» – символ и знамя науки и наряду с размещавшимся тогда в Ленинграде академическим Институтом этнографии, ее последний институциональный оплот.

Глава 6.2.

ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА СОВЕТСКОЙ ЭТНОГРАФИИ (1930–1950-е годы)

Определения «возрождение» или «реанимация» были бы сущностно ошибочной характеристикой процесса восстановления этнографической науки в конце 1930-х гг. Старая наука умерла безвозвратно; феномен, возникший на излете 30-х годов XX века, был советской этнографией – качественно новой наукой. Хотя некоторые линии преемственности со старой этнологией – например, кадровая и проблемно-тематическая – прослеживались, теоретико-методологические и институциональные основания, структура науки, действовавшие в ней принципы и правила стали кардинально другими. Если в 1920-е годы происходил генезис советской этнографии (и в этом смысле ее еще не было), то с конца 1930-х годов она существовала как относительно завершенная и самостоятельная система. Время в течение 1930-х годов, когда этнографии *как бы не было*, можно сравнить с ини-

циацией: пережив символическую смерть, наука перешла в новое качество, стала другой.

Последующая внутренняя динамика советской этнографии не затрагивала ее качественной специфики, поскольку оставались неизменными принципы системы науки. Несмотря на появление в ней новых элементов, изменение конфигурации самой системы, напряженности и интенсивности связей между ее элементами, она оставалась советской этнографией – специфическим интеллектуальным и социокультурным институтом. Более того, внутринаучная динамика в конечном счете (хотя чаще всего опосредованно) зависела от изменений в государстве, ведь именно коммунистическая власть была подлинным демиургом как института советской науки, так и социополитической системы, интеллектуально-культурного континуума, элементом которой она выступала.

Другими словами, сначала изменение власти, затем – характера (но не модальности!) ее взаимоотношений с наукой, что давало импульс находившимся под спудом внутринаучным тенденциям, – такова самая общая логика перемен в советской науке. Однажды возникнув, внутренняя динамика науки приобретала самоподдерживающийся характер, а сам этот институт объективно развивался в направлении большей автономии от власти, никогда тем не менее не отказывавшейся от его контроля.

Вне зависимости от степени свободы науки в СССР как институт она в решающей степени зависела от власти, от ее отношения к науке. Исходя из этого историю советской этнологии можно разделить на два хронологических периода: с конца 1930-х по середину 1950-х годов, когда государство использовало «террористический» (по выражению Ж.-Ф. Лиотара) язык в отношении науки; и с середины 1950-х до середины 1980-х годов, когда отношения государства и науки приобрели нормальный (в контексте советской системы) характер.

Наука в стальных объятиях

Зловеще символичным началом советской этнографии стала расправа над теми интеллектуалами, которые на рубеже 1920–1930-х годов громили «буржуазную» этнологию, наделяя этнографию статусом «условного» знания. В духе эпохи «минимизация» этнографии в первой половине 1930-х годов была объявлена «вражеской вылазкой». Оценки, исходившие из научного центра – Института этнографии, формулировались железным языком судебных приговоров: «...одним из основных методов вредительства, проводившегося пробравшимися в прошлом к руководству на этнографическом фронте троцкистско-бухаринскими бандитами, была дезориентация в области теоретических установок с целью задержать и ликвидировать развитие советской этнографии как науки»⁴⁹⁹.

«Условными» оказались заслуги перед большевистской партией и даже сами жизни В.Б. Аптекаря, С.Н. Быковского, Н.М. Маторина, которые в 1937–1938 гг. были арестованы и расстреляны. В волне репрессий, прокатившейся в середине 1930-х годов по всем гуманитарным дисциплинам, наиболее пострадавшей стороной, в отличие от начала 1930-х, оказалась не старая профессура, а самые яростные ревнители «марксизации» науки, в первую очередь те из них, кто узурпировал право выражения партийной линии. Так, в исторической науке основной удар пришелся по «школе М.Н. Покровского».

Из числа этнографов старшего поколения наиболее тяжелой потерей 1937 г. оказался арест и последующая гибель в лагере П.Ф. Преображенского, поводом к чему, по всей видимости, послужил донос, вызванный борьбой за лидерство в этнографии. Закрепившаяся за Преображенским репута-

⁴⁹⁹ Пленум Института этнографии (декабрь 1937 г.) // СЭ. 1938. Сб. статей. Т. I. С. 231.

ция выдающегося теоретика и организатора, пусть даже «буржуазной» этнологии, оставляла его потенциальным конкурентам не очень много шансов занять лидерские позиции в науке, освободившиеся после «зачистки» воинствующих марксистов. Тем более опыт восстановления системы исторического образования показывал, что «буржуазная» профессура оказалась в гораздо большей цене, чем ее недавние марксистские ниспровергатели с их скудным профессиональным багажом, состоявшим преимущественно из абстрактных социологических схем.

Однако изменение баланса сил не означало изменения узкой концептуально-методологической рамки этнографии, сформулированной «вредителями» в первой половине 1930-х годов. Ее постепенное расширение и корректировка к началу 1950-х годов произошли под влиянием в первую очередь политических обстоятельств, а не вследствие внутринаучной динамики.

Предмет и методология советской этнографии

Политические инвективы против «троцкистско-бухаринских бандитов на историческом фронте» причудливо сочетали их действительные утверждения и поступки с приписываемыми им грехами. Хотя марксистствующие интеллектуалы сводили на нет специфику этнографической науки, пытались растворить ее в истории, было бы неверно полагать, что они пытались подменить этнографию «изучением только современности, социалистического строительства», как утверждали их критики. Наоборот, изучение современности, уже вошедшее в тематику этнографии, Н.М. Маторин предлагал передать в ведение истории современности, оставляя этнографии некоторую (вспомогательную и техническую) роль лишь в изучении первобытного общества.

Но ведь довольно близкой была формулировка этнографии разоблачителя «враждебных происков», директора про-

фильного Института этнографии АН (который размещался тогда в Ленинграде) историка-востоковеда В.В. Струве: «...основным предметом этнографии является изучение тех племен и народностей, которые еще не успели выйти далеко за рамки племенного быта, а также всех тех пережитков племенного быта, которые встречаются на более поздних стадиях общественно-экономического развития у более передовых народностей и наций»⁵⁰⁰.

По-видимому, мистификация взглядов «минимизаторов» этнографии была необходимым условием доказательства того, что новая интерпретация предмета науки отличается от прежней, ошибочной. Однако различие это было не столько научно содержательным, сколько политико-идеологическим, связанным с тем смыслом, который этнография приобретала в контексте социалистического строительства: «Советская этнография должна изучать и выявлять... беспримерный в истории процесс перерастания племен нашего Союза в национальности и возрождения их культуры...». И еще: «Советский этнограф должен изучать те пережитки, которые остались в виде тяжелого наследия от старого классового общества, и выявлять те причины, которые задерживают их отмирание. Он тем самым окажет деятельную помощь нашему социалистическому строительству»⁵⁰¹.

Из этих цитат понятно, что, хотя существование этнографии было сочтено *политически* актуальным, понимание ее предмета, в общем, оставалось на уровне начала 1930-х годов. Она получила статус *социалистической* дисциплины, изучающей преимущественно подъем и развитие национальных меньшинств и периферийных народов. В программной статье «Советская этнография и ее перспективы» Струве писал: «Она (этнография. – Т.С.) в первую очередь

⁵⁰⁰ Там же. С. 230.

⁵⁰¹ Там же. С. 231.

изучает те общества, которые не переросли в нацию, пребывая еще по существу на стадии первобытнообщинного строя или раннеклассового общества»⁵⁰². В том, что касается более развитых народов, сфера этнографического анализа ограничивалась этнической историей или «пережитками», *иные* социальные и этнические феномены из ее ведения исключались. Методологическое обоснование подобного самоограничения науки, вероятно, питалось сталинской характеристикой (в работе «Марксизм и национальный вопрос») нации как «категории исторической» и племени как «категории этнографической».

Впрочем, современность в любом случае выглядела слишком «горячей» темой, уход в первобытность и этническую историю, хотя ограничивал научный горизонт, был предпочтительным из соображений личной и корпоративной безопасности.

Важным аргументом в пользу выбора первобытности был тот, что исследования в этой области укладывались в русло официальной методологической схемы – «пятичленки», где первобытное общество было самым туманным звеном, открывая пространство для его теоретических реконструкций и потенциально интеллектуальной свободы.

Но, даже уйдя вглубь тысячелетий, этнографы все равно не обретали ее, потому что и в области первобытности бросил свой якорь марксизм в виде канонизированной работы Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства», которая основывалась на во многом устаревшей и ошибочной концепции первобытности Л.Г. Моргана. Интерес К. Маркса и Ф. Энгельса к моргановской схеме был вызван тем, что, отрицая имманентность человечеству таких социальных институтов, как частная собственность

⁵⁰² Струве В.В. Советская этнография и ее перспективы // СЭ. 1939. Сб. статей. Т. II. С. 5.

и моногамная семья, она внушала надежду на их исторически преходящий характер и искоренение в коммунистическом будущем. Другими словами, это был важный аргумент в пользу *научности* разрабатывавшейся ими *идеологии*.

Не менее серьезное методологическое ограничение для изучения и концептуализации первобытности составила канонизация принадлежавшей И.Я. Бахофену *гипотезы* о приоритете материнского счета родства и материнском праве, которая в изложении интерпретаторов превратилась в теорию двух эпох в прошлом человечества, одна из которых – более ранняя – характеризовалась господством женщин, а вторая – более поздняя – главенством мужчин. Поскольку точка зрения Бахофена получила одобрение Энгельса, то в контексте советской этнографии это придавало ей статус марксистского, т. е. окончательного и непогрешимого знания, хотя сам Энгельс предупреждал, что он излагает не свои взгляды, ответственность за них не несет и не исключает пересмотра этих теорий по мере развития науки и накопления новых фактических данных.

Тем не менее критика Л.Г. Моргана, чем дальше, тем больше становилась занятием, чреватым обвинениями в отходе от марксизма, что явно сдерживало научный поиск в области первобытности. Поэтому работы С.А. Токарева и А.М. Золотарева, где теория Моргана опровергалась, выглядели не только интеллектуальным, но и гражданским поступком⁵⁰³.

⁵⁰³ См.: Золотарев А.М. К истории ранних форм группового брака // Ученые записки исторического ф-та Моск. обл. педагогич. ин-та. Т. II. М., 1940; *Его же*. «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Ф. Энгельса и современная наука // Историк-марксист. 1940. № 12; Токарев С.А. О системах родства австралийцев: К вопросу о происхождении семьи // Э. 1929. № 1; *Его же*. Энгельс и современная этнография // Известия АН СССР. Серия истории и философии. 1946. Т. III. № 1.

Тем более что у моргановской схемы, концепции первичности и универсальности материнско-родовой организации имелся такой убежденный и крайне влиятельный (во второй половине 1940 – начале 1950-х годов он занимал ключевые административные позиции в этнографической науке) сторонник, как С.П. Толстов. Отчасти с ним солидаризовался крупный исследователь первобытного общества М.О. Косвен, само название обобщающей монографии (она же его докторская диссертация) которого – «Матриархат. История проблемы», вышедшей под редакцией Толстова в 1948 г., свидетельствовало суть разделяемой этим видным ученым позиции. Ее санкцией от имени профессионального сообщества стало присвоение работе Косвена престижной этнографической премии им. Н.Н. Миклухо-Маклая.

В то же время отношение к «официальной» концепции первобытности было амбивалентным даже со стороны ее защитников. С.П. Толстов, который накануне Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы интенсивно занимался реконструкцией качественных особенностей начальной и конечной эпох первобытности и вообще был чрезвычайно активен на теоретическом поприще, заявляя о верности периодизации Моргана, фактически предложил собственную периодизацию первобытной истории, далеко отстоявшую от моргановской. На пересмотре моргановской теории кровнородственной семьи и моргановской же периодизации настаивал М.О. Косвен на Всесоюзном этнографическом совещании 1951 года.

Таким образом, ситуация не была лишена парадоксальности: утверждение советского компендиума первобытности сопровождалось *одновременным* его пересмотром, причем в обоих случаях фигурировали одни и те же персонажи, одинаково использовавшие марксистскую фразеологию. Публично заявленная в начале 1950-х годов возможность теоретической ревизии «официальной» линии в области изучения первобытности была не столько результатом на-

копления новых данных, ряд принципиальных выводов Моргана этнографическая наука отвергла еще в начале XX в., сколько следствием идеологических импульсов. Критика марристской концепции И.В. Сталиным стимулировала осторожный пересмотр такой части интеллектуального наследия классиков марксизма, как первобытность. Тем более что публикация в мае 1941 г. в журнале «Большевик» письма Сталина с критикой взглядов Энгельса на внешнюю политику имперской России давала понять, что даже «священные коровы» марксизма в некоторых ситуациях могли быть «прикасаемыми».

Тем не менее отождествление марксистского подхода как такового с одним из конкретных *вариантов* теоретической реконструкции истории первобытного общества сохранило свою силу и в последующие десятилетия, что было связано не с научными достоинствами энгельсовско-моргановско-бахофеновской концепции, а с интеллектуальной инерцией и возможностью использовать это отождествление как идеологическую дубинку в междоусобной, внутрикорпоративной борьбе.

Именно последним обстоятельством можно объяснить следующий парадокс. С.П. Толстов, который в 1951 г. фактически приветствовал ревизию «марксизма» в истории первобытности⁵⁰⁴, в 1963 г. инициировал (будучи директором академического Института этнографии) статью четырех авторов с разгромной критикой взглядов ленинградского этнолога Н.А. Бутинова, выступившего с опровержением канонизированной энгельсовской (фактически моргановской) концептуализации первобытности, причем это опровержение находилось в русле ревизии, начатой полтора десятилетия назад

⁵⁰⁴ См.: Толстов С.П. Итоги перестройки работы Института этнографии АН СССР в свете труда И.В. Сталина «Марксизм и языкознание» // СЭ. 1951. № 3. С. 12–13.

и при активном участии самого Толстова. Обвиняя Бутинова и его сторонников в отходе от марксизма, Толстов таким способом защищал свои пошатнувшиеся интеллектуальные и административные позиции в науке. Для чего наилучшим образом подходил стиль аргументации, взращенный в эпоху «террористического» языка, хотя уже и потерявший свою былую «убедительность»: Бутинову «всего лишь» запретили участвовать в VII международном конгрессе антропологических и этнографических наук в 1964 г. в Москве⁵⁰⁵. Трансформация «критики оружием» в «оружие критики» была безусловным симптомом расширения свободы науки, даже если эта критика порою имела откровенно идеологическую природу.

Однако «первобытность» в любом случае выглядела слишком обширным полем, чтобы «вспахать» его с помощью одной лишь энгельсовско-моргановской теории. Не в контрверзу, но рядом с ней появлялись другие концептуализации, носившие прорывной для своего времени характер. Таковой была гипотеза талантливого молодого исследователя А.М. Золотарева об универсальности и первичности дуально-эзогамной организации первобытно-племенных сообществ. Хотя концепция не получила дальнейшего авторского развития (ученый, закончивший свой труд в 1941 г., погиб в лагере в 1943 г.), она серьезно стимулировала конкретные исследования специалистов, в том числе университетских этнографов.

Важным методологическим ключом к реконструкции еще одной туманной, сложной и крайне запутанной про-

⁵⁰⁵ Об этом эпизоде см.: *Семенов Ю.И.* О моем «пути в первобытность». С. 176–177; *Тумаркин Д.Д.* Ю.В. Бромлей и журнал «Советская этнография» // Академик Ю.В. Бромлей и отечественная этнология. 1960–1990-е годы / Отв. ред. С.Я. Козлов; ИЭА РАН. М., 2003. С. 215.

блемы – этногенеза – считался марризм, получивший в начале 1930-х годов официальную санкцию марксистского знания. «Новое учение» оказалось наиболее влиятельно не в языкознании, где во второй половине 1930-х годов при внешнем почитании его игнорировали, а в этнографии, археологии и истории. В профессиональной лингвистической среде дилетантизм и фантазмагоричность марризма были слишком очевидны.

В то же время в этнографии проводником марризма был И.И. Мещанинов, ближайший сотрудник и помощник Н.Я. Марра с 1917 г., который некоторое время возглавлял Институт этнографии АН в Ленинграде. В Москве, где оплотом антимарристской партии слыл Университет, марризм имел влиятельного протагониста в лице С.П. Толстова, использовавшего свою административную мощь (он одновременно возглавлял кафедру этнографии МГУ и академический Институт этнографии) и научный авторитет для укрепления позиций этого течения и подавления его оппонентов. Видный отечественный филолог-славист С.Б. Бернштейн, выступавший в Институте этнографии АН в феврале 1944 г., в сердцах охарактеризовал его как «гнездо марровского мракобесия», а председательствовавшего на заседании Толстова как человека, несшего «несусветную яфетическую чушь»⁵⁰⁶.

Тем не менее в 1930-е годы в традиционной этнографической тематике прослеживались лишь отголоски марристской концепции, гораздо более заметное влияние она оказала на археологическую реконструкцию первобытного общества, особенно в части интерпретации этнографических сюжетов. Марризм также тематизировал проблематику этногенеза, полностью оккупировав вопрос о происхождении языка, что привело к самоустранению

⁵⁰⁶ *Бернштейн С.Б.* Указ. соч. С. 37.

лингвистов от участия в этногенетических штудиях. Вырисовывалась следующая закономерность: «новое учение» использовалось профессионалами (историками, археологами, этнографами и т. д.) в своей области для интерпретации привлеченных сюжетов других наук. Другими словами, марризм был исключительно удачной находкой для дилетантов.

Только поэтому и могла возникнуть трагикомическая ситуация, когда блестящий этнограф Н.Н. Чебоксаров в ходе дискуссии о происхождении финно-угорских народов требовал от известного лингвиста Д.В. Бубриха, чтобы финно-угроведы пользовались языковым материалом Марра. (Трагизм этому эпизоду придает то обстоятельство, что затравленный марристами Бубрих, скоропостижно скончался во время своей лекции в МГУ 30 ноября 1949 г.) В своем дипломатичном ответе Бубрих ссылался на «принципы работы самого Марра», что было характерной системой аргументации в профессиональном дискурсе советских гуманитарных наук: опереться на авторитет «классика» в подтверждение собственной точки зрения⁵⁰⁷. Поскольку багаж корифеев марксизма – от Маркса до Сталина – был обширен и внутренне противоречив, то существовала возможность *идеологической* легитимации практически любой *научной* позиции. Нередко ученые, придерживавшиеся диаметрально противоположных взглядов, одинаково успешно обосновывали их выдержками и цитатами из марксистско-ленинско-сталинского наследия. Виртуозность в таком жонглировании была специфическим качеством, воспитывавшимся в лоне советского общественно-научного сознания.

В этом смысле ссылки на Марра и марристская терминология чаще всего служили опознавательным знаком верно-

⁵⁰⁷ Алпатов В.М. История одного мифа. Марр и марризм. М., 1991. С. 118.

сти марксизму, своеобразным щитом, за которым скрывалось содержание, не имевшее отношения (или имевшее весьма отдаленное отношение) к «новому учению о языке», тем более что под общим именем яфетической теории скрывался конгломерат противоречивших друг другу идей. В профессиональной лингвистической среде отношение к марризму было в целом сродни тому, которое сформулировал в своих дневниковых записях С.Б. Бернштейн: «Для марровской сессии состряпал доклад на тему “Проблемы изучения истории болгарского языка в свете нового учения о языке”. Это не представляло никакого труда, так как на сессиях подобного рода нужны крик и шум, треск и барабан, а не наука. Мы все уже давно наловчились выступать с подобного рода “научными” докладами»⁵⁰⁸.

Авторам, пытавшимся использовать марризм как теоретический ключ к профессиональным проблемам, приходилось жертвовать профессионализмом. По крайней мере, такое впечатление оставляла концепция индоевропейского этногенеза С.П. Толстова⁵⁰⁹.

Марксистская санкция была снята с марризма знаменитым выступлением Сталина «Относительно марксизма в языкознании» (Правда. 1950. 20 июня), после которого многие марристы находились в «состоянии шока», а «Сергей Павлович Толстов совсем почернел»⁵¹⁰. Однако в целом для гуманитарных дисциплин, в том числе этнографии, это выступление имело амбивалентные последствия. Освободившись от одной методологической рамки – яфетической

⁵⁰⁸ Бернштейн С.Б. Указ. соч. С. 147.

⁵⁰⁹ См.: Толстов С.П. Проблема происхождения индоевропейцев и современная этнография и этнографическая лингвистика // Краткие сообщения Института этнографии. 1. 1946. (Автореферат доклада на сессии Комиссии этногенеза и сектора Европы Института этнографии АН СССР 26 июня – 4 июля 1944 г.).

⁵¹⁰ Бернштейн С.Б. Указ. соч. С. 151.

теории, наука приобрела новую – канонизированные сталинские положения. Вот как описывал эту двойственность очевидец эпохи: «С каким воодушевлением многие из нас встретили начало лингвистической дискуссии и ее неожиданное завершение полным разгромом марризма! В статье Сталина было немало профессиональных ошибок, неверных утверждений, но все это нас не огорчало. Главное было в том, что пришел конец яфетическим благоглупостям, что марксисты теперь признают сравнительно-историческое языкознание со всеми его законами и принципами. Вдохновляло утверждение, что наука не может развиваться в условиях аракчеевского режима, что необходимы борьба мнений, свободные дискуссии и т. д. Однако фактически на смену одному режиму пришел другой режим. Под ошибочные утверждения Сталина теперь подводят фактическую базу... В статьях многих ретивых карьеристов можно прочесть, что в трудах Сталина разрешены все трудные проблемы языкознания»⁵¹¹.

К счастью для этнографии, на нее удалось экстраполировать лишь один сталинский пассаж. То место из его работы, где речь шла о развитии «от языков родовых к языкам племенным, от языков племенных к языкам народностей и от языков народностей к языкам национальным» стало истолковываться как соответствие стадиям в развитии языков стадий развития этнических коллективов, дав импульс дискуссии о древнейших типах этнических общностей, историко-генетической типологии этнических групп. Начался, по характерной формулировке эпохи, пересмотр этого вопроса «в свете работ И.В. Сталина».

Можно допустить, что в этом случае сталинская цитата играла не роль концептуального инструмента, а служила идеологической легитимации тех или иных конкретных на-

⁵¹¹ Бернштейн С.Б. Указ. соч. С. 166.

учных взглядов, скорее всего сформировавшихся до ее появления. Обратной стороной сталинского лаконизма была его способность оборачиваться многозначностью в различных научных контекстах. Если С.П. Толстов с места в карьер стал утверждать, что «в истории первобытного человечества был доплеменный период, когда род был единственным видом общественно-территориального объединения людей», что выглядело донельзя прямолинейной интеграцией сталинского пассажа в научную методологию, то М.О. Косвен придерживался более нюансированной и многозначной позиции, находя ей обоснование не в прямом тексте, а в контексте и умолчаниях сталинской работы⁵¹².

Вообще Толстов оказался одним из немногих гуманитариев, пытавшихся использовать концептуальный арсенал марризма даже после его идеологического развенчания. Некоторое время он продолжал держаться (скорее всего, по инерции) за марристскую идею так называемой «первобытной лингвистической непрерывности», которую вместе с ним отстаивал крупный историк и археолог, специалист по истории древней Руси и восточных славян П.Н. Третьяков.

Хотя сталинские цитаты служили атрибутом всех гуманитарных исследований эпохи, по-настоящему мощное и непреходящее влияние теоретические формулировки Сталина оказали на советскую концептуализацию феномена этничности. Его работы «Марксизм и национальный вопрос», «Национальный вопрос и ленинизм» содержали классификацию этнических общностей, соотношенную с формационными стадиями марксистской версии эволюционизма: род и племя характерны для первобытнообщинного строя, народность – для раннеклассовых формаций (рабовладельче-

⁵¹² См.: Токарев С.А и Чебоксаров Н.Н. Методология этногенетических исследований на материалах этнографии в свете работ И.В. Сталина по вопросам языкознания // СЭ. 1951. № 4. С. 7–8.

ской и феодальной), буржуазные нации – для капитализма, социалистические – для социализма. В них же содержалось знаменитое определение нации как общности людей по территории, языку, экономическому базису и психическому складу.

Бытование сталинских формулировок отмечено фундаментальным парадоксом. С одной стороны, несмотря на кажущуюся простоту, понятность и убедительность, критерии «нации» лишь с огромным трудом (и далеко не всегда) поддавались инструментализации: они зачастую не работали при анализе конкретных ситуаций, с их помощью не удавалось решить вопрос о наделении конкретной этнической общности (особенно если она относилась к национальному меньшинству) статусом «нации». В то же время привязанность этнической классификации к формационным стадиям затрудняла использование таксономических категорий, относящихся к «иным» формациям. С другой стороны, эти очевидные трудности не ослабили устойчивость и не уменьшили влияние сталинских формулировок в отечественном научном и массовом дискурсах в постсталинскую и даже постсоветскую эпохи.

Объяснение жизнестойкости сталинского теоретического наследства в области национальной проблематики догматизмом и «отсталостью» отечественного научного сообщества, а также соблазнительной простотой сталинской схемы, хотя и не лишено смысла, представляется поверхностным и облегченным.

Классификация этнических общностей и определение нации Сталина обладают немаловажным и очевидным (при непредвзятом рассмотрении) аналитическим достоинством. Они представляют собой классические *идеальные типы* в веберовском понимании, т. е. такие интеллектуальные конструкции, которые упорядочивают и классифицируют действительность, устанавливая в ней каузальные связи, но сами по себе в «чистом виде» не могут быть обнаружены

эмпирически. Формируя концептуальную рамку для анализа действительности, идеальные типы в то же время не могут служить целям описания и объяснения единичных феноменов или фактов как таковых. Эвристический потенциал идеального типа, как и любого аналитического инструмента, ограничен: он хорош для историсофского и общесоциологического употребления, но не в целях актуального анализа. Но точно так же неразумно отрицать значение идеальных типов на основании их слабой инструментализации. Ведь копер, которым забивают сваи, не используется взамен молоточка настройщика пианино – это в сущности различные инструменты, хотя и тот, и другой можно назвать молотком.

Использование историсофского и общесоциологического концепта для оперативного анализа было связано не только с духом эпохи, но и со «встроенным» методологическим дефектом. Интеллектуальная уязвимость предложенной Сталиным типологии этнических общностей состояла в претензии выступать таксономической классификацией, что проявилось в ее тесной привязке к формационной типологии (понятие «формация» – также идеальный тип, а формационная типология – идеальное конструирование последовательности развития). Тем самым было нарушено предупреждение Макса Вебера не представлять идеальные типы как обобщения или описания «типов обществ», связанных между собою последовательностью изменений, и рассматривать идеальные типы синхронно, а не диахронно. Пафос же марксизма состоял в том, чтобы придать идеальнотипическому построению силу естественноисторического закона⁵¹³.

⁵¹³ Подробнее о веберовских конструкциях и сравнении их с марксизмом см.: *Burger T.* Max Weber's Theory of Concept Formation, History, Laws and Ideal Types. Durham, North Carolina, 1976.

Отрепившись от таксономической классификации как непригодной для идеального конструирования, мы увидим, что род, племя, народность и нация в реальности сосуществуют, а их элементы – комбинируются. Это обстоятельство всегда смущало апологетов подхода, связываемого в отечественном общественном сознании с именем Сталина, и одновременно снабжало его оппонентов обильной критической аргументацией. Однако теоретическое начало позитивной альтернативы оппонирующего подхода – концепт «этничности» – представляет собой такой же идеальный тип, как «нация».

Вопрос о том, какой из этих типов лучше или хуже, лишен смысла, сравнение их эвристической способности, как будет показано дальше, также не дает однозначного результата. Поэтому устойчивость и влияние идеальных типов в научном дискурсе оказываются в решающей зависимости от готовности значительной части профессионального сообщества принять ту или иную идеальнотипическую интерпретацию и по умолчанию придавать ей более или менее общий смысл. Проще говоря, это научная конвенция, неписаное соглашение. И смысл его в том, что наука *нуждается* в таком ранжировании и классификации действительности, в соотнесении своей эмпирии с почти метафизическими категориями и первообразами.

Задававшаяся извне методологическая рамка советской этнографии была скорее пульсирующей, чем ригидной. Главным призом науки стало кардинальное расширение (особенно в сравнении с началом 1930-х годов) понимания ее предмета. К началу 1950-х гг. советская этнография из науки о первобытном обществе, пережитках и триумфальном марше национальных окраин к социализму вновь превратилась в науку об этносах. «В отличие от буржуазных этнографов эволюционной школы, считавших основным объектом своих исследований развитие отдельных элементов культуры, рассматриваемых вне связи с культурой отдельных народов, в противоположность позднейшим ре-

акционным направлениям вроде так называемой культурно-исторической школы, функциональной школы, американской психологической школы и т. п., оперирующих абстрактными внеисторическими категориями “культурных кругов”, “культур”, “моделей культуры” и т. д., советская этнография исследует конкретные народы, историю формирования их этнических особенностей», – такова была формулировка предмета советской этнографии в редакционной статье (без подписи) «Советской этнографии», носившей установочный и полуофициальный характер⁵¹⁴.

Если отрезиться от идеологической аранжировки приведенной цитаты, то нельзя не отметить, что в ней точно схвачено качественное различие между предметом русской этнографии и западной культурной/социальной антропологии. Тенденция рассматривать *этнические* единицы, *этнические* общности как целостность, во всей совокупности их атрибутов и феноменов, восходящая еще к Н.И. Надеждину и концептуализированная Н.М. Могилевским и С.М. Широкогоровым в теории этноса, составляла национальную специфику отечественной науки, близкой в этом отношении к германской.

Хотя выдвижение этноса в качестве «основного объекта изучения этнографии как науки» выглядело возвращением на методологические позиции тридцати-, сорокалетней давности, в сравнении с недавней минимизацией предмета этнографии до грани ее уничтожения это был безусловный прорыв. Тем более что поле этнографических исследований теперь *теоретически* включало актуальные этнические сюжеты больших народов. Проще говоря, можно было изучать и современное этническое состояние русских, а не только их этническую историю и этнографические древности. Такая теоретическая *возможность* открывалась использованием концепта «этнос» для общего обозначения «всех типов этни-

⁵¹⁴ От редакции // СЭ. 1951. № 4. С. 3.

ческих общностей от наиболее древних до современных»⁵¹⁵. Однако от возможности до ее реализации пролегла «дистанция огромного размера», этнографическое исследование современности стало приобретать относительно устойчивый и развернутый характер лишь со второй половины 60-х годов прошлого века.

Воодушевляющее расширение предмета науки вряд ли было результатом спонтанного процесса, постепенного «отвоевывания» советскими этнографами все новых исследовательских площадок. Хотя внутринаучная спонтанность, безусловно, присутствовала, у нее был первоначальный импульс политической природы, в данном конкретном случае – совокупность обстоятельств, связанных со Второй мировой войной и ее непосредственной предысторией. Феноменальная динамика нацистской Германии продемонстрировала грандиозные возможности этнической мобилизации и национальной легитимности, которые были частично восприняты и адаптированы советским руководством, начиная с середины 1930-х годов. Проекция этих изменений в культурную и интеллектуальную жизнь логически вела к повышению интереса к этнической проблематике, к этническим (само)разграничениям, к национально-культурным особенностям народов как историческим, так и актуальным. Знание этнического состава населения Европы приобрело немалую практическую пользу, когда Красная армия вошла в Европу, а также в ситуации послевоенного размежевания европейских стран. Этнография оказалась политически востребованной, а фактическое расширение ее предмета было кодифицировано в новых формулах предмета науки. Великая Отечественная война также стимулировала страноведческие исследования

⁵¹⁵ Токарев С.А., Чебоксаров Н.Н. Методология этногенетических исследований на материалах этнографии в свете работ И.В. Сталина по вопросам языкознания С. 12.

и расширение проблемно-тематического поля этнографии, оборотной стороной чего были понесенные ею кадровые потери, замораживание ряда исследовательских направлений, издательской деятельности и экспедиционной работы.

О сомнительности и пользе некоторых сравнений

Не только в публицистике, но и в академической компаративистике общим местом стало сравнение сталинской России и гитлеровской Германии в рамках так называемой «тоталитарной теории». Не вовлекаясь в деконструкцию этого концепта, который в версии Карла Фридриха и Збигнева Бжезинского носил *идеологический* характер, я воспользуюсь отличной книгой Г.Е. Маркова⁵¹⁶ для сравнения советской этнографии сталинского времени с германской этнологией нацистской эпохи. Чтобы не быть голословной, сначала приведу несколько выдержек, а затем поделюсь теми размышлениями, которые они вызвали.

«Хотя во многих отношениях преднацистское и нацистское время были глубоко различными... найти принципиальные различия в теоретических позициях этнологии до 1933 г. и в последующее время едва ли возможно. Короче говоря, “нацистская этнология”, как это ни хотелось нацистскому идеологическому руководству, не возникла».

«...лишь немногие этнологи объявили себя в политической жизни сторонниками гитлеровской идеологии... К тому же и они сохраняли в своих исследованиях практически почти без исключения традиционный для немецкой этнологии академический дух...».

«...читая большинство этнологических работ 1933–1945 гг., трудно поверить, что они написаны в нацистское время, настолько они были далеки от политики и лишены

⁵¹⁶ Марков Г.Е. Очерки истории немецкой науки о народах. М., 1993. Ч. I. Немецкая этнология.

свойственной той эпохе фразеологии. Почти не проникла политика и на страницы подавляющего большинства периодических этнологических изданий...»⁵¹⁷.

Оказывается, внутринаучная ситуация в германской этнологии настолько радикально отличалась от того, что происходило в советской этнографии, что даже возможность их сравнения выглядит проблематичной, ведь сравнивается только подобное. Вряд ли таким подобным могут считаться «двенадцатилетний застой» в германской науке и погром – методологический, тематический и кадровый, пережитый в 1930-е годы советской этнографией.

В контексте данного исследования сопоставление двух наук приобретает глубокий смысл, который заключается в возможности рельефной демонстрации *качественной специфики* института советской этнографии как науки, созданной государством и им опекавшейся. И дело здесь не в отношении государства к конкретной науке – в Германии «этнология оказалась в ряду наук, к которым нацистское руководство относилось отрицательно»⁵¹⁸, – а в его конституирующей роли по отношению к науке вообще. В немецкой этнологии не только сохранялась качественная преемственность, но и остались нетронутыми прежние основания науки, в то время как в Советском Союзе при некоторой внешней преемственности была создана новая наука.

В более широком смысле государство – традиционно главный социальный оператор России – в первое десятилетие советской эпохи глубоко перепахало всю интеллектуальную и культурную почву, создав принципиально иной ландшафт; в Германии же интеллектуально-культурный гумус сохранился не в пример лучше, а ландшафт был узнаваем.

⁵¹⁷ Там же. С. 104–105.

⁵¹⁸ Там же. С. 104.

ОЧЕРК СЕДЬМОЙ

НАУКА КАК САМОЦЕЛЬ И СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ

Глава 7.1.

НАУКА НА ПОВОДКЕ: ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЭТНОГРАФИЯ И ПОЛИТИКА ПАТЕРНАЛИЗМА (1950–1980-е годы)

Хотя метафора, вынесенная в название, вызывает уничтожительные ассоциации, она максимально точно отражает характер взаимодействия между государством и этнологией, постепенно формировавшийся с середины 1950-х гг. Расширяя свою автономию, увеличивая дистанцию от власти, этнология оставалась в критической зависимости от нее, пусть даже на смену железной цепи пришел эластичный шнур. Эта связь обеспечивала власти надежный контроль науки, которой взамен было позволено наслаждаться санкционированной свободой.

«Нормализация» (в советском контексте это была единственно возможная норма взаимоотношений) связи власти и науки была следствием хорошо известной динамики коммунистической системы, которая от «бури и натиска», революционного самоутверждения перешла в послесталинскую эпоху к стабилизации и эволюционному развитию. На смену присущему экстремальной фазе коммунизма «террористическому» языку пришел новый характер отношений между

наукой и государством – *патерналистский*, что открыло возможность серьезной внутринаучной динамики.

*Политико-идеологическая
и социопрофессиональная рамка этнографии*

Однако каковы бы ни были изменения внутри науки, они не могли нарушать базовых принципов ее организации, вытекавших из принципов коммунистической системы, правил культурной и интеллектуальной жизни в СССР.

Патернализм в отношении этнологии (в более широком смысле в отношении всей советской науки) не исчерпывался обменом стабильной поддержки науке на ее безусловную политическую лояльность. (Хотя для этнологии, оказавшейся в 1930-е годы перед перспективой полного «поражения в правах», включение ее в государственный реестр «социалистических дисциплин» выглядело решающей предпосылкой масштабной институционализации и успешного развития.) Государство также обеспечивало общий контроль идеологической чистоты и методологической выдержанности этнографии.

Верность марксизму оставалась *sine qua non*, хотя его адаптация к исследовательской проблематике приобретала все более расплывчатый и одновременно все более гибкий и изощренный характер. Значительная часть «старшего» и «среднего» (довоенного и первого послевоенного) поколения советских этнографов высоко расценивала эвристические возможности марксизма и, интегрируя его с другими концептуальными подходами, оставалась в русле течения, которое обобщенно можно назвать историческим материализмом. Тем более что присущая марксизму позитивистская вера в существование «объективной научной истины» стимулировала исследовательский поиск, пусть даже в предопределенных теоретических границах.

В некотором отношении был восстановлен теоретико-методологический плюрализм, хотя в отличие от 1920-х годов

он носил латентный и ограниченный характер, что проявлялось в невозможности публичного (даже в научной дискуссии) сравнения различных методологических парадигм и фактическом запрете на обновление и развитие марксизма. Исключительная прерогатива толкования *lingua sacra* советского строя принадлежала «жрецам» партийных инстанций.

Поэтому любые инициативные попытки снизу по развитию марксизма как *научной* методологии наталкивались на непробиваемую идеологическую стену; более того, эти попытки не очень одобрялись и в научных коллективах, где работали «новаторы-обновленцы», поскольку бросали на эти коллективы и их руководство тень подозрения в ревизионизме. По точному замечанию А.И. Фурсова, автора глубоких социологических зарисовок о советском обществознании 60–80-х годов XX века: «Для начальства какой-нибудь... более или менее тайный симпатизант капиталистического пути развития освободившихся стран в известном смысле и под определенным углом оказывался более безопасным, чем творческий марксист...»⁵¹⁹. Не удивительно, что дискуссии в этнографии, – а их интенсивность со второй половины 1960-х годов резко возросла⁵²⁰ – старательно обходили вопрос о марксистской методологии или же она не обсуждалась *по существу*.

⁵¹⁹ *Фурсов А.И.* Еще один «очарованный странник» (о Владимире Владимировиче Крылове на фоне позднесоветского общества и в интерьере социопрофессиональной организации советской науки) // Русский исторический журнал. Осень 1999. Т. II. № 4. С. 411.

⁵²⁰ С середины 1960-х по 1980-е гг. на страницах главного форума профессионального сообщества – журнала «Советская этнография» – состоялось более десятка крупных дискуссий. См.: *Тумаркин Д.Д.* Ю.В. Бромлей и журнал «Советская этнография» // Академик Ю.В. Бромлей и отечественная этнология. 1960–1990-е годы / Отв. ред. С.Я. Козлов. М., 2003. С. 216.

В то же время в ходе исследования профессиональной проблематики происходило постепенное расширение и обогащение методологического и концептуального арсенала советской этнографии, чему немало способствовало приоткрытие «железного занавеса». В середине 1950-х гг. после многолетнего перерыва возобновились контакты советских этнографов с западными коллегами, и интенсивность этих связей постоянно возрастала. Поскольку непосредственные и открытые заимствования из западной теоретической мысли были табуированы, освоение западных концептуальных подходов происходило в форме их декоративной «марксизации», латентной интеграции с марксизмом или посредством так называемой «критики буржуазной историографии». В целом «советская этнология была осведомлена об основных концептуальных разработках, имевших место среди зарубежных специалистов по этнической проблематике, и той операционной технологии, которая такие разработки обеспечивает»⁵²¹.

При этом в «среднюю» и «позднюю» советскую эпоху не возобновилась традиционная для отечественной этнографии тенденция теоретической зависимости от западной научной мысли. Внимательный и непредвзятый взгляд на советскую этнографию обнаруживает, что ее теоретическая мысль в целом развивалась вполне самостоятельно и независимо от западной, нередко приводя при этом к близким результатам. Так, американские авторы отмечали сходство советской этносоциологии с теорией и методологией западной антропологической и социологической литературы⁵²².

⁵²¹ *Заринов И.Ю.* Исследование феноменов «этноса» и «этничности»: некоторые итоги и соображения // Академик Ю.В. Бромлей и отечественная этнология. С. 33.

⁵²² См.: *Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М.* Этносоциология: некоторые итоги и перспективы // Академик Ю.В. Бромлей и отечественная этнология. С. 88.

Даже если речь шла о прямых заимствованиях, их адаптация (если она была добросовестной и качественной) к советской социокультурной почве, к иному историко-культурному контексту неизбежно видоизменяла смысл и содержание импортированных схем и подходов.

Хотя для значительной части советских этнографических исследований были характерны полусознанный, полуинстинктивный уход от теоретических сюжетов и спонтанное следование позитивистской стратегии, не в меньшей степени позитивизм сохранял влияние в западной науке.

В сравнении советской этнографии и западной культурной/социальной антропологии важно понимать, что они представляли собой не только качественно отличные социокультурные институты, но и серьезно различались по своему предметно-проблемному полю, теоретическому стилю и вненаучным историко-культурно-мировоззренческим основаниям. Другими словами, это были близкие, тесно связанные, во многом пересекающиеся, но не тождественные и даже скорее разные дисциплины.

В связи с чем понятно стремление советского научного сообщества к понятийно-терминологической унификации, вылившееся в издание серии тематических публикаций под общим названием «Свод этнографических понятий и терминов» и попыток формирования концептуальных глоссариев⁵²³. Этот воодушевляющий поиск общего (в прямом и переносном смысле) языка с западной наукой, желание осуществить интеграцию теоретического знания, преодолев разделительные линии в науке и политике, был глубоко наивен в непонимании того, что фундаментальные различия между национальными научными школами в области гуманитарных наук находятся не в самой науке, а внеположены ей. Они коренятся не в социополитических системах

⁵²³ См.: *Заринов И.Ю.* Указ. соч. С. 33.

и научных институтах, а в социокультурных контекстах, национальных традициях и ментальности.

Говоря проще, если в фокусе англосаксонской социальной/культурной антропологии и российской/советской этнологии оказывается один объект наблюдения, они наблюдают различающиеся (или не вполне совпадающие) реальности и по-разному их описывают. Это различие проецируется в науку из совокупности факторов, которую можно обобщенно определить как межпоколенчески транслирующуюся устойчивую (что не значит неизменную) этнокультурную традицию, выступающую опосредованной, но фундаментальной причиной отличий национальных наук. Поэтому оценочные суждения при их сравнении вряд ли корректны, у каждой из них обнаруживаются свои сильные и слабые стороны, причем недостатки оказываются оборотной стороной достоинств.

Серьезным ограничением советской этнографии стали иерархический принцип организации науки и унификация профессиональной учебной подготовки, резко контрастировавшие с институциональным плюрализмом и многообразием форм учебного процесса в 1920-е гг. Хотя это лишало этнографию – науку и учебную дисциплину – гибкости, взамен она получила статус общеобязательного учебного предмета и стала преподаваться во всех университетах и крупнейших педвузах, что обеспечило кардинальное расширение масштабов подготовки профессиональных кадров.

Патерналистский тип отношений сочетался с нарастающим (с начала 1970-х годов) дистанцированием государства от гуманитарного знания. По-прежнему выступая источником его легитимации, государство все менее испытывало в нем практическую потребность, что было заметно по тому подозрению, которое высказывалось в отношении глубокого изучения *советской* современности, особенно этнической проблематики. Причем это ограничение относилось не только к «гражданской» науке, но и к возмож-

ности сугубо партийного (т. е. относительно конфиденциального) анализа.

По воспоминаниям хорошо осведомленного Э.А. Баграмова, с начала 1970-х до середины 1980-х гг. в аппарате ЦК КПСС отсутствовали специалисты, занимающиеся национальной проблематикой: «В них не было нужды, так как вопрос... считался закрытым»⁵²⁴. Официальная партийная установка в области национальных отношений рисовала их в благостном и облегченном виде, стараясь не замечать нарастающую остроту, неоднозначность и появление новых проблем; но поскольку это было до конца невозможно, то роль главного возмутителя спокойствия приписывалась рецидивам национализма и недостаткам в интернационалистском воспитании трудящихся. Другими словами, на современность экстраполировались интерпретации эпохи 1920–1930-х годов.

Однако опасение нежелательного и опасного знания о современности, способного разрушить ее официозный пропагандистско-идеологический образ, парадоксально сочеталась с потребностью в знании для эффективного управления. Чтобы управлять, надо было сначала познать значительно усложнившееся и кардинально изменившееся по сравнению с 1920–1930 годами советское общество – общество позднего модерна. Этнография оказалась на пересечении этих противоречивых тенденций.

С одной стороны, ее роль в изучении современности пытались ограничить подбором иллюстраций триумфального марша страны Советов по пути социализма, пропагандой «марксистско-ленинского решения национального вопроса в СССР». С другой стороны, от нее рассчитывали получить

⁵²⁴ Баграмов Э.А. Национальная проблематика прежде и теперь (субъективные заметки) // Академик Ю.В. Бромлей и отечественная этнология. С. 59.

эмпирическое знание о национальном аспекте «реального социализма», теоретическая интерпретация которого не должна была выходить за официальную рамку. Подобное ограничение не останавливало концептуализацию современности, но сковывало ее, вынуждая советских ученых использовать эзопов язык и систему кодов, позволявших им порою выдвигать интерпретации, фактически и довольно радикально ревизовавшие официальную линию, оставаясь внешне в согласии с ней.

Так, в этносоциологических экскурсах советских ученых была предложена весьма отличавшаяся от официальной трактовка «развития и сближения наций» – базовой характеристики национальных отношений в советском марксизме. «Этот процесс рассматривался как неизбежный спутник индустриализации и модернизации, не сопровождавшийся, однако, как было принято считать в партийной пропаганде, улучшением межнациональных отношений». В целом «первый этап развития этносоциологии был обозначен анализом противозначных процессов развития наций и осложнения национальных отношений в СССР»⁵²⁵.

Однако полученное в результате эмпирического изучения современности теоретическое знание не было востребовано государством, т. е. не носило *экспертного* характера (по крайней мере, до второй половины 1980-х годов). В этом смысле у этнографии не было шансов повлиять на государственное целеполагание, формировать национальную политику и участвовать в ее практическом осуществлении, то есть повторить опыт 1920-х гг. Нарастала социополитическая деактуализация гуманитарного знания, которое все заметнее утрачивало свою легитимирующую функцию по отношению к государству, последствия чего для советской этнографии оказались амбивалентными.

⁵²⁵ Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М. Указ. соч. С. 88–89.

В общем контексте размягчения советской идеологии и прогрессирующего дряхления советского государства его угасающее (хотя не без спорадических всплесков активности) внимание к этнологии объективно способствовало расширению ее внутренней автономии. Несмотря на наличие ряда табуированных тем, профессиональное сообщество было довольно свободно в выборе исследовательской проблематики. Идеологические ограничения обходились с помощью словесной эквилибристики и жонглирования цитатами «классиков марксизма-ленинизма», в чем советские гуманитарии достигли виртуозности: «...было принято обильно ссылаться, к месту и не к месту, на произведения классиков марксизма-ленинизма. Более того, участвуя в дискуссиях, высказывая оригинальные суждения, авторы нередко стремились подкрепить их умело подобранными цитатами, что... могло затруднить нежелательные возражения»⁵²⁶.

Эта оценка тонкого и осведомленного наблюдателя эпохи наталкивает на естественное предположение, что пресловутое и многожды пафосно заклеянное «двоемыслие и лицемерие советской жизни» нередко было *игрой* и воспринималось как *игра*, свидетельствуя о наличии отчетливо постмодернистской черты в советском обществе. Дух постмодерна проявился также и в упомянутой выше утрате научной способности к легитимации других институтов.

Ретроспективно даже в идеологической легитимации советской науки обнаруживаются свои достоинства. Пусть *инерционно*, но идеи прогресса и освобождения человечества придавали науке высокий смысл, поддерживая позитивный тонус и обеспечивая самоуважение научного сообщества.

⁵²⁶ Тумаркин Д.Д. Ю.В. Бромлей и журнал «Советская этнография». С. 217.

Совершенно уникальным явлением выглядела стабильная государственная поддержка этнографии вне зависимости от ее результативности. С одной стороны, это поощряло паразитизм и вялость в науке, с другой – предоставляло ученым возможность удовлетворять свое интеллектуальное любопытство за счет казны. Создалась беспрецедентная ситуация, когда производство знания оказалось самоцелью, а наука существовала ради науки.

Благодаря государству были обеспечены значительные масштабы экспедиционно-полевой работы, составляющей «хлеб» этнографии. В начале 1980-х годов этнографы МГУ как само собою разумеющееся констатировали: «...при желании кафедра может направлять ежегодно и в большом числе участников нескольких экспедиционных групп фактически в любые точки Советского Союза»⁵²⁷. Понятно, что возможности других вузов, особенно провинциальных, в этом отношении были меньше, но в любом случае достаточными для полноценной профессиональной подготовки этнографов.

Наконец, *last but not least*: в советском обществе наука имела довольно высокий социальный статус, а научная корпорация пользовалась уважением; престижность профессии ученого обеспечивала бесперебойный приток свежих кадров в науку. Даже стремясь к автономии от государства, научное сообщество не мыслило себя автономным от общества, наоборот, оно осмысливало свою профессиональную миссию в категориях общественной пользы, исторического разума и прогресса, хотя это ценностно-идеологическое основание науки, чем дальше, тем заметнее размывалось и теряло свою убедительность.

Постоянное акцентирование «актуальности» этнографических, равно как и других гуманитарных исследований

⁵²⁷ Лашук Л.П., Марков Г.Е. Кафедра этнографии // Историческая наука в Московском университете (1934–1984). М.: Изд-во МГУ, 1984. С. 300.

не означало, как уже отмечалось, их реальной востребованности государством, а стало быть, и обществом. При этом наряду с опасением государства раскрыть неприглядные стороны советской действительности присутствовало усиливающееся сомнение в адекватности и качестве самой экспертизы. Сомнение небезосновательное: когда при М.С. Горбачеве, воплощавшем русский стереотип «просвещенного царя», власть попыталась мобилизовать гуманитарное знание для выработки стратегии трансформации страны, выявилась драматическая неспособность профессионального сообщества осмыслить реальное состояние общества и обеспечить власть перспективными рекомендациями. Девальвация социополитической востребованности этнографии вела к снижению ее экспертного и научного потенциала, что было таким же закономерным итогом государственного патернализма, как и сильные стороны советской науки.

Ситуация, когда государство обеспечивало ученым-гуманитариям достаточный (по скромным советским меркам) социальный стандарт, притом что требования к ним были крайне невысокими и невнятными, а институциональная конкуренция фактически отсутствовала, не только открывала возможность для творчества, но также поощряла социальный паразитизм и способствовала интеллектуальной деградации. Причем особенно и именно в советском обществознании, где в отличие от «оборонной» науки и комплекса естественных и технических дисциплин отсутствие понятных критериев эффективности компенсировалось мощными методологическими и идеологическими ограничениями. Более чем скромные итоги интеллектуальной деятельности и талмудическое пережевывание марксистской «жвачки», сопровождавшееся бессодержательным фрондированием в адрес власти – этот модальный стиль поведения в советских гуманитарных науках заслужил им насмешливо-презрительную репутацию со стороны «технарей» и «естественников».

Таким образом, влияние государственного патернализма на советское гуманитарное знание было амбивалентным. Обеспечив его институционально и материально, освободив ученых от забот о хлебе насущном, эта политика парадоксально освободила их от стимулов и мотивов для научного творчества и профессиональных занятий. Разумеется, выбор в конечном счете зависел от экзистенциальных качеств людей, которые его делали, – в советской гуманитаристике присутствовали самые различные тенденции – однако общая политико-идеологическая и социокультурная рамка объективно способствовала ее загниванию и разложению, а не развитию и прогрессу.

В сущности, это было характерно для коммунистической системы в целом, частью которой являлся институт советской науки. Как присуща системе была и охватившая науку тенденция «клановизации» – формирования групп интересов, стремившихся контролировать внутринаучные ресурсы (не только материальные, но также потоки информации и теоретические разработки)⁵²⁸. Поэтому с большой долей вероятности можно предположить, что сотрясавшая отечественную этнологию с начала 1990-х годов битва теоретико-методологических парадигм – примордиализма и конструктивизма – имела своей подоплекой и скрытой пружиной борьбу внутринаучных кланов за ресурсы и административный контроль науки.

⁵²⁸ О природе и сущности этого явления см.: *Фурсов А.И.* Еще один «очарованный странник» (о Владимире Владимировиче Крылове на фоне позднесоветского общества и в интерьере социoproфессиональной организации советской науки) // Русский исторический журнал. 1999. Т. II. № 4. С. 414–423.

Теоретико-методологическое и тематическое пространство советской этнографии

Интенсивное расшатывание жесткой методологической рамки, в которую была загнана наука, началось сразу же после смерти И.В. Сталина и особенно после XX съезда КПСС, ослабившего сталинские объятия власти, в которых находились общество и интеллектуально-культурная жизнь страны. Тяготившееся навязанными ему ограничениями профессиональное этнологическое сообщество воспользовалось открывшимися возможностями для обогащения теоретической базы науки и расширения исследовательской проблематики. В первую очередь началась очистка науки от «завалов», фактически парализовавших ее развитие. Под ударом оказалась канонизированная благодаря Ф. Энгельсу моргановско-бахофеновская концептуализация первобытности⁵²⁹.

Хотя критика и новации привязывались к методологическому стержню, выкованному в 1930-е годы, – «пятнеленке», а идея эволюции оставалась «красной нитью» советской этнографии, в теоретический оборот был введен ряд подходов, значительно расширявших возможности научной концептуализации и способствовавших появлению более гибких и изощренных теоретических схем.

В публиковавшихся с 1957 г. под общей редакцией С.П. Толстова, М.Г. Левина и Н.Н. Чебоксарова академических «Очерках общей этнографии» был представлен спектр основных этнологических теорий конца XIX – первой половины XX в. – от классического эволюционизма до функционализма и школы Ф. Боаса, что было фактическим приглашением к их использованию советскими этногра-

⁵²⁹ Об этом подробнее см.: *Семенов Ю.И.* О моем «пути в первобытность» // Академик Ю.В. Бромлей и отечественная этнология. С. 164–211.

фами. Хотя они расценивались как неполноценные в сравнении с основанной на марксизме «советской этнологической теорией» и подвергались критике, фактически произошла их официальная научная реабилитация. Особую ценность этот теоретико-историографический экскурс представлял для молодых этнографов – студентов-старшекурсников, аспирантов и стажеров, имевших довольно смутное представление о западной науке. Но роль «Очерков» не ограничивалась важным вкладом в учебную подготовку этнографов.

Их авторы выдвинули ряд теоретических новаций, наиболее важной из которых была экономико-культурная типология (концепция т. н. хозяйственно-культурных типов). Постулировалось существование ряда фундаментальных форм культуры, основанных на различном экономико-экологическом фундаменте (пастушеское животноводство, рыболовство и охота, земледелие). Таким образом, экономика здесь включала не только средства производства, но и экологический фактор. С точки зрения авторов этой концепции, она носила материалистический характер, поскольку экономика *в конечном счете* определяла культуру. Но одновременно это был шаг в сторону от вульгарного экономического детерминизма, очень важное дополнение к эволюционной теории и конкретно-историческое наполнение формационной схемы. Если эволюционная теория носила «вертикальный» характер, указывая общий вектор развития человечества, то экономико-культурная типология – «горизонтальный», раскрывая альтернативные варианты человеческой истории. Новая концепция работала в подтверждение и обогащение формационной теории, придавая абстрактной социологической схеме динамизм и наполняя ее жизнью.

Однако со временем в теоретической лаборатории советской этнологии сформировалась новая большая теория, не менее масштабная и амбициозная, чем формационная,

и в некотором (ограниченном) смысле даже альтернативная ей. Причем если «пятичленка» была привнесена в этнологию извне, что создавало неизбежные и неразрешимые сложности с ее адаптацией к профессиональной проблематике, то теория этноса была результатом скорее внутринаучной динамики, которой благоприятствовал внешний контекст, актуализацией давнишних теоретических потенциалов русской этнологии.

В историографии за этой конструкцией справедливо закрепилось наименование «советской теории этноса»: ее различные интерпретации и модификации базировались на общей системе понятий и жанровых принципов и имели общий методологический исток.

Советская теория этноса, ее протагонисты и оппоненты

Разработка этого интеллектуального продукта и тематизация им советской этнографии стали ответом на кардинальное изменение мирового и внутрисоюзного контекста, где даже недеформированному профессиональными абберрациями взгляду был очевиден взрыв этничности и подъем национализмов. Распад и ликвидация колониальной системы с образованием множества новых государств, «воспаление» старых этнических швов и появление множества быстро политизировавшихся этнических движений, непредвиденное обострение межэтнических проблем в СССР – все это была новая и тревожная реальность 1960–1970-х гг., настоятельно требовавшая своего осмысления. Причем новой и неожиданной она оказалась не только для советской, но и для западной науки, где тематика этничности и национализма традиционно находилась на интеллектуальной периферии.

Хотя советская этнография и западная социальная/культурная антропология столкнулись с общим и одинаково новым для них глобальным вызовом, они занимали различ-

ные наблюдательные позиции и были вооружены разным теоретическим инструментарием. Ввиду политико-идеологических ограничений советская этнография не могла развернуть полномасштабное изучение современности, а непосредственный анализ актуального внутреннего национализма и его причин вообще был исключен из сферы ведения науки. Поэтому взор советской этнографии неизбежно обращался к поискам метанарратива – сквозного сюжета, охватывавшего развитие этнической «субстанции» в длительной исторической ретроспективе, связывавшего прошлое с настоящим и позволявшего заглянуть в перспективу.

На роль такой «связи времен» оптимально подходил концепт «этноса», сформулированный в 1910–1920-е годы русскими учеными, и после некоторой паузы вновь вышедший на научную авансцену на рубеже 1940–1950-х годов. С профессиональной точки зрения у него было несколько очень важных достоинств. Он переключал методологию этнографии с имплантированного в нее (и неорганичного ей) социально-классового подхода на этнический фактор, что вело к радикальному видоизменению ее предметно-объектного поля и повышению статуса. Из части истории, занимающейся «этнографическими древностями», этнография *потенциально* становилась изучением одного из нервов современности.

Теория этноса интегрировала традиционную и новую этнографическую проблематику, соединяя изолированные части в сквозной сюжет. Втягиваясь в поле метатеории, все тематические сюжеты этнографии проходили позитивную переоценку.

В то же время взгляд на современность через призму этноса позволял изображать ее крупными и сочными импрессионистскими мазками, избегая деталей и нюансов, которые по политико-идеологическим соображениям не рекомендовалось замечать. Всемирная история в оптике этноса выглядела величественной, разворачивающейся во времени

и пространстве панорамой зарождения, развития и снисхождения в небытие народов – почти гегелевским саморазвитием мирового духа, облаченным в этнокультурные одежды. Бок о бок с марксизмом, квантуящим человечество классами, выросло не менее грандиозное здание теории, квантующей человечество этносами. Потенциальная альтернативность этих глобальных методологических подходов компенсировалась их общей эволюционистской подоплекой, открывавшей возможность взаимодействия и стимулировавшей разработку изощренных и более динамичных теоретических схем человеческого прогресса. Изначально существовало соответствие между формационной теорией и разрабатывавшейся советскими учеными типологией этнических обществ, стадийно сменявших друг друга «племени – народности – нации».

Глубинное родство формационной теории и теории этноса состояло также в том, что они представляли идеально типические конструкции. Более того, у этих идеальных типов обнаруживается и общий прародитель – И.В. Сталин. Нет оснований сомневаться, что его определение нации и типология этнических общностей тематизировали методологическую мысль советской этнографии в гораздо большей степени, чем малоизвестные и практически недоступные в советское время работы С.М. Широкогорова. Равным образом Сталин сформулировал собственную версию марксовской формационной теории, которая стала методологическим стержнем советской, если так можно выразиться, историософии. Причем если «пятичленка» уже практически вышла из интеллектуального оборота, то теория этноса сохраняет влияние в профессиональной среде, а ее базовая посылка – идея о врожденности, изначальности этнических чувств и общностей – является общим местом обыденного сознания.

Однако идеальные типы плохо поддаются инструментализации, и теория этноса не могла служить эффективным

аналитическим инструментом исследования современности. По воспоминаниям В.В. Пименова, стройное здание этой концепции никак не удавалось опустить с теоретических высот на землю, сопрячь с реальностью, верифицировать через этносоциологические опросы. Он же справедливо обращал внимание на статичность, внутреннюю неподвижность теории этноса (в варианте ее наиболее авторитетного пропагандиста Ю.В. Бромлея), «которую не удавалось прикрыть заверениями о приверженности историзму»⁵³⁰.

Такая неподвижность и максимальное абстрагирование от реалий – характерная черта идеальных типов, представляющих рационалистические проекции метафизических образов и идей. В этом смысле совершенно справедлива характеристика советской теории этноса как «метафизической». Однако то, что ее критики считают недостатком, составляет имманентное свойство определенного теоретического стиля. Стиля, который видит смысл науки в том, чтобы задать конечные, последние вопросы в поисках первопричин и предельных ответов. Такими ответами могут быть лишь изначальные, предельные – метафизические и архетипические – понятия, что служит нам постоянным напоминанием о мифологических и трансцендентных источниках науки.

Этот стиль теоретизирования ситуативно противостоит интеллектуальному стилю, делающему ставку на познание для использования, на эффективность и утилитаризм. Однако при внешней оппозиции этих образов мышления – стремления к конечной истине и утилитарного использования знания при пренебрежении конечной целью познания – они неразрывно связаны в истории и институте науки.

⁵³⁰ Пименов В.В. Понятие «этнос» в теоретической концепции Ю.В. Бромлея // Академик Ю.В. Бромлей и отечественная этнология. С. 16–17.

В то же время метафизичность и идеальнотипичность в равной мере свойственна системе взглядов, оппонирующих теории этноса. Известная дуальная оппозиция «этнических (генеалогических)» и «политических (гражданских, территориальных)» наций представляет идеальнотипическую конструкцию: в действительности любая нация составляет динамическую комбинацию этнокультурных и политико-гражданских форм, институтов и идентичностей. Причем эта оппозиция носит *оценочный и нормативистский* характер («хорошей» гражданской нации противопоставляется «плохая» политическая), ей присущи закрытость, финализм и западоцентризм.

Наиболее популярные и влиятельные в современном западном научном дискурсе теории этничности и национализма оперируют категориями и концептами, отражающими и обобщающими преимущественно *европейский* опыт. Утверждения о равноценности, самоценности и уникальности всех культур остаются чаще всего декларативными, поскольку неевропейский, незападный опыт рассматривается явно или подразумеваемо с точки зрения Запада как нормы. Тем самым *местная* теория западных обществ необоснованно претендует на статус *универсальной*, общей теории.

Зато советская теория этноса носила действительно универсальный характер и характеризовалась подлинным историзмом. Хотя в саморазвитии мирового духа, путешествии Абсолюта сквозь эоны времени – таково конечное метафизическое соотнесение этой теории – трудно разглядеть плоть и кровь реального человеческого бытия, ее историзм состоял в стремлении к смыслу, порядку, иерархии. Структурируя космос этнического, которое есть проявление и форма общечеловеческого, теория этноса устанавливала связь времен, восстанавливала онтологическую целостность мира. В узком смысле ее историзм состоял в исследовании социальных феноменов в их длительном развитии.

В советском контексте в профессиональной среде теория этноса ассоциировалась с именем Ю.В. Бромлея, в постсоветскую эпоху и среди широкой публики – с именем Л.Н. Гумилева. Последний предложил стилизованную фразеологией современной генетики так называемую ландшафтно-географическую концепцию этноса, одним из исходным пунктов, которой, видимо, послужила теория солнечной активности А.Л. Чижевского. В то время как Бромлей склонен был считать этнос дуальной, биосоциальной сущностью. Однако при всем антагонизме этих позиций они имели общую концептуальную площадку, позволявшую им дискутировать. Ведь спор невозможен там, где нет ничего общего.

«Официальная» и «еретическая» теории этноса парадоксально сходились в двух ключевых пунктах, в альфе и омеге: они начинали с констатации безусловного бытия этноса, его онтологичности и заканчивали признанием отсутствия надежных критериев определения, выделения этнической субстанции. Все атрибуты этноса по отдельности оказывались *самостоятельными социальными явлениями*, но и никакая их комбинация также не образовывала этноса.

Разрешить это фундаментальное противоречие оказалось не под силу ни одной из модификаций и версий советской теории этноса, наибольшую влияние и известность среди которых имел вариант Ю.В. Бромлея. Хотя влияние его интерпретации было в первую очередь связано с важной административной позицией (постом директора академического Института этнографии) и званием академика, нельзя сбрасывать со счетов важные научные достоинства концепции Бромлея, одним из которых была беспрецедентно тщательная историографическая проработка проблемы. Претендуя на теоретический синтез, Ю.В. Бромлей пытался интегрировать и использовать в своей концепции основные достижения советской этнографии.

Возможно, поэтому и не возникало серьезных теоретических противоречий между его интерпретацией и другими

версиями теории этноса, находившимися в русле официальной науки. В разработке этой теории в разное время участвовали такие видные советские этнографы, как В.И. Козлов, П.И. Кушнер, Л.П. Лашук, П.И. Пучков, С.А. Токарев, Н.Н. Чебоксаров и другие. Лашук, Токарев и Чебоксаров были самым тесным образом связаны с кафедрой этнографии МГУ и обращались к теории этноса в своих лекционных курсах⁵³¹.

Если в интерпретациях этих ученых акцент делался на онтологии этнической общности, то в предложенной В.В. Пименовым «компонентной теории» этноса внимание было сфокусировано на гносеологических аспектах⁵³². Впрочем, это различие касалось скорее аналитического метода, не отделяя Пименова от лагеря этнографов, числивших этнос реальной сущностью.

Все без исключения модификации, варианты, разновидности и концепции этноса – от официальных до еретических – находились (и находятся) в плену фундаментального противоречия: констатация онтологичности этноса соседствовала с невозможностью обнаружить этническую субстанцию. Это открыло возможность для уничтожающей критики теории этноса – краеугольного камня теоретической советской этнографии. Хотя такая критика публично прозвучала лишь на исходе 1980-х гг., приобретя максимальное звучание в последнее десятилетие XX века, целесообразно рассмотреть ее в связи с парадигмой, антитезой которой она выступала.

⁵³¹ См.: *Лашук Л.П.* Опыт типологии этнических общностей средневековых тюрков и монголов // СЭ. 1968. № 1; *Токарев С.А.* Проблемы типологии этнических общностей. (К методологическим проблемам этнографии) // Вопросы философии. 1964. № 11; *Чебоксаров Н.Н.* Проблемы типологии этнических общностей в трудах советских ученых // СЭ. 1967. № 4 и др.

⁵³² См.: *Пименов В.В.* Удмурты. Опыт компонентного анализа этноса. Л.: Наука, 1977. 246 с.

Обозначениями противоборствующих теоретических течений стали термины «конструктивизм» и «примордиализм» (под который подверстывается теория этноса). В содержательном отношении эта бинарная оппозиция малоубедительна, и ее утверждение в отечественном научном дискурсе было скорее упреждающим ударом по оппонентам с целью сформировать сумму негативных коннотаций вокруг теории этноса. Как известно, назвать вещь – значит получить право контроля над ней, и тот, кто первым классифицировал дискуссию, получил преимущество. Правда, преимущество это относилось исключительно к борьбе за власть в науке, но не к теоретической стороне науки.

Парадокс конструктивизма состоит в том, что, будучи весьма остроумен и порою довольно убедителен в критике примордиализма, он выглядит откровенно беспомощно, если обратить его собственную аргументацию против него самого. Начать с того, что «этничность» – ключевой концепт конструктивизма и, в более широком смысле, всей западной культурной/социальной антропологии точно так же неуловим, как концепт этноса. Смысл, значение, применение и соотношение с другими понятиями категории «этничность» представляются крайне неясными, конвенционального ее определения не существует и не предвидится.

Эта неясность и неуловимость «этничности» служит доказательством того, что, подобно концепту «этнос», она представляет идеально типический конструкт: ни одно из определений идеального типа не может быть правдивым в описательном смысле, оно может быть лишь *полезным*. Насколько полезным – определяет профессиональное сообщество, и поэтому влияние идеального типа в научном дискурсе есть результат научной конвенции, а не следствие его эвристического потенциала. Хотя советский и западный дискурс были тематизированы различными интеллектуальными конструктами, сами эти конструкты имели общую природу – идеально типическую.

В целом содержание конструктивистского подхода к этничности вопиюще противоречиво. Суть его вкратце и упрощенно можно передать следующим образом: этничность и этнические чувства не имманентные человеческие качества, а реальности, конструируемые элитой или/и возникающие в процессе формирования людьми когнитивной картины социального мира. Это означает, что из неких *неэтнических* – политических, социальных, культурных, интеллектуальных и прочих – феноменов целенаправленно создается (или спонтанно возникает) феномен, имеющий качественно иную природу – *этническую*. Но ведь критикуя теорию этноса, ее оппоненты убедительно доказывали, что никакая совокупность атрибутов этноса – самостоятельных социальных явлений – не способна составить его как этническую сущность. Почему же для этничности они такую возможность допускают? Это явное логическое противоречие или интеллектуальное шулерство.

Выходом из такого противоречия не может служить идея определяемой культурными границами ситуативной этничности, поскольку невозможно объяснить, почему (само)разграничения создают этническую специфику там, где ее раньше не было и где присутствовало исключительно неэтническое содержание. Либо надо допустить, что культура имманентно этнична, т. е. встать на точку зрения примордиализма. И уж совсем абсурдно прозвучит допущение, что сам факт проведения границ генерирует этничность из ничего – *ex nihilo nihil*.

Другими словами, немудреный логический анализ демонстрирует теоретическую беспомощность и бессодержательность конструктивизма в его позитивном утверждении. В данном случае речь идет не о доказательстве превосходства (или несостоятельности) той или иной теоретико-методологической парадигмы, а демонстрируется тупик теоретического знания, неспособность профессионального сообщества логически непротиворечиво и аналитически

корректно *определить* объект своих штудий: «Все существующие теории оказываются неспособными выявить этническую “самость”. Перед исследователями – явление, которое, безусловно, существует, но неизменно ускользает сквозь пальцы, несмотря на любые методологические ухищрения. Оно может проявляться повсюду, влиять на любые сферы жизни и деятельности человека, и в то же время его нигде нет»⁵³³. Что, впрочем, ничуть не мешает ученым заниматься исследованием этого необнаруживаемого объекта: *по умолчанию* (т.е. конвенционально) этничность и этнос признаются реальностями вне зависимости от понимания природы этой реальности.

Выходом из теоретического тупика и своеобразным компромиссом между двумя конкурирующими научными направлениями может стать гипотеза о локализации этничности в коллективном бессознательном человека, точнее, в этническом пласте коллективного бессознательного. Концепция коллективного бессознательного К.Г. Юнга, несмотря на сложность верификации, закрепилась в науке, продемонстрировав высокую интерпретационную способность в целом ряде профессиональных дискурсов. В имплицитном виде она присутствует в дискурсе о национализме: устойчивость и влияние этнических мифов – об общих предках, территории и культуре, «золотом веке» – объясняется их архетипическим происхождением.

Хотя концепция этнического бессознательного находится в начальной стадии разработки, эта теоретическая модель интегрирует некоторые важные положения как примордиализма, так и конструктивизма. С одной стороны, источник этничности локализуется в человеческой ментальности, что служит базовой посылкой конструктивизма,

с другой – коллективное бессознательное носит объективный, независимый от воли и рациональных представлений человека характер – это уже примордиализм. Пожалуй, самый спорный пункт концепции – признание антропологической имманентности этнического бессознательного, т.е. интерпретация этничности как формы социогенеза. Это безусловный *социальный* примордиализм, не говоря уже о том, что проблема социогенеза пока не имеет удовлетворительного научного разрешения.

Аутентичное юнговское понимание архетипов как мыслеформ (т.е. ментальных конструкций, лишенных собственного содержания) довольно убедительно объясняет высокий динамизм и ситуативность этничности, когда этнически окрашенным может оказаться любое социальное, культурное и др. явление, любая сфера бытия. Этнические мыслеформы наполняются тем или иным содержанием или, правильнее сказать, этнические архетипы переносятся, накладываются на иную реальность – политическую, социальную, культурную, интеллектуальную и т.д., – структурируя ее на этнический лад. Причем вектор этого переноса (этнического трансфера) может вырабатываться спонтанно, а может носить целенаправленный (конструктивистский) характер. Принципиальное отличие этого взгляда от конструктивизма и концепции культурных границ состоит в признании этнического ядра человеческой ментальности, которое единственное способно структурировать неэтнические реальности, создавая новое качество – этничность.

Таким образом, в другой интеллектуальной перспективе, под иным теоретическим углом зрения антагонизм примордиализма и конструктивизма выглядит *ситуативным* моментом в контексте динамичного дискурса о национальном, этническом. В то же время конкурирующие парадигмы оказываются взаимозависимыми, дополняющими друг друга и способными к взаимной интеграции.

⁵³³ Цит. по: Филиппов В.Р. Критика этнического федерализма. М., 2003. С. 35.

В самом деле, примордиализм фокусируется на онтологии этничности, конструктивизм – на этнических феноменах, но ведь эти категории неразрывно связаны и взаимозависимы. Примордиализм тяготеет к этнической истории и этногенезу, конструктивизм имеет дело с современностью (в смысле *Modern*); примордиализм служит целям историко-софского конструирования, конструктивизм – средство этнополитического анализа. Но главное, обе эти парадигмы одинаково не в состоянии объяснить природу и характер того, с чем имеют дело, а их базовые концепты носят идеально типический характер.

Поэтому напряжение и интенсивность соответствующей дискуссии в постсоветской этнологии были вызваны факторами не только (и даже скорее всего не) интеллектуального порядка. С точки зрения интеллектуальной проработки, глубины и содержательности теоретическая советская этнография не только не уступала ведущим западным течениям, но даже опережала их. По оценке историографа: «Советская школа этнографов считается одним из трех ведущих направлений в мировой науке... Но многие работы советских этнографов просто не переведены и не известны западной науке... Явно недооцененными остались содержащиеся в них идеи...»⁵³⁴.

Поэтому подлинную и тщательно скрываемую подоплеку теоретической дискуссии составляла борьба за ресурсы и власть в науке, где конкурирующие сообщества опознавали друг друга и легитимировали свои претензии с помощью методологических парадигм. Поскольку конструктивизм – порождение западной теоретической мысли, то сторонники этого течения в российской науке имели заведомо лучший доступ к западным ресурсам в виде грантов, стажировок, участия в конференциях и т. д. Рискну даже

заявить (на основании полевых наблюдений и серии интервью), что в России критическим фактором *публичной* лояльности к конструктивизму и его лидерам в профессиональном сообществе нередко оказывался (понятый широко) материальный.

В том же, что касается более широкого, вненаучного контекста, низвержение с «корабля современности» теоретического багажа советской науки и возведение на пьедестал «чужих богов» есть проявление тематизированности, захваченности отечественного сознания Западом, который со времени петровских реформ выступал для русских (сначала только элиты, позже – массовых слоев) конституирующим другим. Несколько упрощая, интеллектуальная, теоретическая (особенно в области социогуманитарного знания) мода обычно приходит в Россию с Запада, и нередко этой моде следуют даже умные люди. При этом забывая, что социогуманитарное знание зачастую неприменимо за пределами той культуры, в которой оно получено, и что возникшие в конкретных историко-культурных контекстах теоретические схемы, в отличие от законов физики, не носят универсального характера.

В плоскости социокультурных и даже антропологических оснований науки лежит еще одна фундаментальная причина ожесточенности и накала парадигматической дискуссии. Теоретические течения оказываются неразрывно (хотя и не напрямую) связаны с мировоззренческими и психологическими типами. Конструктивисты, маркирующие себя постмодернистами, а своих оппонентов как модернистов, проводят не столько научную, сколько культурную границу. Однако критика общепринятого знания, «само собой разумеющихся» понятий и норм, скепсис в отношении идеи научной объективности имеют смысл и цену лишь тогда, когда постмодернистская деконструкция сопровождается выдвижением позитивных альтернатив. В противном случае она оказывается самоцелью, ведя к разрушению

⁵³⁴ Коротеева В.В. Теории национализма в зарубежных социальных науках. М.: РГГУ, 1999. С. 84.

любых устойчивых ценностных иерархий и моральных оснований, место которых объективно (т. е. помимо воли авторов этой критики) занимают ценностный релятивизм и им-морализм, ипостасью которых в науке выступают тотальная ситуативность и процессуальность.

В этом смысле конечным (или первоначальным?) соотношением конкурирующих научных позиций оказываются метафизические категории Космоса (порядок, иерархия, целостность, смысл) и Хаоса (фрагментарность, неупорядоченность, случайность, бессмысленность). Вряд ли случайно экспансия постмодернизма в отечественное социогуманитарное знание произошла именно в 90-е годы XX в., когда Хаос – политический, экономический, социальный, разруха в головах – был опознавательным знаком и сущностью переживавшейся Россией эпохи. Причем в нашу страну эта мода пришла уже в то время, когда Запад начал активно сбрасывать скроенные им же интеллектуальные одежды именно по причине их *антропологической* опасности: радикальная деконструкция «самоочевидных» понятий и культурных оснований чревата непоправимым ущербом человеческой ментальности и любым формам позитивной социальности. По оценке ряда западных экспертов (не только консервативных взглядов) постмодернизм подобен «музыке упадка и разрушения» китайских трактатов или вирусу СПИДа: он разрушает иммунную систему общества, драматически ослабляя его способность сопротивления любой – внешней и внутренней – угрозе.

Не говоря уже о крайней сомнительности (если не откровенной фальсифицированности) естественнонаучных оснований философии постмодернизма⁵³⁵ и ее глубинной содер-

жательной противоречивости. Пафос множественности и равноправия особенного (культур, моралей, обычаев, «правил игры») в качестве *базового* условия своего осуществления требует признания универсальной ценности, которую постмодернизм же отвергает⁵³⁶.

На Западе накал постмодернистской критики в культуре и науке стал заметно ослабевать к 90-м годам прошлого века. Профессиональное сообщество пришло к осознанию того, что гиперкритический пафос угрожает самому существованию науки, и что как бы ни были несовершенны ее основания, постмодернистская альтернатива Хаоса не может служить им заменой. Хотя в древних космогониях Космос-порядок возникал из Хаоса, человеческая жизнь была возможна только в Космосе, Хаос оставался прибежищем чудовищ.

Размывание дисциплинарных границ советской этнографии

Концепция этноса – основополагающее теоретическое направление советской этнографии 60–80-х годов XX в. – рассматривавшая этнос как сложную социальную систему и целостность, стимулировала формирование на периферии этнографии суб- и пограничных научных дисциплин, изучавших этнические процессы в различных социальных средах, ситуациях и группах. К числу этих дисциплин, в фокусе которых находилось сложное взаимодействие и пересечение различных аспектов социального и национального, относились этносоциология, этно-

⁵³⁵ См.: Сокал А., Брикмон Ж. Интеллектуальные уловки. Критика современной философии постмодернизма. М.: Дом интеллектуальной книги, 2002. 248 с.

⁵³⁶ Подробнее об этом см. блестящий анализ: Капустин Б.Г. Современность как предмет политической теории. М.: РОССПЭН, 1998. С. 106–108.

социолингвистика, этнопсихология, этнодемография и этноэкология⁵³⁷.

Отечественными учеными они рассматривались как важный инструмент анализа современности, причем освоение новых методик поначалу сопровождалось эйфорией от открывавшихся возможностей: «Завораживал массовый материал анкетных опросов, привлекали методы корреляции признаков, машинной обработки материала и т. п.»⁵³⁸. Однако вскоре выяснилось, что горы эмпирических данных (пусть даже принципиально новых для этнографии) мало что значили без концептуального осмысления и создания новых теорий, возможности продуцирования которых были существенно ограничены политико-идеологической и социопрофессиональной рамкой советской этнографии. Тем не менее возможность самостоятельного теоретизирования в новых предметных областях существовала и даже облегчалась благодаря пионерному характеру (и тем самым отсутствию сковывающих традиций и ограничений) субдисциплин.

Вместе с тем их появление свидетельствовало о серьезных сдвигах в структуре этнографии и ее качественной определенности. На первый взгляд, речь шла о расширении предметных границ науки, которая, повернувшись к изучению современности, взяла себе в союзники новые дисциплины, точно так же, как традиционная этнография проводила исследования в самом тесном сотрудничестве и даже симбиозе с фольклористикой, археологией, искусствоведе-

⁵³⁷ Историографический очерк развития (пост)советской этносоциологии и этносоциоллингвистики соответственно см.: *Арутюнян Ю.В., Дробизева Л.М.* Указ. соч.; *Губогло М.Н.* Этническая социоллингвистика (1970–1980-е годы) // Академик Ю.В. Бромлей и отечественная этнология. С. 102–138.

⁵³⁸ *Маркова Л.В.* Сергей Александрович Токарев: человек, ученый, педагог // Благодарим судьбу за встречу с ним. (О Сергее Александровиче Токареве – ученом и человеке). С. 50.

нием. Такое расширение было спровоцировано кардинальным изменением контекста объекта исследования – этнической традиции, которая, если несколько упростить, из деревни и истории переместилась в город и современность.

Однако возможны две концептуализации традиции – узкая и широкая, предполагающие соответственно различные объекты исследования. В перспективе задаваемой (ошибочно возводимой к Максус Веберу) дихотомией традиционных и современных, модернизированных обществ, этнография фокусируется на изучении форм выживания, адаптации и взаимодействия традиционных структур и институтов со структурами и институтами модерна. Иначе говоря, традиционная этнографическая тематика накладывается на настоящее и адаптируется к нему, в современности разыскивается традиция. В широкой концептуализации современность оказывается не антитезой этнокультурной традиции, а ее новым состоянием и развитием. В этом случае предмет этнографии потенциально охватывает *всю* современность, а не только ее взаимодействие с этнокультурной традицией.

Подавляющее большинство точек зрения о предмете этнографии и ее задачах по изучению современности, высказывавшихся со второй половины 1960-х годов по середину 1980-х годов, в той или иной мере тяготели к этим двум методологическим позициям. Но это был уже вопрос не предметных границ этнографии, а самого их существования: на кону оказался принцип организации профессионального знания – дисциплинарно-предметный или проблемный. Интерпретация современности как развития этнокультурной традиции и трактовка этноса как сложно организованной историко-этно-социокультурной целостности не вмещались в рамки этнографии, равно как и любой другой отдельно взятой дисциплины. Попытка выделения «своих» тем в этих метапроблемах с неизбежностью вела к ограниченности и фрагментации полученного знания, крайней уязвимо-

сти его теоретической интерпретации. Реконструкция многоаспектных и сложно структурированных целостностей по мотивам сугубо профессиональных сюжетов превращалась в парафраз известной истории о том, как слепцы описывали слона.

Междисциплинарные исследования, интеграция гуманитарного знания, обогащение этнографии методами, концепциями и методиками наук, преуспевших в изучении современности – все это выглядело одновременно вдохновляющей и настораживающей перспективой. Настораживающей, так как скрывало серьезную опасность – размывание качественной специфики этнографии, которой угрожало выпадение из семьи исторических наук, превращение из самостоятельной институционализированной дисциплины с четкими предметными границами в часть неструктурированного (преимущественно социополитического) знания о современности. (Понятно, что трансформация этнографии в гуманитарную метадисциплину образца 1920-х гг. была невозможна.) Даже если эта опасность была гипотетической и весьма отдаленной, ее не могли не почувствовать представители профессионального сообщества, особенно из числа не понаслышке знакомых с длительной борьбой этнографии за самостоятельный статус и приверженных традиционной научной тематике.

Не удивительно, что первым публично проявил свое беспокойство такой тонкий знаток истории русской и зарубежной этнографии, непосредственный свидетель ее взлета и падения в довоенной советской России, как С.А. Токарев. В статье 1967 г. в присущей ему деликатной и ненавязчивой манере он обратился к уточнению предмета этнографии, разграничению задач этнографии и конкретной социологии в области изучения современного общества. В этом предприятии Токарев руководствовался узким пониманием этнокультурной традиции: он пытался наложить традиционную тематику на современность и выделить в ней профессио-

нальные сюжетные линии. Формулируя специфическую проблематику этнографии и дифференцируя ее от социологии, ученый в то же время допускал их наложение: социолог, изучающий народ (т. е. объект этнографии), выступал, по мнению Токарева, как этнограф, и наоборот⁵³⁹. Таким образом, движимый пафосом определения четких границ этнографии и ее места в изучении современности, Токарев фактически признал неизбежность их размывания и интеграции этнографии с другими науками о современности.

Поскольку в интерпретации Токарева современность была синонимом модернизированных обществ, его статья называлась «О задачах этнографического изучения *народов индустриальных стран*» (курсив мой. – Т.С.). В этом смысле ученый находился в русле узкого понимания современности. Фактически у этнографии оказывались две ипостаси: своим рельефным ликом она была обращена к традиционным обществам и их наследию в обществах модернизированных, в то время как в изучении современности (модernизированных обществ) ее четкие черты расплывались, и она решительно сближалась с другими науками о современности – порою до стадии неразличения. Это размывание качественной определенности было очевидным симптомом кризиса теоретико-методологических оснований советской этнографии, который резонировал с нарастанием кризисных явлений в социопрофессиональной организации советского общественно-научного сообщества.

Хотя статья Токарева вызвала к дискуссии о предмете этнографии, на протяжении почти двух десятилетий обсуждение этой проблемы носило пунктирный и подспудный характер, приняв форму интенсивной публичной дискуссии

⁵³⁹ Токарев С.А. О задачах этнографического изучения народов индустриальных стран // СЭ. 1967. № 5. С. 133–142.

лишь в 1987–1988 гг.⁵⁴⁰, когда стал серьезно меняться общественно-политический контекст, и болевые точки советской науки можно было открыто и безбоязненно подвергнуть внутрикорпоративному обсуждению.

Глава 7.2.

ВЫСОКИЙ МОДЕРН И ЕГО ГЕРОИ (Ю.В. КНОРОЗОВ И Г.Е. МАРКОВ: СВОБОДА КАК ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ СТЕРЖЕНЬ)

Догматизм и свобода применительно к науке и ученым – это не про эпоху, не отсылка к внешним (объективным) факторам, это состояние интеллекта и измерение духа, которое именуют волей. Вот основной тезис, развитие и обоснование которого составит содержание данного раздела.

В отношении историографической оценки 30–50-х гг. прошлого века существует не только интеллектуальный, но и моральный консенсус: унификация научной жизни, догматизм и единомыслие представителей научного сообщества, характеризовавшие это время, рассматриваются как

⁵⁴⁰ Бромлей Ю.В., Крюков М.В. Этнография: место в системе наук, школы, методы // СЭ. 1987. № 3. Обсуждение статьи см.: СЭ. 1987. № 4 (выступления А.И. Першица, Ю.И. Семенова, С.И. Вайнштейна, Г.Е. Маркова, А.С. Мыльников); СЭ. 1987. № 5 (выступления Г.В. Старовойтовой, С.А. Арутюнова, А.М. Решетова, В.П. Алексеева); СЭ. 1987. № 6 (выступления Ю.В. Арутюнян, Н.А. Бутинова, В.И. Козлова, К.В. Чистова); СЭ. 1988. № 1 (выступления В.Ф. Горленко, М.В. Крюкова, Ю.В. Бромлей).

результат жесткого политико-идеологического и методологического диктата, репрессивного давления на «несогласных». Не поверхностное декларативно-публицистическое знание, а серьезное изучение архивных и историографических источников того времени подтверждает эти оценки, но одновременно делает картину произошедшего более выпуклой и многомерной. Чудовищная репрессивная машина перемалывала людей вне зависимости от их экзистенциальных качеств и порождала атмосферу страха и доносительства. Научное сообщество скатывалось в безумие аутоагрессии, поиска «чужих», шельмования коллег по цеху быстро и почти с готовностью. Прямолинейная топорная пропаганда добивалась единомыслия поразительно легко, а «уверовавшие» в марксистские догматы, верили вполне искренне и добросовестно. Обстоятельства вынуждали участвовать в «критических проработках» недавних коллег и товарищей, но некоторые из участников «проработочных» дискуссий демонстрировали неподдельный энтузиазм и очень старались.

Здесь напрашивается интересная аналогия. Подобно тому как российское общество, натешившись революционным хаосом 1917–1920 гг., с *облегчением* приняло красный террор, видя в нем восстановление привычно репрессивного порядка, научная интеллигенция с облегчением приняла навязанное в 1930-х годах единомыслие, как восстановление дисциплинарного Космоса/порядка после «опасного» плюрализма и социокультурного экспериментирования 1920-х годов. Возможно, это покажется слишком сильным утверждением, но интеллигенция добровольно отчуждала интеллектуальную свободу и возможность участвовать в сотворении новой интеллектуальной и культурной ткани в пользу «единственно верного метода», предлагавшего психологически привычный и комфортный социальный консенсус, пусть и основанный на догматических установлениях.

В ходе историографических разысканий постепенно кристаллизовалась гипотеза о том, что догматизм и единомыслие внеположены политико-идеологическому и социокультурному контексту, а выступают проекцией таких фундаментальных черт человеческой психики, как конформизм, консерватизм, тяга к социальному консенсусу. Причем указанные черты – это не девиация и не отклонение, а психологическая норма. По справедливому замечанию авторитетного исследователя: «Психологические барьеры и когнитивные стереотипы ограничивают свободу мнений не менее, если не более эффективно, чем политические запреты и финансовое удушение»⁵⁴¹.

Степень интеллектуальной свободы и творческого самовыражения нельзя поставить в прямую и исключительную зависимость от качества администрирования, разумности внешних правил и установлений, благоприятности культурной и идеологической атмосферы. Ведь начальство никогда не бывает образцово объективным, безэмоциональным и беспристрастным, а правила игры до конца справедливыми. Пространство свободы (интеллектуальной и гражданской) – это результат самоопределения и особенностей структуры личности (генетическая данность). Внешние обстоятельства важны, но не сами по себе. Проходя цепь опосредований через человеческую психику, они в схожих условиях стимулируют различные модели восприятия и действия, различные исследовательские и социальные стратегии.

Сталинский «большой террор» – это слишком экстраординарный, экстремальный период в истории страны и общества, чтобы позволить себе морализаторство в отношении массового поведения интеллигенции, чьим императивом

⁵⁴¹ Соловей В.Д. Абсолютное оружие. Основы психологической войны и медиаманипулирования. С. 61.

было простое выживание – физическое и интеллектуальное. Однако послесталинская отечественная история, тем более постсоветская, дают обильный материал для анализа того, как изменение политико-идеологического и культурного климата влияло на интенсивность научной мысли, разнообразие интеллектуальной продукции, степень профессиональной и моральной свободы.

Вот несколько наблюдений. Негативные явления в отечественном гуманитарном знании (утрата экспертного потенциала, остановка теоретической мысли и уход в эмпиризм, «пережевывание» марксистской «талмудической жвачки», клановизация научного сообщества) проявились в позднюю советскую эпоху, в ситуации серьезного размягчения политико-идеологических ограничений и заметного дистанцирования государства от социогуманитарного сектора, что расширяло внутреннюю автономию и пространство свободы при одновременном сохранении лучших черт политики патернализма (стабильного финансирования науки и поддержки высокого социального статуса ученого). «Догматизм и косность» научной мысли того времени, вялость научной корпорации, трудно вывести из социополитического и культурного контекста. Этот контекст точно был более благоприятным, чем в «террористический» сталинский период. «Анемичность» и низкий тонус, характеризовавшие гуманитарный дискурс (разумеется, не весь), скорее вытекали из экзистенциальных качеств деятелей науки.

Позднесоветская гуманитарная интеллигенция осуществляла рационализацию собственного творческого бесплодия или бессилия, ссылаясь на недостаток свободы и директивный диктат, но в глубине души наслаждалась возможностью комфортно прозябать в академических институтах и на университетских кафедрах (там, правда, приходилось преподавать) за казенный счет, шепотом фрондировала на кухне у телевизора. А еще многозначительно намекала на то, что навязанные из сферы идеологии правила игры ею приняты

исключительно *ore et non corde* («на словах, но не в сердце своем»), а «подлинное» приходится писать «в стол».

Крушение СССР – «тоталитарного Левиафана», избавление от директивного управления и методологического диктата, падение идеологического железного занавеса, столь чаемое интеллигенцией обретение интеллектуальной свободы и моральное раскрепощение не привели к интенсификации научной мысли и культурной жизни, к качественным прорывам, появлению научных и культурных шедевров. Написанное «в стол» в брежневский «застой» так и не было явлено миру (вероятно, в ящиках стола было попросту пусто). Что делать с интеллектуальной свободой, было не очень понятно, поэтому ею в очередной раз пожертвовали (добровольно и в природных условиях) в пользу новых правил игры, обещавших «рыночное процветание» наук и искусств. Деидеологизация, составлявшая упование романтической фазы революции рубежа 80–90-х годов XX века, на деле оказалась *реидеологизацией*. Новые догмы и «символы веры» были с легкостью приняты, поскольку обеспечивали быстрое вхождение в состояние привычного и психологически комфортного единомыслия, социального и интеллектуального консенсуса. А то, что произошел идеологический и ценностный разворот на 180 градусов, мало смущало, поскольку человеческая память очень коротка, а умелая пропаганда способна изменить даже наши воспоминания.

Позднее постсоветская интеллигенция привычно упражнялась в рационализации творческой импотенции, пеняя на «крупнейшую геополитическую катастрофу XX века», на скупость новой российской власти, жестокость рынка, неблагоприятное гражданское общество и не очень хорошее знание английского языка.

Важным обстоятельством, приведшим к оформлению замысла данного текста, стал наметившийся в последнее десятилетие «ренессанс» историографии. Невозможность проводить масштабные полевые исследования развернула

исследователя к книге и архивному документу, поиски позитивной определенности оказались локализованными в прошлом из-за отсутствия горизонта будущего, желание сформулировать профессиональное и гражданское кредо теперь реализовывалось через выбор идеального «героя» – все это вместе обеспечило *новое* рождение классического историографического жанра научной биографии.

Подчеркну, что речь не о традиционной биобиблиографии в стиле *Personalia* с ее формально-информативным подходом или рубриках *In Memoria* и «наши юбилеры» с их специфической тональностью и благостными оценками. Лучшие образцы научной биографии основывались и основываются на просопографическом методе⁵⁴², устанавливающим связь между биографией ученого и контекстуальными влияниями, и реконструирующем социальную, культурно-ценностную и психологическую детерминированность теоретических предпочтений, а также особенностей исследовательской стратегии и коммуникативного стиля.

Научный континуум как целостность и неразрывность определяют люди и ученые, воплощающие дисциплинарную и психологическую нормальность и стихийно (бессознательно) выступающие хранителями статус-кво и научной традиции. Именно конформное и консервативное большинство гарантирует (определяет) дисциплинарный Космос-порядок и не дает научному социуму сорваться в штопор слишком быстрых губительных перемен. Коллективная биография научного сообщества, состоящая из личных историй, сублимирует общественные настроения, отражает интеллектуальную и культурную моду, воспроизводит структуру внутрикорпоративных и межличностных отношений, и в этом смысле оказывается

⁵⁴² Подробнее об этом см.: Алымов С.С., Арзютов Д.В. Указ. соч. С. 26–27.

эффективным способом погрузиться в ткань эпохи, уловить ее специфику.

Однако наибольший историографический интерес представляют масштабные фигуры, выступающие локомотивом перемен – революционных или эволюционных – в интеллектуальной сфере. Их научные биографии взламывают историографические и науковедческие аксиомы, касающиеся логики научных открытий, соотношения полевых и кабинетных исследований, влияния идеологии и политики на науку. Зачастую высокую научную результативность и тем более научные прорывы не удается представить проекцией внутридисциплинарной динамики и благоприятной идеологической и культурной атмосферы. История отечественной этнологии свидетельствует о том, что несвобода способна оплодотворять интеллектуала едва ли не успешнее, чем свобода, включая механизм воли к сопротивлению. То есть главным оказывается *наличие* этой воли, а еще внутренней раскрепощенности, способности к визионерству (выходу за привычный научный горизонт) и интеллектуальной интуиции.

На мой взгляд, два исследователя – каждый из них на свой манер – воплощали научный прогрессизм и нонконформизм в отечественной этнологии эпохи высокого модерна, когда, кажется, было сказано и написано все самое главное.

Один из них – Ю.В. Кнорозов – научный гений «вне сопоставлений и конкуренции современников», чья биография «полная тяжелых испытаний, совпадений, парадоксов и даже мистификаций, полностью соответствует легенде о гениальной личности»⁵⁴³. Его мировая известность связана с феноменальным научным прорывом – дешифровкой письменности майя. Но историографический интерес к его

личности я испытала по прочтении биографического очерка, написанного ученицей Кнорозова, крупным российским ученым Г.Г. Ершовой. Этот очерк носит функциональный характер, будучи подчинен основной цели книги – раскрыть культурный код цивилизации майя. Здесь нет систематического изложения биографических вех или анализа научного наследия Кнорозова. Однако автору удалось выделить реперные точки жизненного пути советского ученого и уловить психоэмоциональные константы его личности. Это пронзительный и глубокий рассказ о гениальной интуиции, легендарном открытии, родившемся на кончике пера, и жизни как легенде.

Другой – Г.Е. Марков – крупный историк, археолог и этнолог, оказал автору этого очерка высокую честь быть ее научным руководителем. Основоположник нового научного направления в этнологии – нomaдологии (кочевниковедения), он буквально взорвал статус-кво, выступив автором оригинальной теории социально-экономических отношений в кочевых обществах. Его монография «Кочевники Азии» (1976) представляла собой основательно верифицированный и блестяще аргументированный вызов господствующим научно-идеологическим конструктам вроде «кочевого феодализма».

Судьбы обоих ученых испещрены знаками времени: неоднозначные 1930-е, грозные военные годы, хрущевская «оттепель», стабильность поздней советской эпохи, превратившаяся в брежневский «застой», крушение СССР, кардинальные трансформации 1990-х отразились на их человеческих и научных биографиях точно так же, как они «перепахали» судьбы миллионов их соотечественников. В биографиях ученых есть совпадения: почти ровесники (Кнорозов годом старше Маркова), одного типа социализации, оба прошли войну, связали свою жизнь с этнографией. Есть определенное сходство в характеристике психологиче-

⁵⁴³ Ершова Г.Г. Древняя Америка: полет во времени и пространстве. Мезоамерика. 2-е изд. М.: Новый Акрополь, 2007. С. 138.

ских профилей – склонность следовать собственным путем в жизни и науке, независимость выводов и оценок.

Легко улавливается и ключевое различие в интеллектуальных стилях этих больших ученых. Кнорозов относился к науке – как к игре, к научным головоломкам – как к вызову, демонстрировал юношеский азарт и дерзость игрока за научным «карточным столом», где ставками обычно выступают ученые степени и звания, административно-карьерные амбиции, приятие и уважение корпорации. Он, кажется, был чужд любых форм социальности, не чувствителен к репутационным приобретениям/потерям, маргинален и одновременно аристократичен в непритязательности к бытовому комфорту. Он легко увлекался и так же легко остывал в своих увлечениях и порывах, нутром чувствуя подлинность и фальшь. Он бессознательно тяготел к кабинетной работе, предпочитая озарение глубоких размышлений рутине этнографического/археологического поля.

Г.Е. Марков воплощал академический «большой стиль», чьи базовые характеристики составляют «основательность и последовательность в науке, здоровый скепсис в отношении сиюминутной моды и интеллектуальной конъюнктуры»⁵⁴⁴. Он всегда находился в научном мейнстриме – солидный ученый, играющий по солидным правилам. Он сочетал качества блестящего полевика и блестящего аналитика и теоретика. Не бунтарь и не фрондер, он, тем не менее, не относился к числу «колеблющихся вместе с линией партии». Имея неизменно респектабельную репутацию в ин-

теллектуальном сообществе, держался наособицу, не примыкая ни к одному научному клану, принципиально не участвуя в заговорах и комплотах. Был цельным человеком, но никогда рабом одной идеи, демонстрируя гибкость, пластичность и открытость ума.

Столь высокая научная результативность обоих ученых, пусть и достигнутая разными путями, вызывает желание реконструировать историю этого впечатляющего успеха, выявить его предпосылки, попытаться уловить закономерности, ведущие к научным открытиям и качественным сдвигам. Обаяние такой реконструкции не требует объяснений и доводов: обнаружение «волшебной отмычки», раскрепощающей интеллект и подстегивающей силу мысли, есть упование всякого, кто посвятил себя науке.

Сформулирую вопросы, которые будут задавать логику изложения. Что выступает в роли триггеров научного самоопределения? Является ли поле обязательным условием профессиональной самореализации и/или научного открытия? Как политико-идеологическая рамка психологически опосредуется ученым и адаптируется к исследовательской и жизненной стратегиям?

Своевольный нрав, «плохое поведение», разбросанность увлечений, авантюрная жилка, – так Г.Г. Ершова характеризует психологический портрет неординарной личности Кнорозова. Складывается впечатление, что именно маргинальность (без негативной коннотации) ученого составила основание научного успеха.

Здесь можно сослаться на теоретические выводы известного британского психолога Ричарда Линна: «Низкий уровень социального конформизма и некоторый психотизм, по-видимому, благоприятствуют творческим достижениям, потому что они снижают тревогу по поводу социального неодобрения и, вероятно, облегчают генерацию ори-

⁵⁴⁴ Аникин Н.В., Соловей Т.Д., Функ Д.А. Большой стиль в науке. Памяти д.и.н., проф. Г.Е. Маркова (21.06.1923–03.04.2018) // Революции светские, религиозные, научные. Динамика интеллектуального дискурса / Сб. науч. ст. / Отв. ред. Т.Д. Соловей. СПб.: Алетейя, 2018. С. 9.

гинальных идей, необходимых на высших уровнях научного поиска»⁵⁴⁵.

Биография Кнорозова блестяще подтверждает эти выкладки. А еще ставит под сомнение попытку представить гениальное открытие как результат длительного поступательного научного поиска или констелляцию благоприятно сложившихся объективных обстоятельств.

Решение дешифровать письменность майя Кнорозов принял *спонтанно* как пари или вызов. Интерес к цивилизации майя никак не вытекал из научного бэкграунда и/или специализации молодого ученого. Он пришел на кафедру этнографии Московского университета в 1946 г., питая особый интерес к шаманским практикам. Собирали материалы для дипломной работы в поле. Участвовал в суфийском зикре, наблюдал шаманский экстаз и шаманское прорицание. Испытал разочарование, но не в шаманизме как культурной традиции, а в шаманстве как прикладном/практическом действе, интуитивно почувствовав имитационный, профанирующий характер происходящего.

Радикально переориентировался под влиянием случая⁵⁴⁶. Попытки постфактум мистифицировать обстоятельства этого *вдруг* возникшего интереса указаниями на то, что в распоряжении Кнорозова оказались ценные книги и документы, будто бы вывезенные им из Берлина, выглядят как моральное и интеллектуальное шулерство. Все доступные письменные, археологические и иные источники, давно находились в распоряжении западных майянистов и их неформального лидера Эрика Томпсона, но не приблизили к решению этой научной головоломки. Ключевыми в той ситуации оказалось не наличие источников, но структура интеллекта и состояние

внутренней раскрепощенности, не сообразовывающейся с внешними авторитетами и научной аксиоматикой. Образно выражаясь, если «хворост сух» (качество интеллекта), то «запал» (научные артефакты) сыщется.

И уж точно научный прорыв Кнорозова невозможно вывести из биографических коллизий и «благоприятного» стечения внешних факторов. Скорее это был успех *вопреки* обстоятельствам.

Кнорозов отказался от перспективного предложения тогдашнего заведующего кафедрой и одновременно директора Института этнографии С.П. Толстова, пытавшегося приохотить талантливого выпускника к исследованию древнего Хорезма. Легко реконструировать почему. Главная загадка – открытие цивилизации Хорезма как таковой – уже была разгадана. К «полю» – рутине археологических и этнографических реалий – Кнорозов страсти не чувствовал, просто было не интересно, не «цепляло». За дерзость поплатился, не получив рекомендации в аспирантуру.

«Поддержку» С.А. Токарева, находившегося в вечных контрах с Толстовым, принял, прекрасно осознавая ее мотивы и не питая иллюзий в отношении маститого ученого, категорически не верившего в возможность дешифровки майяской письменности. Кроме того, они с новым научным руководителем воплощали слишком разные научные стили. Энциклопедическая память и блестящая склонность к систематизации, позволявшие Токареву создавать фундаментальные научные компендиумы, не могли служить интеллектуальным ориентиром для дерзкого порывистого ума Кнорозова.

Дорога в аспирантуру была закрыта из-за того, что его родные оказались на оккупированной врагом территории. Влияние и связи Токарева в научном мире помогли трудоустройству Кнорозова в качестве м.н.с. в Музей этнографии народов СССР в Ленинграде. Вот несколько пронзительных зарисовок Г.Г. Ершовой, описывающих, как выглядела «ла-

⁵⁴⁵ Линн Р. Расовые различия в интеллекте. Эволюционный анализ. М.: Профит Стайл, 2010. С. 254.

⁵⁴⁶ Подробнее об этом см.: Ершова Г.Г. Указ. соч. С. 140.

боратория» гениального научного открытия: «Тут (в здании музея. – Т.С.), в длинной, как пенал, комнате, и поселился младший научный сотрудник без научной степени. От пола до потолка комната была забита книгами, по стенам он развесил прорисовки иероглифов майя. Из мебели были только письменный стол и солдатская койка. Рассказывают, что уже тогда под столом у него стояла целая батарея бутылок – эта беда преследовала его всю жизнь»⁵⁴⁷. И еще: «В обязанности младшего научного сотрудника входило разбирать и мыть экспонаты музея, пострадавшего при бомбардировках. Но, занимаясь, по его словам, “черновой музейной работой без претензий”, он все свое свободное время посвящал главному – дешифровке письма майя»⁵⁴⁸.

К началу 1950-х годов письменность майя была взломана, а первая публикация результатов дешифровки состоялась в 1952 г. Предстояла защита кандидатской диссертации в качестве соискателя. Здесь возникали риски отнюдь не только интеллектуальные (оказаться непонятым научной корпорацией, подвергнуться осуждению за дерзость молодости, попирающей привычный порядок *поступательного восхождения* к научным открытиям), но и социальные, и даже прямая витальная угроза.

Сталинская эпоха была на излете, но террористический стиль взаимоотношений власти с наукой все еще проявлялся «весомо, грубо, зримо». Даже уход в первобытность и этническую историю, не говоря уже о «горячей» современности, хотя и расширял пространство интеллектуальной свободы, не гарантировал ее в полном объеме. И в области первобытности бросил якорь марксизм в виде канонизированной работы Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства», которая ос-

новывалась на во многом устаревшей и ошибочной концепции первобытности Л.Г. Моргана. Что касается цивилизации майя, здесь марксистская догма присутствовала в форме мнения Энгельса об отсутствии государств в доколумбовой Америке. Псевдологическим развитием этой догмы выступал тезис о категорическом отсутствии у майя фонетической письменности, как продукта исключительно классовых государственных образований. Попытка научного обоснования обратного автоматически вела к ревизии положений Энгельса, что чревато было непредсказуемыми последствиями.

Хотя тема диссертации была сформулирована нейтрально: «"Сообщение о делах в Юкатане" Диего де Ланды как этно-исторический источник», в качестве основной задачи ставилось доказательство наличия государства и фонетического письма у индейцев майя. Защита проходила в Москве 29 марта 1955 г. и полностью соответствовала имиджевой легенде о научном гении и его открытии. Выступление Кнорозова на ученом совете «длилось ровно три с половиной минуты»⁵⁴⁹, а результатом стало присвоение ученой степени не кандидата, а доктора исторических наук.

История этого научного открытия взламывает практически все историографические и науковедческие аксиомы. Дешифровку письменности майя невозможно представить как объективный и закономерный результат длительного научного поиска и масштабных полевых исследований. По крайней мере можно констатировать полное отсутствие *личного* полевого опыта у Кнорозова.

Западными исследователями во главе с Эриком Томпсоном в ходе *многолетних* полевых исследований был освоен значительный массив археологических артефактов, связан-

⁵⁴⁷ Ершова Г.Г. Указ. соч. С. 141.

⁵⁴⁸ Там же. С. 141.

⁵⁴⁹ Там же. С. 145.

ных с цивилизацией майя. Они обладали исчерпывающим доступом к немногим сохранившимся образцам письменности майя. Однако это не приблизило их к разгадке и даже к формированию пресловутой «нити исследования». Решение задачи не поддавалось никакой логике. Существовал хаос версий и научных гипотез, из которого наугад выхватывались то одна, то другая, но прорыва не произошло. Головоломка была объявлена нерешаемой, а точкой консенсуса стало мнение Томпсона, будто, речь может идти лишь о предположительном истолковании значения того или иного символа майяской письменности.

Парадоксально, но советский ученый, ни разу не побывавший в Гватемале и Мексике, сделал то, что оказалось не под силу многим исследователям из разных стран: не выходя из кабинета, он дешифровал древнее письмо, основываясь исключительно на текстах трех сохранившихся рукописей. А позднее отчеканил свое исследовательское кредо: «Я кабинетный ученый. Чтобы работать с текстами, нет необходимости лазать по пирамидам»⁵⁵⁰. Едва ли эти слова можно характеризовать как самонадеянность и бахвальство, ведь эффективность научной стратегии проверяется ее результативностью, а результат был, как говорится, налицо. В этой максиме присутствовал явный оттенок горечи – Кнорозов был, как и миллионы советских граждан, «невъездным» (характерное слово эпохи). К счастью, его блестящий интеллект оказался способен преодолевать пространство и время.

Трудно обнаружить заметное влияние идейно-политической рамки на Кнорозова и его творческую лабораторию. Он как будто выпадал из нее, бессознательно игнорируя внешние факторы и ограничители. Вел себя в жизни и в науке так свободно, будто имел на это право, данное «свыше» или «сверху». Препятствиями для него не стали ни железный

⁵⁵⁰ Цит. по: *Ершова Г.Г.* Указ. соч. С. 145.

занавес и непроницаемость внешних границ, ни идеологический и методологический диктат. Тем более что осторожный пересмотр той части интеллектуального наследства классиков марксизма, которая касалась первобытности, начался еще при Сталине, и ускорился после его смерти.

Проблему составляли люди и интеллектуальная инерция, вытекавшая из их склонности абсолютизировать статус-кво. Сменялись эпохи, политические системы, лидеры, идеологические и культурно-ценностные презумпции, но люди в своем фундаментальном основании оставались прежними, и не могли избежать соблазна использовать марксизм или иной «изм» (нужное подставить), как идеологическую/ценностную дубинку в междоусобной, внутрикорпоративной борьбе.

Главными приводными ремнями научной биографии и судьбы научного наследия Кнорозова стали не идеология и политика, не советский тоталитаризм и не холодная война, а люди со своими предрассудками, когнитивными заблуждениями, страхами и комплексами, которые внеположены времени и географии. Вот уж воистину, в этом мире все делают люди, через людей, во имя людей или против них. И движут ими не сложные интеллектуальные или ценностные императивы, а зависть, трусость и жадность.

На триумфальной защите Кнорозова единственным, кто голосовал против присуждения ему докторской степени, оказался его научный руководитель С.А. Токарев.

Глава американской школы майяистики Эрик Томпсон, чей каталог знаков майяской письменности, плод многолетних усилий, сразу же после издания в 1956 г. устарел, бесконечно долго изливал желчь по поводу этих «набежавших детей улицы», имея в виду молодого советского ученого. И дело вовсе не в холодной войне и противостоянии двух сверхдержав, а в простой человеческой зависти.

В начале 1960-х годов, в «оттепельную» хрущевскую пору, группа жуликоватых программистов из Новосибир-

ска, присвоив все материалы ученого, вскоре объявила об успешной разработке «теории машинной дешифровки» и издала в четырех томах компьютеризированную *базу данных Кнорозова*.

Беда в том, что падкая на дешевые сенсации малосведущая публика легко поставила под сомнение подлинные результаты дешифровки. А великолепную монографию Кнорозова «Письменность индейцев майя» 1963 г. она явно не читала.

Заслуженное признание пришло лишь в 1975 году: с публикацией перевода рукописей ученому была присуждена Государственная премия СССР.

Позднее, уже в эпоху перестройки, появился бесталаный (в отличие от талантливого открытия блестящего исследователя), а потому откровенно оскорбительный сценарий Эдварда Радзинского, написанный для съемок фильма о тайнах письмен майя. По сценарию дешифровщик приезжает из зимнего Ленинграда в Мексику в теплой шубе. Сценарий не был опубликован, и фильм не был снят.

В Гватемале, стране майя, Кнорозов впервые побывал в 1990-м, а с 1995 г. регулярно ездил в Мексику по приглашению Национального института истории и антропологии. В 1995 г. в посольстве Мексики в Москве ему вручили серебряный орден Астекского орла (таких в нашей стране всего четыре).

Точно в соответствии с имиджевой легендой научного гения Кнорозов умер в полном одиночестве в коридоре городской больницы 30 марта 1999 г. Дирекция Кунсткамеры не сочла возможным предоставить зал музея для прощания с крупнейшим ученым, когда-либо работавшим в стенах этого учреждения. Прощались с ним в тесном больничном морге, а похоронили далеко за городской чертой на кладбище, похожем на мусорную свалку. И происходило это не в тоталитарном СССР, а в свободной демократической России.

Думается, что подобный научный и жизненный опыт во многом уникален и неповторим, но вместе с тем стимулирует небезынтересные размышления и выводы. Минималистское резюме можно сформулировать следующим образом: нормативистские характеристики ученого, а также общепринятая (или широко разделяемая) логика научного поиска и научного открытия далеко не исчерпывают разнообразие форм (само)реализации в науке. И на символический вопрос: «А что, можно было и так?», каждый отвечает себе сам, формируя пространство личной свободы.

Респектабельная биография, безукоризненная репутация, бесспорное научное признание – так можно резюмировать итоги жизни и профессиональной деятельности профессора Г.Е. Маркова.

Подобная научная стезя *выглядит* как результат благоприятного стечения личных (биографических) и внешних (контекстуальных) обстоятельств. Марков представляется баловнем судьбы, которого не коснулись политические, социокультурные, внутридисциплинарные и житейские коллизии.

Противоречивые 30-е годы XX века благополучно миновали семью потомственных русских интеллигентов, в которой рос Марков. Влияние дяди, известного археолога и этнолога В.Н. Чернецова рано сформировало круг интересов подростка – история и этнография Азии. Этот интерес был впоследствии успешно реализован и конвертирован в крупный научный прорыв. Великая Отечественная война, которую Марков прошел с первых дней до победного мая 1945 г., благоприятствовала его личностному росту: несколько наград, боевой опыт и знание немецкого обрекали его на блестящую военную карьеру. А в послевоенном контексте, где царила героизация военной службы и торжествовала советская версия маскулинности, выбор в пользу военной профессии оказывался едва ли не лучшим способом самореализации.

Будущий ученый сделал выбор в пользу науки. Выбор рискованный, поскольку едва ли относился к моделям социально одобряемого поведения. Об этом Марков говорил в своем последнем интервью: «Меня моя военная специальность как-то не увлекала... Я хотел учиться, заниматься этнографией, и я начал писать заявления, написал в общей сложности 15 заявлений. В конечном счете, меня отпустили и дали бумажку. Когда потом в Москве разные начальники смотрели на эту бумажку, они глазам своим не верили – там было написано “уволен по личной просьбе”»⁵⁵¹.

В студенческие и аспирантские годы на кафедре этнографии МГУ (1946–1954) последовательность и основательность как личностные константы проявились в полной мере. Студентом Марков возглавил этнографический отряд Хорезмской экспедиции, сумев проложить собственную исследовательскую колею в изучении Средней Азии. И это в ситуации, когда эта сфера (цивилизация Хорезма) была фактически монополизирована амбициозным, не терпевшим конкуренции Толстовым.

Его первая (аспирантская) научная статья была издана в Англии⁵⁵² в 1954 г. Факт весьма редкий по тем временам. Кандидатская диссертация, посвященная истории формирования северных туркмен, была успешно защищена в том же году. Здесь надо иметь в виду, что востоковедная проблематика находилась на пике интеллектуальной моды и одновременно являлась одним из императивов советской политики модернизации, то есть представляла собой остро-

⁵⁵¹ Интервью с Г.Е. Марковым // Проблемно-тематическое пространство и теоретические границы современной этнологии. М., 2013. С. 24.

⁵⁵² The Turkmen population of the Khorasm oasis // Asian Review. № 184. Vol. 1. October 1954. P. 22–39.

конкурентную среду, где Марков не потерялся, обозначив серьезные научные позиции.

Не в последнюю очередь этот успех вытекал из того, что молодой исследователь обнаружил редкую способность сочетать полевую и аналитическую работу, демонстрируя *одинаково* высокий уровень в этих качественно различных формах научной активности. Тридцать полевых сезонов Маркова в Средней Азии (преимущественно в Туркмении) невозможно представить как реализацию бессознательной тяги к кочевому образу жизни, романтике бродяжничества. Поле в этом случае было инструментом познания, верификации научных гипотез. Все более заметный крен в пользу поля археологического с его ясной структурой, вытекавшей из предметной определенности самой дисциплины (в отличие от поля этнографического, где превалировал интуитивистский подход), лишь подтверждает это. Выдвигаемые научные положения исследователь всегда будет сверять с фактами, а не с мнениями тех или иных авторитетов.

Научное становление Маркова происходило в отнюдь не вегетарианском политико-идеологическом контексте. Только что (во второй половине 1950-х) завершилась первая дискуссия об «азиатском способе производства», сопровождавшаяся «оргвыводами», а в 1930-х годах репрессиями. Сталинская классификация этнических общностей, соотнесенная с формационными стадиями марксистской версии эволюционизма, по-прежнему задавала методологическую рамку советской этнографии (пускай даже эта рамка становилась все менее ригидной). А практики социалистической модернизации и этнонационального строительства формировали специфическую тональность научных интерпретаций: «Все республики в СССР считались равными в их историческом уровне, т. е. они (само)утверждались как государственные образования с классовой

структурой общества, мифическими или реальными героями-предками»⁵⁵³.

В бурных дискуссиях 1950–1960-х годов рождались монументальные конструкты вроде кочевого феодализма, за которыми стояли мастодонты этнографической науки М.П. Грязнов, С.П. Толстов, Л.П. Потапов, чья научная репутация подкреплялась административными постами и званиями. Двигаться приходилось по очень тонкому льду. Хотя после смерти Сталина и особенно после XX съезда КПСС началась постепенная *гуманизация* социального пространства, а «боязнь мыслить иначе, чем велит начальство, стала постепенно проходить»⁵⁵⁴, интеллектуальная и морально-психологическая инерция была еще очень сильна.

Кандидатская диссертация Маркова базировалась на уникальном историческом и этнологическом материале; позже она легла в основу монографии «Очерк истории формирования северных туркмен» (1961). В 1967 г. была защищена докторская диссертация на тему «Кочевники Азии». В момент защиты диссертации ученому едва исполнилось 44 года. Между тем «в то время существовал неписанный, но достаточно строго соблюдаемый обычай допускать к защите таких диссертаций (докторских. – Т.С.) людей лишь по достижении ими полувекового возраста»⁵⁵⁵.

В 1976 г. увидела свет одноименная фундаментальная монография, вызвавшая широкий резонанс как в СССР, так и за рубежом. В книге («Кочевники Азии». – Т.С.) на основе детального анализа экономики и социальной структуры наиболее известных кочевых в прошлом народов (арабов,

⁵⁵³ Калиновская Е.П. Научное открытие в контексте эпохи. О монографии Г.Е. Маркова «Кочевники Азии» (1976) // Революции светские, религиозные, научные. Динамика гуманитарного дискурса. С. 31.

⁵⁵⁴ Семенов Ю.И. О моем «пути в первобытность». С. 168.

⁵⁵⁵ Там же. С. 200.

казахов, монголов, туркмен и др.) вскрывалась ошибочность основанных на догматическом толковании взглядов о существовании у кочевников феодальных или патриархально-феодальных отношений. Марков убедительно доказывал, что кочевники никогда не были феодально-зависимым населением; ему удалось показать, что сама по себе «феодальная концепция» на деле служила целям исторического оправдания и идеологического обеспечения многочисленных эксцессов политики, проводившихся в отношении кочевых народов советской Средней Азии.

Неординарным для эпохи 70-х годов XX века был взгляд Маркова на проблему включения туркменских племен в состав Российской империи: в монографии и ряде других публикаций он не побоялся впервые в отечественной науке выступить с публичным опровержением официозной партийно-советской точки зрения о якобы «добровольном присоединении» туркмен к России.

Непростительная молодость, а также новизна идей и самостоятельность суждений ученого, радикально ревизовавших концепцию «кочевого феодализма», *могли* составить проблему. Могли, но не составили. Почему?

Общество «зрелого социализма» оказалось на пересечении противоречивых тенденций. С одной стороны, «в то время вошла в моду формула “научный подход”. Новый лидер (Брежнев. – Т.С.) демонстрировал уважение к ученым и профессионалам»⁵⁵⁶. С другой стороны, в начале 1970-х была насильственно оборвана начавшаяся в 1964 г. вторая дискуссия об азиатском способе производства, и, по образному выражению авторитетного свидетеля эпохи, «шла

⁵⁵⁶ Баграмов Э.А. Национальная проблематика прежде и теперь (субъективные заметки) // Академик Ю.В. Бромлей и отечественная этнология. С. 56.

борьба с «отсебятиной»⁵⁵⁷. Оба суждения верны, характеризую советский «патернализм», плюсы и минусы которого неразрывны. Но здесь ускользает немаловажное обстоятельство: «пещерные нравы»⁵⁵⁸ того времени, характеризуют не систему (несравненно более гуманную, чем прежде), а людей науки и около науки.

Успех книги Маркова с ее радикальной новизной как минимум свидетельствовал об отсутствии прямой и директивной цензуры. «Всевидающее око» партийных инстанций и властных структур контролировало гуманитарный сектор периферийным зрением, уже хотя бы потому, что экспертный потенциал социогуманитарного знания вызывал серьезное недоверие и был невостребован. Движение научной мысли ограничивали не столько власть и идеологические зажимы, сколько догматизм сознания и вялость интеллекта.

Академическая добротность исследовательского стиля Маркова (мощная эмпирическая база, широкое использование сравнительного материала, глубокая проработка историографии) практически не оставляла пространства для критики *научной*. Что касается возможных *идеологических* или культурно-ценностных инвектив, то Марков, не принадлежа к секте марксистов-догматиков, использовал эвристический потенциал этой влиятельной интеллектуальной доктрины, инкорпорируя ее концептуальные подходы в исследование. Использовал, но не играл в марксизм, ссылаясь к месту и не к месту на «пророков марксистского откровения» и жонглируя их цитатами.

Его мир, исследовательский и человеческий, был абсолютно разомкнутым, как будто идеологические и социокультурные барьеры «среднего» и «позднего» СССР, находящегося в состоянии перманентной «холодной войны»

⁵⁵⁷ Семенов Ю.И. Указ. соч. С. 177.

⁵⁵⁸ Баграмов Э.А. Указ соч. С. 52.

с Западом, не существовали вовсе. Если гений Кнорозова преодолевал эти барьеры ментально, академическая респектабельность Маркова смогла преодолеть их физически. С середины 1960-х гг. он систематически читал лекционные курсы в европейских странах (ФРГ, Западном Берлине, ГДР, Австрии, Швейцарии, Югославии), поспособствовав росту интереса к отечественной науке за рубежом. В конце 1970-х гг. в течение года исполнял обязанности директора Института этнологии Свободного университета Западного Берлина, где организовал ряд семинаров по российской тематике, привлечших пристальное внимание западных ученых. Никаких проблем (идейно-политических, концептуальных) в ходе научных контактов с западными коллегами, по его собственному признанию, Марков не испытывал: «На Западе никаких проблем у меня не было. Дело в том, что я *никогда не занимался агитацией* (курсив мой. – Т.С.), а излагал свою точку зрения, которая, впрочем, насколько не противоречила существующим у нас позициям»⁵⁵⁹.

Маркову удавалось решительно все. Он успешно реализовал себя как организатор науки на посту заведующего кафедрой этнографии Московского университета (1973–1986) и как педагог, давший старт армии студентов, десяткам аспирантов и докторантов. При этом был носителем очень специфической педагогической модели: аристократически сдержанный и холодно отстраненный, он лишь транслировал цеховую традицию и передавал профессиональное знание, но не был наставником, покровителем или опекуном своих учеников. Он, кажется, даже не ставил цели *влиять* на умы, но вызывал неотвратимое желание подражать такому исследовательскому и человеческому стилю.

Прекрасно осознавая ограниченность человеческих возможностей и неумолимость внешних обстоятельств, Мар-

⁵⁵⁹ Интервью с Г.Е. Марковым // Указ. соч. С. 28.

ков все делал вовремя. Утратив возможность работать в поле, переориентировался в область историографии: серия книг по истории немецкой этнологии и народоведения (включая стигматизированный «нацистский период»)⁵⁶⁰, демонстрировала глубину и свободу интеллекта, не ангажированного идеологическими и ценностными презумпциями, а также иной «вкусовщиной».

С течением времени оставил преподавание, сохранив статус профессора-консультанта. Поступок исключительный для университетской корпорации, которую редко покидают в силу возрастных и/или физиологических ограничений.

Благодаря самодисциплине и аскезе самоограничения прожил долгую жизнь, сохранив ясность ума и работоспособность до последних дней. Ушел из жизни 3 апреля 2018 г., когда оставалось около трех месяцев до 95-летнего юбилея. Рядом с ним была верная жена и соратница. На прощании с Г.Е. Марковым присутствовало едва ли полтора десятка человек. Точно в соответствии с излюбленной максимой профессора, «никогда не ходить на банкеты, юбилеи и похороны».

В отличие от своеобычного мрачного гения Кнорозова, Марков вполне укладывается в нормативистские характеристики крупного ученого, воплощавшего большой академический стиль. Вместе с тем обе модели профессиональной самореализации неумолимо подводят к выводу, что главными *акторами* научного успеха/неудачи выступают не политика и идеология, не культурная и интеллектуальная атмосфера, не внутринаучная динамика, а сами ученые,

структура их личности, особенности интеллекта, психоэмоциональный профиль. Воля как экзистенциальный стержень и свобода как базовая генетическая характеристика, прокладывают новые пути в науке, формируя контуры ее будущего. Там, где есть воля, найдется и путь.

Марков, чье умонастроение, жизненную и научную стратегию составлял оптимизм, был, тем не менее, прекрасным знатоком фундаментальной природы человека. Принципиальный противник групповщины, безгласно относившийся к комплотам, заговорам и кампанейщине, он не раз подвергался атакам «ревнителей научного благочестия», которых раздражали аристократизм манер, независимость оценок, принципиальное неучастие в коллективных банкетах, а еще загранпоездки профессора. Он прекрасно держал удар, не отвечая на выпады и не вступая в конфронтацию, а противопоставлял разрушительному дискурсу позитивную определенность научных практик (более двух сотен научных трудов и международное признание).

Подобно лучшим представителям эпохи высокого модерна, Кнорозов и Марков *убеждали* самим фактом своего существования.

⁵⁶⁰ Марков Г.Е. Очерки истории науки о народах. Немецкая этнология. М., 1993. 391 с.; *Его же*. Очерки истории науки о народах. Немецкое народоведение. М., 1993. 136 с.; *Его же*. Немецкая этнология. Учебное пособие для вузов. М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2004. 576 с.

ОЧЕРК ВОСЬМОЙ

ЗАКЛИНАТЕЛИ ХАОСА ЭПОХИ ПОСТНАУКИ

Глава 8.1.

ГИБЕЛЬ СОВЕТСКОЙ ЭТНОГРАФИИ. КОНТЕКСТ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭТНОЛОГИИ В 1990-е годы

Дабы не создать превратного представления, что заголовком этого очерка предрекается смерть этнологической науки как таковой, обращаю внимание, что речь идет о *советской* этнографии, т.е. об исторически обусловленном социокультурном институте, подсистеме грандиозной коммунистической системы, пережившей вместе с ней взлет, расцвет и вместе с ней погибнувшей. Хотя многие элементы советской этнографии – организационная структура, система учебной подготовки и кадровый потенциал, сложившаяся в прежнюю эпоху научная проблематика и, отчасти, теоретико-методологический арсенал – продолжали свое инерционное существование (такого рода инерция, сохранение остатков неизбежны в случае с мощными социальными явлениями), советская наука (и этнография как ее часть) прекратила свое существование в качестве особого института с присущей ему легитимацией.

Каждая из составных частей советской системы умирала по-своему: одни – быстро и безболезненно, другие – мед-

ленно и мучительно. Но даже если руины советского строя составляют неотъемлемую часть постсоветского ландшафта, сам этот ландшафт кардинально изменился. При некотором внешнем сходстве явлений их суть стала иной. Проблема в том, как приблизиться к пониманию этой сути: когда в фокусе анализа находятся развивающиеся внутренне противоречивые и открытые процессы, выявить их логику и глубинный смысл чаще всего удается лишь *aposterioru*, находясь на историческом отдалении. Поэтому если смерть советской этнографии можно зафиксировать с почти что патологоанатомической точностью, то дать *сущностную* (а не описательную) характеристику феномена, возникающего на ее руинах, не в пример более затруднительно. Но и отказ от такой характеристики был бы пренебрежением профессиональным долгом, тем более что три десятилетия жизни постсоветской этнологии предоставляют немало материала для обобщающих оценок.

На руинах советской науки (1990-е годы)

В анализе развития советской этнографии красной нитью проходит мысль, что ее недостатки и достоинства, подобно двум сторонам одной медали, были неразрывно связаны, и что эта амбивалентность советской науки была следствием ее системообразующих принципов, проекцией капитальных оснований коммунистической системы. Поэтому попытаться разделить положительные и негативные аспекты советской науки все равно, что пытаться сохранить свойство огня согреть, лишив его способности обжигать. Патерналистская политика советского государства в отношении науки и образования была критически важным условием их успешного развития и в то же время поощряла вялость и паразитизм в науке. На социогуманитарное знание, к которому относилась этнография, парализующее воздействие оказывали неоправданные и абсурдные ограничения теоре-

тико-методологического свойства, табуирование части профессиональной проблематики, особенно относящейся к изучению современности.

Изменение общественно-политического контекста во второй половине 1980-х годов открыло возможность критики издержек патерналистской политики в науке и предоставило шанс повышения статуса этнологии, которая в условиях национального взрыва в СССР оказалась весьма актуальной дисциплиной. Однако этот шанс не удалось реализовать: потребность в экспертизе национальной проблематики стала остро ощущаться властью лишь в конце 1980-х гг., когда этнополитическая динамика приобрела самоподдерживающийся характер, в то время как способность государства к решительным действиям прогрессирующе снижалась.

Видимо, следует согласиться с распространенным мнением, что значимость национального фактора и потенциал этнической энергии в СССР изначально недооценивались (если не игнорировались) советским руководством, которое в своей политике рассматривало национальное как вторичное и производное от социально-политического и социально-экономического факторов. Соответственно государственная стратегия строилась в расчете на то, что экономические преобразования, политическая демократизация и решение социальных проблем ликвидируют основания для этнического партикуляризма или решительно минимизируют его. Когда же спохватились, то оказалось уже поздно: поезд национализма на всех парах мчался к финалу СССР. Экспертные оценки и строившиеся на них проекты преобразования Советского Союза не поспевали за драматически быстро менявшейся реальностью. Поэтому участие этнографии и вообще науки в государственном целеполагании на исходе 1980-х годов не могло быть значительным хотя бы потому, что она не успевала осмыслить происходящее. Тем более что ее потенциал в изучении (и, соответственно, прогнозирова-

нии) современности был изначально невысок вследствие прежней политики отстранения профессионального социогуманитарного знания от анализа (который заменялся пропагандистской легитимацией) советской действительности.

Один из парадоксов социокультурной и интеллектуальной динамики конца 1980-х – начала 1990-х годов состоял в том, что нарастающая критика неблагоприятной идеологической роли, которую власть отводила общественнознанию (очень показательно, что в советском языке оно называлось *обществоведением*), не сопровождалась снижением идеологизации профессионального анализа в научной гуманитарной среде. Наоборот, ее (идеологизации) уровень оставался по-прежнему чрезвычайно высоким, хотя знак идеологизации стал меняться с коммунистического на антикоммунистический, что происходило в контексте декоммунизации и, если так можно выразиться, антикоммунизации советской массовой интеллигенции, причем наиболее выраженным этот процесс был в крупных городах, особенно в советской столице.

Таким образом, произошла не чаемая *деидеологизация* науки, а ее *реидеологизация*: стремившееся освободиться от претензий «единственно верного метода» профессиональное сообщество в действительности заменяло старые культурные предрассудки и идеологические формулы новыми, получившими силу «самоочевидных» *научных* истин. Такие *идеологические* концепты, как «тоталитаризм», «административно-командная система», «советская империя» не только заполонили обыденное сознание, но и тематизировали научный дискурс. Складывался феномен так называемой «симпатизирующей этнографии», поставившей научное знание на потребу узкоэгоистическим политическим целям. Наиболее рельефно он был выражен в национализированных республиках и регионах СССР, особенно охваченных этническими конфликтами, но не избежала этой участи и часть столичного этнографического сообщества.

Есть трагическая ирония в том, что грандиозная драма разрушения СССР составила последующую обильную пищу для этнографической науки 1990-х годов. Тематика национализма и межэтнической напряженности стала красной нитью этнографических субдисциплин, сфокусированных на современности, в первую очередь этносоциологии и этнопсихологии. Возможность беспрепятственно изучать современность пришла тогда, когда в профессиональной этнографической оптике современность оказалась наполнена войнами, разрушениями, конфликтами и напряженностью.

Трудно представить, чтобы даже самые ярые критики «тоталитарного наследия» и «советской империи» в профессиональном этнографическом сообществе жаждали такого развития событий. И уж, конечно, мало кто мог предвидеть, какие изменения произойдут с наукой в результате гибели советских форм ее организации. Верилось в лучшее: во взлет науки, освободившейся от идеологического диктата; в то, что на месте структурно-иерархического царства советской этнографии возникнет свободное сообщество профессионалов. При этом молчаливо подразумевалось, что материальное обеспечение науки останется прежним, что государство, отказавшись от контроля над ней, не откажется от покровительства. В этом смысле конец 1980-х годов был яркой и недолгой эпохой научного романтизма, господством утопического умонастроения, охватившего массовые слои советской интеллигенции и вызвавшего к жизни мощную социополитическую и культурную динамику.

Однако изнанка этого романтического полотна была тривиальной и низменной. Критика советской этнографии служила важным средством борьбы за контроль ключевых административных позиций, материальных и научных ресурсов, развернувшейся в профессиональном этнографическом сообществе на рубеже 1980–1990-х годов. При этом диспозиция конкурировавших клановых группировок была

значительно изощреннее и сложнее, чем противостояние «консерваторов» и «реформистов» – проекция в науку популярной политической дихотомии эпохи. В этой борьбе собственно научная сторона – методология, теории и концепции, проблематика – имела второстепенное значение по сравнению с интересами конфликтовавших группировок, хотя для своего обозначения они охотно использовали научные ярлыки, а против своих оппонентов – обвинения в теоретической «отсталости». В этом отношении ситуация была сущностно близкой к «коренному перелому», случившемуся в отечественной этнологии шестьдесятю годами ранее, хотя технологии обретения власти в науке стали более гибкими и изощренными.

После гибели Советского Союза *академической* этнографии некоторое время еще удавалось сохранять относительно (по сравнению с другими гуманитарными дисциплинами) привилегированные отношения с государством, что было связано с назначением директора Института этнологии В.А. Тишкова на пост министра по делам национальностей. Предпринятая им попытка формирования научной концепции государственной политики в области национально-федеративных отношений продлила жизнь позднесоветской иллюзии об участии этнографии в государственном целеполагании. А напряженность в национально-федеративных отношениях в РФ и крайне неудачная первая чеченская кампания, стимулировавшие потребность в профессиональной экспертизе, эту иллюзию поддерживали. Однако потребность в специализированном экспертном знании оказалась временной: запрос на него стал уменьшаться во второй половине 1990-х годов и почти совсем сошел на нет в начале нового тысячелетия.

Таким образом, постсоветский режим благоприятствования этнографии носил условный, частичный и временный характер. Патерналистская же модель отношения к науке канула в Лету вместе с советским государством, что сразу

поставило вопрос о смысле и цели существования этнографии в новой системе. Советская этнография хотя бы номинально основывалась на «больших смыслах», провозглашая служение прогрессу общества, освобождению человечества и укреплению «первого в мире государства рабочих и крестьян». «Большие смыслы» были подвергнуты тотальной критике, отечественная этнология освободилась от *идеологической* легитимации, но не освободилась от необходимости легитимации вообще. Зная, от чего освободилась наука, мы не можем не задаться вопросом, для чего она обрела свободу?

Ответ – для служения демократии и гражданскому обществу – вряд ли будет воспринят всерьез. Тотальная критика коммунистического опыта была одновременно отвержением *любого* метанарратива, любой легитимации, задающей из трансцендентного источника (не важно, Бог ли это, народный суверенитет, коммунизм, права человека и т. д.). На щит поднималось *ценностно нейтральное* знание (будто оно возможно в социогуманитарных дисциплинах). В то же время социальная действительность 1990-х – начала 2000-х гг. и официозные декларации шли настолько расходящимися курсами, что принципиальная возможность легитимации науки метанарративом выглядела исчезающей малой.

Но, может быть, изменился сам тип легитимации, и знание теперь легитимировалось через его эффективность и производительность? Другими словами, то, что нужно и конкурентоспособно – выживет, ненужное и нежизнеспособное – умрет. Разве не таким было чаяние научного сообщества в «романтической» фазе конца 1980-х годов? Однако даже если отрешиться от непростого и деликатного вопроса о критериях эффективности и полезности для гуманитарных дисциплин, нельзя уйти от выяснения того, какой именно субъект (политический, социальный, экономический и т.д.) в 1990-е годы определял критерии этой эффективности, т.е. легитимировал науку через эффективность.

Источником этой легитимации, безусловно, не выступало (и не выступает сейчас) государство, фактически отказавшееся от фундаментальной прерогативы целеполагания – определения приоритетов развития и формулирования стратегических, общенациональных целей. Различного рода официальные «программы», «доктрины» и «концепции» представляли собой не более чем набор деклараций: порою правильных, порою бессодержательных, но всегда нереализуемых.

Причем для этих документов, в той части, где они касались науки, был характерен подчеркнутый технократический подход при одновременной недооценке и игнорировании социально-гуманитарного знания. В официальной доктрине развития отечественной науки «Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу» социогуманитарные дисциплины упоминались лишь однажды и весьма расплывчато: повышение «роли социальных и гуманитарных исследований»⁵⁶¹. Этот документ представлял собой образчик проективного мышления, абстрагирующегося от этно-историко-социокультурного контекста, не отдающего отчета, что любые технологические и экономические трансформации опосредуются через культуру, через психику людей, и в этом смысле социогуманитарное знание не только «смягчает» последствия новаций, но и представляет немалую практическую важность для трансформации общества. Впрочем, сетование на традиционную недооценку социогуманитарного знания в данном случае носит исключительно теоретический характер,

⁵⁶¹ Цит. по: Юревич А. Ретранслятор западных концепций. Отечественная социогуманитарная наука постепенно утрачивает функцию производства нового знания // НГ-наука. 2004. 9 июня. С. 13.

поскольку в современной России дискриминируется наука в целом. «Доля затрат на исследования и разработки в ВВП России минимум в три раза ниже, чем в ведущих странах мира, и соответствует в лучшем случае уровню развивающихся стран»⁵⁶². Эта оценка, характеризовавшая российский контекст рубежа XX–XXI столетий, тем более верна сейчас.

Объяснение этому тяжелой экономической ситуацией выглядит малоубедительным: в 1920-е годы она была несравненно хуже. В целом опыт постсоветской России наталкивает на крайне неприятное предположение, что наука, особенно фундаментальная, представляется власти избыточной. Если советское государство, все менее нуждавшееся в легитимации наукой, продолжало, тем не менее, по инерции ее легитимировать, что выражалось в контроле и стабильной поддержке, то современное российское государство вообще отказалось от любых форм легитимации: и от легитимации науки, и от легитимации наукой. Доказательством последнего служит неостребованность исторической науки и этнологии для обоснования и реализации таких стратегических приоритетов, как строительство национального государства и формирование политической нации.

С разрушением института советской науки связь между наукой и государством атрофировалась до стадии исчезновения. И дело здесь не в мизерных размерах финансирования науки. Ощущение принципиальной ненужности научного знания для государства проявляется прежде всего в беспрецедентном для современного мира снижении социального статуса науки и престижа профессии ученого.

⁵⁶² Арутюнов В. Государство обязано само формировать научную политику. Россия – единственная мировая держава, где этим занимаются общественные организации // НГ-наука. 2004. 24 ноября. С. 14.

Из уважаемой и привилегированной группы научное сообщество превратилось в социального аутсайдера.

В постсоветском контексте неостребованность науки государством, традиционно для отечественной истории выступавшего источником высших смыслов и ценностей, сочетается с ее неостребованностью обществом, которое не развилось в гражданское (и вероятность подобного развития не очень значительна) и не в состоянии легитимировать науку. Таким образом, российская этнология, источниками легитимации которой на исходе XIX в. выступали совместно государство и (протогражданское) общество, а на протяжении большей части XX в. – государство, к началу XXI в. оказалась избавлена не только от обязательств перед государством, но и от любых форм социальной ответственности. И эта свобода оказалась оборотной стороной ненужности, как в старом анекдоте о неуловимом Джо: Почему этот Джо неуловим? Потому, что он никому не нужен.

Можно огрубить и примитивизировать вопрос об эффективности знания и легитимации науки, сведя его к выяснению того, какие дисциплины лучше всего продаются, и на основании рыночной цены определять их востребованность обществом. Ведь если наука не служит ни обществу, ни государству, если производство социогуманитарного знания перестало быть самоцелью, что было характерно для зрелой советской эпохи, то теперь оно существует исключительно для продажи. Или, как сформулировал Ж.-Ф. Лиотар, компетенция, определяемая по критериям истинное – ошибочное, справедливое – несправедливое, прекращает существовать. На смену ей приходят вопросы «Чему это служит?» и «Можно ли это продать?»⁵⁶³.

⁵⁶³ Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб.: Алетеия, 1998. С. 124–125.

Можно с уверенностью утверждать о коренном изменении мотивации высшего образования в России в 1990-х годах, для которой было характерно резкое усиление прагматичных мотивов. Причем на первый взгляд в выигрыше оказались именно социогуманитарные дисциплины. При заметном падении популярности большинства естественно-научных специальностей и точных наук наибольшим спросом пользовались учебные заведения и специальности гуманитарного профиля: на них наблюдался самый большой конкурс в государственных вузах; 97% новых, негосударственных вузов предоставляли услуги в сфере гуманитарного образования; 75% новых учебных курсов относились к области менеджмента, экономики и юриспруденции. Согласно социологическим опросам, студенты считали наиболее перспективными дисциплинами экономику, правоведение, политологию, международные отношения, социологию и психологию, и практически никто, скажем, физику или химию. По образному замечанию науковеда, отечественная наука перешла с прежней – «космической» на новую – политическую траекторию (лавинообразный рост дипломированных специалистов, кандидатов и докторов наук, научных центров произошел именно в политологии и экономике)⁵⁶⁴.

Взрыв интереса к социогуманитарным дисциплинам невозможно объяснить исключительно их «недоразвитостью» в советское время и формированием новых потребностей: в современной России налицо перепроизводство юристов. В более широком плане существует фундаментальное противоречие между основными тенденциями развития страны и новыми акцентами высшего образования. Патологическая политизация социогуманитарного знания, притом что политика (понимаемая как сфера представительства, взаи-

модействия и конкуренции автономных субъектов) из российской публичной жизни постепенно исчезала, заменяясь отношениями доминирования-подчинения, т. е. власти. Гипертрофия экономического образования при деградации отечественной экономики и примитивизации ее структуры.

Смещение общего вектора российской науки и высшего образования не носит интернационального характера и не вызвано глобализационной унификацией. На Западе среди молодежи популярны далеко не те дисциплины, что в России. Поэтому есть основания полагать, что социогуманитарный бум в России рубежа XX–XXI вв. имел патологическую болезненную природу, суть которой сводится к стремлению заработать на *деградирующей* стране.

Попутно отмечу, что в популярных дисциплинах особый интерес вызывали их прикладные и технологические, а не фундаментальные и теоретические аспекты. И в этом смысле у этнологии нет и не было шансов конкурировать с экономикой, юриспруденцией, финансовым и банковским делом, менеджментом, PR, избирательными технологиями. Даже те разделы этнологии, которые заняты изучением современности и в этом смысле выглядят актуальными, не в состоянии обеспечить доход столь высокий, как выше-названные субдисциплины, в лучшем случае обеспечивая пристойный жизненный уровень небольшой группе профессионалов.

Рынок вообще не в состоянии оценивать науку по критериям общенационального интереса и всеобщего блага, а капитализм далеко не обязательно дает ей стимул к развитию. И уж совершенно точно его не дает преобладающий в России сырьевой капитализм: как показывает мировой и отечественный опыт, он заинтересован в максимизации природной ренты и в сохранении политического и экономического статус-кво, а не в развитии, тем более измеряемом надличностными и надгрупповыми критериями. Российское гражданское общество слишком слабо, чтобы надавить на капи-

⁵⁶⁴ Юревич А. Указ. соч.

тализм для изменения его паразитической (с точки зрения общественных интересов) стратегии, а государство находится в симбиотической связи с ним.

Отечественная наука традиционно развивалась в рамках парадигмы получения теоретических (фундаментальных) знаний. Решающая роль в поддержке такого типа науки может принадлежать лишь государству, что подтверждается наиболее успешным современным опытом – как японским и западноевропейским⁵⁶⁵, так и американским. «Даже в США, стране с наиболее развитым наукоемким производством, расходы на фундаментальные и большую часть прикладных исследований являются исключительной обязанностью государства. Частный промышленный капитал... финансирует в основном уже опытно-конструкторские и внедренческие работы»⁵⁶⁶. Но даже в этом отношении в России нет аналогов американских корпораций: не только и не столько по размерам финансовой мощи, сколько по типу самого бизнеса, психотипу его руководителей и корпоративной стратегии.

В том, что касается российской этнологии, ключевым источником ее легитимации, определителем критериев ее эффективности в 1990-е годы выступал Запад в лице международных научных фондов и западного научного сообщества. Ничего не сделаешь: знания производятся для тех, кто в состоянии за них заплатить, а цена Запада была выше той, которую могло дать российское государство или любой другой отечественный работодатель.

Это не вопрос сотрудничества с международной наукой – такому сотрудничеству нет разумной альтернативы. Мой тезис следующий: в отсутствие внутренних источников ле-

⁵⁶⁵ См.: Водопьянова Е. Наука Западной Европы: реалии и перспективы // Свободная мысль. XXI. 2002. № 3.

⁵⁶⁶ Арутюнов Владимир. Указ. соч.

гитимации именно Запад держал легитимирующий дискурс в отношении российской этнологии или, говоря проще, задавал в ней правила игры, последствия чего амбивалентны.

С одной стороны, зарубежные научные фонды серьезно помогли отечественной науке в крайне тяжелые для нее времена, хотя бы частично они компенсировали издержки ее «рыночного» развития, направляя скудный денежный ручеек в направлении фундаментальной науки.

С другой стороны, произошла перекройка отечественной науки по западным лекалам, сократилась сфера ее автономии: повестка дня – тематика, цели исследований, методология, концепции, институциональная структура науки – задавалась извне. Но как никогда не может быть *фактического* равенства между работодателем и работником в капиталистической системе, так не могут носить партнерского характера отношения тех, кто платит, и тех, кто получает плату. Если отбросить эвфемизмы и декорации, то существо этих отношений составило «господство – подчинение» (имея в виду модальность связи между институтами и сообществами, а не между отдельными людьми) – та же стальная хватка, но по сравнению с советским временем в бархатной перчатке. Наука, тяготившаяся жестким директивным управлением со стороны собственного государства, оказалась мягко манипулируемой из других стран.

Даже если абстрагироваться от морального и ценностного аспектов этой щепетильной ситуации, в ней вряд ли удастся обнаружить серьезные позитивные аспекты для отечественной науки. Как известно, социогуманитарное знание в отличие от естествонаучного не носит универсального характера, поэтому если проблематика и методологический инструментарий российских исследований задаются извне (через селективное поощрение или отвержение тем и концептуальных подходов), то это провоцирует неадекватность исследования и исследователя тому, что изучается.

Не сделало российское социогуманитарное знание, обогатившись западным влиянием, и теоретического рывка. Ровно наоборот: отказ от концепта научной истины, от претензий на создание универсального метаязыка науки в пользу «доброкачественного релятивизма» привел к еще большему позитивизму: «Мы погрузились в позитивизм в той или иной частной области познания, ученые стали научными сотрудниками, размножившиеся задачи исследования стали задачами, решаемыми по частям, и никто не владеет целым...»⁵⁶⁷.

В российской этнологии начала 2000-х годов вряд ли возможно было обнаружить претензии на создание не то что больших теорий, но даже теорий среднего ранга. Ее концептуальный арсенал в основном унаследован еще от советской эпохи: это методологические разработки отечественных ученых и адаптированные еще при Советах теоретические направления, позаимствованные с Запада. Теоретизирование 1990-х годов, как правило, носило *негативистский* характер, сводясь к постмодернистской критике социальных установлений, культурных стереотипов, старого научного знания, но позитивной альтернативы – нового теоретического знания – эта критика не создала, оставаясь творчески бесплодной. Даже если эта критика была относительно вновь в России и даже отчасти необходима, сам по себе критический пафос не создавал новое знание. Что нового в концептуальном отношении, какие общие и среднего ранга теории продуцировала критика? Нет ответа на этот далеко не риторический вопрос.

В ином варианте влияние западной науки сводилось к попыткам адаптации созданных ею концепций и теорий, частных техник и методик (напомню, полученных в *других* этно-историко-социокультурных контекстах) к российской

⁵⁶⁷ Лиотар Ж.-Ф. Указ. соч. С. 99.

действительности. Далеко не всегда эта адаптация вообще возможна: скажем, шкала межэтнической совместимости Богардуса не работала в России. Если даже импортированные *методики и техники* после длительной подгонки удавалось применить к российскому материалу, то интерпретация полученных результатов чаще всего оказывалась невозможной или затруднительной в рамках привнесенных теорий и концепций.

Таким образом, главным исследовательским результатом отечественной науки первых полутора десятилетий постсоветского существования чаще всего оказывалось получение *эмпирического* систематизированного знания (с чем дело обстояло, в общем, неплохо) и обкатка западных концептуальных подходов на российском полигоне, создавая впечатление теоретического многоцветия и концептуального обогащения российской науки. В то же время в ней не создавалось, ею не продуцировалось оригинальное и новое теоретическое знание. Разумеется, всегда находятся исключения, и тогда имелись образцы плодотворной и оригинальной теоретической работы, которые, однако, не меняют общей тенденции.

«...отечественная социогуманитарная наука постепенно утрачивает одну из главных функций любой науки – функцию производства нового знания, превращаясь в посреднический механизм его распространения», транслирует знание, произведенное зарубежной наукой, «в нашу социальную практику»⁵⁶⁸ – эти экспертные науковедческие оценки состояния социогуманитарного знания в целом не будут ошибочными применительно к российской этнологии. По иронии судьбы она сменила свое самоназвание с «этнографии» на «этнологию» как раз тогда, когда эмпирическая и описательная составляющая основательно потеснила теоретиче-

⁵⁶⁸ Юревич А. Указ. соч.

скую науку. В свою очередь, на теоретическом уровне опыт общих теорий (воспринимаемый в негативном ключе как часть советского наследства) был подвергнут критике, а в качестве альтернативы доморощенному теоретизированию предложено комментаторство и внедрение чужих идей, малопригодных для описания и понимания российской действительности.

Таким образом, теоретическое пространство российской этнологии рубежа 1990–2000-х гг. оказалось под натиском двух взаимоувязанных, хотя и внешне противоположных тенденций. Первая из них состояла в постмодернистской критике принципиальной возможности любых общих теорий и универсальных предпосылок, без которых не может быть и теорий среднего ранга. Существо второй – принятие понятийного аппарата и теоретических моделей, привнесенных извне и адекватность которых России находится под вопросом. Не будучи сторонником позиции взаимной непроницаемости, закрытости культур, я выступаю против того, чтобы придавать статус универсальных закономерностей региональным особенностям, проецировать местные теории западных обществ на остальной мир, что особенно заметно в этнологическом изучении современности.

Такие проекции исходят из посылок универсальности западного опыта, принятия Запада в качестве нормативистского образца и цели развития и, следовательно, его (имплицитного или явного) теоретического, интеллектуального и морального превосходства, вызывая малоприятные реминисценции из колониального дискурса. Самое парадоксальное обстоятельство состоит в том, что идея превосходства Запада и неполноценности России традиционно имеет в последней влияния сторонников.

Доморощенный либеральный дискурс 1990-х годов в своем базовом основании воспроизводил логику колониального дискурса: врожденная ущербность России и Запад как образец нормы, к которой надо стремиться. Отличие

в том, что на место Востока подставлялась Россия, а проделывалась эта операция не извне страны, а ее собственными гражданами. Естественно, что носители этой позиции, выделяли себя из «туземной» массы (ну не согласятся же они со своей врожденной ущербностью – это противно природе человека как такового), полагая себя своеобразными культуртрегерами «цивилизации», посланниками Запада в «варварской» России.

Весьма влиятельное в обыденном сознании и присутствующее также в социогуманитарном профессиональном дискурсе сравнение России с «цивилизованными странами» (что подразумевает ее *нецивилизованность и неполноценность*), – классический троп колониального дискурса, последовательно и настойчиво внедрявшийся в массовое сознание с конца 1980-х гг. Внедрявшийся, подчеркну, *гражданами России* – «властителями дум» из числа журналистов, гуманитарной интеллигенции и прочих «прогрессистов». В этом случае мы имеем дело с феноменом, который академическим языком можно определить как культурную и концептуальную самоколонизацию.

В колониальном дискурсе заложен парадокс: он признает идею эволюции, прогресса, то есть допускает возможность развития «дикарей», их подтягивания к цивилизации, но *одновременно* онтологизирует, увековечивает разрыв на темпоральной оси между цивилизацией и дикостью. Другими словами, сколько ни гонись, как ни развивайся, Запад все равно не догонишь⁵⁶⁹.

К сожалению, тропы колониального дискурса находили основательное подкрепление в российской действительности 1990-х годов. С позиции социологического макроанализа Россия являла миру беспрецедентный социокультур-

⁵⁶⁹ Концептуализацией колониального дискурса применительно к современной России я обязана своему брату В.Д. Соловью.

ный, интеллектуальный и антропологический регресс. Подчеркиваю: не прогресс и даже не трансгресс (т.е. такой масштабный сдвиг, который включает как позитивные, так и негативные аспекты), а именно регресс, деградацию. Об этом свидетельствовало последовательное и драматическое ухудшение базовых антропологических и социальных показателей: качества и продолжительности жизни, физического и психического здоровья нации, развития человеческого потенциала, интеллектуального уровня молодежи и др. Понятно, что именно социоантропоцентристская, но никак не экономико-технологическая, призма наиболее адекватна для оценки состояния общества и человека.

Этнологический анализ России 1990-х годов оказывался наблюдением за тем, как развитое общество позднего модерна стремительно скатывалось к социальной архаике и даже к досоциальным формам организации. В общем, проводимый в натуре гигантский социальный эксперимент, фокусировка внимания на котором со стороны отечественной этнологии стимулировалась западными контрагентами. Этот интерес номинально мотивировался содействием строительству в России политической демократии, рыночной экономики, гражданского общества, формированию политической нации и межэтнической толерантности, то есть исходил из нормативистской теории демократии и понимания Запада как эталона современности. Однако многие апологеты и проводники вестернизации отечественной этнологии начала 1990-х годов спустя десятилетие или полтора вынуждены были признать, что научный интерес Запада к российским делам мог преследовать и цели, сомнительные с точки зрения национальных интересов России или даже откровенно враждебные нашей стране.

Однако каковы бы ни были вненаучные предпосылки научного анализа, более важно, *что* составляет его предмет: в случае с изучением ситуации 1990-х годов Россия выглядела как деградирующая страна. Таким образом, отече-

ственная этнология вне зависимости от мотивов, которыми руководствовались те или иные личности, группы и институты, выполняя научный заказ Запада, объективно оказывалась его наблюдательным инструментом. Это не упрек и не обвинение профессиональному сообществу, а констатация: знания производятся для тех, кто в состоянии за них заплатить.

Но в этой констатации скрывался и многозначительный намек о будущем этнологической науки в России, нормальное существование и развитие которой в целом невозможно без появления влиятельных внутренних (российских) источников легитимации научного знания.

Глава 8.2.

ЗАКЛИНАТЕЛИ ХАОСА ЭПОХИ ПОСТНАУКИ, ИЛИ МРАЧНОЕ НАСТОЯЩЕЕ НЕ ПРИГОВОР (ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

Социополитическая, интеллектуальная и культурная динамика последних 30 лет в России имела одним из своих фундаментальных последствий беспрецедентное для современного мира снижение престижа науки и ученых. Все произошедшее в стране и интеллектуальной сфере выводилось из драмы крушения СССР, а интерпретация развала советской науки строилась на идее «патриотизма отчаяния» (концептуализация культуролога Сергея Ушакина). «Сообщество потери» цементировали коллективная социальная травма и мифология жертвенности.

Между тем ученые в России не только и не столько жертвы новой социальной, экономической и культурно-

ценностной реальности, сколько акторы разыгрывающейся на наших глазах драмы гибели эпохи Просвещения. На рубеже 1980–1990-х гг. именно гуманитарная интеллигенция (по крайней мере ее значительная часть) стала агентом хаоса декоммунизации. Сейчас неважно, что ею двигало – романтический пафос перемен или борьба за контроль ключевых административных позиций, материальных и научных ресурсов. Скорее всего, это было сочетание того и другого: материальные и карьерно-административные устремления амальгамировали с идеальными императивами, вроде чаяния свободы научного и творческого самовыражения.

В любом случае советские формы организации науки и системы образования разрушались при активном *содействии* интеллигенции. Позднее, в 2000-е годы, своим *бездействием*, сделочной, сервильной позицией интеллектуальный класс фактически санкционировал принятие антисоциальных реформ и преобразований в области науки и образования.

Подобное поведение является проекцией некоторых фундаментальных черт человеческой психики. Каких? Люди склонны абсолютизировать статус-кво. Они попросту не верят в перемены, рассматривая будущее как продолжение настоящего лишь с небольшими изменениями (к лучшему). Именно это когнитивное заблуждение сработало в фазе крушения СССР и шельмования советского наследия: на рубеже 80–90-х прошлого века искренне верилось в то, что будущее сохранит все преимущества государственного патернализма по умолчанию, но принесет ученым и науке избавление от директивного управления. А в начале века нынешнего российская власть, разрушавшая остатки социального государства, успешно эксплуатировала бессознательный конформизм интеллектуального слоя, формируя на этом основании «спираль молчания».

Это не моральная инвектива. Главная мысль состоит в следующем: «сообщество потери» слишком застряло

в жертвенном статусе и рационализации собственного бездействия. Стол не сдвинется, если его не передвинуть – эта максима, своим авторством обязанная Мао Цзэдуну, прекрасно описывает логику перемен, где первый шаг – выход из «зоны комфорта», в данном случае, морально-психологического гетто «униженных и оскорбленных». Только покинув это гетто и приняв настоящее, можно приступать к формированию образа будущего.

У «сообщества потери» упование будущего составляет «золотой век» науки и образования, локализованный в прошлом (советском или досоветском). Пора признать очевидное – открутить историческое время назад невозможно, как невозможно возвращение к советским (тем более досоветским) формам организации науки и системы образования. Но и изобретать велосипед тоже не придется. Фундаментальные характеристики нормального развития науки лежат на поверхности, воплощая коллективный мировой опыт: внутренние источники легитимации и финансирования, важнейшим из которых может быть *только* государство, оптимистическое целеполагание, исходящее из идеи развития, а не «подмораживания» статус-кво, взаимная комплиментарность власти и науки, формирование нормального научного этоса, наконец, здоровый консерватизм, придающий научным институтам и системе образования устойчивость и монументальность и способность к трансляции традиции.

Последнее крайне важно именно в российском контексте, где на протяжении без малого 30 лет сферы науки и образования представляют собой полигон перманентного экспериментирования. Причем публичные решения принимают люди, никогда не испытывающие лично на себе их последствий. Необходимо объявить временное табу на реформирование науки и системы образования в России, обеспечив ученым и преподавателям 5–10 лет спокойной и предсказуемой жизни для интеллектуальной и психоэмоциональной

реабилитации. И лишь затем можно приступать к коллективной интеллектуальной атаке на формирование современных, национально ориентированных форм организации научного дела и моделей образования, которые (это хочется подчеркнуть особо) предстоит созидать с «чистого листа», поскольку реформировать попросту нечего.

И еще одно. Чтобы построить в России прекрасную науку будущего, надо *непосредственно* участвовать в этом процессе. Или не жаловаться потом на то, что рожденное дитя не воплощает наших идеалов и представлений.

Представления о будущем исходят из понимания актуального положения науки, образования и, шире, интеллектуальной сферы. Коль скоро понимание – это экзистенциально пережитое знание, то в данном очерке представлена «яйная», личностная, а значит, по определению ограниченная, картина современного состояния этнологии/антропологии в России, а также специфическое личностное видение ее перспектив.

К описанию переживаемого момента с некоторыми оговорками применимо понятие «автоэтнография» (концептуализация Дэвида Хайано⁵⁷⁰). То есть изложение ведется с позиций личного и оторефлексированного опыта профессионального этнолога в контексте этнологии, который и становится предметом историографического описания.

Люди. Подобно тому, как способность медицины врачевать определяют не здания поликлиник и больницы и не койко-места, а люди – доктора и медсестры, лицо науки формируют ученые. Институты, средства коммуникации и техническое оснащение важны, порой, критически важны, но только в привязке к человеку.

⁵⁷⁰ Hayano, D. Auto-Ethnography: Paradigms, Problems, and Prospects // Human Organization. Vol. 38. № 1. 1979. P. 99–104.

Таким мне видится обобщенный социологический портрет современного российского исследователя-этнолога/антрополога в академическом или университетском контексте.

Интеллектуальный слой с готовностью утратил способность рефлексировать свою деятельность в категориях служения и социальной ответственности. Скорость, с которой произошел отказ от идеальных императивов, указывает на то, что «большие смыслы» уже к исходу существования СССР выдохлись, утратив способность мотивировать групповое и индивидуальное поведение. «Новой искренностью» 1990-х стал переход к сугубо прагматической (рыночной или квазирыночной) мотивации, причем источником прагматических упований российской интеллигенции оказались изрядно романтизированные представления о науке на Западе. «Золотой дождь», стабильно проливающийся на западных ученых деятелей и культурных творцов, представлял собой виртуальную реальность, тогда как быстро деградирующая в отсутствие государственной поддержки российская наука была реальностью подлинной. Но интеллигенция осуществляла мысленную рокировку, подменяя российские реалии 1990-х набором западных символов и универсалий. Выбор в пользу виртуальной реальности (западной модели организации науки и системы образования) был *эмоциональным*, как бы он ни рационализировался постфактум. Выскажу осторожное предположение: продуцируя фантазмы о Западе в отсутствие адекватного его знания, интеллектуалы пытались вытеснить, подавить невыносимый ужас перед наступающими новыми временами – быстро меняющимся интеллектуальным и социокультурным ландшафтом страны.

Надежда на то, что новым источником легитимации науки могут стать «эффективность и производительность», была поставлена под сомнение уже к исходу 1990-х, прошла через ситуативную «ремиссию» в 2000-е и окончательно похоронена в середине 2010-х годов. Рынок смог оценить

услуги избранных представителей научного и образовательного сообщества (их счет идет на десятки и сотни, но не тысячи), чей интеллектуальный потенциал был подкреплён административными позициями и близостью к источникам финансирования и ресурсам профессиональной коммуникации. Массовый научный работник в рынок не вписался, но функционально необходим, свидетельствуя существование «русской науки» – обязательного элемента социокультурного ландшафта современного государства.

Университетская профессура предоставляет «образовательные услуги», все возрастающие по интенсивности и размерам нагрузки (особенно в связи с переходом на двухступенчатую систему бакалавриат – магистратура), по постыдно низким расценкам. Научно-исследовательская деятельность сотрудников академических институтов, задавленных бессмысленной и беспощадной наукометрией, едва ли может оцениваться в категориях инвестиционной привлекательности (даже если речь идет о счастливых получателях грантов).

Ситуация усугубляется тем, что близок к истощению интеллигентский комплекс избранности, иллюзия о нас, как «властителях дум», служивший моральной анестезией и частичной компенсацией мизерабельного материального положения. Невостребованность науки государством в российском контексте означает невостребованность ее обществом. Отсутствие обратной связи в общении со студентами – типическом срезе общества – охлаждает пыл даже самых ревностных апологетов собственной интеллектуальной значимости и избранности. «Факультет ненужных вещей» – это анатомическое описание гуманитарного (и не только) факультета любого русского вуза, дающего (иногда) качественное, но (всегда) абсолютно неприменимое и ненужное знание.

Русские университеты, утратили функцию социального института, транслирующего смыслы, ценности и идеалы, превратившись в не очень успешный рынок образова-

тельных услуг. По мнению известного украинского философа Андрея Баумейстера, университет представляет собой «часть индустрии создания мнений/идеологий», а ученый/преподаватель – это мелкий функционер, «производящий фабричным способом банальности».

Идея самоценности научного знания, столь характерная для эпохи высокого модерна, осталась в прошлом. Сейчас это удел единиц. Но и те, кто готов запереться в башне из слоновой кости, руководствуясь девизом «наука ради науки», нуждаются в средствах поддержания физического существования. Большинство представителей научной и образовательной интеллигенции – это обычные люди, мечтающие о простом буржуазном счастье и справедливо желающие конвертировать свою профессиональную квалификацию в стабильный заработок, общественное признание и уважение, достойные статуса ученого, преподавателя, профессора.

В ситуации новой социальной реальности с ее пугающим отсутствием горизонта и образа будущего, для описания которой идеально подходит метафора Хаоса (иноназвания ужаса без конца), происходят болезненные ментальные изменения. Внешний хаос интернализуется, захватывает умы, размывая когнитивные способности и вымывая рациональные смыслы. Противостоят ему немногие. Те, кто придерживается жесткой интеллектуальной самодисциплины, видя в этом способ избежать энтропии.

Неизбежным следствием описанных процессов становится «профессиональное выгорание» (концептуализация Чарльза Райта Миллса)⁵⁷¹. Оно напрямую зависит от способности интеллектуала анализировать дисциплинарные и об-

⁵⁷¹ Подробнее об этом см.: *Mills, C. Wright. White Collar: The American Middle Classes. New York: Oxford University Press, 1951.*

щественные проблемы. Чем глубже понимание происходящего в профессиональной сфере и в современном обществе, тем болезненнее разочарование. Ученый, воспитанный в рациональной парадигме и выступающий носителем цельной картины мира и отрефлексированной профессиональной идентичности, не может всерьез воспринимать постдисциплинарный статус этнологии/антропологии, прокламирующий беспредметность и интуитивизм, как новую нормальность. Сохранение способности критически мыслить, в свою очередь, ведет к ощущению себя «неактуальным» и «неудобным» в трансформирующемся профессиональном сообществе. А если интеллектual демонстрирует «реализм», соглашаясь с дисциплинарными «правилами игры» и общественными установлениями, то испытывает разрушительный диссонанс из-за того, что входит в противоречие с собственным мировоззрением и экзистенциальным стержнем. Разочарование не возникает у отстраненного наблюдателя.

Существует множество форм бегства интеллектualов от осознания своего поражения и бессилия. Кто-то культивирует отчуждение от политики и любых форм гражданской активности, кто-то возводит в ранг фетиша «объективность». Академический культ объективности – зачастую результат ограниченности, попытка видеть свою научную деятельность масштабной, социально значимой и политически осмысленной. На самом деле «объективность» едва ли может выступать интеллектualным ориентиром для человека действия. Тезис *knowledge is power* оказывается не более чем академическим штампом и оптической иллюзией: знания не дают власти, но скорее ее отнимают. Интеллектual чувствует себя беспомощным в фундаментальном смысле – он не может повлиять на то, что способен предвидеть.

Как ни важны индивидуальная психе и столь высоко ценимая индивидуумом Я-идентичность, жизнь и деятельность ученого протекает не в безвоздушном пространстве, а среди людей – коллег по цеху и не только. Когнитивист-

ская психология настаивает: человек буквально одержим тягой к социальному консенсусу, желая быть в большинстве и с большинством, стремясь быть интегрированным в группу с разделяемым набором интеллектуальных, культурных и этико-моральных ориентиров. В каких формах реализуется социальный инстинкт в профессиональном сообществе и каковы новые/традиционные модели группирования исследователей?

Институциональная структура. Заложенная в XX веке институциональная структура отечественной этнологической науки продолжает свое инерционное существование: академический институт с системой отделов/секторов, университетские кафедры и /или отделения, музеи. Но эти институции ушли от определения исследовательских приоритетов или хотя бы исследовательского вектора, утратили функцию координации и консолидации научных сил. Они лишь транслируют параметры и критерии наукометрии, пытаясь их адаптировать к организационно-кадровому потенциалу конкретных ученых учреждений. И еще выполняют функцию посреднического механизма в распределении скудных финансовых ресурсов.

Ученые, числящиеся в штате институтов, кафедр и музеев совершенно атомизированы, не только в смысле отсутствия общей интеллектуальной повестки и культурно-ценностной рамки (что наметилось еще в конце прошлого столетия), но и в смысле социальном, психо-эмоциональном и даже на уровне несовместимости хабитусов (то есть экзистенциальных оснований личности и личностных стратегий).

Специализация по научным «школам» или проблемно-тематическим «доменам» как форма группирования исследовательского коллектива, характерная для прошлого века, выдыхается в силу не востребоваемости производимого научного продукта. Работа «в стол» способна разрушить любую форму солидарности, и уж тем более ту, которая основана исключительно на сходстве исследовательских методик

и/или тематики. Смена поколений ускоряет и усугубляет процесс разрушения научных школ. Интеллектуальный труд представлял форму существования для старшего поколения – уходящей натуры. Средняя и младшая генерации руководствуются императивом выживания – интеллектуального и физического, разменивая научную специализацию (весьма условную) на готовность писать о чем угодно, лишь бы это можно было продать и/или «пристроить» ради рейтинговых баллов. Готовность писать о чем угодно превращает само понятие «научная специализация» в неопределенную величину.

Молодежь вовсе не чужда социальности, но демонстрируемые ею формы групповой солидарности не имеют ничего общего, ни с классическими научными школами, ни с кланами как группами контроля интеллектуального дискурса и ресурсов коммуникации. Больше всего это группирование напоминает социальный и культурный эскапизм: подобно «толкиенистам», «реконструкторам» и завсегдатаям стриминговых сообществ этнологи/антропологи объединяются в своеобразные клубы по интересам, где предметом интереса могут стать «глубинный народ» русского Севера с его энергетикой или индейские племена дельты Амазонки с подлинностью их «натуры». Подобные экзотические интересы трудно конвертировать в социально значимые проекты, имеющие государственное финансирование. Не приходится рассчитывать и на широкое общественное признание, поскольку такого рода энтузиазм, не имеющий отношения к общественному благу и социальной ткани страны, в лучшем случае воспринимается как казус.

Но едва ли подобные цели подразумеваются членами таких клубов. Скорее речь идет о поисках и обретении культурного и морально-психологического гетто, где не атакуют острые социальные проблемы, где можно успешно осуществлять коммуникацию, не подвергаясь атакам «других» с их неприемлемым знанием и чуждой системой

ценностей, и где можно избежать самых вредоносных влияний современной пропаганды. Здесь для маркирования «своих» и «чужих» не требуется изощренная интеллектуальная аргументация, здесь «свой» в духе социальной архаики опознается не вербально, а визуально (при помощи культурных маркеров – стиль поведения, образ жизни, увлечения).

Нечто подобное подразумевает А.А. Истомин, описывая устойчивую субкультуру индеанистов-любителей, насчитывающую в России не менее 2–3 тыс. человек. Любительство не является синонимом непрофессионализма только на основании непринадлежности «любителей» к штату научных учреждений. Для представителей этой субкультуры Истомин считает уместным использовать термин «внеструктурный профессионал», то есть исследователь, «мотивация действий которого никак не связана с исполнением каких-то социальных (служебных) обязательств»⁵⁷². Он говорит о восприятии представителями этой группы индеанизма «не просто как определенной научной тематики, а как *особого влечения* (курсив мой. – Т.С.) к любимой теме»⁵⁷³. «При резком сокращении российских специалистов по этнографии североамериканских индейцев “внеструктурные профессионалы” становятся основными носителями соответствующих знаний, хотя их интерес к этой информации носит в основном справочный характер»⁵⁷⁴.

А вот категоричная, но во многом справедливая оценка В.А. Попова, утверждающего, что никакого профессионального сообщества антропологов в России нет, но в то же время

⁵⁷² Истомин А.А. Профессионалы и непрофессионалы в современной российской индеанистике // Три века российской этнографии: страницы истории / отв. ред. А.А. Сирина. М.: ИЭА РАН, 2018. С. 340–341.

⁵⁷³ Там же. С. 335.

⁵⁷⁴ Там же. С. 334.

существуют «неформальные сообщества» этнографов и антропологов. И еще: «Что касается Ассоциации антропологов и этнологов России (до 2013 г. – Ассоциация этнографов и антропологов России), то все попытки превратить ее в реально работающую профессиональную организацию с информационными и координационными функциями не увенчались успехом. Это по-прежнему номинальная структура, косвенно связанная с организацией конгрессов антропологов и этнологов России»⁵⁷⁵.

Впрочем, и в *научную* эпоху группирование ученых имело своими фундаментальными основаниями не только и не столько общность проблемно-тематических интересов или предпочтение определенных исследовательских методик и процедур или научного стиля, сколько психоэмоциональное единство и сходство темперамента. Отцом-основателем научной школы, как правило, выступал ученый крупного калибра, обладающий мощным интеллектуальным замахом. Но не менее (если не более), чем интеллектуальный потенциал, были важны эмпатия, коммуникативные способности, обаяние ученого. Последователи и ученики тяготели к учителю зачастую без осознания причин этого тяготения. Решающим фактором выбора, как бы он ни рационализировался, оказывалась не научная специализация и/или научные заслуги ученого, но его личность. Единство такой школы обеспечивала нерелективная вера, она мотивировала групповое поведение и формировала своеобразный коммуникативный стиль и язык. В иной оптике такие школы напоминали религиозные секты.

⁵⁷⁵ Попов В.А. Этнология, этнография, народоведение или антропология этничности? (номинативный аспект науки как отражение «революционных» перемен) // Революции светские, религиозные, научные. Динамика гуманитарного дискурса. СПб.: Алетейя, 2018. С. 162.

Здесь встает вопрос, а возможно ли подвести иные – не эмоциональные, а рациональные (проблемно-тематические, методологические, процедурные) основания под конструкт, именуемый «научной школой»? Крупный медиевист, социальный историк и историк культуры А.Я. Гуревич оказал влияние на сотни и тысячи думающих людей во всем мире. Но не выступил основателем научной школы в каноническом смысле (да и едва ли стремился к этому). Те, кому посчастливилось работать рядом с Гуревичем и/или под его руководством, были экстатически привержены его интеллектуальному обаянию, создавали свои научные труды ради высокой оценки единственного авторитета. Но они точно не являлись и не могли стать его учениками-последователями, поскольку индивидуальный стиль Гуревича, специфическая исследовательская оптика и яркий талант представляют собой уникальный и невозпроизводимый опыт.

Школа имеет шансы возникнуть в круге ученых, стоящих на фундаменте позитивизма, исходящих из самодовлеющего значения эмпирических данных и практикующих единые методические приемы, которые считаются универсальными и легко воспроизводимыми. Ясность исследовательских процедур, верифицируемость исследовательских гипотез и стандартизация исследовательского инструментария – тот необходимый минимум, который превращает исходное психоэмоциональное единство в научную школу. Быть учеником означает способность *воспроизводить* исследовательский стиль руководителя, который считается познаваемым и воспроизводимым по определению. Но необходимо смирение архата (святого), чтобы удовольствоваться ролью копииста и подражателя даже самого талантливого научного стиля, стать «тенью» даже самого авторитетного наставника. Или принципиальная неспособность проложить собственную исследовательскую колею и боязнь иметь собственное мнение.

Интересными представляются науковедческие зарисовки историка и философа Ю.И. Семенова, исследующего причины полного «единомыслия», которое утвердилось в гуманитарных дисциплинах к началу 1930-х в результате «идеологических погромов, сопровождавшихся репрессиями против ученых», в том числе против этнографов. Внутренним (внутридисциплинарным) источником подобного «единомыслия» он считает «догматизм» научного сообщества, «атрофию (или изначальное отсутствие) способности самостоятельно мыслить». За редкими исключениями люди оказывались совершенно неспособными «сказать свое собственное слово... Они могли только *верить* (курсив мой. – Т.С.)»⁵⁷⁶. Думается, к этой точной зарисовке необходимо добавить, что ключевая предпосылка «догматизма» – явления вневременного и внеконтекстуального – коренится в фундаментальной природе человека, где конформизм, консерватизм и склонность к нерелективной вере – это психологическая норма.

Если речь идет о дисциплинах, связанных с полевыми исследованиями, таких как этнология и социально-культурная антропология, то «общую группу крови» научной школы/группировки/клана гарантирует сакрализация «поля». Претензии на особую предрасположенность к прочтению и пониманию поля, на существование особенной исследовательской оптики полевого, представление о том, что любой научный тезис обязан быть подкреплен эмпирическими данными, добытыми непосредственно в поле, цементируют групповое единство, способствуя формированию специфических каналов коммуникации (полевые конференции и семинары) и форматируя специфический язык научной коммуникации этнологов-полевиков.

Разумеется, единство ученых в научную эпоху обеспечивалось и наличием общей ценностной (идеологической)

⁵⁷⁶ Семенов Ю.И. О моем «пути в первобытность». С. 187.

рамки, императивами практической значимости, социальной востребованности научного знания. Научные школы и исследовательские коллективы были связаны концептуальным единством, самоопределялись в отношении целостного понимания предмета дисциплины, а коммуникация осуществлялась на основе конвенционального языка и широко разделяемой системы понятий. Все эти сложные связи и зависимости рассыпались. Что осталось? Что пришло взамен?

В условиях архаизации и деградации сложных типов социальных связей научное сообщество самоорганизуется на новый лад (или реанимирует давно забытые образцы). В.А. Попов называет одной из самых перспективных проблем современной этнологии феномен «возрождения архаического сознания в экстремальных ситуациях и в закрытых культурных средах»⁵⁷⁷. Ирония, однако, состоит в том, что этнологическое сообщество само превратилось в замкнутую систему (закрытую среду) с научным продуктом, не имеющим выхода за ее пределы, что ведет к маргинализации дисциплины, которую в отсутствие стратегических целей динамизирует исключительно конкуренция *групп интересов*. В свою очередь, этот новый тип социальности далек от понятия научная школа и носит специфический «тусовочный» (концептуализация В.А. Попова) характер.

Традиционные наработанные интеллектуальные и социальные связи используются по-новому. В первую очередь как ресурс борьбы за средства и каналы коммуникации (высокорейтинговые журналы, солидные периодические ежегодники, тематические симпозиумы и конференции). В современных условиях важнейшей составляющей профессиональной коммуникации является не повестка (*что*

⁵⁷⁷ Попов В.А. Этнология, этнография, народоведение или антропология этничности? С. 163.

говорить) и не конвенциональный язык (*как* говорить), а каналы коммуникации (*через что* говорить). Фактически тот, кто контролирует каналы профессиональной коммуникации, получает преимущественное (если не монопольное) право формирования повестки и форматирования языка. Первым назвать изучаемое означает застолбить участок научной повестки, установить контроль над называемым. А отсюда (контроль каналов и языка коммуникации) один шаг до источников финансирования (пускай они и сокращаются критически).

Проблема состоит в том, что если у ученого нет доступа к (высоко)рейтинговым средствам коммуникации, то он не существует как исследовательская единица. Индекс цитирования формируют не глубина, новизна и актуальность научного труда, но само его присутствие в коммуникативном научном пространстве и интенсивность этого присутствия. Точно в соответствии с рекламно-маркетинговой максимой «повторение – мать убеждения». «Привлекательность» научного продукта обеспечивается доминирующим присутствием на научном рынке.

Кафедры, научные отделы и научные школы перестают быть институциональным основанием единства, поскольку водоразделы проходят внутри них. Возникают новые (квази) институциональные структуры, новый тип социальности. Это даже не кланы позднесоветской и ранней постсоветской эпох, опознавательными знаками которых были идеологические и культурно-ценностные ярлыки и декларации. Это архаические сообщества, вырастающие вокруг групп «сильных», определяющих социальное пространство других и устанавливающих границы между «своими» и «чужими».

Формально институт лидерства в научной среде сохраняется. Меняются критерии лидерства: традиционного лидера научной эпохи определяли интеллектуальный потенциал и ученые заслуги, в постнаучную эпоху – административно-финансовый ресурс и контроль каналов коммуникации.

Впрочем, современные научные кланы не нуждаются в лидерстве, представляя собой слабоструктурированные сообщества, чью идентичность определяют миф о символическом прародителе (в его роли выступает интеллектуальный авторитет, значимый для этой группы, чаще всего уже почивший), набор ценностей/антиценностей и утопия идеальной науки.

Мы до сих пор проигрываем западным коллегам уровнем развития институциональной структуры, хотя и продвинулись вперед по сравнению с советской эпохой⁵⁷⁸, – утверждает директор ИЭА РАН Д.А. Функ и верифицирует это утверждение количественными данными. До 1991 г. существовало пять кафедр этнографии (Москва, Ленинград, Киев, Тбилиси, Омск), которые являлись и учебными, и научными центрами одновременно. Слабость университетской науки (имея в виду и число кафедр, и их кадрово-научный потенциал) компенсировал Институт этнографии АН, издававший единственный профессиональный орган «Советская этнография», а также музеи. Сейчас, по данным Д.А. Функа, в РФ функционируют около десяти кафедр и 25 журналов (из них три в системе Scopus). Для сравнения: в Великобритании – около 100 образовательных программ по социальной антропологии в университетах и 81 журнал в системе Scopus (в США таких журналов 119). В бакалавриате по этнологии/антропологии обучается около 200 человек по всей стране, тогда как в Кельнском университете в бакалавриате кафедры этнологии – 900 человек, а в Вене – 1800⁵⁷⁹.

⁵⁷⁸ Функ Д.А. Лекция в национальном исследовательском Томском государственном университете // ТГУ. URL: http://www.tsu.ru/university/sovets/Academic_Council/seminar/2018/LectureFunkDA.php

⁵⁷⁹ Там же.

Но о чем свидетельствуют эти сравнительные данные? Институциональный и кадровый потенциал научной дисциплины определяется характером реализуемых задач, а задачи, в свою очередь, решающим образом зависят от государственного целеполагания и расстановки государственных приоритетов. Этнография в Российской империи выступала скорее в роли «падчерицы». Научные изыскания в этой области представляли собой «искусство возможного», а институциональная структура и система подготовки кадров находились в полном соответствии с низким социальным статусом этой дисциплины.

Большевистский модерн-проект, востребовав науку и научное знание, позволил реализовать экспертный потенциал этнографии в этнополитических практиках, что стимулировало бурный рост этнографических институций и спровоцировало бум этнографического образования. Но рост был ситуативным, а «золотой век» отечественной этнологии ограничился 1920 годами.

В позднюю советскую эпоху «река вернулась в свои берега»: власть дистанцировалась от гуманитарного знания, не нуждаясь в его экспертном потенциале (или не доверяя его качеству). В подобной ситуации институциональный каркас и система подготовки профессиональных этнографов, стабилизировавшись на определенном уровне и устоявшись, не имели шансов к расширению масштабов. Даже имевшийся институционально-кадровый потенциал советской этнографии поддерживался исключительно благодаря государственному патернализму, породившему уникальную ситуацию, когда наука существовала ради науки, а для характеристики положения ученых в СССР вполне можно было применить выражение «невозможное возможно».

В России XXI века занятия наукой превратились в «искусство невозможного» из-за чрезмерной формализации и администрирования этого вида деятельности, с одной

стороны, и воинствующего пренебрежения наукой и учеными – с другой.

В ситуации фундаментального пренебрежения наукой со стороны государства=общества, отказа от использования экспертного потенциала этнологии/антропологии в поликультурном и поликонфессиональном пространстве Российской Федерации, *даже* ныне действующая институциональная структура этнологической науки представляется избыточной и обречена редуцироваться в обозримом будущем.

Подготовка кадров. Воспроизводство науки как системы – это базовое условие ее функционирования. Несмотря на скромные в сравнении с западом масштабы подготовки кадров, парадоксальным образом можно говорить о кризисе *перепроизводства* этнологов в нашей стране в ситуации их вопиющей не востребоваемости. Здесь уместно сравнение с 1920-ми годами: тогда выпускники этнологического факультета I МГУ оказались не у дел главным образом потому, что целевые установки факультета и структура учебной подготовки не соответствовали реальному запросу со стороны государства и общества. Проблемы с трудоустройством и профессиональной самореализацией нынешних выпускников лишь отчасти связаны с неактуальностью и слабой инструментальностью подготовки, которую предлагают кафедры и учебные центры этнологии/антропологии. Главная причина – *отсутствие* государственного/общественного запроса на лиц, получивших высшее (элитарное) образование, в более широком плане – отсутствие в стране внятных социальных ориентиров, практически не работающие социальные лифты и сжимающийся рынок квалифицированного труда.

Последнее обстоятельство неизбежно трансформирует мотивацию студентов, создавая причудливые конфигурации из эмоциональных и квазирациональных императивов. Если знания, получаемые в университете, практически не

возможно продать и трудно предложить обществу даже на безвозмездной основе как гуманистический порыв, то можно попробовать просто получить удовольствие от принадлежности к университетской корпорации и антропологическому цеху. Андрей Баумейстер остроумно характеризует современный университет на постсоветском пространстве как место «времяпрепровождения». Будучи бессильны перед лицом неблагоприятных внешних социокультурных и экономических обстоятельств, студенты аккумулируют не столько знания, сколько положительные эмоции, эстетические ощущения от лекций, семинаров, общения с яркими интеллектуалами.

Вот интересное наблюдение за тем, как эволюционировала тематика выпускных квалификационных работ в бакалавриате/магистратуре кафедры этнологии МГУ. Традиционно силовые линии, вдоль которых группировалась их проблематика, составляли региональное (народоведческое), (этно)социологическое, (этно)психологическое, (этно)религиоведческое, (этно)политологическое направления, реже – историография, теория и методология. Решающим фактором выбора той или иной специализации оказывалась личность научного руководителя и круг его (руководителя. – Т.С.) интеллектуальных интересов и полевых пристрастий.

Однако простой перечень тем (если убрать из их формулировок ритуальное понятие «антропология»), защищенных в 2020 году на кафедре этнологии бакалаврских ВКР и магистерских диссертаций, поверг бы стороннего наблюдателя в изумление, ввиду невозможности определить их дисциплинарную принадлежность. Тематика ВКР слабо сопрягается со структурой кафедры и содержанием учебной подготовки, с трудом увязывается с интеллектуальными приоритетами научных руководителей, становится все более отвлекающей и беспредметной, отражая сиюминутные интересы и увлечения молодых людей, которые не имеют

шанса быть реализованными в качестве профессиональной карьеры.

Главная проблема состоит в невозможности обосновать «легитимность» претензий начинающих этнологов на освоение такой проблематики, как поколение generation Z, ЛГБТ движение, социальные медиа, киберспорт, социальная стигматизация онкологических заболеваний, современные интерпретации средневековой музыки, библиотечное пространство и т. д., а также убедительно продемонстрировать преимущества специфически *антропологического*, а не социологического, психологического или культурологического подхода к изучению этих феноменов.

Тексты студенческих выпускных сочинений апеллируют к так называемому полевому опыту, в действительности представляющему собой результат спонтанных наблюдений, сублимацию крошечного социального опыта в отсутствие серьезного гуманитарного кругозора и целостной картины мира. Подчеркну, речь идет об индивидуальном социальном опыте, который имеет потенциал для трансформации его в опыт полевой, но полевым в ситуации здесь и сейчас не является. Полевой опыт предполагает наличие ясно очерченных дисциплинарных рамок антропологии, превращающих поле в антропологическое, знание профессионального исследовательского инструментария и умение им пользоваться, наконец, способность сформулировать исследовательскую гипотезу для верификации ее при помощи полевых практик. Но все это (понимание предмета исследования, от которого зависят его цели и методы) блистательно отсутствует в подавляющем числе студенческих работ, где интуитивизм и эмоции преобладают над радио, где полем объявляется сама жизнь, витальность с ее текучестью, сиюминутной изменчивостью, спонтанностью.

Выпускные работы очаровывают, не оставляя ни малейших сомнений в искренней заинтересованности и увлеченности студентов, содержат яркие и точные зарисовки, остро-

умные суждения, но рожают связку вопросов. Чем это является, к какому жанру может быть причислено, какими методологическими принципами охватывается, из чего вытекает и какой логике подчинено? Главное, все это ставит под сомнение принадлежность *такого* понимания антропологии к научному знанию вообще.

Что вверх – то вниз. Подобный характер студенческого квазинаучного (квазиэтнологического) творчества не более чем отражение ситуации в профессиональном цехе.

Внутридисциплинарные проблемы. Возможны разные интерпретации современного положения этнологии/антропологии в России. Но большинство их носит алармистский характер. В.А. Попов определяет современное состояние российской этнографии/антропологии как «аморфное, амбивалентное и гетерогенное». И еще: «Произвольное использование названий наук и их субдисциплин, возникших в разных странах, без учета их объема понятий в отечественной научной традиции, создает ситуацию хаоса... Хаос с номенклатурой субдисциплин, как следствие игнорирования номинативной функции науки и попыток соединить несоединимое, привел не только к размыванию дисциплинарных границ, но и к катастрофическому падению профессионализма»⁵⁸⁰.

Мое видение теоретико-методологического состояния отечественной этнологии/антропологии вполне согласуется с оценкой Попова.

В зрелой научной дисциплине выделяются три взаимодействующих уровня: доктринальный, логико-дискурсивный (философский) и эмпирический. **Доктринальный уровень** – это мировоззренческая база научной дисциплины, не выводимая путем умозаключений, а декларируемая как

⁵⁸⁰ Попов В.А. Этнология, этнография, народоведение или антропология этничности? С. 158.

набор базовых истин. В момент зарождения этнологии во второй половине XIX века ее мировоззренческий фундамент составлял сциентизм, исходивший из существования смысла истории и познаваемости законов развития человечества, уповавший на универсальность прогресса. На исходе первой трети XX века, когда происходило становление советской этнографии, ее мировоззренческое основание составили «перезапущенные»/реактуализованные ценности модерна (сциентизм, технократизм, рационализм, идея социального милосердия), адаптированные к новой идейно-политической и социально-экономической рамке. То есть досоветская и советская этнография имели общий ценностный фундамент.

Логико-дискурсивный уровень возникает в момент генезиса дисциплины изначально в качестве полемического диспута для отстаивания ее доктринальных принципов, но постепенно приобретает самоценность и собственную проблематику. Он задает дисциплинарный вектор и прокладывает дисциплинарные границы. Дискурс о народности (общественно-политический и научный) в XIX в. определил вектор исследовательского интереса – изучение народной жизни и сформировал предметное поле собирательской этнографии. Дискурс об этносе советской этнографии стал тем метанарративом, который позволил охватить развитие этнической субстанции в длительной исторической ретроспективе, интегрировать традиционную и новую этнографическую проблематику, соединяя изолированные части в сквозной сюжет и в конечном итоге сформировать дисциплинарные границы этнографии как исторической дисциплины, изучающей народы-этноты.

Эмпирический уровень (поле) снабжает философский (логико-дискурсивный) уровень сырым материалом, который и становится объектом его рефлексии.

В постсоветский период произошло элиминирование доктринального уровня (отказ от любого метанарратива и цен-

ностный релятивизм де-факто был подготовлен еще в позднюю советскую эпоху) и ослабление логико-дискурсивного уровня (размыты предметные рамки, фрагментировано коммуникативное пространство, отсутствуют концептуальное единство и конвенциональный язык). Фактически этнология оказалась в состоянии постдисциплинарности. Наиболее заметным проявлением этого статуса является разрушение ее предметной определенности, даже если иметь в виду узкое понимание предмета, как совокупности исследовательской проблематики.

В подобной ситуации эмпирический уровень (поле) оказывается в основе доктринального авторитета, пытается его заместить.

Антропология изучает не этносы, а любые человеческие коллективы – утверждает один из лидеров отечественной этнологии. А на законный вопрос, чем же в этом случае антропология отличается от социологии, следует ответ, дескать, у социолога отсутствует «травма поля». Эта «чувственная любовь» к полю, подчас напоминающая эмоциональный мистицизм, должна быть противопоставлена «любви интеллектуальной» – прочтению поля как инструмента понимания реальности. Именно этнологи, по моим наблюдениям, грешат тем, что мистифицируют полевую работу, приписывают себе обладание неким сокровенным знанием, недоступным кабинетным исследователям. Что же это за знание, более тайное, чем сама тайна?

Отношение социологов, культурологов, политологов к полю выглядит более прагматичным и эмоционально спокойным. Вероятно, благодаря наличию предметной определенности и ясному пониманию объекта(ов) исследования. Складывается впечатление, что этнологи/антропологи пускают своеобразную дымовую завесу, маскирующую серьезный кризис профессиональной идентичности и размывающие контуры этнологического поля. Ведь если объектом изучения объявляется не этническая субстанция, а любой

культурный и/или социальный феномен, то практически невозможно в научных аналитических категориях схватить и обосновать специфически антропологическую оптику восприятия, описания и анализа данного феномена. Глобальные претензии антропологов на изучение социальной и культурной ткани современного мира, явно нарушают дисциплинарные границы целого ряда социогуманитарных научных направлений, профанируют их инструментарий, присваивают их профессиональную терминологию. И все это имеет под собой только эмоциональное, но никак не рациональное обоснование.

Романтический и героический флер традиционно окутывал профессию этнографа, обретя в советскую эпоху каноническую форму в виде мифа об «этнографе-подвижнике». Сложилась связка стереотипов, настаивающих на том, что в профессию приходят люди с горячим сердцем и неравнодушным умом, эмоционально сопричастные к проблемам «малых сих». Вот как описывал приобщение к полю один из патриархов отечественной этнографии Л.П. Потапов: «Мы наблюдали за Сапыром Туяниным, замечательным шаманом – он поил из чашечки своего курмужека (так называется антропоморфное изображение души). Был полумрак, необычная обстановка – и я заболел. Я заболел (курсив мой. – Т.С.) этнографией»⁵⁸¹. Нечто похожее обнаруживается в воспоминаниях Т.А. Жданко: «...мы (выпускники среднеазиатского цикла этнографического отделения этнофака I МГУ. – Т.С.) были энтузиастами своей профессии и немного романтиками...»⁵⁸². О том же пишет

⁵⁸¹ «Это была наука, и еще какая!» Интервью с Л.П. Потаповым // Тишков В.А. Наука и жизнь. Разговоры с этнографами. СПб.: Алетей, 2008. С. 11.

⁵⁸² Национальные вопросы нужно решить гибко. Интервью с Т.А. Жданко // Тишков В.А. Наука и жизнь. С. 27.

Е.П. Бусыгин: «Все члены экспедиции (в Татарстан 1946 г. под руководством Н.И. Воробьева. – Т.С.) были охвачены единым творческим порывом»⁵⁸³.

Приведенные выдержки из интервью мало свидетельствуют об отрефлексированном, рациональном, сознательном выборе в пользу этнографии. Разными словами собеседники Тишкова описывают по сути одно и то же: магия, обаяние поля привели их в профессию, а приобщение к полю предшествовало овладению азами профессиональной подготовки. В свою очередь, склонность к полевым исследованиям чаще всего представляла реализацию бессознательного тяготения к «перемене мест», психоэмоциональный выбор в пользу «романтики бродяжничества». Мифология «избранничества» (поле выбрало нас) оказывалась квазирациональным обоснованием этого эмоционального выбора.

Эти кейсы не претендуют на обобщение. Едва ли можно выявить жесткие (и даже статистические) закономерности в таком сложном деле как обретение профессии, где возможны различные комбинации радио и эмоций, определяющих тот или иной выбор. Здесь важно все – биографические коллизии, тип социализации, интеллектуальная/культурная мода, особенности психотипа.

В советскую эпоху, даже в том случае, если путь в профессию этнографа был продиктован *эмоциональной* приверженностью к полю, получение систематического этнологического образования, включающего знание методов работы в поле, превращало поле в строго научный *инструмент* познания реальности. А реальность маркировалась этническими категориями, что вытекало из ясно очерченных пред-

метных рамок этнологии/этнографии и делало структуру поля внятной, а этнокультурные реалии поддающимися описанию и анализу.

Что изменилось по сравнению с прошлым веком? Разрушение доктринальных оснований и серьезный кризис логико-дискурсивного уровня этнологии привели к гипертрофированию поля как единственного и самодовлеющего основания профессиональной идентичности. Самоценен сам факт нахождения исследователя в поле безотносительно научной результативности, пребывание в поле – это самоцель.

Подобное отношение к полю (как самостоятельной ценности) характеризовало преддисциплинарный период в истории русской этнографии, порождало специфический тип исследователя, видевшего главной научной задачей rastворение в изучаемой реальности, вживание в туземную среду. Ярчайшим воплощением метафизики поля стал Миклухо-Маклай. Но за полтора столетия феномен путешественника-одиночки претерпел радикальную трансформацию. В отличие от Миклухо-Маклая социальный эскапизм современных беглецов от цивилизации, вроде известного путешественника Федора Конюхова, лишен сциентистской мировоззренческой подосновы и гуманистического пафоса, которые придавали героическим одиночным эскападам и экспериментам эпохи модерна и высокого модерна социальный смысл.

Горькая ирония есть в том, что, чем менее внятными оказываются дисциплинарные рамки антропологии, чем сильнее растерянность и дезориентация в профессиональном сообществе, тем более популярным становится сам термин «антропология». Последний совершил феноменальную экспансию в гуманитарный дискурс, тематизировав попутно общественно-политическую и бытовую лексику. Причем термины «антропология» и «антропологический» используются без попыток дать им конвенциональное определе-

⁵⁸³ Полвека полевой этнографии. Интервью с Е.П. Бусыгиным // Тишков В.А. Наука и жизнь. С. 62.

ние. Вот содержательная выдержка из статьи крупного исследователя из Санкт-Петербурга В.А. Попова: «Сейчас чуть ли не все гуманитарии и обществоведы стали антропологами, без бренда “антропология” уже невозможно представить себе названия гуманитарной книги или обществоведческой темы исследования»⁵⁸⁴. Что означают термины «антропология», «антропологический» применительно к историческому, социологическому, культурологическому исследованию? Признание того неоспоримого факта, что субъектом истории, социальных, культурных и иных процессов является *человек/общность людей*. Все в этом мире делается людьми, через людей во имя людей или против них.

Специфику антропологии в сравнении с другими дисциплинами составляет «сравнительное изучение культуры и общества, фокусирующееся на жизни локальных сообществ»⁵⁸⁵, – утверждает автор популярного учебника. Акторами глобального культурного разнообразия могут выступать раса, этничность, национальная и религиозная идентичности, гендер. Если социальная/культурная антропология претендует на осмысление *всех* этих феноменов, то это по определению взрывает доставшийся нам в наследство от эпохи модерна дисциплинарный (предметный) принцип организации научного знания и профанирует исследовательские достижения предшествующих поколений, прокламирует иррациональность, интуитивизм и квазинаучный мистицизм.

Возможно, современная российская антропология воплощает интеллектуализм постнаучной/постдисциплинарной эпохи, по аналогии с российской экономикой – воплоще-

нием постиндустриальной эпохи. Тогда мы вправе ожидать массового пришествия российских Илонов Масков и Марков Цукербергов, реинкарнации Сергеев Широкогоровых и Аронов Гуревичей. Но порой кажется, что все лучшее в гуманитарной сфере уже написано в первой половине XX века.

Современные гуманитарные штудии, претендующие на теоретизирование, напоминают интеллектуальный слалом, демонстрацию интеллектуального потенциала, акт самолюбования при полном обесценивании важности и необходимости научного результата. Я говорю о той научной результативности, которая сопряжена с дискуссией, утверждением научной или ценностной позиции, ответом на социальный запрос, но не является императивом подобного интеллектуального творчества. Амбиции авторов питают возможность продемонстрировать блеск всезнания, преодолевшего культурные границы, яркость слога, умение с достоинством переливать из пустого в порожнее, но вопросом о цели и смысле написанного они, кажется, не задаются. В соответствии с авторитетным мнением Г.Е. Маркова «теория должна иметь практический выход, а если она практических результатов не дает, то это всего лишь упражнение для ума и никакой пользы от нее нет»⁵⁸⁶.

Полагаю, что современный научный интеллектуализм прекрасно характеризует чеховский пассаж: «Умышленность, осторожность, себе на уме, но нет ни свободы, ни мужества писать, как хочется, а стало быть, нет и творчества» (А.П. Чехов. Скучная история (из записок старого человека)).

⁵⁸⁴ Попов В.А. Указ. соч. С.161.

⁵⁸⁵ Эриксен Т.Х. Что такое антропология? С. 23.

⁵⁸⁶ Марков Г.Е. Интервью // Проблемно-тематическое пространство и теоретические границы современной этнологии. С. 31.

Публикации, не покушающиеся на концептуализацию и генерализирующие обобщения, составляют подавляющее большинство этнологического/антропологического контента. Это добротные труды с острой и точной оптикой, фиксирующие полевую реальность или добросовестно и скрупулезно репрезентующие архивные и историографические источники. Но это еще не наука, а лишь материал для нее. Материал, не охватывающийся общими категориями и не подчиняющийся социальным смыслам, не может создать науку как целостное пространство интеллектуального диалога и взаимопонимания. Сегодня концептуальный и терминологический раздрай, предельная фрагментация коммуникативного пространства и отсутствие конвенционального языка не позволяют членам относительно небольшого профессионального сообщества услышать и понять друг друга. И это происходит с людьми, чьи базовые ценности составляют способность к культурному контакту и диалогу с «другим(и)».

Что необходимо для кардинального изменения ситуации в отечественной этнологии/антропологии? В своем анализе я исхожу из категорического неприятия статус-кво и попыток психологически интернализировать глубоко ненормальную и нездоровую новую научную нормальность.

Во-первых, новая институциональная среда, соответствующая времени. Едва ли институциональной основой будущей науки может стать РАН с системой профильных институтов и остаточным иерархическим принципом. Дело не только в устарелости подобного типа организационной структуры, но и в качестве академической науки и, что самое главное, в экзистенциальных характеристиках сотрудников и специалистов РАН. Интеллектуалы, оказавшиеся неспособными отстоять академическую науку и себя в науке в фазе постсоветского транзита, особенно в нулевые, когда власть кардинально сворачивала свои социальные обязательства в сфере науки и образования и одновременно вела

наступление на остатки автономии академических подразделений, едва ли способны определять вектор будущего развития российской науки. Академики с их подчеркнутым отчуждением от политики и любой формы гражданской активности фактически без боя сдались «управленческому демиургу». Надо признать очевидное: функционер победил интеллектуала. Синдром «выученной беспомощности», прикрываемый фетишем «академической объективности», – это не тот гражданский и профессиональный плацдарм, с позиций которого можно созидать науку будущего.

Университетские кафедры и учебно-научные центры этнологического/антропологического профиля в их нынешнем виде не обладают необходимым уровнем автономии, кадрового потенциала и финансирования для проведения систематических и планомерных научных исследований. Возможно, западная модель исследовательских институтов при университетах могла бы стать новым типом организации научного дела в России. Структура и потенциал таких институций на Западе позволяют небезуспешно решать фундаментальные (научно-имманентные) задачи, а также задачи, которые перед наукой ставит общество (научно-прикладные, экспертное знание). Кроме того, это эффективная форма, обеспечивающая воспроизводство самой системы науки.

Профессиональное образование (систему подготовки кадров) придется созидать с чистого листа, и это, во-вторых. Европейская наука выросла из средневекового университета, где ученый в лекциях излагал студентам основные положения *собственных* научных исследований. Необходимо инкорпорировать новейшие научные разработки профессоров и научных сотрудников – прикладные и фундаментальные – в содержание учебного процесса, обкатывать их на студентах и магистрантах. Это позволит обеспечить высокое качество и инструментальность университетского образования, гарантирует кадровую непрерывность и пере-

дачу традиции. Одновременно консерватизм университетской среды, которая основывается на трансляции устоявшегося знания, будет служить своеобразным предохранителем, не позволяющим отдаться быстротечной интеллектуальной моде или сорваться в штопор слишком радикальных и разрушительных для интеллектуальной и культурной ткани общества перемен.

Я выступаю против разделения исследовательской и преподавательской сфер деятельности и за их разумный баланс. Убедена, что ученому абсолютно необходимы коммуникация и взаимодействие не только с коллегами по цеху, но и со студентами. Через обратную связь с неофитами разрушается «слепота к привычному» (*homeblindness*); в попытках объяснения рождаются «терминированные неологизмы», в реакции на наивно-главные, предельные вопросы, требующие окончательного ответа, оттачивается аргументация, благодаря чему и происходит кристаллизация исследовательской гипотезы или научной концепции.

В-третьих, ключевая внутридисциплинарная проблема – это восстановление логически-дискурсивного уровня отечественной этнологии/антропологии. Постдисциплинарный статус-кво не будет принят большинством представителей научного цеха в качестве новой нормальности, поскольку он слишком напоминает эвфемизм «стабильность», который используют для характеристики социально-экономических и политический реалий современной России. Подобно тому, как «стабильность» обозначает либо развитие, либо деградацию, статус-кво в этнологии/антропологии может означать движение вперед к созиданию новых очертаний дисциплины или упадок и деградацию. В российском контексте ситуация в этнологии точно не выглядит оптимистически как новое качество диверсифицированного и деперсонифицированного научного знания.

Кто-то интерпретирует переход этнологии/антропологии на постнаучные и постдисциплинарные рельсы как револю-

ционный сдвиг. Если это и революция, то она не имеет футуристического измерения. Скорее в соответствии с аутентичным значением латинского слова «революция» («возвращение, поворот назад») она влечет нас в прошлое напрямик в донаучную эпоху, предлагая отвлеченный интеллектуализм средневекового ученого, истощающего себя компульсивными поисками «философского камня», формирующего картину устройства мироздания и утопию «идеальной науки» вокруг себя и под себя.

Антропологический поворот во многом стал реакцией на фиаско проекта «этнология» 1990-х годов, а термин «антропология» стал ответом на содержательную инфляцию термина «этнология». Этнология, символизировавшая разрыв с советской этнографией и выход на новый уровень дисциплинарного развития, не оправдала возлагавшихся на нее надежд. Ревизия концептуального наследия советской этнографии выглядела убедительно в своем критическом пафосе, но не сопровождалась выдвижением плодотворных теоретических альтернатив. Использование западных теоретических наработок создавало лишь иллюзию теоретического многоцветья, а западный инструментарий не удавалось адаптировать к российской действительности. Отказ от структурирования реальности в этнических категориях, сбивал настройки исследовательской оптики, дезориентируя научное сообщество. Поле рутинной повседневности, за которым в отличие от поля этнокультурных реалий не стояли прочные концептуальные основания, оказалось слишком многогранным, пульсирующим и неизменно ускользающим. Таким образом, новое – теоретическое – качество этнологии так и не возникло, а эмпирический материал обесценивала невозможность его концептуально охватить.

В подобной ситуации курс на *антропологизацию* этнологии легитимировал ее новый постдисциплинарный статус, а также санкционировал безбрежное расширение проблемно-тематического пространства, снимая принципиаль-

ную необходимость проводить границы, определяющие контуры антропологического поля.

В конечном итоге переживаемая нами постнаучная эпоха стала своеобразным пробным камнем, через который проверяются интеллектуальная цельность и психоэмоциональная устойчивость людей науки.

Одни сопротивляются новой нормальности (читай – хаосу), руководствуясь твердым пониманием важности логически-дискурсивного уровня науки и исповедуя в качестве профессионального кредо академизм и рационализм эпохи высокого модерна. Это тяжелый путь, обрекающий на интеллектуальную (само)изоляцию и комплекс вселенского одиночества (назвать себя этнологом в современном контексте автоматически означает прослыть ретроградом, не вписавшимся в антропологический поворот), но позволяющий сохранить Я-идентичность и самоуважение.

Другие, по типу социализации и/или в силу особой психоэмоциональной предрасположенности, оказались абсолютно изоморфны новой нормальности, с готовностью отдавшись антропологическому потоку, погрузившись в интуитивизм и беспредметность, возведя в культ метафизику поля как предельную конечную истину. Это подлинное торжество Хаоса-свободы, где отсутствуют начала и концы, целеполагание и смыслы, где упоение вызывает абсолютное право истолковывать *любые* проявления человеческого разнообразия и *любые* формы витальности.

В то же самое время «неопределившиеся» – большинство представителей профессионального сообщества – испытывают когнитивный диссонанс и детское чувство беспомощности, вызванные разрушением дисциплинарного Космоса/порядка и невозможностью найти свое место в разорванном и разомкнутом интеллектуальном пространстве.

Интеллектуально и психологически мне близки первые – кто, руководствуясь профессиональным каноном старого

доброго времени, исходит из необходимости проведения дисциплинарных границ и выработки конвенционального языка как базовых условий продолжения научной деятельности. В.А. Попов, для которого этнография – это «этнология плюс набор “стыковых” субдисциплин, в названиях которых имеется формант “этно” – сокращение прилагательного “этническая” (этногеография, этносоциология, этнолингвистика, этнополитология, этнопсихология и т. д.), предметом изучения которых является этнический аспект функционирования любого феномена, выступающего в роли объекта другой, смежной, науки; этнология же – это базовая субдисциплина, изучающая этносы (этнические общности) и этнофоры, а также этнические процессы (или феномен этничности, если угодно)»⁵⁸⁷. Ю.Е. Березкин, призывающий договариваться о терминах, что станет первым шагом к систематизации предмета нашей науки, уточнению ее границ, поскольку фрагментация, или «превращение антропологии в совокупность все более локальных и частных исследовательских программ разрушает ее как целостную дисциплину»⁵⁸⁸.

Что касается коллег по цеху, составляющих новый дисциплинарный – антропологический – мейнстрим, то здесь действует презумпция, исходящая из фундаментального права ученого на собственную позицию, а равным образом на ошибку и заблуждение. Инженерия научного согласия должна строиться на взаимоуважении и учете разнообразных позиций. Вместе с тем если диалог ведется в рамках *научного* дискурса, то это предполагает использование рациональной/логической аргументации. Но за прошедшие 10–15 лет настойчивой *антропологизации* этнологии мне

⁵⁸⁷ Попов В.А. Указ. соч. С.160.

⁵⁸⁸ Березкин Ю.Е. Современные тенденции в антропологических исследованиях // Антропологический форум. 2004. № 1. С. 30.

не довелось встретить ни одного внятного объяснения специфики антропологического подхода к изучению социальных и /или культурных феноменов, в отличие от подхода этнологического, имеющего дело с «этничностью», как бы она ни интерпретировалась. В отсутствие рациональных аргументов в ход идет манипулятивная логика в духе «приличный человек просто не может не быть антропологически мыслящим». Члены профессионального сообщества, маркируя себя ярлыками «этнолог» и «антрополог», утрачивают способность к диалогу, причем взаимное непонимание приобретает все более угрожающий характер.

В конечном итоге в рамках ухудшающейся финансово-экономической ситуации, болезненного состояния российского общества, в отсутствие внятной государственной политики по отношению к науке одинаково неуспешными выглядят все сегменты российской этнологии/антропологии, вне зависимости от исповедуемых интеллектуальных позиций. Прекрасная наука будущего, к созиданию которой придется приложить серьезные и непосредственные усилия каждого члена научного этнологического/антропологического сообщества, сможет развязать все назревшие в профессиональной среде проблемы и противоречия. Ясное государственное целеполагание, императив модернизации (развития) страны, стабильное финансирование науки и системы образования, восстановление социального статуса и психологическая реабилитация лиц интеллектуального труда, массовый запрос (государственный и общественный) на этнологическую/антропологическую экспертизу составляют базовые условия *подлинной* нормализации в сфере науки и образования. В подобной ситуации неизбежно возникнут внятные критерии – внутринаучные (саморефлексия профессионального сообщества) и внешние (экспертный потенциал, востребованность) – определения эффективности и эвристического потенциала различных исследовательских стратегий, методик и процедур.

БИБЛИОГРАФИЯ

Академик Ю.В. Бромлей и отечественная этнология. 1960–1990-е годы / Отв. ред. С.Я. Козлов. М.: ИЭА РАН, 2003. 332 с.

Аксенова Г.А., Пестряков А.П. Вклад Н.Н. Чебоксарова в антропологию: 100-летний юбилей ученого // Этнографическое обозрение. 2009. № 6. С. 100–114.

Александров Д. Фритц Рингер, немецкие мандарины и отечественные ученые // Новое литературное обозрение. 2003. № 3. С. 90–104.

Алексеева Л.Д. Московский университет и становление преподавания этнографии в дореволюционной России // Вестник Московского ун-та. Сер. 8. История. 1983. № 6. С. 54–62.

Алпатов В.М. История одного мифа. Марр и марризм. М.: УРСС, 1991. 240 с.

Алымов С.С. Космополитизм, марризм и прочие «грехи»: отечественные этнографы и археологи на рубеже 1940–1950-х годов // Новое литературное обозрение. 2009. № 3 (97). С. 7–36.

Алымов С.С., Арзютов Д.В. Марксистская этнография за семь дней: Совещание этнографов Москвы и Ленинграда и дискуссии в советских социальных науках в 1920–1930-е годы // От классиков к марксизму: Совещание этнографов Москвы и Ленинграда (5–11 апреля 1929 г.) / под ред. Д.В. Арзютова, С.С. Алымова, Д.Дж. Андерсона. СПб.: МАЭ РАН, 2014. С. 21–90.

Алымов С.С. На пути к «древней истории народов СССР»: малоизвестные страницы научной биографии С.П. Толстова // Этнографическое обозрение. 2007. № 5. С. 125–144.

Алымов С.С. П.И. Кушнер и развитие советской этнографии в 1920–1950-е годы. М. ИЭА, 2006. 278 с.

Алымов С.С. Рецензия на: Решетов А.М. Материалы к биобиблиографическому словарю российских этнографов и антропологов. XX век. СПб., 2012 // Этнографическое обозрение. 2013. № 4. С. 188–189.

Алымов С.С. Три этюда о марризме в советской этнографии // Этнографическое обозрение. 2008. № 6. С. 79–93.

Алымов С.С. У истоков теории этноса: Н.М. Могиланский и петербургская антропология конца XIX – начала XX века // Три века российской этнографии / отв. ред. А.А. Сирина, сост. А.А. Сирина, А.И. Терюков, М.Ф. Хартанович. М.: Наука – Вост. лит., 2018. С. 140–160.

Алымов С.С. Украинские корни теории этноса // Этнографическое обозрение. 2017. № 5. С. 67–84.

Аникин Н.В., Соловей Т.Д., Функ Д.А. Большой стиль в науке. Памяти д.и.н., проф. Г.Е. Маркова (21.06.1923–03.04.2018) // Революции светские, религиозные, научные. Динамика интеллектуального дискурса / Сб. научн. ст. / Отв. ред. Т.Д. Соловей. СПб.: Алетейя, 2018. С. 8–30.

Анучин Д.Н. Антропология, ее задачи и методы // Русские ведомости. 1879. №№ 74, 75, 77–79.

Анучин Д.Н. География // Энциклопедический словарь т-ва «Бр. А. и И. Гранат и К°». Т. XIII. М., 1912. С. 236–253.

Анучин Д.Н. Землеведение в России (несколько слов о развитии русского землеведения). 1894 // Анучин Д.Н. Избранные географические работы. М.: Юрайт, 2018. С. 62–73.

Анучин Д.Н. Изучение производительных сил России // Анучин Д.Н. Избранные географические работы. М.: Юрайт, 2018. С. 103–111.

Анучин Д.Н. Курс лекций по истории землеведения. М., 1885 (литографированное издание).

Анучин Д.Н. О задачах русской этнографии // Этнографическое обозрение. 1889. № 1. С. 1–35.

Анучин Д.Н. О задачах и методах антропологии (Доклад, сделанный в заседании Антропологического отдела 3 января 1902 г., устроенном по случаю VIII съезда Общества

русских врачей в память Н.И. Пирогова) // Русский антропологический журнал. 1902. № 1. Кн. IX. С. 62–88.

Анучин Д.Н. Русская наука и съезды естествоиспытателей. (Речь председателя Распорядительного комитета XII съезда естествоиспытателей и врачей 28 декабря 1909 г.). Отдельный оттиск. М., 1910. 18 с.

Анчабадзе Ю.Д. С.А. Токарев: начало пути // Этнографическое обозрение. 2010. № 3. С. 120–133.

Аптекарь В.Б. Марксизм и этнография // Труды I Всесоюзной конференции историков-марксистов. 28/XII/1928–4/I/1929. Т. II. 2-е изд.. М.: Изд-во Коммунистической академии, 1930.

Аронсон Э., Пратканис Э.Р. Эпоха пропаганды: Механизмы убеждения, повседневное использование и злоупотребление. СПб.: Прайм-Еврознак, 2003. 384 с.

Артемюва О.Ю. А.Н. Максимов и его исследования. Непонятное обаяние критического ума // Максимов А.Н. Избранные труды. М.: Вост. лит., 1997. С. 453–496.

Арутюнов В.С. Государство обязано само формировать научную политику. Россия – единственная мировая держава, где этим занимаются общественные организации // НГ-наука. 2004. 24 ноября. URL: https://nvo.ng.ru/science/2004-11-24/14_science.html

Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М. Этносоциология: некоторые итоги и перспективы // Академик Ю.В. Бромлей и отечественная этнология. 1960–1990-е годы / Отв. ред. С.Я. Козлов. М.: ИЭА РАН, 2003. С. 87–101.

Ашнин Ф.Д., Алпатов В.М. «Дело славистов»: 30-е годы. М.: Наследие, 1994. 288 с.

Баграмов Э.А. Национальная проблематика прежде и теперь (субъективные заметки) // Академик Ю.В. Бромлей и отечественная этнология. 1960–1990-е годы / Отв. ред. С.Я. Козлов. М.: ИЭА РАН, 2003. С. 47–86.

Балахонова Е.И. 130 лет музею антропологии Московского университета имени М.В. Ломоносова: события

и люди // Вестник Московского университета. Сер. XXIII. Антропология. 2013. № 4. С. 1–22.

Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двумерные идентичности / Пер с фр. под. ред. О. Никифорова и П. Хицкого. М.: Логос, 2004, 288 с.

Баранов Д.А. К истории классификаций в Этнографическом отделе Русского музея («великорусы», «русские», «инородцы») // Музей, Традиции, Этничность. 2012. № 1. С. 28–37.

Батъянова Е.П., Кореняко В.А. Письма из домашнего архива С.И. Вайнштейна как источник по истории науки // Три века российской этнографии: страницы истории / отв. ред. А.А. Сирина, сост. А.А. Сирина, А.И. Терюков, М.Ф. Хартанович. М.: Наука – Вост. лит., 2018. С. 311–332.

Беккер С. Россия между Востоком и Западом: интеллигенция, национальное русское самосознание и азиатские окраины // Ab Imperio. 2002. № 1. С. 443–464.

Берг Л.С. Очерки по истории русских географических открытий. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. 465 с.

Березкин Ю.Е. Современные тенденции в антропологических исследованиях // Антропологический форум. 2004. № 1. С. 29–30.

Березницкий С.В. Караванная торговля России с Китаем и отечественная наука XVIII века: историографический аспект // Радловский сборник: Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2013 г. / отв. ред. Ю.К. Чистов. СПб.: МАЭ РАН, 2014. С. 77–90.

Березницкий С.В. Караванная торговля России с Китаем в XVIII веке и этнографическое изучение народов Амура // Три века российской этнографии: страницы истории / отв. ред. А.А. Сирина, сост. А.А. Сирина, А.И. Терюков, М.Ф. Хартанович. М.: Наука – Вост. лит., 2018. С. 14–32.

Благодарим судьбу за встречу с ним: (О Сергее Александровиче Токареве – ученом и человеке). / Рос. акад. наук.

Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая; [Отв. ред.-сост.: С.Я. Козлов, П.И. Пучков]. М., 1995. 313 с.

Богданов А.П. Краткий обзор антропологической выставки 1879 г. М. тип. М. Н. Лаврова и К°, 1879. 16 с.

Богданов В.В. Всеволод Федорович Миллер. Краткий очерк его жизни. С портретом и библиографией // Этнографическое обозрение. Кн. ХСVIII–ХСIX. 1913. № 3–4. С. I–XLII.

Богданов В.В. В.Ф. Миллер как председатель Этнографического Отдела // Этнографическое обозрение. Кн. ХСVIII–ХСIX. 1913. № 3–4. С. 21–34.

Богданов В.В. (сост.) Пятидесятилетие Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. 1863–1913. М.: Тип. Тов-ва Рябушинских, 1914 (обл. 1915). 255 с.

Богданов В.В. ОЛЕАЭ в совместной работе с государственным Политехническим музеем за последние 10 лет. 1917–1928. М.: Гос. Политехн. музей, 1928. 24 с.

Богораз-Тан В.Г. К вопросу о применении марксистского метода к изучению этнографических явлений // Этнография. 1930. № 1–2. С. 3–56.

Бомштейн Г. Фольклорные материалы в работе С.П. Крашенинникова «Описание земли Камчатки» // Советская этнография. 1950. № 2. С. 142–158.

Бромлей Ю.В., Крюков М.В. Этнография: место в системе наук, школы, методы // Советская этнография. 1987. № 3. С. 45–60.

Бунак В.В. Деятельность Д.Н. Анучина в области антропологии // Русский антропологический журнал. 1924. Т. 13. Вып. 3–4. С. 3–11.

Бунак В.В. Дмитрий Николаевич Анучин (некролог) // Отчет I-го Московского Государственного Университета за 1923 г. М., 1924. С. 243.

Бутинов Н.А. Миклухо-Маклай – великий русский ученый-гуманист. К 100-летию его первой экспедиции на Новую Гвинею. Л.: Наука, 1971. 18 с.

Вальская Б.А. Борьба Н.Н. Миклухо-Маклая за права папуасов Берега Маклая // Страны и народы Востока. Вып. 1. М.: Вост. лит., 1959. С. 130–147.

Вальская Б.А. Проект Н.Н. Миклухо-Маклая о создании на островах Тихого океана русской вольной колонии // Австралия и Океания (история и современность). М.: Вост. лит., 1970. С. 35–52.

Виноградов П.Г. Учебное дело в наших университетах // Вестник Европы. 1901. № 10. С. 537–573.

Водопьянова Е. Наука Западной Европы: реалии и перспективы // Свободная мысль – XXI. 2002. № 3. С. 74–81.

Вопросы этнологии Центрально-Промышленной области. 1-е этнологическое совещание по ЦПО при Государственном музее ЦПО. 29–30 марта 1926 г. / Под ред. В.В. Богданова и С.П. Толстова. М.: Гос. музей Центр.-промышл. области, 1927. 49 с.

Всероссийская этнографическая выставка (1867; Москва). Этнографическая выставка 1867 года Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, состоящего при Имп. Московском университете: Ист. очерк устройства Выст., описание и перечень предметов, бывших на Выст. и протоколы заседаний Ком. по устройству Выст. : Изд. Ком. Антропол. выставки. М.: Тип. М.Н. Лаврова и К°, 1878. 93 с., 19 л. ил. (Известия Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии; Т. 29 [вып. 1]).

Всероссийская этнографическая выставка (1867; Москва). Указатель Русской этнографической выставки, устроенной Обществом любителей естествознания, состоящим при Московском университете. М., 1867. - [6], II, 148 с.

Всероссийская этнографическая выставка и славянский съезд в мае 1867 года. М.: Унив. тип. (Катков и К°), 1867. X. 473 с.

Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи XX века / С.С. Алымов, А.А. Сирина, Т.П. Роон [и др.]; отв. ред.

В. А. Тишков, Д.Д. Тумаркин; сост. Д.Д. Тумаркин; ИЭА РАН. М.: Наука, 2004. 715 с.

Головнев А.В., Киссер Т.С. Этнопортрет империи в трудах П.С. Палласа и И.Г. Георги // Уральский исторический вестник. 2015. № 3 (48). С. 59–69.

Гостиева Л.К. Из истории этнографического осетиноведения: С.В. Кокиев // Три века российской этнографии: страницы истории / отв. ред. А.А. Сирина, сост. А.А. Сирина, А.И. Терюков, М.Ф. Хартанович. М.: Наука – Вост. лит., 2018. С. 80–101.

Губогло М.Н. Этническая социоллингвистика (1970–1980-е годы) // Академик Ю.В. Бромлей и отечественная этнология. 1960–1990-е годы / Отв. ред. С.Я. Козлов. М.: ИЭА РАН, 2003. С. 102–138.

Данилин А. Секция этнографии Всесоюзного географического съезда // Советская этнография. 1933. № 2. С. 113–117.

Дискуссия о марксистском понимании социологии // Историк-марксист. 1929. Т. 12. С. 189–213.

Дисциплина и общество: национальные традиции. Специальная тема номера (отв. ред. А.А. Елфимов) // Этнографическое обозрение. 2005. № 2. С. 3–5.

Дмитриев А. «Академический марксизм» 1920–1930-х годов: западный контекст и советские обстоятельства // Новое литературное обозрение. 2007. № 88. С. 10–38.

Ершова Г.Г. Древняя Америка: полет во времени и пространстве. Мезоамерика. 2-е изд. М.: Новый Акрополь, 2007. 392 с.

Есаков В. Д.Н. Анучин и создание русской университетской географической школы. М.: Изд-во АН СССР, 1955. 183 с.

Журавлева Л.С. К истории публикации «Программы» В.Н. Тенишева // Советская этнография. 1979. № 1. С. 122–123.

Журнал заседания Отделения этнографии Императорского Русского Географического Общества 4 марта 1916 года // Живая старина. 1916. Вып. 2–3. С. 1–23.

Заринов И.Ю. Исследование феноменов «этноса» и «этничности»: некоторые итоги и соображения // Академик Ю.В. Бромлей и отечественная этнология. 1960–1990-е годы / Отв. ред. С.Я. Козлов. М.: ИЭА РАН, 2003. С. 18–36.

Золотарев А.М. «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Ф. Энгельса и современная наука // Историк-марксист. 1940. № 12. С. 35–36.

Золотарев А.М. К истории ранних форм группового брака // Ученые записки исторического ф-та Моск. обл. педагогич. ин-та. Т. II. М., 1940. С. 153–170.

Золотарев А.М. Этнография в Москве // Советская этнография. 1934. № 4. С. 118–119.

Золотарев Д.А. Десятилетие Комиссии по изучению племенного состава населения СССР и сопредельных стран АН СССР (КИПС). 1917–1927 // Человек. 1928. № 1.

Золотарев Д.А. Обзор исследовательских работ ленинградских учреждений по антропологии, палеоэтнологии и этнографии за последние 10 лет // Человек. 1928. № 2–4. С. 246–260.

Золотарев Д.А. Постоянная Комиссия по изучению племенного состава населения России и сопредельных стран (КИПС) // Природа. 1925. № 07–09. С. 201–206.

Иванова Е.В. О Н.А. Бутинове // Антропологический форум. 2005. № 2. С. 416–420.

Иванова Л.В. У истоков советской исторической науки (подготовка кадров историков-марксистов в 1917–1929 гг.). М.: Мысль, 1968. 197 с.

Иванова Ю.В. Петр Федорович Преображенский: жизненный путь и научное наследие // Репрессированные этнографы / Сост. и отв. ред. Д.Д. Тумаркин; ИЭА РАН. М.: Вост. лит., 1999. С. 235–264.

Изобретение этноса: неизвестная история известной теории. Специальная тема номера (отв. ред. – С.С. Алымов) // Этнографическое обозрение. 2017. № 5. С. 67–141.

Ипполитова А.Б. История Музея народов СССР в Москве // Этнографическое обозрение. 2001. № 2. С. 144–160.

Истоки теории этноса: С.М. Широкогоров и другие. Дискуссия номера (отв. ред. А.М. Кузнецов) // Этнографическое обозрение. 2006. № 3. С. 54–93.

Истомин А.А. Профессионалы и непрофессионалы в современной российской индеанистике // Три века российской этнографии: страницы истории / отв. ред. А.А. Сирина, сост. А.А. Сирина, А.И. Терюков, М.Ф. Хартанович. М.: Наука – Вост. лит., 2018. С. 334–346.

Кагаров Е.Г. Завдання та методи етнографії // Етнографічний вісник. 1928. Кн. 7. С. 3–44.

Кагаров Е.Г. Пределы этнографии // Этнография. 1928. № 1. С. 11–23.

Кадек М.Г. География в Московском университете до Великой Октябрьской социалистической революции // Ученые Записки МГУ. 1940. Вып. LV. География. С. 3–52.

Калашникова Н.М. Первая этнографическая выставка России // Славяне Европы и народы России. СПб.: Славия, 2008. С. 12–45.

Калиновская К.П., Турьинская Х.М. Н.Н. Чебоксаров у истоков музейного дела в ИЭА РАН // Этнографическое обозрение. 2009. № 6. С. 114–119.

Калиновская К.П. Научное открытие в контексте эпохи. О монографии Г.Е. Маркова «Кочевники Азии» (1976) // Революции светские, религиозные, научные. Динамика интеллектуального дискурса / Сб. научн. ст. / Отв. ред. Т.Д. Соловей. СПб.: Алетейя, 2018. С. 31–32.

Калоев Б.А. В.Ф. Миллер-кавказовед. Орджоникидзе: Сев.-Осет. кн. изд-во, 1963. 198 с.

Кан С. «Мой друг в тупике эмпиризма и скепсиса»: Владимир Богораз, Франц Боас и политический контекст совет-

ской этнологии в конце 1920-х – начале 1930-х годов // Антропологический форум. 2007. № 7. С. 191–230.

Капустин Б.Г. Современность как предмет политической теории. М.: РОССПЭН, 1998. 308 с.

Карлов В.В. Ученый и его время (к научной биографии профессора К.И. Козловой) // Этнографическое обозрение. 2013. № 4. С. 118–128.

Карпов Г.В. Дмитрий Николаевич Анучин. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1962. 64 с.

Керимова М.М. Вклад В.В. Богданова и Б.М. Соколова в создание и развитие российской этнографической периодики // Три века российской этнографии / отв. ред. А.А. Сирина, сост. А.А. Сирина, А.И. Терюков, М.Ф. Хартанович. М.: Наука – Вост. лит., 2018. С. 102–139.

Керимова М.М. Жизнь, отданная науке. Семья этнографов Харузиных / Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. М.: Вост. лит., 2011. 759 с.

Керимова М.М. Журнал «Этнографическое обозрение» на переломе эпох (1889–1930) // Этнографическое обозрение. 2017. № 1. С. 12–29.

Керимова М.М. Императорское Общество любителей естествознания антропологии и этнографии и судьба его архива // Этнографическое обозрение. 2007. № 1. С. 137–141.

Киссер Т.С. Костюмы и рисунки: визуальное народоведение И.Г. Георги // Три века российской этнографии / отв. ред. А.А. Сирина, сост. А.А. Сирина, А.И. Терюков, М.Ф. Хартанович. М.: Наука – Вост. лит., 2018. С. 33–46.

Киссер Т.С. Путешествие И.П. Фалька и И.Г. Георги по Российской империи (по материалам дневников) // Уральский исторический вестник. 2016. № 2 (51). С. 53–60.

Ковалевский М.М. Московский университет в конце 70-х и начале 80-х годов прошлого века. (Личные воспоминания) // Вестник Европы. 1910. Кн. 5. С. 178–221.

Ковалевский М.М. Памяти Всеволода Федоровича Миллера // Этнографическое обозрение. 1913. № 3–4. С. 11–20.

Козлов С.Я. Потерянная этнография // НГ-наука. 2004. 27 октября. С. 13. URL: https://www.ng.ru/science/2004-10-27/13_ethnography.html

Козлова К.И., Чебоксаров Н.Н. Этнография в Московском университете // Советская этнография. 1955. № 2. С. 100–111.

Козьмин В.А. Из истории этнографического образования в Ленинградском / Санкт-Петербургском университете // Этнографическое обозрение. 2009. № 4. С. 109–117.

Козьмин В.А. Кафедра этнографии и антропологии // Исторический факультет Санкт-Петербургского Университета. 1934–2004; Очерк истории. СПб., 2004. С. 317–339.

Коротеева В.В. Теории национализма в зарубежных социальных науках. М.: РГГУ, 1999. 140 с.

Косвен М.О. Из истории ранней русской этнографии // Советская этнография. 1952. № 4. С. 128–141.

Косвен М.О. М.М. Ковалевский как этнограф-кавказовед // Советская этнография. 1951. № 4. С. 116–135.

Крупник И.И. Культурные контакты и их демографические последствия в районе Берингова пролива // Америка после Колумба: взаимодействие двух миров. М.: Наука, 1992. С. 30–47.

К 130-летию со дня рождения С.М. Широкогорова. Специальная тема номера (отв. ред. А.А. Сирина, В.Н. Давыдов) // Этнографическое обозрение. 2017. № 5. С. 5–66.

Кузнецов А.М. Теория этноса С.М. Широкогорова // Этнографическое обозрение. 2006. № 3. С. 57–71.

Лашук Л.П., Марков Г.Е. Кафедра этнографии // Историческая наука в Московском университете (1934–1984). М.: Изд-во МГУ, 1984. С. 289–293.

Лашук Л.П. Опыт типологии этнических общностей средневековых тюрок и монголов // Советская этнография. 1968. № 1. С. 95–106.

Лебедев Е.Н. Ломоносов. М.: Молодая гвардия, 1990. 608 с.

Лев Штернберг – ученый, гражданин и человек (к 150-летию со дня рождения) / под ред. Е.А. Резвана. СПб.: МАЭ РАН, 2012. 336 с.

Левин М.Г. Дмитрий Николаевич Анучин (1843–1923) // Труды Института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. Памяти Д.Н. Анучина / Отв. ред. С.П. Толстов. М.; Л., 1947. Т. I. С. 3–17.

Линн Р. Расовые различия в интеллекте. Эволюционный анализ. М.: Профит Стайл, 2010. 304 с.

Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Пер. с фр. Н.А. Шматко. М.: Ин-т экспериментальной социологии, 1998. 160 с.

Максимов А.Н. К вопросу о методах изучения истории семьи // Этнографическое обозрение. 1899. № 4. С. 1–35.

Максимов А.Н. Мак-Леннан и Морган // Этнографическое обозрение. 1906. № 3–4. С. 302–311.

Максимов А.Н. Научные методы В.Ф. Миллера // Этнографическое обозрение. 1913. № 3–4. С. 35–46.

Максимов А.Н. Работы М.М. Ковалевского в области первобытного права // Этнографическое обозрение. 1916. № 1–2. С. 56–66.

Максимов А.Н. «Разбросанность» в науке // Русские ведомости. 1913. № 197. С. 3–5.

Максимов А.Н. Современное положение этнографии и ее успехи // Этнографическое обозрение. 1909. Кн. LXXXIII. № 4. С. 9–22.

Малинов А.В. Экспедиция Д.К. Зеленина на Алтай в 1927 г. // Этнографическое обозрение. 2016. № 3. С. 57–70.

Марков Г.Е. Очерки истории немецкой науки о народах. В 2-х ч. М.: Координац.-метод. центр прикл. этнографии Ин-та этнологии и антропологии, 1993. Ч. I. Немецкая этнология. Ч. II. Народоведение.

Марков Г.Е. Немецкая этнология: Учебное пособие для вузов. М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2004. 576 с.

Маркова Л.В. Сергей Александрович Токарев: человек, ученый, педагог // Благодарим судьбу за встречу с ним:

(О Сергее Александровиче Токареве – ученом и человеке). / Рос. акад. наук. Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая; [Отв. ред.-сост.: С.Я. Козлов, П.И. Пучков]. М., 1995. С. 41–57.

Маторин Н.М. Современный этап и задачи советской этнографии // Советская этнография. 1931. № 1–2. С. 3–38.

Миклухо-Маклай Н.Н. Путешествия. Т. 1. Путешествия в Новой Гвинее в 1871, 1872, 1874, 1876, 1877, 1880, 1883 гг. / Со вст. ст. Д.Н. Анучина. М.: Новая Москва, 1923. 616 с.

Миклухо-Маклай Н.Н. Собрание сочинений. Т. 1: Дневники путешествий: 1870–1872 / [подгот. к печати Н.А. Бутиновым и Ю.М. Лихтенбергом]. М.; Л.: Акад. наук СССР, Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая, 1950. 416 с.

Миклухо-Маклай Н.Н. Собрание сочинений. Т. 3. Ч. 1. Статьи по антропологии и этнографии. М.; Л.: Акад. наук СССР, Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая, 1951. 557 с.

Миклухо-Маклай Н.Н. Собрание сочинений. Т. 4. Переписка и другие материалы / подгот. к печати Н.А. Бутиновым и Ю.М. Лихтенбергом; послесл.: Н.А. Бутинов. М.; Л.: Акад. наук СССР, Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая, 1953. 594 с.

Миллер В.Ф. Вступительное слово при открытии подсекции этнографии на XII съезде естествоиспытателей и врачей // Этнографическое обозрение. 1909. № 4. Кн. LXXXIII. М., 1910. С. 1–8.

Mills, C. Wright. White Collar: The American Middle Classes. New York: Oxford University Press, 1951. 378 p.

Миськова Е.В. А.А. Никишенков. «Двусмысленности нашего ремесла». Грани отечественной историографии в этнологии // А.А. Никишенков. «Изобретая традицию» и создавая «воображаемое сообщество». Сб. ст. М.: Новый хронограф, 2017. С. 9–14.

Миськова Е.В. Журнал «Этнографическое обозрение» [Неопубликованная рукопись.] М., 2003.

Михайлова Е.А. Владимир Германович Богораз: ученый, писатель, общественный деятель // Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи XX века / С.С. Алымов, А.А. Сирина, Т.П. Роон [и др.]; отв. ред. В. А. Тишков, Д.Д. Тумаркин; сост. Д.Д. Тумаркин; ИЭА РАН. М.: Наука, 2004. С. 95–136.

Могильнер М. Номо Imperii. История формирования физической антропологии в России (конец XIX – начало XX в.). М.: НЛО, 2008. 512 с.

Моно Г. О Миклухе-Маклае (По отзывам иностранцев) // Век. 1883. Март.

Муретов Д.Д. О понятии народности // Нация и империя в русской мысли начала XX века. М.: Скимень, 2004. С. 189–204.

Надеждин Н.И. Об этнографическом изучении народности русской. Ч. I // Этнографическое обозрение. 1994. № 1. С. 107–117; Ч. II // Этнографическое обозрение. 1994. № 2. С. 124–139.

Найт Н. Панславизм. Империя напоказ: Всероссийская этнографическая выставка 1867 года // Новое литературное обозрение. 2001. № 5. С. 111–131.

Наумова О.Б. Среднеазиатская этнография 1960–1970-х годов в письмах А.К. Писарчик к О.А. Сухаревой // Три века российской этнографии / отв. ред. А.А. Сирина, сост. А.А. Сирина, А.И. Терюков, М.Ф. Хартанович. М.: Наука – Вост. лит., 2018. С. 246–277.

Наши задачи в связи с постановлением ЦК ВКП(б) от 15 марта 1931 г. // Сообщения ГАИМК. 1931. № 6. С. 2–5.

Некрылова А.Ф. Вера Николаевна Харузина и этнография ее времени (1866–1931) // Харузина В.Н. Этнография. Лекции / подготовка текстов, вступительная статья, комментарии, справочный аппарат А.Ф. Некрыловой. СПб.: Тропа Троянова, 2007. С. 3–27.

Окладников А.П. Рец. на: Крашенинников С.П. Описание земли Камчатки. С приложением рапортов, донесений и

других неопубликованных материалов. Изд. Главсевморпути. М.–Л., 1949 // Советская этнография. 1951. № 2. С. 239–245.

Ольденбург С.Ф. Задачи журнала «Этнография» // Этнография. 1926. № 1–2. С. 5–6.

О постановке преподавания географии в императорских российских университетах. Мнение Совета Императорского Русского Географического Общества // Вестник ИРГО. 1887. Т. 23. Вып. 6.

От классиков к марксизму: совещание этнографов Москвы и Ленинграда (5–11 апреля 1929 г.) / под ред. Д.В. Арзютова, С.С. Алымова, Д.Дж. Андерсона. СПб.: МАЭ РАН, 2014. 511 с. (Сер. «Кунсткамера – Архив». Т. VII).

Отчет I-го Московского государственного университета за 1925–1926 гг. М., 1927. 469 с. Отд. оттиск.

Панченко А.Б. От народничества к народоведению: становление Д.А. Клеменца как этнографа // Три века российской этнографии / отв. ред. А.А. Сирина, сост. А.А. Сирина, А.И. Терюков, М.Ф. Хартанович. М.: Наука – Вост. лит., 2018. С. 60–79.

Панченко А.Б. Д.А. Клеменц и производство знания о народах в Российской империи // Этнографическое обозрение. 2018. № 2. С. 122–136.

Пименов В.В. Понятие «этнос» в теоретической концепции Ю.В. Бромлея // Академик Ю.В. Бромлей и отечественная этнология. 1960–1990-е годы / Отв. ред. С.Я. Козлов. М.: ИЭА РАН, 2003. С. 12–18.

Пименов В.В. Труд ради науки // Благодарим судьбу за встречу с ним: (О Сергее Александровиче Токареве – ученом и человеке). / Рос. акад. наук. Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая; [Отв. ред.-сост.: С.Я. Козлов, П.И. Пучков]. М., 1995. С. 70–82.

Пименов В.В. Удмурты. Опыт компонентного анализа этноса. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1977. 262 с.

Пленум Института этнографии (декабрь 1937 г.) // Советская этнография. 1938. Сб. ст. Т. I.

Попов В.А. Этнология, этнография, народоведение или антропология этничности? (номинативный аспект науки как отражение «революционных» перемен) // Революции светские, религиозные, научные. Динамика интеллектуального дискурса / Сб. научн. ст. / Отв. ред. Т.Д. Соловей. СПб.: Алетейя, 2018. С. 158–166.

Преображенский П.Ф. Вопросы развития советской этнологии // Культура и быт населения ЦПО. (Этнологические исследования и материалы). Под ред. В.В. Богданова и С.П. Толстова. 2-е совещание этнологов ЦПО 7–10 декабря 1927 г. М., 1929. С. 14–22.

«Провинциальная» наука: этнография в Иркутске в 1920-е годы : избранные статьи / Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Российской акад. наук, М-во культуры и архивов Иркутской обл., Иркутский обл. краеведческий музей; сост. А.А. Сирина. М.: ИЭА РАН; Иркутск, 2013. 461 с.

Пузанов И.И. Н.Н. Миклухо-Маклай как натуралист и путешественник // *Миклухо-Маклай Н.Н.* Собр. соч. М.; Л., 1952. Т. 3. С. 365–418.

Пушкарев Л.Н. Рукописный фонд И.Г. Прыжова, считавшийся утерянным // Советская этнография. 1950. № 1. С. 183–187.

Пыпин А.Н. История русской этнографии. В 4-х т. Т. I. Общий обзор изучений народности и этнографии великорусской. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1890. 424 с.

Ревуненкова Е.В. Из истории отечественной этнографии: Нина Ивановна Гаген-Торн (1900 – 1986) // Этнографическое обозрение. 2012. № 6. С. 99–122.

Ревуненкова Е.В. Николай Александрович Бутинов в истории российской этнографии // Три века российской этнографии / отв. ред. А.А. Сирина, сост. А.А. Сирина,

А.И. Терюков, М.Ф. Хартанович. М.: Наука – Вост. лит., 2018. С. 278–310.

Ревуненкова Е.В. Н.А. Бутинов: портрет на фоне века (к 100-летию со дня рождения) // Этнографическое обозрение. 2016. № 3. С. 96–111.

Репрессированные этнографы / Сост. и отв. ред. Д.Д. Тумаркин; ИЭА РАН. Вып. 1. М.: Вост. лит., 1999. 340 с.

Репрессированные этнографы / Сост. и отв. ред. Д.Д. Тумаркин; ИЭА РАН. Вып. 2. М.: Вост. лит., 2003. 495 с.

Речь почетного члена Императорского ОЛЕАЭ И.А. Каблукова // 50-летие Императорского ОЛЕАЭ. 1863–1913. Торжественное заседание 15 октября 1913 г., произнесенные на нем речи, полученные к этому дню приветствия и происходившее одновременно чествование 70-летия жизни президента общества Д.Н. Анучина. Сост. секретарь общества В.В. Богданов. М.: Тип. Т-ва Рябушинских, 1914 (обл. 1915). 255 с.

Решетов А.М. Институт антропологии и этнографии – Институт этнографии АН СССР. 1933–1943 гг. // Этнографическое обозрение. 2003. № 5. С. 24–42.

Решетов А.М. Материалы к биобиблиографическому словарю российских этнографов и антропологов. XX век. СПб.: Наука, 2012. 579 с.

Решетов А.М. Неизвестные страницы из жизни Д.К. Зеленина (об участии Зеленина в конкурсе в Казанском университете) // Этнографическое обозрение. 2005. № 4. С. 130–136.

Решетов А.М. Репрессированная этнография // Кунсткамера: этнографические тетради. 1994. № 4. С. 185–221.

Савоскул С.С. Несколько заметок об истории и современном развитии отечественной этнологии и антропологии (по поводу выхода в свет книги «Выдающиеся этнологи и антропологи XX века». М.: Наука, 2004. 716 с.) // Отечественная история. 2006. № 1. С. 179–186.

Савоскул С.С. Этнограф Красноярского музея – Б.О. Долгих в 1937–1944 годах // Этнографическое обозрение. 2009. № 1. С. 100–118.

Семенов Ю.И. О моем «пути в первобытность» // Академик Ю.В. Бромлей и отечественная этнология. 1960–1990-е годы / Отв. ред. С.Я. Козлов. М.: ИЭА РАН, 2003. С. 164–211.

Сергеев С.М. Пришествие нации? Книга статей. М.: Скимень, 2010. 303 с.

Сибирская живая старина: этнографический сб. в 4-х т. СПб: Альфарет, 2008.

Сирина А.А. Забытые страницы сибирской этнографии: Б.Э. Петри // Репрессированные этнографы / Сост. и отв. ред. Д.Д. Тумаркин; ИЭА РАН. Вып. 1. М.: Вост. лит, 1999. С. 57–80.

Сирина А.А. Чувствовать движение науки (интервью с Даниилом Давидовичем Тумаркиным) // Этнографическое обозрение. 2012. № 4. С. 140–165.

Сирина А.А. «Провинциальная» наука: Этнография в Иркутске в 1920-е годы // «Провинциальная» наука: этнография в Иркутске в 1920-е годы / изб.анные статьи / сост., автор вст. ст. и биобиблиограф. словаря А.А. Сирина. М.: ИЭА РАН; Иркутск, 2013. 461 с.

Сирина А.А. «Я ... чувствую себя в обществе наблюдателем»: письма С.М. Широкогорова к Л.Я. Штернбергу (1912–1924) // Этнографическое обозрение. 2015. № 6. С. 152–172.

Сирина А.А. От редактора // Три века российской этнографии: страницы истории / отв. ред. А.А. Сирина, сост. А.А. Сирина, А.И. Терюков, М.Ф. Хартанович. М.: Наука – Вост. лит., 2018. С. 5–13.

Славянофильство и западничество: консервативная и либеральная утопия в работах Анджея Валицкого. Реферативный сб. Сост. К.В. Душенко. Отв. ред. Р.А. Гальцева. Вып. I. М.: ИНИОН РАН, 1991. 191 с.

Слезкин Ю. Советская этнография в нокдауне: 1928–1938 // Этнографическое обозрение. 1993. № 2. С. 113–125.

Слободин С.Б. Выдающийся исследователь северных народов (к 150-летию со дня рождения В.И. Иохельсона) // Этнографическое обозрение. 2005. № 5. С. 96–115.

Соболева Е.В. Организация науки в пореформенной России. Л.: Наука, 1983. 262 с.

Сокал А., Брикмон Ж. Интеллектуальные уловки. Критика современной философии постмодернизма. М.: Дом интеллектуальной книги, 2002. 248 с.

Соколов В.Ю. История и политика. (К вопросу о содержании и характере дискуссий советских историков 1920-х – начала 1930-х гг.). Томск: Изд-во Томского ун-та, 1990. 204 с.

Соколова З.П. Воспоминания о В.Н. Чернецове. (К 100-летию со дня рождения, 17 марта 1905 г. – 29 марта 1970 г.) // Этнографическое обозрение. 2006. № 3. С. 149–157.

[С.В. Соколовский] От редакции. Преемственность или разрыв? (О дате основания журнала Этнографическое обозрение) // Этнографическое обозрение. 2017. № 1. С. 5–11.

Соколовский С.В. Будущее антропологии: кросс-, интер-, мульти-, транс-, а- или постдисциплинарность? // Сибирские исторические исследования. 2016. № 4. С. 12–29.

Соколовский С.В. Образы Других в российских науке, политике и праве. М.: Путь, 2001. 235 с.

Соловей В.Д. Абсолютное оружие. Основы психологической войны и медиаманипулирования. М.: Э, 2015. 250 с.

Соловей Т.Д. Николай Иванович Надеждин. У истоков отечественной этнологической науки // Этнографическое обозрение. 1994. № 1. С. 103–107.

Соловей Т.Д. Александр Николаевич Пыпин и его место в русской историографии // ЭО. 1994. № 4. С.89–93.

Соловей Т.Д. Власть и наука в России. Очерки университетской этнологии в дисциплинарном контексте (XIX – начало XXI вв.). М.: Прометей, 2004. 230 с.

Соловей Т.Д. Государственный патернализм и советская этнографическая наука (1950–1980-е годы) // Больше чем этнограф / Сб. науч. статей памяти профессора В.В. Пименова / Ред. Т.С. Гузенкова, В.В. Карлов. М.: МГУ. 2015. С. 143–157.

Соловей Т.Д. Дискурс о «народности» в XIX веке: структура и эволюция // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. № 4. 2016. С. 50–65.

Соловей Т.Д. *Lusus Naturae*. Народы в контексте естественнонаучного знания. Учебно-метод. пособие. М.: Перо, 2016. 165 с.

Соловей Т.Д. Между политикой и наукой: этнографическое знание в XVIII веке // Этнокультурные процессы в прошлом и настоящем / Сб. науч. статей. К юбилею д.и.н., профессора К.И. Козловой. М.: МГУ, 2012. С. 322–336.

Соловей Т.Д. Объективность исторической науки как культурный миф // Может ли история быть объективной? Материалы международной научной конференции / Под ред. С.П. Карпова. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2012. С. 179–188.

Соловей Т.Д. ОЛЕАЭ // Императорский Московский университет: 1755–1917: энциклопедический словарь / Сост. А.Ю. Андреев, Д.А. Цыганков. М.: РОССПЭН, 2010. 894 с.

Соловей Т.Д. От «буржуазной» этнологии к «марксистской» этнографии: стратегии продвижения марксистской ортодоксии в раннесоветский период // Исторические исследования. Журнал Исторического факультета МГУ. 2018. № 11. С. 160–178.

Соловей Т.Д. От «буржуазной» этнологии к «советской» этнографии. История отечественной этнологии первой трети XX века. М.: Координац.-метод. центр прикладной этнографии Ин-та этнологии и антропологии РАН, 1998. 258 с.

Соловей Т.Д. От интуиции к рацио. Дискурс о народности в XIX веке. Учебно-метод. пособие. М.: Перо, 2016. 308 с.

Соловей Т.Д. Советский миф о «культурном герое». Труды и дни Н.Н. Миклухо-Маклая // Родина. 2011. № 8, август. С. 125–129.

Соловей Т.Д. Этнографическое отделение Этнологического факультета I МГУ. 1925–1930 // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 1992. № 3. С. 38–50.

Соловей Т.Д. Этнографическое совещание 1929 года как коммуникативное и пропагандистское пространство // Современная коммуникативистика. 2018. № 4. С. 9–16.

Соловей Т.Д. С надеждой на прекрасную науку будущего: кафедре этнологии исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова – 80 лет // Культурное наследие России. 2019. № 4. С. 3–17.

Соловьев А.И. Дмитрий Николаевич Анучин и основные направления его научной деятельности // *Анучин Д.Н.* Избранные географические работы. М.: Юрайт, 2018. С. 11–27.

Соловьев А.И. Физическая география в МГУ после 1917 г. // Ученые Записки МГУ. 1940. Вып. LV. География.

С.Т.А. Жданко беседует В.А. Тишков // Этнографическое обозрение. 1994. № 1. С. 118–133.

Степанов Н.Н. В.Н. Татищев и русская этнография // Советская этнография. 1951. № 1. С. 158–159.

Степанский А.Д. История научных учреждений и организаций дореволюционной России. Пособие по спецкурсу. Под ред. проф. Н.П. Ерошкина. М.: МГИАИ, 1987. 86 с.

Струве В.В. Советская этнография и ее перспективы // Советская этнография. 1939. Сб. ст. Т. II. С. 3–10.

Сумцов Н.Ф. Этнографические заметки // Этнографическое обозрение. 1889. № 3. С. 111–132.

Татищев В.Н. Предложение о сочинении истории и географии российской // Избранные труды по географии России / Под ред. А.И. Андреева. М.: Географгиз, 1950. С. 77–97.

Татищев В.Н. Разговор дву[х] приятелей о пользе науки и училищах // Избранные труды / Сост. А.Б. Каменский. М.: РОССПЭН, 2010. С. 45–159.

Тишков В.А. Наука и жизнь. Разговоры с этнографами. СПб.: Алетейя, 2008. 176 с.

Тишков В.А. О Ю.В. Бромлее // Академик Ю.В. Бромлей и отечественная этнология. 1960–1990-е годы / Отв. ред. С.Я. Козлов. М.: ИЭА РАН, 2003. С. 5–10.

Тишков В.А. Об антропологии как дисциплине в российской традиции // Этнографическое обозрение. 2005. № 2. С. 6–7.

Тишков В.А. Размышления об итогах жизни: беседа с Се-
вьяном Израилевичем Вайнштейном // Этнографическое
обозрение. 2008. № 2. С. 70–86.

Токарев С.А. История русской этнографии (Дооктябрь-
ский период). М.: Наука, 1966. 453 с.

Токарев С.А., Чебоксаров Н.Н. Методология этногенети-
ческих исследований на материалах этнографии в свете
работ И.В. Сталина по вопросам языкознания // Советская
этнография. 1951. № 4. С. 7–26.

Токарев С.А. О задачах этнографического изучения наро-
дов индустриальных стран // Советская этнография. 1967.
№ 5. С. 133–142.

Токарев С.А. О системах родства у австралийцев (к во-
просу о происхождении семьи) // Этнография. 1929. № 1.
С. 23–53.

Токарев С.А. Основные этапы развития русской дорево-
люционной и советской этнографии (Проблема периодиза-
ции) [Доклад, прочитанный на Этнографическом совеща-
нии в Москве 24 января 1951 г.] // Советская этнография.
1951. № 2. С. 160–178.

Токарев С.А. Проблемы типологии этнических общно-
стей. (К методологическим проблемам этнографии) // Во-
просы философии. 1964. № 11. С. 49–52.

Токарев С.А. Энгельс и современная этнография // Изве-
стия АН СССР. Серия истории и философии. 1946. Т. III.
№ 1. С. 17–30.

Толстов С.П. Проблема происхождения индоевропейцев
и современная этнография и этнографическая лингвисти-
ка // Краткие сообщения Института этнографии. 1946. № 1.
(Автореферат доклада на сессии Комиссии этногенеза и сек-
тора Европы Института этнографии АН СССР 26 июня –
4 июля 1944 г.).

Толстов С.П. Итоги перестройки работы Института этно-
графии АН СССР в свете труда И.В. Сталина «Марксизм
и вопросы языкознания» // Советская этнография. 1951.
№ 3. С. 3–14.

Труды антропологического отдела ОЛЕАЭ. М.: Тип. и ли-
тогр. С.П. Архипова, 1880. Т. 6. 120 с.

Труды КИПС. Вып. 1. Инструкция к составлению пле-
менных карт, издаваемых комиссией по изучению племен-
ного состава России. Птг., 1917; Вып. 2. Карский Е.Ф. Этно-
графическая карта белорусского населения. Птг., 1917;
Вып. 3. Марр Н.Я. Племенной состав населения Кавказа.
Птг., 1920; Вып. 4. Марр Н.Я. Кавказские племенные назва-
ния и местные параллели. Птг., 1922; Вып. 5. Марр Н.Я. Та-
лыши. Птг., 1922; Вып. 6. Берг Л.С. Население Бессарабии,
его этнографический состав и численность. Птг., 1923; Вып.
7. Патканов С.К. Список народностей Сибири. Птг., 1923;
Вып. 8. Шкала цветных обозначений народностей на кар-
тах, издаваемых КИПС. Л., 1924; Вып. 9. Зарубин
И.И. Список народностей Туркестанского края. Л., 1925;
Вып. 10. Зарубин И.И. Население Самаркандской области,
его численность, этнографический состав и территориаль-
ное распределение. Л., 1926; Вып. 11. Фиельструп Ф.А. Эт-
нический состав населения Приуралья. Л., 1926; Вып. 12.
Золотарев Д.А. Этнический состав населения Северо-Запад-
ной области и Карельской АССР. Л., 1926; Вып. 13. Зарубин

И.И. Список народностей СССР. Л., 1927; Вып. 14. Вознесенская Е.А. и Пиотровский А.Б. Материалы для библиографии по антропологии и этнографии Казахстана и Среднеазиатских республик. Л., 1927; Вып. 15. Финно-угорский сборник (под ред. С.Ф. Ольденбурга и А.И. Андреева). Л., 1928; Вып. 16. Западно-финский сборник (под ред. А.И. Андреева). Л., 1928; Вып. 17. Объяснительная записка к этнографической карте Сибири (под ред. С.Ф. Ольденбурга и С.И. Руденко). Л., 1929.

Тумаркин Д.Д. Анучин и Миклухо-Маклай. (Из истории изучения и публикации научного наследия Н.Н. Миклухо-Маклая) // Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии. Вып. X. М.: Наука, 1988. С. 5–37.

Тумаркин Д.Д. Великий русский ученый-гуманист (к 75-летию со дня смерти Н.Н. Миклухо-Маклая) // Советская этнография. 1963. № 6. С. 3–15.

Тумаркин Д.Д. Папуасский союз (из истории борьбы Н.Н. Миклухо-Маклая за права папуасов Новой Гвинеи) // Расы и народы: Современные этнические и расовые проблемы: Ежегодник. М.: Наука, 1977. Вып. 7. С. 103–127.

Тумаркин Д.Д. Ю.В. Бромлей и журнал «Советская этнография» // Академик Ю.В. Бромлей и отечественная этнология. 1960–1990-е годы / Отв. ред. С.Я. Козлов. М.: ИЭА РАН, 2003. С. 212–228.

Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем в двадцати восьми томах – Сочинения. Т. 15. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1968.

Турьинская Х.М. Этнографическое музееведение в России в конце XIX – начале XX в. М.: ИЭА РАН, 2008. 313 с.

Турьинская Х.М. Н.А. Янчук: у истоков «Этнографического обозрения» // Этнографическое обозрение. 2009. № 4. С. 102–109.

Уроки Л.Н. Гумилева: блеск и нищета теории этногенеза. Специальная тема номера (отв. ред. В.А. Шнирельман) // Этнографическое обозрение. 2006. № 3. С. 3–53.

Филиппов В.Р. Критика этнического федерализма. М.: ЦПРИ РАН. 2003. 379 с.

Фирсов Б.М. «Крестьянская» программа В.Н. Тенишева и некоторые результаты ее реализации // Советская этнография. 1988. № 4. С. 38–48.

Фирсов Б.М. Теоретические взгляды В.Н. Тенишева // Советская этнография. 1988. № 3. С. 15–27.

Функ Д.А. Лекция в национальном исследовательском Томском государственном университете «Почему Россия нуждается в антропологах?» // Томский государственный университет. 14.11.2018. URL: http://www.tsu.ru/university/sovets/Academic_Council/seminar/2018/LectureFunkDA.php

Фурсов А.И. «Биг Чарли», Или о Марксе и марксизме: эпоха, идеология, теория (к 180-летию со дня рождения К. Маркса) // Русский исторический журнал. 1998. Весна. Т. I. № 2. С. 347–348.

Фурсов А.И. Еще один «очарованный странник» (о Владимире Владимировиче Кривошеине на фоне позднесоветского общества и в интерьере социoproфессиональной организации советской науки) // Русский исторический журнал. Осень 1999. Т. II. № 4.

Фурсов А.И. Операция «Прогресс» // Космополис. 2003/2004. Зима. № 4 (6). С. 23–43.

Харузин Н.Н. Из западноевропейской этнографической литературы // Этнографическое обозрение. 1895. № 3. С. 105–113.

Харузин Н.Н. Один из представителей немецкой школы этнографов (Heinr. Schurtz Katechismus der Völkerkunde). [Хайнц Шурц. Учебник по народоведению] // Этнографическое обозрение. 1894. № 1. С. 112–120.

Харузина В.Н. Историческое развитие этнографии // Этнографическое обозрение. 1907. № 3. С. 56–68.

Харузина В.Н. К вопросу о влиянии верований на юридические обычаи // Этнографическое обозрение. 1892. № 1. С. 191.

Хоскинг Дж. Россия: народ и империя (1552–1917). Смоленск: Русич, 2000. 512 с.

Хроника совещания этнографов Ленинграда и Москвы 5.04–11.04.1929 г. // *Этнография*. 1929. № 2. С. 110–144.

Цаллагова З.Б. В.Ф. Миллер и его осетиноведческие штудии // *Этнографическое обозрение*. 2014. № 2. С. 90–98.

Чебоксаров Н.Н. Расовый отдел государственного музея антропологии МГУ // *Антропологический журнал*. 1936. № 2. С. 249–256.

Чебоксаров Н.Н. Проблемы типологии этнических общностей в трудах советских ученых // *Советская этнография*. 1967. № 4. С. 94–109.

Чесноков В.И. Движение за «разделение историко-филологического факультета» и начало специализации университетского исторического образования в 50–70-х гг. XIX в. // *Российские университеты в XIX – начале XX века. Сб. научн. ст.* Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1993. С. 70–88.

Чешко С.В. От советской этнографии к российской этнологии // *Этнографическое обозрение*. 2002. № 2. С. 8–10.

Шангина И.И., Аксянова Г.А. Давид Алексеевич Золотарев – этнограф, антрополог, организатор науки в России начала XX века // *Три века российской этнографии* / отв. ред. А.А. Сирина, сост. А.А. Сирина, А.И. Терюков, М.Ф. Хартанович. М.: Наука – Вост. лит., 2018. С. 221–245.

Шенталинская Т.С. Софья Богораз – автор записей русского фольклора на Чукотке // *Этнографическое обозрение*. 2012. № 1. С. 110–120.

Широкогоров С.М. Этнос. Исследование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений // *Известия восточного факультета Дальневосточного университета*. Вып. XVIII. Т. 1. Шанхай, 1923. 134 с.

Штернберг Л.Я. Д.Н. Анучин как этнограф (скончался 4 июня 1923 г.). Речь в Академии материальной культуры в первую годовщину смерти Д.Н. Анучина: отдельный оттиск. Л., 1924. С. 8–13.

Штернберг Л.Я. Д.Н. Анучин как этнограф // *Этнография*. 1926. № 1–2. С. 7–13.

Штернберг Л.Я. Современная этнология. Новейшие успехи, научные течения и методы // *Этнография*. 1926. № 1–2. С. 15–43.

Щетинина Г.И. Университеты в России и Устав 1884 г. М.: Наука, 1976. 230 с.

Эймонтова Р.Г. Идеи просвещения в обновляющейся России (50–60-е гг. XIX в.). М.: ИРИ РАН, 1998. 405 с.

Эймонтова Р.Г. Русские университеты на грани двух эпох. От России крепостной к России капиталистической. М.: Наука, 1985. 250 с.

Эриксен Т.Х. Что такое антропология? Учеб. пособие / пер. с англ. А.И. Карасевой; под науч. ред. Ж.В. Корминой; предисл. Ж.В. Корминой. М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2014. 238 с.

Юревич А. Ретранслятор западных концепций. Отечественная социогуманитарная наука постепенно утрачивает функцию производства нового знания // *НГ-наука*. 2004. 9 июня. С. 13. URL: https://www.ng.ru/science/2004-06-09/13_science.html

Alymov S. Ethnography, Marxism, and Soviet Ideology // *An Empire of Others. Creating Ethnographic Knowledge in Imperial Russia and the USSR* / Ed. By R. Cvetkovskt, A. Hofmeister/ Central European University Press, 2014. P. 121–144.

Burger T. Max Weber's Theory of Concept Formation, History, Laws and Ideal Types. Durham, North Carolina, 1976. 231 p.

Hayano D. Auto-Ethnography: Paradigms, Problems, and Prospects // *Human Organization*. 1979. Vol. 38. № 1. P. 99–104.

Hirsch F. Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union. Ithaca: Cornell University Press, 2005. 392 p.

Kan S. Evolutionism and Historical Particularism at the St. Petersburg Museum of Anthropology and Ethnography // Museum Anthropology. 2008. Vol. 31. № 1. P. 28–46.

Riasanovsky N. V. Asia through Russian Eyes // Russia and Asia: Essays on the Influence of Russia on the Asian People / Vucinich Wayne S., ed., Stanford, 1972.

Said Edward W. Orientalism. New York, 1979. 378 p.

Tolz V. Russia. L., N.Y., 2001. 307 p.

АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Архив РАН, Московское отделение. Фонд 337 (секция социологии Общества историков-марксистов).

Центральный исторический архив г. Москвы. Фонд 418 (Московский Императорский Университет. Описи 34, 54–72, 75, 82–95, 244, 461, 476, 487). Фонд 213 (Лазаревский институт восточных языков). Фонд 363 (Московские высшие женские курсы).

Центральный муниципальный архив г. Москвы. Фонд 1609 (I МГУ. Опись 1).

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

Адлер Б.Ф. 213
Адрианов А.В. 15
Азадовский М.К. 102, 307–309, 316
Акимов М.С. 336
Аксаков К.С. 104
Аксенова Г.А. 21, 26
Александр I 105, 228
Александр II 90, 176, 234, 278
Александр III 186
Александров Д. 217
Алексеев В.П. 494
Алексеева Л.Д. 191, 196
Алексеева Т.И. 336
Алпатов В.М. 381, 383, 385, 426, 436, 450
Алпатов М.А. 47
Алымов С.С. 20–24, 26, 378, 380, 386, 388, 401, 402, 410, 414, 418, 499
Амвросий (Ключарев) епископ Дмитровский 243
Андерсон (Anderson) Дэвид Джордж 22, 401
Андреев А.И. 58, 325
Андреев А.Ю. 267
Аникин Н.В. 502
Антоновский М.И. 70
Анучин А.Н. 175
Анучин М.Н. 175, 177, 178
Анучин Н.В. 175
Анучин Д.Н. 145, 146, 149, 161, 166–213, 224, 227, 229, 230, 238, 241, 242, 244, 246, 248, 249, 256, 260, 261, 277, 328–332, 336, 360, 375
Анчабадзе Ю.Д. 21
Аптекарь В.Б. 377, 381, 383, 386–394, 397, 402–404, 406, 407, 410–418, 420–423, 428, 433, 436, 441
Арзютов Д.В. 22, 23, 378, 380, 386, 388, 401, 402, 410, 414, 418, 499
Аронсон (Aronson) Эллиот 407, 411, 412, 415
Арсеньев И.С. 261
Артемюк О.Ю. 279, 280

Арутюнов В. 528, 532
Арутюнов С.А. 494
Арутюнян Ю.В. 464, 468, 490, 494
Афанасьев А.Н. 117, 132
Ашнин Ф.Д. 426

Б

Баграмов Э.А. 467, 515, 516
Бадер О.Н. 336
Байер (Bayer) Готлиб Зигфрид 43, 44, 46, 56
Балахонова Е.И. 245, 332, 335
Балибар (Balibar) Этьен 285
Балов А.В. 256, 263
Баранов А.А. 203
Баранов Д.А. 19
Барсов Е.В. 244
Бартольд В.В. 258, 322–324
Бастиян (Bastian) Адольф 166
Баткин Л.М. 8
Батьянова Е.П. 24
Баумейстер А.О. 545, 558
Бахофен (Bachofen) Иоганн Якоб 134, 445
Беккер (Becker) Сеймур 81, 285
Беляев П.И. 261
Бензенг В.Н. 240
Берг Л.С. 171, 179, 210, 213, 248, 265, 325
Березкин Ю.Е. 573
Березницкий Н. 234
Березницкий С.В. 18
Берггольц Л. 259
Беринг (Bering) Витус Ионассен 51, 64–66
Бернейс (Bernays) Эдвард 398
Бернштейн С.Б. 343, 348, 351, 353, 390, 449, 451, 452
Бжезинский (Brzezinsky) Збигнев Казимир 459
Боас (Boas) Франц 22, 290, 360, 364, 370, 473
Бобринский А.А. 258
Богаевский П.М. 260

- Богардус (Bogardus) Эмори С. 535
 Богданов А.А. 378
 Богданов А.П. 169, 178, 180, 183, 190, 206, 225, 227, 229, 233, 234, 237, 240–245, 250, 330
 Богданов В.В. 19, 21, 84, 223, 224, 228, 233, 249, 254, 257, 261, 268–270, 320, 359, 360, 364, 425, 426
 Боголепов М.А. 213
 Богораз (Тан) В.Г. 21, 22, 260, 262, 358, 367, 369, 370, 381, 387, 393, 407, 416, 419, 420, 421, 427, 431
 Богораз Софья 19
 Боднарский М.С. 203, 213
 Бодянский О.М. 89
 Бомштейн Г.И. 67, 68
 Борзенков Я.А. 179
 Борзов А.А. 202, 203, 213
 Бородин А.П. 176
 Борусевич К. 258
 Боткин С.П. 176
 Брикмон (Bricmont) Жан 488
 Бродский Н.Л. 263
 Брока (Broca) Поль 177, 184, 206, 245
 Бромлей Ю.В. 139, 140, 141, 144, 145, 448, 463, 464, 467, 469, 473, 478, 480, 490, 494, 515
 Броунов П.И. 189
 Бубрих Д.В. 347, 450
 Будде Е. 257
 Бунак В.В. 167, 168, 169, 171, 181, 213, 329, 334–337, 407, 416
 Бунятов Г. 258
 Бургер (Burger) Т. 455
 Буслаев Ф.И. 112, 133
 Бусыгин Е.П. 564
 Бутаев Д.Б. 258
 Бутинов Н.А. 24, 26, 147, 447, 448, 494
 Бухарин Н.И. 378, 441
 Быковский С.Н. 383, 433, 441
 Бэр К.М. 75, 121, 127, 169
- В**
 Вайнштейн С.И. 24, 27, 494
 Вайц (Waitz) Теодор 182, 183
 Валицкий (Walicki) Анджей 103, 106
 Валлерстайн (Wallerstein) Иммануил Морис 93, 285
 Вальская Б.А. 147, 163
 Васильев Н.В. 260, 263
 Васильев М.К. 256
 Вебер (Weber) Макс 455, 491
 Венюков М.И. 198
 Верещагин В.Е. 259
 Вержбицкий Т. 263
 Вернадский В.И. 323
 Веселовский А.Н. 225, 260
 Веселовский Н.И. 265
 Виноградов Г.С. 307–309, 316
 Виноградов П.Г. 220
 Виппер Р.Ю. 202, 342
 Виташевский Н.А. 261
 Вишневский Б.Н. 213
 Водопьянова Е.И. 532
 Военков А.В. 240
 Вознесенская Е.А. 325
 Волгин В.П. 340
 Волков Ф.К. 257, 322, 323
 Вольтер Э.А. 323
 Воробьев Н.И. 564
 Вучинич (Vucinich) Уэйн С. 285
 Вяземский П.А. 102
- Г**
 Гаген-Торн Н.И. 21, 24, 27
 Гальцева Р.А. 103
 Гвоздовер М.Д. 336
 Гегель (Hegel) Георг Вильгельм Фридрих 374
 Геннеп (Gennep) Чарльз-Арнольд Куррван 262
 Георги (Georgi) Иоганн Готлиб 18, 49, 54, 69, 74
 Герасимов М.М. 336
 Гмелин (Gmelin) Иоганн Георг 48–52, 58, 64, 65, 67
 Гмелин-младший Самуил Готлиб 49, 52
 Головнев А.В. 18
 Гондатти Н.Л. 332
 Горбачев М.С. 471
 Гордлевский В.А. 258, 264, 265, 347
 Горленко В.Ф. 494
 Городцов П.А. 260, 265
 Гостиева Л.К. 19
 Гремяцкий М.А. 336
 Грен А.Н. 258

- Григорьев А.А. 112, 113
 Григорьев В.В. 127
 Григорьев С.Г. 202, 213
 Гринфельд (Greenfeld) Лия 97
 Гроссе (Grosse) Эрик 262
 Грязнов М.П. 514
 Губогло М.Н. 490
 Гузенкова Т.С. 28
 Гуковский А.И. 381, 389, 427
 Гумбольдт (Humboldt) Вильгельм фон 197
 Гумилев Л.Н. 26, 480
 Гуревич А.Я. 551, 567
- Д**
 Давидов А.Ю. 240, 250
 Давыдов В.Н. 26
 Даль В.И. 15, 74, 111, 127, 132
 Данилин А. 437
 Дарвин (Darwin) Чарльз 177, 231, 232, 261
 Дашков В.А. 234, 238, 245
 Дебец Г.Ф. 334, 336, 337
 Деборин А.М. 378
 Делильде ла Кройер (Delisle de la Croyere) Людовик 58
 Делиль (Delisle) Жозеф Никола 66
 Делянов И.Д. 193
 Демидович П.П. 263
 Дешин А.А. 334, 335
 Диваев А.А. 264
 Дилакторский П.А. 257
 Дмитриев А. 22
 Дмитриев И. 394
 Добрынин Б.Ф. 202, 203, 213
 Довнар-Запольский М.В. 257
 Долгих Б.О. 15, 21
 Долгоруков В.А. 224
 Достоевский Ф.М. 113, 114, 137, 231
 Дробижева Л.М. 464, 468, 490
 Душенко К.В. 103
 Дьяконов М.А. 322, 323
- Е**
 Екатерина II 53
 Елеонская Е.Н. 257, 264
 Елфимов А.А. 27
 Ермак Тимофеевич 210
 Ермаков Д.И. 243
- Ерошкин Н.П. 214
 Ерусланов П. 259
 Ершова Г.Г. 500, 503–506, 508
 Есаков В.Д. 194
 Ефименко П.С. 239
 Ефимова С.Г. 336
- Ж**
 Жданко Т.А. 353, 563
 Житецкий П.И. 263
 Жуков Б.С. 213, 330, 336
 Журавлева Л.С. 283
- З**
 Завойко Г.К. 257
 Зайцев В.А. 118
 Закревский С.П. 236
 Замятин Е. И. 425
 Заринов И.Ю. 464, 465
 Зарубин И.И. 325
 Зеленин Д.К. 19, 21, 257, 259, 264, 364, 427, 437
 Зенгер Н.К. 234
 Зензинов В.М. 260
 Зернов Д.Н. 240
 Зограф Н.Ю. 244
 Золотарев А.М. 334, 438, 445, 443
 Золотарев Д.А. 21, 322, 323, 326
- И**
 Иваницкий И.А. 256
 Иванов С.И. 236
 Иванова Е.В. 24
 Иванова Л.В. 350
 Иванова Ю.В. 339, 341, 343, 371, 426, 436
 Ивановский А.А. 174, 202, 209, 213, 264, 332
 Ильин А.А. 203
 Иноходцев П.Б. 52
 Иохельсон В.И. 19, 262, 265, 294, 295
 Ипполитова А.Б. 21
 Истомин А.А. 549
- К**
 Каблуков И.А. 223
 Кавелин К.Д. 106, 132, 134, 135, 271
 Кагаров Е.Г. 387, 392, 431
 Кадек М.Г. 189, 194, 198, 199, 201, 203, 205

Кажешев Т. 257
 Казьмин А.А. 256
 Калачов Н.В. 271
 Калашникова Н.М. 19
 Калиновская К.П. 26, 514
 Каллаш В.В. 260
 Калоев Б.А. 85
 Каменский А.Б. 62
 Кан (Kan) Сергей 22
 Капустин Б.Г. 489
 Карасева А.И. 23
 Карлов В.В. 26, 28
 Карлович Я. 254
 Карнеев В.Н. 240
 Карпов Г.В. 177, 213
 Карпов С.П. 143
 Карский Е.Ф. 322, 323, 324
 Кассо Л.А. 174, 226
 Кастрен (Castren) Матиас Александр 418
 Катков М.Н. 235, 237
 Катрфаж (Quatrefages) Жан Луи Арман 245
 Кауфман фон К.П. 237
 Кедрина Р.Е. 257
 Кельсиев А.И. 240, 244
 Керимова М.М. 19, 21, 27
 Керцелли Н.Г. 234
 Киреевский П.В. 105, 106
 Кирпичников А.И. 260
 Киссер Т.С. 18
 Клеменц Д.А. 19, 260
 Клодт (Clodt) Эдуард Карлович 262
 Кнорозов Ю.В. 494–519
 Ковалевский А.О. 176
 Ковалевский В.О. 176
 Ковалевский М.М. 85, 86, 225, 257, 261, 266, 277
 Козаков А.Б. 240
 Козлов В.И. 481, 494
 Козлов С.Я. 139, 426, 448, 463
 Козлова К.И. 18, 26, 239
 Козьмин В.А. 28
 Козьмин Н.Н. 307, 311, 315
 Кокнев С.В. 19
 Колмогоров А.И. 196, 202, 203, 213
 Колумб (Columbus) Христофор 15, 93
 Кон Ф.Я. 265
 Кондинский В.В. 259
 Кондратович К.А. 63
 Конт (Comte) Огюст 100
 Конюхов Ф.Ф. 565
 Кореняко В.А. 24
 Кормина Ж.В. 23
 Коропчевский Д.А. 277
 Коротева В.В. 97, 486
 Косвен М.О. 73, 86, 347, 422, 438, 446, 453
 Кошкин (Алькор) Я.П. 381, 415, 418, 428
 Краснов А.Н. 189
 Крашенинников И.М. 264
 Крашенинников С.П. 50, 51, 54, 64, 65, 68
 Крживицкий (Krzywicki) Людвик 261
 Кржижановский Г.М. 376
 Круббер А.А. 202, 212, 213
 Крупник И.И. 15
 Крылов В.В. 463, 472
 Крымский А.Е. 258
 Крюков М.В. 494
 Кузнецов А.М. 26
 Кузнецов С.К. 259, 265
 Кузьминский К.С. 264
 Куликовский Г.И. 256
 Кусикьян И.К. 436
 Куфтин Б.А. 213, 329, 333, 336, 416, 425, 426
 Кушнер (Кнышев) П.И. 21, 381, 389, 481
Л
 Ланда (Landa) Диего де 507
 Ласси 421, 422
 Лашук Л.П. 470, 481
 Леббок (Lubbock) Джон 198, 277
 Лебедев Е.Н. 44–46, 50
 Леви-Брюль (Levy-Bruhl) Люсьен 390
 Левин М.Г. 180, 207, 208, 329, 336, 438, 473
 Ленин В.И. 405, 408
 Ленц Э.Х. 221
 Лепехин И.И. 52, 53, 74
 Лесгафт Э.Ф. 203
 Линн (Lynn) Ричард 503, 504

Лиотар (Lyotard) Жан-Франсуа 300, 440, 529, 534
 Липперт (Lippert) Юлиус 262
 Липпман (Lippmann) Уолтер 398
 Лобода А.М. 263
 Ловиц (Lowitz) Георг Мориц 52
 Ломоносов М.В. 43–47, 50, 51, 53, 96, 245
 Лукин Н.М. 376
 Луначарский А.В. 249, 336, 376
 Любавский М.К. 390
 Любимов А.М. 236
 Лядов (Мандельштам) М.Н. 415, 423
 Ляцкий Е.А. 256
М
 Магеллан (Magellanus) Фернан 93
 Магницкий В.К. 259
 Мак-Леннан (McLennan) Джон Фергюсон 261
 Максимов А.Н. 172, 191, 238, 256, 261, 262, 278–280, 290, 291, 339, 342, 347
 Малинин Л.В. 257
 Малинов А.В. 21
 Малиновский Б.К. 282
 Мамардашвили М.К. 368
 Мамонтов С.И. 120
 Мао Цзэдун 541
 Маркелов М.Т. 420, 428
 Марков А.В. 263, 264
 Марков Г.Е. 72, 123, 282, 290, 298, 299, 365, 459, 470, 494–519, 567
 Маркова Л.В. 490
 Маркс Карл 93, 371, 405, 408, 444, 450
 Марр Н.Я. 322–325, 327, 358, 372, 378, 381–384, 386, 412, 424, 433, 436, 449, 450
 Маск (Musk) Илон 567
 Маторин Н.М. 327, 402, 403, 408–411, 418, 428–430, 432, 433, 441, 442
 Мельгунов Ю.Н. 263
 Меньшиков М.О. 120
 Мещанинов И.И. 449
 Миклухо-Маклай Н.Н. 19, 145, 146, 147–165, 210, 239, 446, 565
 Миллер Б.В. 258, 264
 Миллер В.Ф. 19, 84, 85, 133, 238, 250, 252, 254, 257, 258, 261–263, 266–270, 276, 288
 Миллер Герхард Фридрих (Федор Иванович) 43, 44, 46, 47, 49, 58, 64, 66, 67
 Миллз (Mills) Чарльз Райт 545
 Миллюков П.Н. 120
 Миляев Н.К. 240
 Минаков П.А. 335
 Минх А.Н. 259
 Миронов Н.Д. 307
 Миськова Е.В. 8, 14, 254, 262, 263, 265, 280
 Михайлова Е.А. 21
 Михайловский В.М. 201, 277
 Могильнер Марина 19, 215, 217, 239, 241
 Могилянский Н.М. 20, 293–295, 322, 323, 366, 457
 Моно (Monod) Габриель 150
 Морган (Morgan) Льюис Генри 134, 166, 277, 405, 418, 444, 445, 507
 Мороховец Н.Н. 347
 Мортилье (Mortillet) Габриель де 245
 Мосс (Mauss) Марсель 166
 Муратов М.В. 264, 307, 308
 Муретов Д.Д. 114
 Мыльников А.С. 494
Н
 Надеждин Н.И. 8, 14, 74, 106–109, 112, 121–138, 144, 236, 270, 457
 Назаров М.И. 257
 Назаров П.С. 259
 Найт Натаниэл 237
 Налимов В.П. 213, 259
 Наумова О.Б. 24
 Некрасов А.И. 340
 Некрылова А.Ф. 340
 Нелихов Антон 244
 Нестурх М.Ф. 334, 336
 Нидерле (Niederle) Любор 262
 Никифоровский Н.Я. 257
 Никишенков А.А. 8, 14
 Николаев В.В. 259
 Николай I 75, 76, 88, 105, 186
 Никольский В.К. 380, 385, 289, 390, 415, 422, 424, 425, 427
 Никольский Д.П. 265
 Новицкий Григорий 54

О

Огарев Н.И. 240
 Огородников В.И. 307
 Озерецковский Н.Я. 52
 Окладников А.П. 50, 64, 66
 Олдман (Oldman) Уильям 331
 Ольденбург С.Ф. 248, 249, 321–325, 362, 375, 428
 Оруэлл (Orwell) Джордж 366
 Осадчий Т.И. 257
 Охримович В.Ю. 260

П

Паллас (Pallas) Петр Симон 18, 52, 74
 Панченко А.Б. 19
 Патканов С.К. 323, 325
 Пекарский Э.К. 259, 260
 Перетц В.Н. 322, 323
 Першиц А.И. 494
 Пестряков А.П. 26
 Петр I 41, 105
 Петри Б.Э. 307, 308, 311, 312, 314, 316
 Петри Э.Ю. 189
 Петров П.П. 250
 Пешель (Peschel) Оскар 198
 Пименов В.В. 27, 28, 139, 144, 145, 282, 478, 481
 Пиотровский А.Б. 325
 Пирогов Н.И. 181, 218
 Писарчик А.К. 24
 Платон 300
 Плисецкий М.С. 334, 438
 Погодин М.П. 105, 106
 Покровский Е.А. 244
 Покровский М.Н. 249, 376, 378, 390, 424, 441
 Поливанов Е.Д. 397
 Полторацнев П.Г. 311
 Поляков Л.С. 240
 Пономарев Л.И. 307
 Попов А.А. 262
 Попов В.А. 549, 550, 553, 560, 566, 573
 Попов Е.П. 257
 Попов К.А. 239
 Попов Н.А. 234, 238
 Попов Н.П. 312
 Потанин Г.Н. 15, 262, 263
 Потапов Л.П. 514, 563

Поярков Ф.В. 257, 260
 Пратканис (Pratkanis) Энтони 407, 411, 412, 415
 Президент И.И. 383
 Преображенский П.Ф. 320, 339–344, 346, 347, 351, 354, 360, 365, 369–371, 375, 380, 386, 387, 402–408, 416, 418, 425, 438, 441
 Пржевальский Н.М. 153, 239
 Прыжов И.Г. 118–120
 Пузанов И.И. 149
 Путилов Б.Н. 148, 150–153, 155–157, 159, 162, 164
 Пучков П.И. 481
 Пушкарев Л.Н. 119, 120
 Пушкин А.С. 209
 Пфенниг Р.А. 264
 Пыпин А.Н. 6, 17, 42, 46, 47, 49–53, 55, 76, 89, 99, 108, 110, 111, 120, 122, 123, 125, 126, 137, 273, 274

Р

Радзинский Э.С. 510
 Рамазанов Н.А. 236
 Раскольников Родион 231
 Ратцель (Ratzel) Фридрих 203, 290, 369, 393, 418
 Ревуненкова Е.В. 21, 24, 26
 Редько А.М. 261
 Резван Е.А. 21
 Реклю (Reclus) Элизе 198, 203
 Решетов А.М. 19, 21, 24, 426
 Риверс (Rivers) Уильям 405
 Рингер (Ringer) Фриц К. 217
 Риттер (Ritter) Карл 194, 197
 Риттих (Rittikh) Александр Федорович 198
 Рогинский Я.Я. 334, 336
 Романов Е.Р. 257
 Рубинштейн М.М. 307
 Руденко С.И. 322, 323, 325
 Руднев А.Д. 322, 323
 Руссо (Rousseau) Жан-Жак 154
 Рэдклифф-Браун (Radcliffe-Brown) Альфред Реджинальд 282
 Рязановский (Riasanovsky) Николас В. 285

С

Савельев П.С. 127
 Савенков И.Т. 261

Савоскул С.С. 21, 24, 305
 Саид (Said) Эдвард Вади 283, 284
 Самойлович А.Н. 323
 Сахаров И.П. 110, 111
 Северцов А.Н. 250
 Севрюгин И.Л. 236
 Селищев А.М. 307, 347
 Семенов А.А. 258
 Семенов Ю.И. 141, 368, 448, 473, 494, 514, 516, 552
 Семенов-Тянь-Шанский П.П. 246, 294
 Сергеев С.М. 115
 Серебренников И.И. 306
 Силинич И.П. 213
 Синельников Н.А. 213, 333, 334, 336
 Синицкий А.А. 213
 Сирина А.А. 9, 22, 23, 26, 29, 305, 306, 309, 310, 312–316, 318, 549
 Скворцов-Степанов И.И. 378
 Слезкин Ю.Л. 366, 369
 Слободин С.Б. 19
 Смирнов А. 264
 Смирнов И.Н. 259, 260, 265
 Снегирев И.М. 14, 109–111
 Соболев В.А. 234
 Соболева Е.В. 219
 Соболевский А.И. 263
 Сокал (Sokal) Алан 488
 Соколов Б.М. 19, 21
 Соколов В.Ю. 378–380
 Соколов Н.П. 52
 Соколова З.П. 26
 Соколовский С.В. 27, 30, 285
 Сокольников Н.П. 257
 Соловей В.Д. 402, 408, 412, 413, 415, 416, 496, 537
 Соловьев А.И. 179, 189
 Соловьев Вл.С. 120
 Сонцов Д.Д. 234
 Сперанский М.М. 79
 Спиридонов В.Х. 240
 Срезневский И.И. 127
 Сталин И.В. 376, 384, 385, 424, 434, 435, 447, 450–456, 458, 473, 477, 509, 514
 Стариков А.А. 347
 Старовойтова Г.В. 494
 Стеллер (Steller) Георг Вильгельм 48, 49, 51

Степанов В.И. 264
 Степанов Н.Н. 44, 57, 61
 Степанский А.Д. 214, 221
 Струве В.В. 443, 444
 Струве П.Б. 115
 Суворин А.С. 120
 Суворовский А. 264
 Сумцов Н.Ф. 260, 261
 Сухарева О.А. 24

Т

Тайлор (Tylor) Эдвард Бернетт 135, 166, 198, 204, 277, 405, 418
 Татищев В.Н. 44, 54, 56–58, 60–63, 78
 Тенишев В.Н. 281, 283
 Терещенко А.В. 111, 117
 Терюков А.И. 9
 Тесленко Н.В. 257
 Тизик К.А. 259
 Титов Е.И. 312, 316
 Тихомиров А.А. 244
 Тихомиров Л.А. 120
 Тихонравов Н.С. 330
 Тишков В.А. 21, 24, 27, 140, 353, 525, 563, 564
 Токарев С.А. 6–8, 17, 20, 21, 42, 54, 71–74, 76, 79, 80, 83–87, 91, 92, 94, 100, 110–112, 117, 125, 128, 132–134, 136, 204, 228, 239, 254, 270, 271, 274, 278, 283, 334, 343, 347, 355, 380, 388, 391, 392, 395, 396, 420, 422, 424, 431, 438, 445, 453, 458, 481, 490, 492, 493, 505, 509
 Толз (Tolz) Вера 78, 81, 128, 130, 285
 Толстов С.П. 21, 26, 320, 329, 334, 350, 355, 361, 384, 386, 394, 420, 422, 428, 446–449, 451, 453, 473, 505, 512, 514
 Толстой Л.Н. 164
 Томас (Thomas) Уильям Айзек 47
 Томпсон (Thompson) Джон Эрик Сидни 507, 509
 Топинар (Topinard) Поль 245
 Торопов В.Н. 343
 Тредиаковский В.К. 46
 Трейланд Ф.Я. 239
 Третьяков П.Н. 453
 Трофимова Т.А. 334
 Троцкий Л.Д. 441

- Трубецкой Н.С. 260, 265
 Трубецкой С.Н. 120
 Тумаркин Д.Д. 21, 24, 27, 147, 149, 161, 163, 210, 339, 426, 448, 463, 469
 Тургенев А.И. 102
 Тургенев И.С. 149, 164, 176, 225
 Турнвальд (Thurnwald) Рихард Кристиан 282
 Турьинская Х.М. 20, 26
 Туянин Сапыр 563
- У**
 Уваров А.С. 240, 330
 Уваров С.С. 14, 103, 104, 144
 Урсинович С.Л. 438
 Усов С.А. 179
 Успенский Т.И. 257
 Ушакин С.А. 539
 Ушаков Д.Н. 347
 Ушакова А.А. 179
- Ф**
 Фальк И.П. 18
 Федченко А.П. 234, 242
 Феноменов М.Я. 347, 361, 425
 Фиельсгрупп Ф.А. 325
 Филимонов Г.(Ю.)Д. 240
 Филиппов В.Р. 293, 484
 Филофей, архиепископ Сибирский 44, 62
 Фирсов Б.М. 283
 Фишер К.А. 243
 Фон-Мекк К.Ф. 183, 184, 241, 246
 Фрейд (Freud) Зигмунд 410
 Фридрих (Friedrich) Карл 459
 Фрэзер (Frazer) Джеймс Джордж 262
 Функ Д.А. 502, 555
 Фурсов А.И. 93, 101, 463, 472
- Х**
 Хайано (Hayano) Дэвид М. 542
 Хангалов М.Н. 259
 Хартанович М.Ф. 9
 Харузин А.Н. 258, 265
 Харузин Н.Н. 201, 203, 204, 239, 259, 260, 262, 279
 Харузина В.Н. 21, 204, 257, 260, 261, 339, 363
 Хаханов А.С. 258, 264
- Хирш (Hirsch) Франсин 22
 Ходукин Я.Н. 312
 Хороших П.П. 311
 Хоскинг (Hosking) Джеффри 232
 Хофмейстер (Hofmeister) А. 22
 Хрисанфова Е.Н. 336
 Худяков И.А. 118
 Худяков М.Г. 327
- Ц**
 Цаллагова З.Б. 19
 Цветковский (Cvetkovsky) Р. 22
 Цукерберг (Zuckerberg) Марк Эллиот 567
 Цыганков Д.А. 267
- Ч**
 Чаадаев П.Я. 127, 137
 Чебоксаров Н.Н. 26, 239, 329, 334, 336, 386, 450, 453, 458, 473, 481
 Чеканинский И.А. 260
 Чепурковский Е.М. 202, 203, 209
 Чернецов В.Н. 26, 511
 Чесноков В.И. 218
 Чеусов А.А. 259
 Чехов А.П. 567
 Чешко С.В. 28
 Чижевский А.Л. 480
 Чириков А.И. 65, 66
 Чистов К.В. 494
 Чистов Ю.К. 18
- Ш**
 Шангина И.И. 21
 Шафарик (Safarik) Павел Йозеф 89
 Шахматов А.А. 322, 323
 Шейн П.В. 239
 Шеллинг (Schelling) Фридрих Вильгельм Йозеф 106, 126
 Шемшединов А.К. 258, 264
 Шенталинская Т.С. 19
 Шильдбах К.К. 240
 Шиманьский (Szymanski) Адам 260
 Широкогоров С.М. 22, 26, 293, 294, 366, 457, 477, 567
 Шкапский Е.С. 259
 Шлецер (Schlozer) Август Людвиг 44, 53, 61
 Шмаков И.Н. 257

- Шнирельман В.А. 26
 Шопенгауэр (Schopenhauer) Артур 150
 Штернберг Л.Я. 21, 22, 100, 171, 259, 260, 294, 323, 324, 331, 363, 367, 369, 375, 418
- Щ**
 Шурц (Schurtz) Генрих 260
 Щерба Л.В. 322, 323
 Щетинина Г.И. 219
 Щукин И.С. 202, 203, 213
 Щуровский Г.Е. 227, 233, 234, 250
- Э**
 Эймонтова Р.Г. 219, 221, 224
 Энгельс Фридрих 279, 343, 367, 371, 405, 408, 444, 445, 473, 506, 507
- Эриксен (Eriksen) Томас Хилланд 23, 566
- Ю**
 Юнг (Jung) Карл Густав 484
 Юревич А.В. 527, 530, 535
- Я**
 Ядринцев Н.М. 15, 259
 Якимов В.П. 336
 Яковлев Н.Ф. 257, 347, 385, 420
 Яковлев Я.М. 236
 Якушкин Е.И. 260
 Янчук Н.А. 20, 84, 196, 238, 254
 Ярхо А.И. 334, 336

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- АФ – журнал «Антропологический форум»
 ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
 ИОЛЕАЭ, ОЛЕАЭ – Императорское Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии
 ИРГО, РГО – Императорское Русское Географическое общество
 ИЭА РАН – Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской Академии наук
 СЭ – журнал «Советская этнография»
 Э – журнал «Этнография»
 ЭО – журнал «Этнографическое обозрение»